

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР



ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ



ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Е. Д. ПОЛИВАНОВ

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Е. Д. ПОЛИВАНОВ

СТАТЬИ
ПО ОБЩЕМУ
ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1968

Редакционная коллегия:

Ф. Д. АШНИН, В. П. ГРИГОРЬЕВ, ВЯЧ. В. ИВАНОВ,
А. А. ЛЕОНТЬЕВ, А. А. РЕФОРМАТСКИЙ (председатель)

Составитель

А. А. ЛЕОНТЬЕВ

*Издание осуществляется
под общим руководством
акад. Н. И. КОНРАДА*

В этой книге публикуются избранные работы по языкознанию Е. Д. Поливанова, одного из наиболее талантливых представителей отечественного языкознания. Некоторые публикуемые статьи издаются впервые, другие перепечатываются с изданий, ставших библиографической редкостью.

Настоящее издание трудов известного советского лингвиста профессора Евгения Дмитриевича Поливанова (1891—1938), подготовленное к 75-летию со дня его рождения, включает лишь незначительную часть его научного наследия, а именно те общезыковедческие статьи и фрагменты, которые представляют наибольший интерес для советского и мирового языкознания наших дней.

Тематика данной книги соответствует плану второго (неопубликованного) тома «Введение в языкознание для востоковедных вузов», изложенному самим Е. Д. Поливановым в предисловии к первому тому¹. Не располагая текстом второго тома, мы решили объединить в этом издании те опубликованные и неопубликованные работы Е. Д. Поливанова, которые по содержанию отвечают этому плану.

Книга включает статьи по следующим разделам, названия которых тоже принадлежат самому Е. Д. Поливанову:

I. Вступительный раздел.

II. Теория эволюции языка.

III. Методы сравнительно-исторического языкознания.

IV. Социологическая лингвистика.

V. Прикладная лингвистика.

VI. Языкознание и поэтика.

Естественно, что отнесение отдельных статей к тому или иному разделу условно, так как на протяжении одной и той же работы Е. Д. Поливанов имел обыкновение затрагивать целый ряд теоретических проблем (см. «Предметный указатель»).

В настоящее издание включен ряд статей из книги «За марксистское языкознание» (М., 1931). Редакция отказалась от перепечатки этой книги полностью, так как в ней наряду с работами, представляющими интерес до сих пор, содержатся и устаревшие. Статья «Историческое языкознание и языковая политика» из этой книги перепечатана в двух изданиях «Хрестоматии по истории языкознания» В. А. Звегинцева; мы сочли нецелесообразным перепечатывать ее в третий раз. По аналогичным соображениям в раздел «Языкознание и поэ-

¹ Е. Д. Поливанов, *Введение в языкознание для востоковедных вузов*, Л., 1928, стр. III.

тика» не включена статья «Общий фонетический принцип всякой поэтической техники».

Во всех работах сохранена поливановская манера цитирования. Перевод встречающихся в цитатах иноязычных текстов дан в конце книги. Если в этом есть необходимость, более точное библиографическое описание упоминаемых работ дается в комментарии. Купюры в авторском тексте не производились. Все редакционные примечания даются только в комментариях.

Изданию предпослана вступительная статья о жизни и творческой деятельности Е. Д. Поливанова, а также библиография его работ и важнейших работ о нем. Научно-технический аппарат книги содержит: а) комментарии, б) предметный указатель, в) именной указатель, г) указатель языков и слов, д) перевод иноязычных цитат.

Редакция приносит глубокую благодарность всем способствовавшим выходу в свет «Избранных работ» Е. Д. Поливанова, в особенности А. А. Брудному, В. В. Виноградову, А. И. Кузьмину, Г. Г. Суперфину, А. Е. Супруну, З. Н. Фединой, А. С. Штерн.

*Ф. Д. Ашнин, В. П. Григорьев,
Вяч. В. Иванов, А. А. Леонтьев,
А. А. Реформатский*

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Д. ПОЛИВАНОВА

Евгений Дмитриевич Поливанов родился 28 февраля 1891 г. в г. Смоленске¹. Отец его, Дмитрий Михайлович (1840—1918), начал свою служебную деятельность в качестве сотрудника Императорской публичной библиотеки (ныне ГПБ имени М. Е. Салтыкова-Щедрина), затем пять лет служил в гвардии, после чего около 30 лет был служащим управления железной дороги. После 1905 г. он на некоторое время службу потерял. Семья Поливанова вынуждена была жить на пенсию, на гонорары матери и на то, что мог зарабатывать репетиторством и другими способами Евгений. Достаточно сказать, что для того, чтобы иметь возможность закончить университет, Е. Д. Поливанов должен был за лето обеспечить всю семью на два года вперед — причем мать его уже была тяжело больна.

Мать Евгения Дмитриевича, Екатерина Яковлевна (1849—1913), была известна как издательница, писательница, журналистка, а также переводчица; она печаталась в различных русских периодических изданиях и пользовалась популярностью в либерально-интеллигентских кругах. Сотрудничая в 80-х годах в газете «Смоленский вестник», Екатерина Яковлевна познакомилась с известным русским педагогом Василием Порфирьевичем Вахтеровым (1853—1924), который остался другом семьи Поливановых до самой своей смерти. Переписка его с отцом и сыном Поливановыми свидетельствует, что он, в частности, неоднократно поддерживал Евгения Дмитриевича материально во время работы над диссертацией. Другим человеком, близким все эти годы семье Поливановых, был известный историк проф. Н. И. Кареев.

Уже будучи тяжело больной, Екатерина Яковлевна опубликовала в журнале «Исторический вестник» (май 1913 г.) интереснейшие мемуары «Из прошлого (семидесятники)». Как писал позже Д. М. Поливанов В. П. Вахтерovu, до последних дней она «интересовалась всем тем, что творится на нашей долго- и многострадальной родине, и особенно горячо

¹ Ввиду того что в различных документах Е. Д. Поливанова даты рождения не совпадают, в посвященных ему публикациях возник некоторый разнобой. Настоящая дата является окончательной. Она установлена на основании официальной справки архива Смоленского областного бюро ЗАГС.

реагировала на кощунственный процесс Бейлиса...» (ГБЛ, ф. 46, п. 6, № 25)².

Окончив в 1908 г. Александровскую гимназию в Риге, Евгений Дмитриевич поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета (славяно-русское отделение), а через год — в Восточную практическую академию на японский ее разряд. Это было нечто вроде курсов восточных языков, предназначенных в основном для военных, дипломатов и других людей, нуждавшихся в хорошем практическом владении языком.

На историко-филологическом факультете в то время преподавало много замечательных ученых. Но Евгений Дмитриевич с самого начала выделил среди них одного и остался его учеником до конца дней своих. Это был Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, вступивший в то время в седьмое десятилетие своей жизни.

«Со второго курса мое мировоззрение обусловлено все-стороннейшим на меня влиянием моего учителя Бодуэна де Куртенэ — по убеждениям интернационалиста-радикала»,⁴ писал Поливанов четверть века спустя (ИЯз). Что это было за влияние, легко понять, проследив дальнейшую судьбу тех, кого сам Бодуэн причислял к своей школе: за исключением М. Р. Фасмера и К. Буги, все ближайшие ученики Бодуэна активно поддержали Советскую власть, а двое из них — Е. Д. Поливанов и В. Б. Томашевский — стали коммунистами.

Е. Д. Поливанов был одним из ближайших учеников не только Бодуэна, но и Л. В. Щербы³. В частности, он регулярно посещал семинары и практические занятия по экспериментальной фонетике; С. И. Бернштейн, работавший с Евгением Дмитриевичем в конце 1910 — начале 1920 г., вспоминает о нём именно как о блестящем фонетисте, легко разбиравшемся в сложнейших инструментальных записях речи. Школа, пройденная Е. Д. Поливановым у Бодуэна де Кур-

² Ссылки на некоторые архивные источники даются в сокращении: АН СССР — Архив АН СССР (Ленинград); ГБЛ — рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. В. И. Ленина; ИЯз — архив Института языкознания АН СССР (ныне частично передан в Московское отделение архива АН СССР); ЦГИАЛО — Центральный государственный исторический архив Ленинградской области; ЦГИАУ — Центральный государственный исторический архив Узбекской ССР; АР — личный архив Л. И. Ройзензона. Прочие архивохранилища наименованы в тексте полностью. Пользуемся случаем особо принести благодарность Г. Г. Суперфину, впервые обнаружившему и предоставившему для опубликования многие архивные материалы.

³ См. о Поливанове как представителе Петербургской школы русского языкознания в статье: А. А. Леонтьев, *И. А. Бодуэн де Куртенэ и петербургская школа русской лингвистики*, — ВЯ, 1961, № 4. О лингвистических воззрениях его см. также: В. В. Иванов, *Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*, — ВЯ, 1957, № 3.

тенэ и Л. В. Щербы, оказалась очень важной и для его востоковедческой будущности.

Окончив университет в 1912 г., Е. Д. Поливанов по представлению Бодуэна был оставлен при кафедре сравнительного языковедения. Бодуэн де Куртенэ писал о нем, что он, «правда, не известен в ученой литературе, но отличается обширными познаниями в области избранной им специальности и смежных с ней областей» (ЦГИАЛО, ф. 733, оп. 155, ед. хр. 389, л. 108).

Два года юный магистрант интенсивно трудится над диссертацией. Годы эти были для него очень и очень нелегкими. Плохо было дома: как раз в это время умерла Екатерина Яковлевна. Это был тяжелый удар для семьи Поливановых. «Больно... заниматься, так как мама так следила за этим, и любила, чтобы я сидел с книгой около нее», — пишет Евгений Дмитриевич В. П. Вахтерову (ГБЛ, ф. 46, п. 6, № 20). Много приходилось тратить времени и сил на подготовку диссертации. И в то же время — слушание лекций («я все время продолжал занятия тибетским языком на положении студента старшего курса» — там же, № 18) и чтение их — главным образом для заработка («я занимаюсь с будущими учителями народных училищ — калмыками» — там же, № 19); систематическое преподавание на Женских педагогических курсах новых языков (впоследствии лекции, читанные там Поливановым, вышли в свет двумя изданиями); доклады в Лингвистической секции Неофилологического общества, в Русско-японском обществе, в Восточном отделении Археологического общества. Наконец — магистерские экзамены, и в 1914 г. Евгений Дмитриевич становится приват-доцентом восточного факультета по японскому языку. Вот программа его чтений в качестве приват-доцента: «1) лингвистические методы в применении к китайскому и японскому языкам для 1—2-го семестров—1 час в неделю; 2) введение в японскую диалектологию для 3—8-го семестров—1 час; 3) историческая фонетика китайского языка в связи с китайскими заимствованиями в японском для 3—8-го семестров» (ЦГИАЛО, ф. 733, оп. 156, № 109, л. № 87). Ему предлагали в будущем кафедре тибетской филологии, но почему-то это не осуществилось. Вообще говоря, Поливанов, как видно из его переписки и других документов, стремился быть доцентом по кафедре Бодуэна де Куртенэ и экзамены сдавал по этой кафедре, но в конце 1913 г. Бодуэн был привлечен к суду за брошюру, где обличал угнетение царским правительством малых народов, изгнан из университета, и на кафедре началось, по словам Поливанова, «междоцарствие».

✓ В эти годы появляются и первые печатные труды Е. Д. Поливанова — по акцентуации японского языка. Кстати, не все

они известны. Так, В. П. Вахтерову Поливанов пишет (весна 1914 г.): «№ Записок Вост[очного] Отделения Археолог[ического] Общ[ества] уже вышел... а кроме этого у меня только 2 мал[енькие] заметки, общего интереса не представляющие и крошечные» (ГБЛ, ф. 46, п. 6, № 17). Поэтому он не включал их в списки своих работ, и они остались неизвестными. Несколько позже, уезжая на время каникул в Японию, он печатался и там; об этом говорится в одном из документов 1927 г.: «С 1916 г. прервалась публикация моих работ в японских научных журналах» (ИЯз). Ни одна из этих работ не известна. В первый раз в Японию Евгений Дмитриевич отправился в мае 1914 г. на средства Русско-японского общества; второй раз — летом 1915 г. Там он занимался диалектологической работой.

Здесь уместно поставить вопрос о том, что представляет собой Е. Д. Поливанов как японист, какой вклад он внес в советское и мировое японоведение. Е. Д. Поливанов первый установил наличие музыкального ударения в японском языке, первым серьезно занялся японской диалектологией. Он собрал множество акцентированных текстов⁴ и произвел целый ряд инструментальных записей японской диалектной речи⁵. Е. Д. Поливанову принадлежит ряд важных работ по исторической фонетике японского языка. Он много занимался родственными связями японского языка, выдвинув гипотезу о его смешанном характере (малайско-полинезийский и алтайский компоненты) и предвосхитив этим многие более поздние работы японских и европейских авторов. Наконец, не следует забывать, что он был автором практической русской транскрипции японских текстов.

Несколько слов о значении работ Е. Д. Поливанова для китаеведения. Ему принадлежит понятие «слогофонема», в дальнейшем развитое А. А. Драгуновым, а также оригинальная грамматическая трактовка китайского языка (в частности, понятие «бином»), в дальнейшем развитая А. А. Драгуновым, Н. Н. Коротковым и их учениками⁶.

Е. Д. Поливанов много занимался также вопросами, связанными с русской транскрипцией китайского языка. Нельзя не упомянуть и его работ по дунганозедению.

⁴ Значительная часть их еще не издана.

⁵ Более развернутую оценку диалектологических работ Е. Д. Поливанова см.: Н. И. Конрад, *Синтаксис японского национального литературного языка*, М., 1937, стр. 14. Историк советской японистики О. П. Петрова прямо говорит об «огромном значении» исследований Е. Д. Поливанова (УЗ ИНА АН СССР, вып. XXV, М., 1960, стр. 134).

⁶ См. Н. Н. Коротков, *К проблеме морфологической характеристики современного китайского литературного языка*, — «XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР», М., 1960.

Но вернемся к биографии Евгения Дмитриевича. Интересно, что первым его политическим выступлением было выступление против империалистической войны; он написал антивоенную пьесу, за что был арестован и отсидел неделю в тюрьме. «Когда началась война, — говорил он, — тогда для меня стала ясна моя интернациональная платформа... Я был пацифистом, потом пришел к интернационализму» (АР).

В предреволюционные годы Е. Д. Поливанов сближается с группой молодых лингвистов и литературоведов, объединенных вокруг О. М. Брика. Увлечение его вопросам поэтики нетрудно понять, ибо сам он писал стихи и иногда неплохие. В нашем распоряжении находится ряд стихотворений Евгения Дмитриевича, в том числе глава из поэмы «Ленин». Небезынтересно указать, что эта глава имеет следующее посвящение: «Посвящается памяти друга — В. В. Маяковского. Е. П.». А если учесть, что Поливанов был учеником Бодуэна, которому была весьма близка идея функционально-стилевого расслоения речи, то нет ничего удивительного в том, что он вместе с другим учеником Бодуэна — Л. П. Якубинским — оказался у колыбели «Общества по изучению поэтического языка» (ОПОЯЗ). Уже в первом издании ОПОЯЗа, который тогда еще даже организационно не оформился, в «Сборниках по теории поэтического языка» (1, Пг., 1916), имеется его статья («По поводу „звуковых жестов“ японского языка»). На четвертой странице обложки книги Б. М. Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха», изданной ОПОЯЗом в 1922 г., было указано, что готовится к печати выпуск шестой «Сборников» — «Революция и язык»: статьи Е. Д. Поливанова, В. Б. Шкловского, Б. А. Кушнера. Этот сборник в свет не вышел. И в дальнейшем Е. Д. Поливанов неоднократно обращался к вопросам поэтики⁷.

Наиболее интересный период биографии Е. Д. Поливанова начинается с 1917 г.

«Я встретил революцию как революцию труда. Я приветствовал именно свободный любимый труд, который для меня стал рисоваться полезным именно в революционной обстановке» (АР).

Уже в этот период Евгений Дмитриевич Поливанов стремился быть полезным народу. Он сотрудничает в Кабинете военной печати при Всероссийском Совете крестьянских депутатов. Этот Кабинет занимался в основном, по-видимому, изданием учебников для солдат, подготовкой статей и брошюр по вопросам просвещения. Одновременно он работает в «Новой жизни». В эти месяцы он печатает в ней

⁷ О его работах по поэтике см.: «Из неопубликованного наследства Е. Д. Поливанова», — ВЯ, 1963, № 1.

статьи: «Япония и мир без аннексии», «Своевременна ли реформа орфографии?», «Нужна ли „палата господ“ революционной России?».

На выборах в Учредительное собрание в сентябре 1917 г. Е. Д. Поливанов голосует за список большевиков. С первых дней Октября он вместе с И. А. Залкиндом работает в бывшем Министерстве иностранных дел, борясь с чиновниками-саботажниками⁸. Об этом периоде существуют воспоминания И. А. Залкинда, а также специальное исследование, недавно опубликованное в журнале «История СССР»⁹. В октябре — декабре 1917 г. Поливанов вел в министерстве (ставшем вскоре НКИД) большую и многостороннюю работу. Он занимается, в частности, всеми связями со странами Востока, являясь «уполномоченным народного комиссара по иностранным делам», т. е. заместителем наркома по Востоку, и заведующим соответствующим отделом.

Особенно заметна роль Е. Д. Поливанова в опубликовании тайных договоров царского правительства. В дальнейшем главная заслуга в публикации этих договоров часто приписывалась замечательному революционеру, балтийскому матросу Николаю Григорьевичу Маркину¹⁰.

Однако Н. Г. Маркин хотя и принимал в этом деле активное участие, но отнюдь не был главным, а тем более единственным действующим лицом. Он издавал «Сборник тайных документов», используя уже расшифрованные и переведенные, но не опубликованные в советской печати документы. По воспоминаниям Н. И. Конрада, одним из главных участников поисков и публикации тайных договоров был Е. Д. Поливанов. Не случайно буржуазная «Наша речь» в номере от 16(29) ноября 1917 г. в заметке под заглавием «В Министерстве иностранных дел» писала, что в министерстве все время хозяйничает лишь г. Поливанов — специалист по расшифрованию тайных договоров и секретарь народного комиссара г. Залкинд.

После февраля 1918 г. Е. Д. Поливанов занимается политработой среди петроградских китайцев. «Летом 1920 года в Петрограде была создана китайская ячейка РКП[б]. Один

⁸ Разоблачению преступного саботажа чиновников министерства посвящена заметка Е. Д. Поливанова «Преступная игра чиновников-дипломатов», опубликованная в «Правде» 4(17) ноября 1917 г.

⁹ И. Залкинд, *НКИД в семнадцатом году. Из воспоминаний об Октябре*, — «Международная жизнь», 1927, № 10; М. П. Ирошников, *Из истории организации Народного комиссариата иностранных дел*, — «История СССР», 1964, № 1.

¹⁰ См., например, Г. Ронина, *Вахтенный революции*, — «Комсомольская правда», 19 мая 1963 г.

ответственный работник — товарищ Поливанов, говоривший по-китайски, часто проводил с нами, китайскими рабочими, беседы на политические темы, обучал русскому языку. С помощью товарища Поливанова и китайской коммунистической ячейки я понял глубокий смысл свершившейся революции» (из воспоминаний одного из китайских рабочих, живших тогда в Петрограде). Однако деятельность Е. Д. Поливанова среди китайцев началась гораздо раньше. В 1918 г. он был одним из организаторов «Союза китайских рабочих». Он был редактором первой китайской коммунистической газеты, был связан с китайским Советом рабочих депутатов. Есть данные о том, что он был связан с китайскими добровольцами, сражавшимися на фронтах гражданской войны: два его стихотворения рассказывают об их боевых подвигах, а еще одно стихотворение имеет пометку «Щербаков, 1918». Н. П. Архангельский, передавший нам стихи Евгения Дмитриевича, установил, что в 1918 г. такое название носил лишь один населенный пункт на берегу Азовского моря. Именно там в 1918 г. сражались китайские отряды¹².

Среди китайских рабочих Е. Д. Поливанов пользовался неограниченным авторитетом. Знавший его в начале 20-х годов М. С. Кардашев рассказывает, что одного упоминания о знакомстве с Поливановым было достаточно, чтобы стать уважаемым человеком в ташкентской китайской колонии.

1919 год ознаменован для Е. Д. Поливанова двумя событиями. Его принимают в члены РКП[б], а Ученый совет факультета общественных наук Петроградского университета избирает его профессором.

¹² О деятельности Е. Д. Поливанова среди китайцев см.: Г. Новогрудский и А. Дунаевский, *По следам Пау*, М., 1962, стр. 75—77. Приведем отрывок из воспоминаний Н. И. Конрада, относящихся к этому периоду: «Сколько бился мы, пытаюсь перевести на китайский язык слово „Совет“. Рылись в словарях, поднимали фоллянты классических китайских трудов, поворачивали всякое сколько-нибудь близкое слово и так и этак — ничего не получалось, ни одно не в состоянии было в точности передать то, что вложил русский народ в понятие „Совет“, „Советы“, „Советский“. Сидим вот так, мучаемся, спорим, и вдруг Евгений Дмитриевич как стукнет кулаком по столу: „Есть слово!“ То, что предложил Поливанов, было действительно отлично. Ведь пока мы спорили и искали, китайские рабочие и китайские красноармейцы, не вдаваясь ни в какие филологические тонкости, решили этот вопрос без нас. Они и не пытались перевести русское слово „Советы“ на родной язык, они просто включили это великое слово в свою речь так, как оно звучало. И Поливанов, лингвист удивительной чуткости и удивительного таланта, первый понял: слово „Совет“ на всех языках лучше всего будет звучать так, как оно звучит по-русски. К этому и свелось его предложение. „Совета! — произнес он на пекинский манер. — Прекрасное китайское слово! Точнее не скажешь“. Так и пошло с его легкой руки. Так в дальнейшем по-китайски и писалось» (Г. Новогрудский и А. Дунаевский, *По следам Пау*, стр. 77).

Е. Д. Поливанов принадлежит к числу тех представителей старой интеллигенции, которые, как К. А. Тимирязев, ни минуты не колебались в выборе своего пути и сразу же отдали все свои силы, способности и знания на службу народу. «Я был привлечен к ряду революционных большевистских работников верой в революцию, верой в это правильное дело, горя энтузиазмом практической борьбы» (ЦГИАУ).

Он имел право так сказать: в деле защиты завоеваний революции и строительства молодой Советской республики есть его вклад, он немал, и давно пора оценить по достоинству и эту сторону его деятельности.

В начале 1921 г. Е. Д. Поливанов переезжает в Москву, где работает заместителем заведующего Дальневосточной секции Коминтерна и одновременно преподает в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). Осенью он получает от Коминтерна командировку в Ташкент, где остается на несколько лет, как он позже объяснял, в связи с болезнью жены.

Ташкентский период биографии Поливанова наиболее изучен. Особенно много сделал для восстановления этих лет жизни Евгения Дмитриевича ташкентский педагог Н. П. Архангельский. Он вспоминает: «В то время в Наркомпросе Туркестанской АССР создавался „Научный Совет“ — главным образом в целях подготовки учебников и программно-методических документов для рождавшихся национальных советских школ. Основными ячейками Научного Совета в 1921 году являлись три национальные научные комиссии: узбекская, „киргизская“ (= казахская) и туркменская. В помощь им организовывалась научно-педагогическая комиссия; меня назначили ее председателем. Вскоре Научный Совет переименовался в Государственный ученый совет (ГУС).

В августе 1921 года в Научный Совет пришел вновь назначенный заместитель его председателя Е. Д. Поливанов...¹³ Мы с Е. Д. сразу узнали друг друга. Он тоже помнил меня по университету... У нас с Е. Д. быстро установилась производственная дружба. Вместе мы готовили первый номер органа Научного Совета — журнала „Наука и просвещение“... Мы оба боролись за организацию в составе Научного Совета Туркестанского Наркомпроса Таджикской научной комиссии, против чего возражали некоторые члены Узбекской комиссии; они утверждали, будто в Туркестанской АССР таджиков уже нет, все туркестанские таджики обузбечились, таджики остались будто бы только в Бухарской республике... Мне

¹³ Позже он был в ГУСе членом научно-педагогической комиссии, председателем лингвистической комиссии, внештатным сотрудником. — А. Л., Л. Р., А. Х.

...известна его научная деятельность по планированию серии учебников и пособий для учителя в целях преподавания русского языка в национальных школах Туркестанской АССР — главным образом узбекских; он начал писать первые разделы будущих книг этой серии».

Опираясь на сохранившиеся документы, можно восстановить названия некоторых из этих работ. Например, Русский букварь для узбекских школ, Серия букварей для киргизских школ, Учебник узбекского языка для русских, Народный эпос (1-я часть истории мировой литературы для перевода на киргизский язык), Антирелигиозные беседы для европейских школ II ступени и др. Некоторые из них вышли в свет, например, учебник узбекского языка для русских («Введение в изучение узбекского языка»), русский букварь («Мак») и др. Несмотря на отдельные неудачи (так, в основу текстов букваря «Мак» был положен букварь В. П. Вахтерова, и потому реалии, узбекским детям незнакомые, оказались в нем на первых страницах), эти учебно-методические труды Е. Д. Поливанова, как и опубликованные позже книги и статьи на методические темы (например, «Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам»), имели большое значение для преподавания русского языка в национальной школе. Не случайно «Опыт частной методики» был в 1961 г. переиздан как учебно-методическое пособие.

Естественно, что занятия методикой требовали детального знания языков Средней Азии. Это знание Е. Д. Поливанов получил довольно быстро; уже в первом номере журнала «Наука и просвещение» (1922 г.) печатается его работа «Звуковой состав ташкентского диалекта», а в дальнейшем он предпринимает гигантскую работу по изучению говоров узбекского языка, которая так и осталась незавершенной. Ни один языковед-тюрколог, занимающийся узбекской диалектологией, не может даже сегодня пройти мимо работ Е. Д. Поливанова. Им одним было тогда описано говоров больше, чем едва ли не всеми другими лингвистами Узбекистана 20-х годов. Приведем список этих говоров: маргеланский, самаркандский, казак-найманский, кыят-кунградский, гурленский, хивинский, казли-найманский, туркестанский, кашгарский, говор люли, говор ферганских каракалпаков и говор туземных евреев Ферганы.

Блестящее знание всех диалектов Узбекистана, глубокое понимание тенденций их развития и вообще колоссальный общелингвистический кругозор привели Е. Д. Поливанова к выводу о том, что в основу узбекского литературного языка должен лечь иранизованный (несингармонистический) городской диалект Ташкента, Самарканда и Ферганы. Этот вывод, в дальнейшем оказавшийся совершенно правиль-

ным, вступил в противоречие с точкой зрения некоторых узбекских лингвистов и деятелей просвещения, стремившихся опереться на «более тюркский» диалект и оправдывавших это стремление необходимостью якобы «вернуться лицом к кишлаку». 22 октября 1928 г. в газете «Правда Востока» была напечатана статья Е. Д. Поливанова на эту тему («Невозможно молчать»), где он очень резко выступает против попытки навязать всему Узбекистану алфавит, разработанный на основе сингармонистических говоров: это означало бы введение в узбекскую графику «трех ятей».

Здесь мы подходим к проблеме, которая всю жизнь волновала Е. Д. Поливанова, — проблеме создания новых алфавитов для языков народов СССР. «Участие ученых в таком, например, вопросе, как организация нового алфавита, я считаю первостепенной, одной из важнейших задач ученых... Самое важное в моей работе — это ее прикладной характер для настоящего времени и ближайшего будущего» (АР).

Первым народом, для которого после революции была создана письменность на научной основе, были якуты. В конце 1917 г. был опубликован букварь, разработанный С. А. Новгородовым при ближайшем участии Е. Д. Поливанова. А в 1922 г. появился латинский алфавит для азербайджанского языка.

В 1922 же г. состоялся второй съезд работников просвещения Узбекистана. На этом съезде было сделано два доклада о латинизации узбекской письменности, один из них — Поливанова. Ему же принадлежал первый проект латинизованной узбекской письменности. Год спустя Институт востоковедения в Москве выпустил на ротаторе брошюру Е. Д. Поливанова «Проблема латинского шрифта в турецких письменностях». В предисловии к этой брошюре говорилось: «Практический вывод данной статьи — необходимость созыва Конференции из работников просвещения турецких народов СССР по вопросам графики, чтобы предупредить готовящееся „вавилонское столпотворение“ от выполнения реформы отдельными письменностями вразброд и связанные с этим лишние расходы».

Именно по этой линии, линии создания единого координационного органа, и пошла в дальнейшем разработка письменностей для народов СССР. Е. Д. Поливанов принял в ней самое активное участие. Он присутствовал и выступал на I, II и III пленумах Всесоюзного центрального комитета Нового тюркского алфавита. Кроме того, он вел большую практическую работу. Ему принадлежит в общей сложности более двадцати работ, посвященных теории и практике латинизации. В 1928 г. Е. Д. Поливанов был введен в состав Научного Совета ВЦКНТА.

Во время пребывания в Ташкенте Е. Д. Поливанов вел и другую практическую работу. По воспоминаниям покойного А. К. Боровкова, в 1924 г. при национальном размежевании Туркестанской АССР в Причирчикский край (Кураминский р-н) была послана по просьбе населения правительственная комиссия с целью проверить правильность размежевания. В нее входил и Е. Д. Поливанов. Еще в 1923 г. ГУС на двух заседаниях заслушивал доклад проф. Е. Д. Поливанова о лингвистической переписи Туркестана. «По заслушании доклада проф. Поливанова о лингвистической переписи Туркестана, т. е. о систематическом собирании материалов по живым говорам Туркестана и их лингвистической обработке, постановили создать центр указанной коллективной работы при ГУСе под руководством проф. Поливанова с привлечением научных сил Восточного института и учительства на местах и поручить тов. Поливанову составление соответствующих инструкций, а также прочтение эпизодического курса о методах собирания лингвистических материалов»¹⁴.

Восточный институт, упомянутый в этом протоколе, был организован как самостоятельное учебное заведение в 1918 г., одновременно с САГУ. В этом институте, как и на историко-филологическом факультете САГУ, Е. Д. Поливанов читал лекции и вел занятия. До сих пор в Ташкенте живут многие тогдашние его слушатели. Вот что они вспоминают о Поливанове: «Помню, как в один из дней 1921 года на кафедру взошел человек с быстрыми движениями, безусловно очень нервный... С первых же слов проф. Е. Д. Поливанов завоевал внимание молодой аудитории Туркестанского восточного института. Впоследствии лекции Е. Д. Поливанова собирали огромную аудиторию. Некоторые из студентов-восточников не пропускали ни одной его лекции. Послушать блестящего лектора приходили и наши профессора и преподаватели. Такую большую аудиторию, по-моему, в то время собирал еще только акад. В. В. Бартольд, читавший нам эпизодический курс „История Туркестана“... Он, видимо, читал не только то, что он прекрасно знал, но и то, что он любил. „Сухой“ предмет (сравнительное языкознание) оказался очень интересным. Поливанов сумел заинтересовать нас, увлечь, и мы до сего дня должны быть ему за это благодарны» (Т. Н. Крылова, рукопись); «Читал он лекции увлекательно, не пользуясь ни конспектами, ни карточками с цитатами» (З. Н. Шелигран, рукопись); «Нам импонировала изумительная память Поливанова. Он никогда не пользовался шпаргалками, цитировал редко, большей частью излагал свои взгляды, приводил массу

¹⁴ «Бюллетень народного комиссариата просвещения Туркеспублики», № 2 (20 марта 1923 г.), стр. 14.

примеров из разных языков» (П. А. Данилов, газ. «Самарканд университети», 16 сентября 1964 г.). Очевидно, особенно выделялись из его лекций курс китайского языка (с демонстрацией произношения носителей разных диалектов!) и курс формальной поэтики. Один из студентов — фамилия его, к сожалению, неизвестна — в эти годы писал под руководством Е. Д. Поливанова работу «Эволюция рифмы в новейшей русской поэзии». В 1925 г. Евгений Дмитриевич читает не только языковедческие предметы, но и курс общей этнографии.

В эти годы Е. Д. Поливанов много и интенсивно занимался научной работой. Вот один штрих для характеристики его, так сказать, творческого потенциала: «Как-то ранней весной в издательство („Туркпечать“) пришел проф. Е. Д. Поливанов и попросил выдать ему аванс на предложенную им новую работу. Но выяснилось, что профессор не сдал работы по предыдущему авансу. Пришлось отказать ему в выдаче нового аванса. Тогда Е. Д. Поливанов попросил указать ему свободный стол, за которым он мог бы сегодня поработать. Свободный стол нашелся... Профессор Поливанов сел за этот стол и начал быстро заполнять один лист за другим. Через часа четыре он представил готовую статью по предыдущему авансу. Всех сотрудников издательства поразила та исключительная быстрота, с которой была написана серьезная статья на лингвистическую тему. При печатании этой статьи в корректуру не пришлось вносить никаких серьезных изменений» (В. В. Груза, рукопись).

Надо полагать, что эта работа была посвящена либо узбекской диалектологии, либо теории эволюции. Последняя проблема в 20-е годы очень занимала Поливанова; он написал ряд отдельных этюдов, посвященных разным проблемам развития языка, неоднократно выступал с докладами и т. д. В Ташкенте он опубликовал на узбекском языке небольшую книгу о теории эволюции. Во многих его рукописях есть упоминание о том, что он готовил аналогичную книгу и на русском языке; к сожалению, она не сохранилась.

Взгляды Е. Д. Поливанова на теорию эволюции представляют и ныне большой научный интерес. Это ясно даже из числа посвященных им докладов на «поливановской» конференции в Самарканде осенью 1964 г. Приходится только пожалеть, что они не стали до сих пор предметом углубленного монографического анализа; ведь они отражают попытку Поливанова непосредственно связать проблему языка и общества с конкретным механизмом языкового развития, попытку, на которую после него мало кто отваживался. Думается, что именно сейчас этот круг лингвистических проблем снова становится актуальным.

Е. Д. Поливанов был полиглотом. Сам он считал, что знает 16 языков: французский, немецкий, английский, латинский, греческий, испанский, сербский, польский, китайский, японский, татарский, узбекский, туркменский, казахский, киргизский, таджикский. Но этот список заведомо преуменьшен. Совершенно точно известно, что он владел (по крайней мере, лингвистически), кроме того, абхазским, азербайджанским, албанским, ассирийским, арабским, грузинским, дунганским, калмыцким, каракалпакским, корейским, мордовским (эрзя), тагальским, тибетским, турецким, уйгурским, чеченским, чувашским, эстонским, а может быть, и еще другими. Сохранилось множество рассказов о том, как Е. Д. Поливанов буквально «на лету» усваивал новые языки; в частности, Н. А. Баскаков рассказывает, что, приехав в Нукус, Евгений Дмитриевич за месяц овладел каракалпакским языком настолько, что смог прочитать на безукоризненном каракалпакском языке доклад перед каракалпакской аудиторией. Не следует забывать, кроме того, что Е. Д. Поливанов знал не только литературный японский, пекинский китайский, ташкентский узбекский языки, но и многочисленные их диалекты. Когда во время «поливановской» конференции в Самарканде осенью 1964 года кто-то из зала спросил выступавшего с воспоминаниями о Поливанове старого колхозника Махмуда Хаджимурадова, как говорил по-узбекски Евгений Дмитриевич (на родном диалекте Хаджимурадова), последовал лаконичный ответ: «Лучше меня».

Дальнейший, наиболее плодотворный и биографически один из самых интересных периодов в жизни Е. Д. Поливанова — это период 1926—1929 гг., проведенный им в Москве, куда он приехал по приглашению руководителя Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) акад. В. М. Фриче. Как впоследствии писалось, Поливанов «был выдвинут на руководящую лингвистическую работу в РАНИОН в противовес представителям „Московской фортунатовской школы“»¹⁵, и сразу стал действительным членом лингвистической секции Института языка и мышления, профессором Института востоковедения (МИВ), руководителем секции родных языков КУТВа, действительным членом Института народов Востока (Иннарвоста), членом бюро лингвистического раздела Института языка и литературы, а затем (1927 г.) председателем лингвистической секции РАНИОНа.

В одной из официальных бумаг он пишет: «Я, за зимнее время, делаю по 4 доклада в месяц (средним числом) в са-

¹⁵ Г. Данилов (рец.), *Е. Поливанов. За марксистское языкознание*, — «Русский язык в советской школе», 1931, № 6—7, стр. 165.

мых различных научных обществах и учреждениях» (ИЯз). Названия некоторых из них можно восстановить. Например, в Институте языка и литературы РАНИОН он сделал следующие доклады: «Принципы статико-фонетического описания языка» (совместно с М. Н. Петерсоном); «Методы сравнительного описания диалекта»; «Проблемы эволюции в языке»; «Корейский язык». В секции русского языка КУТВа он сделал доклад «Морфологическая классификация Щербы».

А вот названия некоторых курсов, которые читал Е. Д. Поливанов в 1927/1928 г. для аспирантов РАНИОНа: сравнительное изучение турецких языков; сравнительные штудии по грамматике алтайских языков; сравнительная фонетика тибето-китайских языков; лингвистическое введение в изучение языков дальневосточной группы; описательная грамматика японских языков (по-видимому, так Е. Д. Поливанов кратко обозначал японский и рюкюский. — А. Л., Л. Р., А. Х.); современные штудии по сравнительной грамматике японских языков.

Е. Д. Поливанов отнюдь не был с самого начала антагонистом Н. Я. Марра. Напротив, они хорошо знали друг друга по восточному факультету Петроградского университета. Поливанов слушал у Марра курс грузинского языка. После отъезда Евгения Дмитриевича из Петрограда они переписывались.

Поливанов с интересом следил за развитием мыслей Марра и первоначально кое в чем их разделял. Приведем отрывок из одного очень интересного письма Н. Я. Марра от 18 октября 1924 г.: «Что касается яфетического языкознания, буду очень рад, если все еще рождающаяся теория найдет и Вас, Вас особенно, в числе восприимчивых, ибо она начинает уже давно выпадать у меня из рук, как я чувствую, обречен на выпадение из жизни, в тартарары, куда мне и дорога для большего спокойствия всех.

Не знаю, говорил ли я Вам, что турецкие и угрофинские языки вынужден я ввести в круг предметов непосредственного яфетидолгического изучения; мост перебрасывает, перебросил чувашский. Тут нечто невероятное. Я вполне понимаю, что своими невероятными вещами ко двору не прихожусь» (АН СССР, ф. 800, оп. 2, № 30, л. 82об.—83).

Это письмо требует некоторого комментария. Во-первых, хронологического. За два года до этого Н. Я. Марр впервые выдвинул «новое учение о языке» и период между 1922 и 1926 гг. — это как раз время кристаллизации «нового учения», завершившейся в 1926 г. книгой «По этапам развития яфетической теории». Второй комментарий, которого требует цитированное письмо, связан с проскальзывающим в нем отношением Марра к своей яфетической теории. О таком же от-

ношении говорил покойный И. А. Орбели¹⁶, и надо думать, что таким оно и было... Третий комментарий связан с упоминанием чувашского языка: именно опубликование Марром в 1926 г. книги «Чуваши-яфетиды на Волге» заставило Поливанова пересмотреть свое отношение ко взглядам Марра и позже назвать эту книгу «образцом и первым резко выраженным шагом ложного пути». Другим поводом для такого пересмотра послужило принципиальное несогласие Поливанова с предложенным Марром (и не оправдавшим себя) аналитическим алфавитом для абхазского языка (1926; доклад Поливанова с критикой Марра — зима 1927/28 г.).

В 1927—1929 гг. Е. Д. Поливанов неоднократно выступал с открытой критикой «яфетической теории». В частности, такой доклад под названием «О построении марксистской лингвистики» он делал в лингвистической секции РАНИОН в 1928 г.

Поливанов был опасным противником для тех, кто пытался канонизировать «новое учение о языке» и изобразить его единственным марксистским учением о языке. Поэтому борьба против него велась не на живот, а на смерть. Ареной этой борьбы явилась так называемая подсекция материалистической лингвистики Коммунистической академии, где хозяйничали проповедники «нового учения» во главе с В. Б. Аптекарем. Была объявлена дискуссия, получившая позже название «Поливановской». Она открылась 27 декабря 1928 г. докладом Н. Я. Марра, которому предшествовало выступле-

¹⁶ И. А. Орбели, *Воспоминания студенческих лет*. Из стенограммы, — в кн.: К. Н. Юзбашян, *Академик Иосиф Абгарович Орбели*, М., 1964, стр. 152—153. Вот что он говорил тогда: «Знаете ли вы, что все эти нелепые построения, которые потом были возведены в предмет культа, шли не от Марра, а из условий, которые создали вокруг него... угождатели?.. Если человек создал, придумал рабочую гипотезу, можно ли было хором, на страницах печати, с домыслами, со ссылками на то, что это чисто марксистские суждения, разъяснять это как величайшую истину, как тезисы, на основе которых должно строиться подлинное языкознание?»

...Мне известно (я имею право это говорить), что весной 1934 г., когда Марр был из больницы отправлен в Крым и оттуда вернулся сюда, он ни о чем другом не говорил, кроме старых своих построений о яфетической семье языков и ее взаимоотношениях с индо-европейской семьей языков.

Во время многочисленных наших встреч после возвращения Н. Я. Марра из Крыма и до того дня, когда его увезли в больницу, откуда он уже не вернулся, — за все это время он ни разу не касался вопроса о „новом учении“... Однажды он мне сказал: „Как хорошо было раньше с яфетической семьей“. Это было летом 1934 г.» И в заключение И. А. Орбели сказал высокие и очень правильные слова, что «одной из священных обязанностей наших востоковедов, филологов, лингвистов является размежевание того Марра, который стоял на почве глубочайшего, углубленного исследования в вопросах языка и в вопросах культуры, от того Марра, которого сделали своим знаменем люди, которым это было легче, чем изучать языки».

ние акад. В. М. Фриче. Вот что говорил В. М. Фриче: «В настоящее время яфетическая теория, так как она отлилась, вряд ли, однако, заслуживает именно этого названия... мы имеем перед собой основы марксистской лингвистики. Достаточно вспомнить некоторые основные положения этого научного построения, чтобы в этом убедиться... Яфетическая теория на наших глазах перерождается и перевоплощается в материалистическую диалектическую марксистскую лингвистику...»¹⁷.

Ясно, что дискутировать после этого было уже не о чем... Тем не менее трибуна Е. Д. Поливанову была все же предоставлена—4 февраля 1929 г. он сделал доклад «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория». В биографии Н. Я. Марра этот доклад характеризуется следующим образом:

«Когда весной 1929 г. Николай Яковлевич выехал в заграничную командировку для продолжения чтения курса грузинского языка и занятий бретонским языком, противники нового учения о языке сочли момент благоприятным и организовали выступление проф. Поливанова. Доклад его, направленный против яфетической теории и якобы за марксистскую лингвистику, встретил отпор научной общественности Москвы и Ленинграда»¹⁸. Но так писалось в 1948 г. А в 1934 г. то же самое называлось «истощные вопли элигона субъективно-идеалистической бодуэновской школы— проф. Е. Д. Поливанова» (он же «разоблаченный в свое время черносотенный лингвист-идеалист»)¹⁹.

Что же на самом деле говорил Е. Д. Поливанов в этом докладе? Мы располагаем его стенограммой.

Начав с того, что «за вычетом яфетической теории остается очень много материала, который делает Марра великим ученым», Поливанов указал, что «здоровое ядро» яфетической теории заключалось в сравнительно-грамматическом изучении южнокавказских языков. Но далее Марр потерял почву под ногами и стал подтягивать факты под готовую теорию. «Я считаю, подходить к исследованию материала лингвист может, вовсе не рассуждая о том, что говорит об этом марксизм, но он должен анализировать факты... Когда вы любое положение марксизма, любое положение диалектического материализма выводите из фактов, вот тогда я скажу, что это будет марксистская лингвистика». Далее Поливанов го-

¹⁷ Цит. по кн.: В. Б. Аптекарь и С. Н. Быковский, *Современное положение на лингвистическом фронте и очередные задачи марксистов-языковедов*, М., 1931, стр. 23—24.

¹⁸ В. А. Миханкова, *Николай Яковлевич Марр*, М.—Л., 1948, стр. 565.

¹⁹ В. Б. Аптекарь, *Н. Я. Марр и новое учение о языке*, М., 1934.

ворил, что все правильные положения яфетической теории «давно высказаны до Марра», новые же ее положения не основаны на фактах. Сторонники Марра, да и сам Марр недостаточно знают фактический языковой материал и историю его разработки. Далее указывается на механический характер некоторых положений теории Марра, на частые у него анахронизмы и т. д. И в заключение дается очерк понимания самим Поливановым вопросов эволюции языка.

Уже в начале доклада Е. Д. Поливанова председательствующий В. М. Фриче недвусмысленно заявил, что «у нас имеется готовый список ораторов». Прения продолжались два дня. В них «выступило 17 человек, из которых только один проф. Ильинский солидаризовался с точкой зрения проф. Е. Поливанова»²⁰.

В заключение выступил опять-таки В. М. Фриче, сказавший, в частности: «Мы должны давать отпор всяким попыткам с сомнительными средствами отстоять позиции старой лингвистической науки и тем заслонить перспективы, которые открываются перед лингвистикой благодаря яфетической теории»²¹. Такой «отпор» был, мягко выражаясь, не всегда корректным. Так, в одной из статей²² прямо подтасовывались факты биографии Е. Д. Поливанова. Он объявлялся черносотенцем и реакционером. Ученый написал ответ на эту клеветническую заметку. Нам неизвестно, был ли этот ответ опубликован. В нем Поливанов говорил, в частности: «Должен всячески протестовать против попыток приписать моему докладу политическое значение протеста против обновления и ревизии традиционных методов лингвистики. Наоборот, пересмотру, как с идеологической, так и с фактической стороны подлежит все наследуемое советской наукой, и в этом пересмотре нет места ни авторитарному мышлению, ни кваканью профанов» (ИЯз).

Осмелев после легкой, как им казалось, победы над Поливановым, Аптекарь и К^о в следующем 1930 г. предприняли аналогичную «дискуссию», направленную против группы «Язык-фронт». Это была «буферная» группа. С одной стороны, она отмежевывалась от «старой», «индо-европейской» лингвистики, с другой — правильно обвиняла марризм в вульгаризации марксизма и прямо заявляла, что в высказываниях марристов

²⁰ В. Аптекарь, *Подсекция материалистической лингвистики Коммунистической Академии*, — «Русский язык в трудовой школе», 1930, № 4, стр. 203. Ср. В. К. Журавлев, *Григорий Андреевич Ильинский*, М., 1962, стр. 46—47.

²¹ В. Аптекарь и С. Н. Быковский, *Современное положение на лингвистическом фронте*, стр. 33.

²² «Вечерняя Москва», 1.III.1929 г.

по адресу их научных оппонентов «есть много клеветы»²³. В этой «дискуссии» часто поминалось и имя Поливанова: говорилось, в частности, о «возрожденной поливановщине» и даже «неополивановщине» (ср. «пешковщина», «даниловщина»)...

Наступил 1931 год. В этом году Е. Д. Поливанову удалось выпустить в издательстве «Федерация» сборник научно-популярных статей под названием «За марксистское языкознание». Выход этой книги, не оставившей (в который раз!) камня на камне от «нового учения о языке»²⁴, привел оппонентов Поливанова (если их позволительно назвать оппонентами) в полнейшее исступление. Была двинута в бой «тяжелая артиллерия».

В сентябре 1931 г. был сдан в печать очередной, 65-й том Большой Советской Энциклопедии. В нем, в статье «Яфетическая теория», писалось: «...наблюдаются прямые враждебные выпады, идущие под знаком апологии буржуазной науки и империалистической политики капитализма („За марксистское языкознание“ Е. Поливанова)».

В октябре того же года был сдан в печать очередной, седьмой том «Яфетического сборника». В нем автор, скрывшийся под буквами Ст. Б. (С. Н. Быковский. — А. Л., Л. Р., А. Х.), напечатал рецензию на книгу Поливанова. В эпиграфе рецензии стояла цитата из Сталина: «Клевету и мошеннические маневры нужно заклеить, а не превращать в предмет дискуссии». Соответственно эпиграфу была написана и сама рецензия. «Основная цель сборника, — писал Ст. Б., — так сказать, его социальный заказ, — это реабилитация современной буржуазной лингвистики. Но так как чрезмерно открытое выступление в Советском Союзе в защиту буржуазной науки, хотя бы в такой до сих пор мало разработанной области, как языкознание, — дело рискованное, то отсюда и название сборника „За марксистское языкознание“, в то время как все содержание сборника направлено против марксизма».

²³ М. Бочачер, *Куда огонь*, — «Революция и язык», 1931, № 1, стр. 7; ср. *Наши задачи*, — там же.

²⁴ Е. Д. Поливанов в ней резонно писал, что «для науки совершенно не нужна полемика с яфетидологией. Отношение к марризму у всякого мало-мальски сведущего лингвиста вполне определенное и не нуждается в комментариях». И далее: «Был, правда, период, когда (вовсе не в интересах научной мысли как таковой, а, наоборот, в интересах массы неспециалистов, которым простительно было не разобраться в чем дело) чувствовалась необходимость открыто заявить о своем отношении к марризму: эту повинность я в свое время и выполнил. Но было бы совершенно напрасной тратой энергии давать ответы моим оппонентам — не лингвистам, столковаться с которыми в этом деле столь же безнадежно, как объяснять теорию Эйнштейна лицам, не знающим таблицы умножения» (стр. 6—7). Далее на протяжении около 200 страниц Поливанов излагает свое лингвистическое credo.

А кончалась рецензия так: «Только полной неосведомленностью руководителей наших издательств в элементарных вопросах марксистского языкознания можно объяснить появление антимарксистской книги в 1931 г. на советском рынке».

Летом 1931 г. выходит в свет брошюра Аптекаря — Быковского, уже цитированная выше. В качестве выхода из «современного положения» в этой книжице предлагалось «произвести чистку всего научного и научно-технического состава лингвистической научно-исследовательской сети, ведя линию на удаление индо-европеистов и маскирующихся марксистской фразой двурушников, обеспечивая руководство за лингвистами-марксистами»²⁵. Напомним, что в «буржуазных индо-европеистах» тогда ходили Богородицкий, Бубрих, Булаховский, Дурново, Карский, Петерсон, Пешковский, Ушаков, Щерба. Список взят из той же брошюры.

Однако Е. Д. Поливанов не дождался всех этих мероприятий. Он еще в 1929 г. был снят с занимаемых им должностей и, воспользовавшись приглашением Узбекского Наркомпроса, переехал в Самарканд (куда и раньше ездил каждое лето, работая над узбекскими диалектами в Узбекском научно-исследовательском институте). Поэтому все, что смогли сделать с ним, — это воспрепятствовать печатанию его рукописей. В частности, было, по-видимому, приостановлено печатание второго тома «Введения в языкознание для востоковедных вузов», до сих пор не найденного. Это — большая потеря для нашей науки, не говоря уже о практике вузовского обучения востоковедов.

Через несколько лет, уже находясь в Киргизии, Е. Д. Поливанов совершенно недвусмысленно высказался о своем отношении к тому истерическому шуму, который был поднят вокруг его книги. Это высказывание представляет и более общий интерес, и поэтому его стоит привести здесь: «То, что служило основным и (в принципиальном отношении) единственным содержанием яфетидологии (в период 1928—1929 гг.), сейчас в кодексе „нового учения“ уже вовсе отсутствует и заменено совершенно иной материей (к каковой и отношение у меня, разумеется, иное!). Нужно ли еще большее доказательство (если в настоящее время вообще еще нужны доказательства) того, что я был совершенно прав в моей тогдашней (в моих докладах 1928 и 1929 годов) критике яфетидологии?»

Оказывается, впрочем, что я был совершенно прав не только в моем отношении к четырем элементам сал-бэр-ён-рош, но и в другом: именно в том своем прогнозе, который

²⁵ В. Аптекарь и С. Н. Быковский, *Современное положение на лингвистическом фронте...*, стр. 46.

я тогда выразил в [таких] приблизительно словах: „Пройдет несколько лет, и учение о четырех элементах сал-бэр-ён-рош будет постепенно уходить в тень, — отступать на задний план наподобие бога-отца в христианской мифологии, и место его постараятся — по возможности втихомолку и незаметно — заполнить совершенно отличным и уже приемлемым (во всяком случае годящимся для того, чтобы быть рассматриваемым всерьез) содержанием; на открытое признание своих заблуждений храбрости не хватит, и этот подмен (подмен, который, как оказалось впоследствии, сопровождался даже смелой названий: яфетидология — новое учение о языке) будет сделан нарочито постепенно, чтобы по возможности незаметно для массового общественного мнения „протащить“ его без нарушения яфетического культа“.

Что побудило меня тогда высказать этот прогноз (прогноз, удивительным образом сбывшийся, как и ряд других моих предсказаний, например, сделанное мною в 1928 году и т. п.)? Конечно, как я и указывал уже тогда, к этому меня могла побудить только вера в творческие силы советской эпохи, которая, как бы ни был анекдотичен по случайной ошибке выбранный отправной пункт, сумеет в конце концов направить на надлежащую дорогу поиски историко-материалистического направления советской лингвистики. Этим я вовсе не хочу сказать, что данный „путь направления“ сейчас уже закончен, наоборот — он только начинается... В этом отношении я тоже готов был бы дать новый прогноз — новое предсказание, которое не замедлит сбыться, как сбылось и предшествующее мое предсказание; и если здесь я воздерживаюсь от этого высказывания, то исключительно потому, что не хочу внушить мысли о преувеличении мною собственной роли в эволюции советской лингвистической мысли. Впрочем, поскольку я уже упомянул о моей личной роли на данном отрезке истории лингвистики, за нее я во всяком случае должен принести мою благодарность обильно полившим на меня яфетидологам, ибо являются совершенно несомненными следующие два обстоятельства: 1) что в результате возникшей полемики мое скромное имя стало символом здравого смысла; 2) то, что обязан этим я именно моим оппонентам и их рецензиям („одна другой беззубее“, как выразился по поводу этих рецензий один маститый московский лингвист). Поистине „не нам, не нам, а имени твоему!“».

Если рассматривать борьбу Поливанова против «нового учения о языке» с чисто лингвистической точки зрения, работа его тем более не вызывает сомнений. В споре со сторонниками Марра за спиной Поливанова в сущности стояла вся мировая лингвистика; что касается Аптекаря, Быковского и пр., то они опирались лишь на общие марксистские поло-

жения, крайне вульгаризованные Марром, и на отдельные, надерганные из различных языков факты — при полном пренебрежении к тому, что достигла наука, и главное — к имевшейся в ее распоряжении объективной методике лингвистического исследования.

Но вернемся к биографии Е. Д. Поливанова.

Сектор лингвистики УЗГНИИ, в котором Евгений Дмитриевич занимает с 1929 г. должность профессора (со второй половины 1930 г. УЗГНИИ переезжает в Ташкент, а в 1931 г. из него выделяется Узбекский научно-исследовательский институт культурного строительства — УЗГНИИКС), уделял больше внимание изучению живой речи узбекского народа. Осуществлялась программа сплошного языкового обследования Средней Азии, выдвинутая Поливановым еще в 1923 г. Осуществлялись комплексные экспедиции, в которых Поливанов принимал самое активное участие: Хорезмская (1930 г.), Памирская (1930 г.), Сайрсно-Чамкентская (1931 г.), Ферганская (1930 г.), Чирчико-Алахгаранская (1932 г.), по маршруту Ташкент — Андижан — Нарынский район — Наманган — Кокайд (1932 г.). О роли Е. Д. Поливанова в описании и классификации узбекских народных говоров свидетельствует, между прочим, протокол объединенного заседания секций лингвистики, литературы и этнографии УЗГНИИ, на котором присутствовала А. Н. Самойлович, Е. Э. Бергельс, Л. В. Щерба и другие филологи, прибывшие в Самарканд в связи с подготовкой комплексной экспедиции И. Нарвеса (Института народов Востока) в Узбекистан. В протоколе, в частности, говорится об определении наиболее интересных в языковом отношении районов Средней Азии. Рекомендации Е. Д. Поливанова оказались решающими, хотя в заседании участвовали многие виднейшие тюркологи и иранисты. В этом же протоколе говорится о создании при УЗГНИИ кабинета экспериментальной фонетики под руководством Л. В. Щербы. Е. Д. Поливанов вносит ряд предложений относительно работы и оборудования этой лаборатории, в частности высказывает пожелание об экспериментальном изучении вопросительной мелодии в узбекском и азербайджанском языках.

В УЗГНИИ — УЗГНИИКСе Е. Д. Поливанов ведет большую педагогическую и редакционную работу: он читает корректуры журнала «Научная мысль», дает консультации по составлению учебников, является организатором и руководителем уйгурского семинара, туземно-еврейской комиссии, проводит консультации по туземно-еврейскому языку (т. е. диалекту бухарских евреев), методике преподавания русского и родных языков, иностранных языков, работает на курсах переподготовки учителей, вместе с И. А. Батмановым создает проект программы по русскому языку для начальных по-

литехнических школ коренных национальностей. Одновременно он проводит занятия с аспирантами, читая им курсы общего языкознания (на узбекском языке) и научной грамматики русского языка.

В тяжелых условиях (очередная «проработка») Е. Д. Поливанов не только выполняет, но и перевыполняет планы своей научной работы по институту. (Сохранились отчетные данные о выполнении плана научной продукции сотрудниками кабинета лингвистики УЗГНИИКС за 1932 г. Против его фамилии стоит цифра 120³/о!)

26 марта 1933 г. на лингвистическом семинаре УЗГНИИКСа был прочитан доклад «О теории эволюции языка». Это была попытка пробить стену молчаливого недоверия и наладить с коллегами по институту нормальные творческие взаимоотношения: «Между мной и даже моими ближайшими сотрудниками, я бы сказал, не ручеек или река, а даже море взаимного непонимания...» (АР). Отсюда и характер самого доклада. Е. Д. Поливанов то и дело отступает от заранее составленного плана, перескакивает от темы к теме, перемежая научные тезисы фактами своей биографии, научной и политической деятельности. В целом в докладе говорится не только и не столько об эволюции языка, сколько об эволюции взглядов самого ученого.

В конце 1934 г. Е. Д. Поливанов переезжает во Фрунзе, где работает в Киргизском институте культурного строительства (позже Киргизский институт языка и письменности) и преподает в пединституте.

Здесь основной круг его занятий — киргизский и дунганский язык. Сохранились любопытные воспоминания Ю. Яншансина о пребывании Евгения Дмитриевича во Фрунзе и о совместных поездках в экспедиции. Почти все материалы этих лет остались в рукописи, в частности уникальные труды по дунгановедению. Интересно, что, работая во Фрунзе, Е. Д. Поливанов чрезвычайно много занимается не только языком, но и этнографией и литературой, особенно фольклором²⁶, и в частности манасоведением. Люди, знавшие его в то время, вспоминают, как он импровизировал «Манас» сотнями строк подряд, имитируя манеру местных манасчи. В числе его лекций во Фрунзенском пединституте были лекции по... политэкономии.

Е. Д. Поливанов пишет много, но никак не может пробиться в печать. Еще в 1933 г. он с горечью заявлял, что «если сказать, какая часть из моих работ опубликована, то

²⁶ Вопросы фольклора интересовали Е. Д. Поливанова и раньше. По воспоминаниям С. Л. Лифшиц, в Самарканде Евгений Дмитриевич очень интересовался, например, узбекским и таджикским музыкальным фольклором (газ. «Ленинский путь», 19.IX.1964).

это, должно быть, двадцатая часть, и особенно в настоящее время мне очень мало приходилось публиковать» (АР). Печатались только то, что представляло, так сказать, местный, республиканский интерес: в Ташкенте — материалы по узбекскому языку, бухарско-еврейскому диалекту, каракалпакскому языку; во Фрунзе — по дунгановедению. Все же прочее оставалось лежать в рукописи. Правда, Е. Д. Поливанов делал попытки напечатать свои работы и в центральных издательствах, посылая их А. Н. Самойловичу, А. А. Драгунову, Л. В. Щербе; но эти попытки после 1931 г. ни разу не увенчались успехом; единственная напечатанная в это время в Москве работа Евгения Дмитриевича — это рецензия на книгу Г. Ярринга по тюркологии в журнале «Советская наука и техника». Поэтому Е. Д. Поливанов стал активно сотрудничать в международных лингвистических изданиях, в особенности изданиях Пражского лингвистического кружка, со многими членами которого он был связан давним знакомством. Ему удалось напечатать рецензию в журнале «Slavia», две статьи в «Travaux du Cercle linguistique de Prague»²⁷ и статью в «Archiv orientální». Есть сведения, что этим не исчерпывается список заграничных публикаций Поливанова, но другие его работы (за исключением небольших резюме) еще не найдены. Имя Поливанова в 30-е годы пользовалось международной известностью: в частности, он получил персональное приглашение на Международный конгресс фонетических наук в Амстердаме (1932 г.), где был зачитан его доклад «К вопросу о функциях ударения», позднее опубликованный в TCLP.

В марте 1937 г. Е. Д. Поливанов был арестован и вскоре (25 января 1938 г.) погиб.

Шли годы, страсти остывали, истина вступала в свои права. В марте 1963 г. Евгений Дмитриевич Поливанов был полностью реабилитирован. Верховный Суд СССР по ходатайству Института языкознания АН СССР пересмотрел его дело и убедился, что предъявленные Е. Д. Поливанову в 1937 г. обвинения не имеют под собой решительно никакого основания.

Прошло более четверти века, и в сентябре 1964 г. в Самарканде собралась «поливановская» лингвистическая конференция. Не случайно она называлась «Актуальные вопросы советского языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. По-

²⁷ Одна из них, посвященная субъективности восприятия звуков языка, стала классической; вообще вклад Поливанова в теорию билингвизма и в методику обучения языкам очень велик. См. об этом: А. А. Леонтьев, *Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе*, — «Русский язык в национальной школе», 1966, № 2.

ливанова». Основная масса выступлений была посвящена современному состоянию тех научных проблем, которые были поставлены Поливановым тридцать лет назад. И оказалось, что сказанное им тогда сохранило, как правило, свою актуальность до настоящего времени. Мы имеем в виду проблемы эволюции языка, влияния общества на язык, языковых контактов, различные вопросы, связанные с исследованием звуковой стороны языка и, в частности, поливановскую теорию акцентуации, проблемы узбекской диалектологии, целый ряд общих проблем грамматики и синтаксиса, сопоставительного изучения языков, вопросы теории практики преподавания языков и ряд других. Если бы кто-нибудь решил прочесть курс лекций о значении Поливанова для современного языкознания, этот курс вылился бы в систематическое изложение основ сравнительно-исторической, типологической и общей лингвистики.

Впрочем, читатель может сам убедиться в этом. Для этого достаточно ознакомиться с его работами, собранными в настоящем издании.

*А. А. Леонтьев, Л. И. Ройзензон,
А. Д. Хаютин*

В основу предлагаемого списка положен «Список научных работ Е. Д. Поливанова», составленный Вяч. Вс. Ивановым и опубликованный в журнале «Вопросы языкознания» (1957, № 3, стр. 73—76). Он дополнен как работами, опубликованными после 1957 г., так и рядом более ранних публикаций, оставшихся неизвестными Вяч. Вс. Иванову. Основная масса дополнений принадлежит Ш. Шукурову (Ташкент) и Н. П. Архангельскому (Ташкент). Были использованы также данные Ф. Д. Ашнина, М. П. Изосимовой (заведующего библиографическим отделом Фундаментальной библиотеки Самаркандского университета), И. М. Пулькиной, В. Б. Шкловского и др.

Работы даются в хронологической последовательности, а внутри каждого года в следующем порядке: а) книги, б) статьи, в) рецензии, г) прочие публикации научного характера (тезисы, выступления и др.), д) газетные статьи, не носящие научного характера, стихи и переводы.

В качестве приложения дается перечень рукописей Е. Д. Поливанова, известных на 1. I. 1967 г., а также список литературы о Е. Д. Поливанове (начиная с 1957 г. по 1. I. 1967).

1914 г.

1. *Сравнительно-фонетический очерк японского и рюкюского языков*, — ЗВОРАО, т. XXIII, вып. I—II, СПб., 1914, стр. 173—190.

1915 г.

2. *Материалы по японской диалектологии. Говор деревни Мие, префектуры Нагасаки, уезда Ниси-Сонки. Тёксты и перевод*, — ЗВОРАО, т. XXIII, вып. I—II, Пг., 1915, стр. 167—201.

3. *Музыкальное ударение в говоре Токио*, — «Известия Императорской Академии наук», серия VI, т. IX, 1915, № 15, стр. 1617—1638.

¹ Библиография подготовлена к печати А. А. Леонтьевым при участии З. И. Фединой и А. С. Штерн.

1916 г.

4. *Гласные корейского языка. I — Современное произношение гласных. II — Происхождение современных корейских гласных*, — «Восточный сборник», кн. II, Пг., 1916, стр. 344—348.

5. *Индо-европейское *medhu — общекитайское *mit*, — ЗВОРАО, т. XXIII (1915), Пг., 1916, стр. 263—264.

6. *Конспект лекций по введению в языковедение и общей фонетике, читанных в 1915—1916 учебном году приват-доцентом Е. Д. Поливановым на Женских педагогических курсах новых языков*, ч. I, Пг., 1916, 87 стр.

7. *По поводу «звуковых жестов» японского языка*, — «Сборники по теории поэтического языка», вып. 1, Пг., 1916, стр. 31—41.

8. *Труды Идзава Сюдзи по живому китайскому языку*, — «Восточный сборник», кн. II, Пг., 1916, стр. 341—344.

1917 г.

9. *Психофонетические наблюдения над японскими диалектами. I — Говор деревни Мие, префектуры Нагасаки, уезда Ниси-Соноки. II — Музыкальное ударение в говоре Киото*, Пг., 1917, 113 стр.

10. *Акцентуация японских прилагательных с двусложной основой*, — «Известия Российской Академии наук», серия VI, т. XI, 1917, № 12—18, стр. 1089—1093.

11. *Мелочи по японскому языковедению. I — Японский пример словарной контаминации в двуязычном мышлении. II — Русское киримон — японское китопо*, — ЗВОРАО, т. XXIV (1916), Пг., 1917, стр. 95—96.

12. *О русской транскрипции японских слов*, — «Труды японского отдела Императорского общества востоковедения», вып. 1, Пг., 1917, стр. 15—36.

13. *Своевременна ли реформа орфографии*, — газ. «Новая жизнь», 9 (22) июня 1917 г.

14. *Удовлетворительно ли разрешен вопрос упрощения письма в новой русской орфографии?* — газ. «Учитель», 1917, № 23, стр. 16—21. [Статья без подписи. Мнение о принадлежности ее Е. Д. Поливанову выдвинуто Ш. Шукуровым и подтверждено на основании архивных данных Г. Г. Суперфином].

15. *Нужна ли «палата господ» революционной России?* — газ. «Новая жизнь», 13 (30) мая 1917 г.

16. *Преступная игра чиновников-дипломатов*, — газ. «Правда», 4 (17) ноября 1917 г.

17. *Япония и мир без аннексии*, — газ. «Новая жизнь», 28 мая (10 июня) 1917 г.

1918 г.

18. *Одна из японо-малайских параллелей*, — «Известия Российской Академии наук», серия VI, т. XII, 1918, № 18, стр. 2283—2284.

19. *Формальные типы японских загадок*, — «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. V, вып. 1 (Ко дню 80-летия акад. В. В. Радлова), Пг., 1918, стр. 371—374.

1919 г.

20. *По поводу «звуковых жестов» японского языка*, — «Поэтика. Сборники по теории поэтического языка», Пг., 1919, стр. 23—36. [Перепечатка работы № 7].

1922 г.

21. *Звуковой состав ташкентского диалекта*, — «Наука и просвещение», Ташкент, 1922, № 1, стр. 17—19.

22. *Процесс грамматикализации. (Глава из общей морфологии)*, — «Наука и просвещение», Ташкент, 1922, № 1, стр. 14—16.

23. *Тезисы доклада проф. Поливанова «О принципах построения турецкой грамматики»*, — «Наука и просвещение», Ташкент, 1922, № 1, стр. 12.

24. *Тезисы доклада проф. Поливанова о реформе узбекской орфографии*, — «Наука и просвещение», Ташкент, 1922, № 1, стр. 13—14.

25. *Катюша Маслова в Японии*, — «Искусство и жизнь», Ташкент, 1922, № 1, стр. 8—12.

1923 г.

26. *Лекции по введению в языкознание и общей фонетике*, Берлин, 1923, 96 стр. [Переиздание работы № 6].

27. *Понятие эволюции в языке* [на узб. языке арабским шрифтом]. Ташкент, 1923, 58 + 59 + 62 стр.

28. *Фонетические конвергенции*, Ташкент, 1923.

29. *Фонетические особенности касимовского диалекта*, — «Институт востоковедения в Москве, Серия турецких языков, вып. I», М., 1923.

30. *Дальневосточные термины орудий письма*, — «Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. (25-летие его первой лекции 15/28 января 1898—1923 г.)», Ташкент, 1923, стр. 116—119.

31. *Из теории фонетических конвергенций. Латинский пример конвергенции с полным уподоблением* (Первая статья

по теории фонетических конвергенций), — «Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. (25-летие его первой лекции 15/28 января 1898—1923 г.)», Ташкент, 1923, стр. 106—108.

32. Из теории фонетических конвергенций. Латинский пример конвергенции с полным уподоблением. (Вторая статья по теории фонетических конвергенций), — «Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. (25-летие его первой лекции 15/28 января 1898—1923 г.)», Ташкент, 1923, стр. 108—115.

33. Причины происхождения *Umlaut'a*, — «Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. (25-летие его первой лекции 15/28 января 1898—1923 г.)», Ташкент, 1923, стр. 120—123.

34. Проблема латинского шрифта в турецких письменностях. (По поводу нового якутского алфавита, азербайджанской азбуки *jeni jol* и узбекского алфавита, санкционированного 2-м Съездом Узб. раб. просвещения), М., 1923, 20 стр. (Нар. ком. нац. ин-т востоковедения в Москве, Серия турецких языков, вып. III), 1 л. [стеклогр. изд.].

35. Следы суффикса *Imperativi *-dhi* на славянской почве, — ИОРЯС, т. XXIV (1919), кн. 2, Пг., 1923, стр. 349—350.

36. Татарская народная версия «Шемякина суда», — «Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. (25-летие его первой лекции 15/28 января 1898—1923 г.)», Ташкент, 1923, стр. 103—105.

1924 г.

37. Вокализм северно-восточных японских говоров, — «Доклады АН СССР», [Серия] В, Л., 1924, июль — сентябрь, стр. 106—108.

38. К вопросу об обще-турецкой долготе гласных, — «Бюллетень 1-го Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1924, № 6, стр. 157.

39. К работе о музыкальной акцентуации в японском языке (в связи с малайскими), — «Бюллетень 1-го Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1924, № 4, стр. 101—108 (Приложение 1).

40. Новая казак-киргизская (Байтурсуновская) орфография. Спорные вопросы киргизской графики и орфографии, — «Бюллетень Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1924, № 7, стр. 35—43.

41. О гортанных согласных в преподавании арабского языка, — «Бюллетень Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1924, № 7, стр. 28—29.

42. *О метрическом характере китайского стихосложения*, — «Доклады АН СССР», [Серия] В. Л., 1924, октябрь — декабрь, стр. 156—158.

43. *Образцы фонетических записей ташкентского диалекта*, — «Бюллетень 1-го Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1924, № 4, стр. 87—90.

44. *Проект латинского шрифта узбекской письменности*, — «Бюллетень 1-го Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1924, № 6, стр. 158—159.

45. *Рецензия на журн. «Восток» (кн. 1—4)* [Л., 1922—1924], — журн. «Новый Восток», кн. 5, М., [1924], стр. 435—439.

45^a. *Рецензия на кн. Л. Войтоловского «У японцев»*, — «Новый Восток», кн. 6, М., [1924], стр. 482.

1925 г.

46. *Введение в изучение узбекского языка (пособие для самообучения)*, вып. 1. *Краткий очерк узбекской грамматики*, Ташкент, 1925, 97 стр.

47. *«Мак». Русский букварь для нерусских детей Туркестана*. [Совместно с Л. И. Пальминым], Ташкент, 1925, 72 стр.

48. *Идеографический мотив в формации орхонского алфавита*. [Гипотеза о происхождении орхонских букв: q^w, j^{1D}, s^{2I}], — «Бюллетень Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1925, № 9, стр. 177—181.

49. *Какое место займет востоковедение в социалистическом строительстве Союза ССР*, — «Восточная студия», Владивосток, 1925, № 13—16.

50. *Краткая классификация грузинских согласных*, — «Бюллетень Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1925, № 8, стр. 113—118.

51. *Очерки по истории Ташкента*, — «Бюллетень Ташкентского Новгородского исполкома», 1925, № 1, 2—3.

52. *Характеристика западнояпонской системы музыкальной акцентуации. (Акцентуация в Киото (k'ō:to) и Тоса)*, — «Бюллетень Средне-Азиатского государственного университета», Ташкент, 1925, № 9, стр. 183—194.

53. *La caractéristique du système de l'accentuation dans le Japonais occidental (parlers Kyoto et Tosa)*, — «Бюллетень Средне-Азиатского государственного университета», вып. 10, 1925, стр. 205—207. [Резюме работы № 52.]

54. *Sur le travail concernant les systèmes de l'accent musical dans la langue japonaise (et sur le rapport du japonais avec les langues malaises)*, — «Бюллетень Средне-Азиатского государственного университета», вып. 8, Ташкент, 1925, стр. 119—125.

1926 г.

55. *Введение в изучение узбекского языка (пособие для самообучения)*, вып. 2. *Тексты для чтения*, Ташкент, 1926, 132 стр.

56. *Краткая грамматика узбекского языка*, Ташкент — М., 1926: ч. I. *Внешняя характеристика узбекского языка. Фонетика. Словоизменение имен*, 80 стр.; ч. II. *Глагол. Приложения: I. О новой узбекской орфографии; II. О латинизации узбекского письма; III. Тексты для чтения*, 123 стр.

57. *Краткий русско-узбекский словарь*, [Ташкент], 1926. III—XII, 218 стр.

58. *Проекты латинизации турецких письменностей СССР. К Туркологическому съезду II*, Ташкент, 1926.

59. *Этнографическая характеристика узбеков*, вып. 1. *Происхождение и наименование узбеков*, Ташкент, 1926, 31 стр.

1927 г.

60. *Введение в изучение узбекского языка (пособие для самообучения)*, вып. 3. *Тексты для чтения*, Ташкент, 1927, 187 стр.

61. *Краткая фонетическая характеристика китайского языка (пекинского говора северно-мандаринского наречия)*, М., 1927, 25 стр. [См. также № 73, стр. 69—91].

62. *К вопросу о долгих гласных в обще-турецком языке*, — «Доклады АН СССР», [Серия] В., 1927, № 7, стр. 151—153.

63. *К десятилетию орфографической реформы*, — «Родной язык в школе», кн. 5, М., 1927, стр. 180—189.

64. *О литературном (стандартном) языке современности*, — «Родной язык в школе», кн. 1, 1927, стр. 225—235.

65. *О новом китайском алфавите «Чжу-инь цзы-му»*, — «Революционный Восток», 1927, № 2, стр. 90—96.

66. *О происхождении названия Ташкента*, — «В. В. Бартольду туркестанские друзья, ученики и почитатели», Ташкент, 1927, стр. 395—400.

67. *Революция и литературные языки Союза ССР*, — «Революционный Восток», [М.], 1927, № 1, стр. 36—57.

68. *Родной язык в национальной партишколе*, — «Вопросы национального партпросвещения», [М.], 1927, стр. 111—122.

69. *К вопросу о родственных отношениях корейского и «алтайских» языков*, — «Известия Академии наук СССР», серия VI, т. XXI, № 15—17, Л., 1927, стр. 1195—1204.

70. «Ту-кюз» китайской транскрипции — турецкое *تورکوز*, —

«Известия Академии наук СССР», Серия VI, т. XXI, № 7—8, Л., 1927, стр. 691—698.

71. [Выступления] — «Стенографический отчет первого пленума Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита, заседавшего в Баку с 3-го по 7 июня 1927 г.», М., 1927, стр. 78—83, 143—146.

71^a. *Question des voyelles longues en proto-Turc*, — «II Concilio», fol. 1927, p. 151—153.

1928 г.

72. *Введение в языковедение для востоковедных вузов*, Л., 1928, VI + 220 стр.

73. *Пособие по китайской транскрипции* [Совместно с Н. Поповым-Татива], М., 1928, II + 92 стр.

74. *Задачи социальной диалектологии русского языка*, — «Родной язык и литература в трудовой школе», М., 1928, № 2, стр. 39—40; № 4—5, стр. 68—76.

75. *Факторы фонетической эволюции языка как трудового процесса. 1. Обзор процессов, характерных для языкового развития в эпохи натурального хозяйства*, — «Ученые записки Института языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук [РАНИОН]», т. III, М., 1928, стр. 20—42.

76. *Из хроники современных национальных график СССР. (Проект ассирийского алфавита на русской основе)*, — «Революционный Восток», М., 1928, № 4—5, стр. 302—306.

77. *Итоги унификационной работы. К проекту Унифицированного НТА, принятому на I пленуме VI. 1927. Статья I*, — «Культура и письменность Востока», кн. I, М., 1928, стр. 70—80.

78. *К вопросу о заглавных буквах*, — «Культура и письменность Востока», кн. I, М., 1928, стр. 70—80.

79. *Материалы по японской акцентологии. 1. Говор Тоса*, — «Ученые записки Института языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук [РАНИОН]», т. III, М., 1928, стр. 133—149.

80. *Невозможно молчать*, — газ. «Правда Востока», (Ташкент), 22. X. 1928.

81. *О буквах k и q*, — «Культура и письменность Востока», кн. III, Баку, 1928, стр. 52—53.

82. *Об обозначении долготы гласных в НТА*, — «Культура и письменность Востока», кн. III, Баку, 1928, стр. 49—51.

83. *Образцы не-сингармонистических (иранизованных) говоров узбекского языка*, — «Доклады АН СССР», [Серия] В, Л., 1928, № 5 стр. 92—96 [I. Каршинский говор (город Бегбуду)]; № 14, стр. 306—312 [II. Вокализм говора гор. Самаркан-

да (Глава из описания двуязычной системы)]; № 15, стр. 318—323 [III. Самаркандский говор (продолжение)].

84. Основные формы графической революции в турецких письменностях СССР, — «Новый Восток», кн. 23—24, 1928, стр. 314—330.

85. Чтение и произношение на уроках русского языка в связи с навыками родного языка, — «Вопросы преподавания русского языка в национальной школе взрослых», вып. 2, М., 1928, стр. 31—43.

86. Русский язык сегодняшнего дня, — журн. «Литература и марксизм», 1928, кн. 4, стр. 167—180.

87. Специфические особенности последнего десятилетия 1917—1927 в истории нашей лингвистической мысли. (Вместо предисловия), — «Ученые записки Института языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук [РАНИОН]», т. III, М., 1928, стр. 3—9.

88. [Рец. на кн.] Н. И. Конрад, «Японская литература в образцах и очерках» (т. I), — журн. «Новый Восток», кн. 20—21, М., [1928], стр. 483—485.

89. [Рец. на] А. Саади. Педагогические мысли Востока. Опыт исследования, — «Революционный Восток», М., 1928, № 3, стр. 137.

90. [Рец. на] А. Селищев. Язык революционной эпохи, — «Родной язык и литература в трудовой школе», М., 1928, № 3, стр. 135—138.

91. Выступление на заседаниях по унификации алфавита пленума Всесоюзного ЦК по проведению Нового Тюркского Алфавита, — «Культура и письменность Востока», кн. 1, М., 1928, стр. 120, 124, 125, 127, 129, 130, 133.

92. План преподавания родного языка. На сентябрь 1928—29 учебного года (Для турецких кружков), — издание КУТВ, М., 1928, стр. 10.

93. [Выступления] — «Стенографический отчет третьего пленума Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского алфавита, заседавшего в Казани от 18-го по 23-е декабря 1928 г.», Казань, 1928, стр. 132—134, стр. 158—159.

93^a. *Exemples de parlars iranisés de la langue uzbek*, — «II Concilio», fol. 1928, p. 92—96.

94. *Exemples de parlars iranisés de la langue uzbek*. II, — «II Concilio», fol. 1928, p. 306—312.

1929 г.

94^a. *Круг очередных проблем современной лингвистики*, — «Русский язык в советской школе», М., 1929, № 1, стр. 57—62.

95. Образцы не-иранизованных (сингармонических) гово-

ров узбекского языка. I. Говор города Туркестана. II. Фонетическая система говора кишлака Икан (Туркестанский уезд), — «Известия Академии наук СССР», Серия VII, Отделение гуманитарных наук, 1929, № 7, стр. 511—537.

96. Одно из доказательств общности происхождения арабского и европейского алфавитов, — «Культура и письменность Востока», кн. V, Баку, 1929, стр. 35—50.

97. [Выступления] — «Стенографический отчет второго пленума Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита, заседавшего в г. Ташкенте с 7 по 12 января 1928 г.», Баку, 1929, стр. 46—47, 96—99, 178—182.

98. Речь на научно-орфографической конференции, — «Стенографический отчет научно-орфографической конференции, созванной 2—4 июня 1929 г.», Кзыл-Орда, 1929, стр. 102—109.

1930 г.

99. Грамматика современного китайского языка (совместно с А. И. Ивановым), — «Труды института востоковедения им. Н. Н. Нариманова», т. XV, М., 1930, 304 стр. [В этой книге Поливанову принадлежат следующие разделы: «Вводные замечания» (стр. 3—33), «Фонетика» (стр. 145—198), «Морфология» (стр. 199—264)].

100. Грамматика японского разговорного языка (совместно с О. В. Плетнером) — «Труды Московского института востоковедения им. Н. Н. Нариманова, XIV», М., 1930, XXXV, 189 стр. [В этой книге Поливанову принадлежат следующие разделы: «Введение» (стр. V—XIII), «Морфология словоизменения» (стр. XV—XXXV), «Фонетика» (стр. 144—176)].

101. Аббревиатура, — «Литературная энциклопедия», т. 1, [М.], 1930, ст. 8—9.

102. Абхазская литература, — «Литературная энциклопедия», т. 1, [М.], 1930, ст. 16—18.

103. Акцентуация, — «Литературная энциклопедия», т. 1, [М.], 1930, ст. 85—88.

104. Албанский язык, — «Литературная энциклопедия», т. 1, [М.], 1930, ст. 90.

105. Аллитерация, — «Литературная энциклопедия», т. 1, [М.], 1930, ст. 96—97.

106. Давыдов Д. В., — «Литературная энциклопедия», т. III, [М.], 1930, ст. 130—131.

107. Новоармянская литература, — «Литературная энциклопедия», т. 1, [М.], 1930, ст. 245—252. [В статье: Армянская литература].

108. О гольдах. (Очерк), — в кн.: В. Ошанин, Стойбище Оймеконск, роман, М.—Л., 1930, стр. 215—230.

109. *Образчик самаркандско-таджикской речи*, — «Научная мысль», 1, Самарканд — Ташкент, 1930, стр. 25—28.

110. *Экономические факторы в развитии языка* (совместно с К. Рамазановым, на узбекском языке), — «Элэнга», 1930, № 3, стр. 9—10; № 5—6, стр. 35—37.

1931 г.

111. *За марксистское языкознание* (Сборник популярных лингвистических статей), М., 1931, 184 стр. [Содержание сборника: Вместо предисловия (стр. 3—9); Историческое языкознание и языковая политика (стр. 10—35); Где лежат причины языковой эволюции? (стр. 36—53); Русский язык как предмет грамматического описания (стр. 54—66); Иностранная терминология как элемент преподавания русского языка (стр. 67—72); Революция и литературные языки Союза ССР (стр. 73—94); Основные формы графической революции в турецких письменностях СССР (стр. 95—116); О фонетических признаках социально-групповых диалектов и в частности русского стандартного языка (стр. 117—138); Фонетика интеллигентского языка (стр. 139—151); Стук по блату (стр. 152—160); О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции (стр. 161—172); И математика может быть полезной... (стр. 173—181)].

112. *Историко-фонетический очерк японского консонантизма*, — «Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», Лингвистическая секция, т. 4, М., 1931, стр. 147—188.

113. *Казак-найманский говор*, — «Известия АН СССР», 1931, № 1, стр. 93—111.

114. *Корейский язык*, — «Литературная энциклопедия», т. 5, [М.], 1931, ст. 469—471.

115. *Японский язык*, — БСЭ (1-е изд.), т. 65, М., 1931, стр. 730—736.

116. *La perception des sons d'une langue étrangère*, — «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, Prague, 1931, стр. 79—96.

1932 г.

117. [Рец. на] R. Jakobson, *Rémarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves*, — «Slavia», ч. XI, 1, 1932, стр. 141—146.

117^a. *Rôle sémantique de l'accentuation*, — «Archives néerland. de phonétique expérimentale», vol. 8/9, 1932, стр. 262.

1933 г.

118. *Некоторые фонетические особенности кара-калпакского языка*, — «Труды Хорезмской экспедиции», Ташкент, 1933, 27 стр.

119. *Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком*, Ташкент, 1933, 182 стр.

120. *Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. (К современной стадии узбекского языкового строительства)*, [Ташкент], 1933, 45 стр.

1934 г.

121. *Вопросы туземно-еврейского литературного языка*. [на бухарско-еврейском языке], Ташкент, 1934, 36 стр.

122. *Говор кишлака Кыят-Конграт Шаватского района (в Хорезме)*, — «Сборник научных трудов [Узб. НИИ культурного строительства]», 1, 2, («Труды лингвистического сектора»), Ташкент, 1934, стр. 3—17.

123. *Гомер персидской литературы (Фирдауси как автор «Шах-намэ»)*, — «Революция и культура в Средней Азии», 1, Ташкент, 1934, стр. 96—105.

124. *К этимологии турецкого уј, ој 'дом, юрта'* — «Сборник научных трудов [Узб. НИИ культурного строительства]», 1, 2 («Труды лингвистического сектора»), Ташкент, 1934, стр. 85—88.

125. [Рец. на:] *G. Jarring, Studien zu einer osttürkischen Lautlehre*, — «Советская наука и техника», 1934, № 1—2, стр. 147—154.

1935 г.

126. *Грамматика дунганского языка. Учебник для начальных школ* [совместно с Ю. Яншансином], ч. I для начальной школы, Фрунзе, 1935, 66 стр. [на дунганском яз.].

127. *Материалы по грамматике узбекского языка*, вып. 1. Введение, Ташкент, 1935, 48 стр. [с приложением схемы классификации узбекских говоров].

128. *Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам*, ч. 1, Ташкент—Самарканд, 1935, 91 стр.

129. [Перевод] Я. Шиваза, *Судьба Мэй ян цзы*. Перевели с дунганского Б. и Е. Поливановы, Ташкент, 1935.

1936 г.

130. *Грамматика дунганского языка. Учебник для начальных школ* (совместно с Ю. Яншансином), ч. II для III—IV классов, Фрунзе, 1936, 76 стр. [на дунганском яз.].

131. *Манас*, — газ. «Литературная Киргизия», 16. II. 1936.
132. *Zur Frage der Betonungsfunktionen*, — «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 6, 1936, стр. 75—81.
133. [Перевод] *Песня об убитых коммунистах*, — газ. «Литературная Киргизия», 16. II. 1936 г.

1937 г.

134. *Дополнительные предложения профессора Е. Поливанова к проекту дунганской орфографии*, — «Вопросы орфографии дунганского языка», Фрунзе, 1937, стр. 25—29.
135. *Музыкальное слогаударение, или «тоны» дунганского языка*, — сб. «Вопросы орфографии дунганского языка», Фрунзе, 1937, стр. 41—58.
136. *О трех принципах построения орфографии*, — сб. «Вопросы орфографии дунганского языка», Фрунзе, 1937, стр. 59—71.
137. *Фонологическая система ганьсуйского наречия дунганского языка*, — «Вопросы орфографии дунганского языка», Фрунзе, 1937, стр. 30—40.
138. *A propos d'un mot indo-européen de provenance chinoise* (t) sū-s <ancien chinois* ču 'cachon'*, — «Archiv Orientalní», vol. IX, Praha, № 3, 1937, стр. 405—406.

Посмертные издания

139. *Фонетические конвергенции*, — ВЯ, 1957, № 3, стр. 77—83. [Перепечатка работы № 28].
140. *Категории согласных в японском языке*, — «Японский лингвистический сборник», М., 1959, стр. 17—34.
141. *Предварительное сообщение об этимологическом словаре японского языка*, — «Проблемы востоковедения», 1960, № 3, стр. 174—184.
142. «Словарь лингвистических терминов» Е. Д. Поливанова, — ВЯ, 1960, № 4, стр. 112—125. [стр. 112—114 — вступительная заметка В. П. Григорьева. Стр. 114—125 — сокращенная публикация статей: Лингвистика, Сравнительная грамматика, Прометеидские языки, Литературный язык, Форма, Слово, Гибридизация, Ассоциация, Инкорпорация, Сингармонизм, Акусма].
143. *Историческое языкознание и языковая политика*, — в кн.: «История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях», ч. II, М., 1960, стр. 263—278. [Перепечатка соответствующей главы из работы № 111].
144. *Опыт частной методики преподавания русского языка*, ч. 1, изд. 2, Ташкент, 1961, 112 стр. [Стр. 3—18 — вступи-

тельная статья Е. Ф. Ваганова: *О книге проф. Е. Д. Поливанова «Опыт...»*]

145. *Стихотворение о китайских добровольцах*, — в кн. Г. Новогрудский и А. Дунаевский, *«По следам Пау. История одного литературного поиска»*, М., 1962.

146. *Общий фонетический принцип всякой поэтической техники*, — ВЯ, 1963, № 1, стр. 99—112. [Публикация и комментарии А. А. Леонтьева. Вступительная заметка — там же, стр. 96—98].

Важнейшие рукописи

А. В распоряжении редколлегии настоящего издания:

1. Тетрадь с отрывком работы об узбекском языке [пагинация 033—044, на обложке написано: 3-я тетрадь. Передано проф. А. А. Холодовичем (Ленинград)].

2. *Отличительные особенности туземно-еврейского языка (по сравнению с таджикскими говорами) как результат специфической экономической ситуации в прошлой истории туземно-еврейского коллектива*. [Машинопись, 36 стр. По-видимому, оригинал работы № 121. Передана доктором филол. наук В. А. Лившицем (Ленинград)].

Б. В Архиве АН СССР (Москва):

1. *Словарь лингвистических терминов* [машинопись, 293 стр. См. статью В. П. Григорьева и его публикацию фрагментов из этого Словаря — № 142 и № 3 в списке литературы о Е. Д. Поливанове].

2. *О случаях деграмматикизации* [рукопись, 2 стр.]

В. В Архиве АН СССР (Ленинград):

1. *Мутационные изменения в звуковой истории языка* [машинопись, 36 стр. Печатается в наст. изд.].

2. *Еще о критериях единого слова* [рукопись, 27 стр. Две тетради № 7 и 8. Местонахождение остальных шести неизвестно].

3. *И.-е. *sū-s // др. китайское *śi 'свинья'* [(рукопись, 9 стр.). Ср. работу № 138, развернутым вариантом которой данная рукопись, по-видимому, является. Аналогичные материалы имеются в архиве Чешской Академии наук].

4. *К вопросу о происхождении среднеазиатско-еврейского языка* [машинопись, 57 стр.].

5. *Абхазский аналитический алфавит* [рукопись, 22 стр.]

Г. В Архиве Института народов Азии АН СССР (Ленинград):

1. *Краткая характеристика ходжентского говора таджикского языка* [рукопись, 10+7 стр., совместно с Б. Виноградовым].

Д. В Архиве АН Кирг. ССР (Фрунзе):

1. *Главнейшие особенности дунганского языка* [машинопись, 252 стр.].

2. *Грамматика дунганского языка, ч. II.* [Машинопись, 26 стр.].

3. *Из работ дунганской диалектологической экспедиции НИИКЯП, 1936 г.* [Машинопись, 22 стр.].

4. *Очерк дунганской диалектологии.* [Машинопись, 64 стр.].

5. *Отражение имени уйгур в китайском и дунганском слове.* [Машинопись, 3 стр.].

6. *Закон перехода количества в качество в процессах историко-фонетической эволюции.* [Машинопись, 28 стр. Печатается в наст. изд.]

7. *Лингвистические мелочи.* [Машинопись, 18 стр.]: а) *Дунганский суффикс множ. числа -mʷ-* [Печатается в наст. изд.]; б) *О приеме аллитерации в киргизской поэзии в связи с поэтической техникой и языковыми фактами других «алтайских» народностей.*

8. *Общелингвистический курс. Первая лекция* [машинопись, 8 стр.]

Кроме того, в архиве АН Кирг. ССР имеется еще ряд менее значительных работ и фрагментарных записей по киргизскому и дунганскому языкам, истории и этнографии.

Е. В Архиве Чехословацкой Академии наук:

1. *Русский литературный язык в революционную эпоху.* [Машинопись, 58 стр.], а также ряд отдельных записей, связанных по теме с данной работой.

2. *По поводу эмбриональных явлений сингармонистического характера в айнском языке* [рукопись, 10 стр. Ср. также фрагментарные заметки по айнскому языку, хранящиеся в ЦГАЛИ (Москва)].

3. *Историческая мотивировка своеобразной акцентуации эрзя-мордовского языка* [рукопись, 5 стр.].

4. *Две главы из систематической описательной грамматики эрзя-мордовского языка* [(рукопись). Совместно с А. П. Рябовым].

5. *Краткая фонетика японского языка* [имеется ряд вариантов, а также множество комментированных текстов на различных диалектах с переводом].

6. *Перечень согласных фонем ганджинского говора азербайджанского языка* [рукопись, 14 стр.].

7. *Рецензия на кн.: Р. Якобсон. К характеристике евразийского языкового союза.*

8. *Субъективный характер восприятий звуков языка.* [Машинопись, 28 стр. По-видимому, оригинал работы № 116. Печатается в наст. изд.].

9. *Фрагменты о яфетической теории* [корректурa, 7 стр.].

Кроме того, в том же архиве имеется большое число фрагментарных записей и материалов, а также несколько работ по тюркскому (в частности, узбекскому) языкознанию.

Редакция приносит благодарность проф. Вóдичке (Чехословакия) и проф. Р. О. Якобсону (США) за предоставленную возможность использовать материалы этого архива.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О Е. Д. ПОЛИВАНОВЕ (после 1957 г.).

1. Агапов П., *Дело № 2371. Новые документы о Е. Д. Поливанове*, — газ. «Правда Востока» (Ташкент), 13. IX. 1964. [Много неточностей. Приводимая фотография не принадлежит Е. Д. Поливанову].

2. Ваганов Е. Ф. *О книге проф. Е. Д. Поливанова «Опыт частной методики преподавания русского языка»*, — в кн. Е. Д. Поливанов, *Опыт частной методики преподавания русского языка*, ч. 1, изд. 2-е, Ташкент, 1961, стр. 3—18.

3. Григорьев В. П. *«Словарь лингвистических терминов» Е. Д. Поливанова*, — ВЯ, 1960, № 4, стр. 112—114.

4. Газ. «Самарканд университети», 16, IX. 1964, № 19 (207), посвященный Поливановской конференции в Самарканде.

5. Б. С. Зинин, *Он любил тебя, Узбекистан! (К 30-летию со дня смерти Е. Д. Поливанова)*, — газ. «Правда Востока», (Ташкент), 25. I. 1968.

6. Звегинцев В. А., *Советское языкознание в 20-е и 30-е годы*, — «История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях», ч. II, М., 1965, стр. 284—285.

7. Иванов Вяч. Вс., *Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*, — ВЯ, 1957, № 3, стр. 55—76.

8. *Из неопубликованного наследия Е. Д. Поливанова*, — ВЯ, 1963, № 1, стр. 96—98.

9. Кардашев М. С., *Воспоминания о Е. Д. Поливанове*, — «Вестник Каракалпакского филиала Академии наук Узбекской ССР», 1966, № 1, стр. 57—63.

10. Каверин В., *Неоткрытые дороги*, Собр. соч., т. 6, М., 1966, стр. 584—588.

11. Крысин Л., *«Поливановская конференция»*, — «Русский язык в школе», 1965, № 1, стр. 100—102.

12. Кунгуров Р., *Профессор Поливанов ва узбек тилшунослиги*, — газ. «Ленин йули» (Самарканд), 9. IX. 1964.

13. Леонтьев А., *Е. Д. Поливанов, его слово и слово о нем*, — газ. «Правда Востока» (Ташкент), 5. IX. 1964.

14. Леонтьев А. А., *И. А. Бодуэн де Куртэнэ и петербургская школа русской лингвистики*, — ВЯ, 1961, № 4, стр. 116—124.

15. Леонтьев А. А., Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе, — «Русский язык в национальной школе», 1966, № 2, стр. 55—60.

16. Леонтьев А. А., Хроникальные заметки [О поливановской конференции в Самарканде], — ВЯ, 1965, № 1, стр. 136—139.

17. Леонтьев А., Ройзензон Л., Хаютин А., «Поливановские чтения», — газ. «Ленинский путь» (Самарканд), 19. IX. 1964.

18. Леонтьев А., Ройзензон Л. и Хаютин А., Жизнь и труд Е. Д. Поливанова, — газ. «Правда Востока» (Ташкент), 22. IX. 1964.

19. Материалы конференции «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова», т. I. Тезисы докладов и сообщений межвузовской лингвистической конференции 9—15 сентября 1964 г., Самарканд, 1964, 287 стр.

20. Мухин А. М., Е. Д. Поливанов как выдающийся представитель ленинградской лингвистической школы, — «Материалы всесоюзной конференции по общему языкознанию „Основные проблемы эволюции языка“», ч. I. Самарканд, 1966, стр. 60—62.

21. Новогрудский Г. и Дунаевский А., По следам Пау, М., 1962, стр. 75—78, 233—234.

22. Они знали Е. Д. Поливанова, — газ. «Ленинский путь» (Самарканд), 19. IX. 1964.

23. Ройзензон Л., Поливановская конференция в Самарканде, — «Русский язык в национальной школе», 1965, № 1, стр. 84—87.

24. Ройзензон Л. И. и Турсунов У. Т., Е. Д. Поливанов и вопросы эволюции языка, — «Материалы всесоюзной конференции по общему языкознанию „Основные проблемы эволюции языка“», ч. I, Самарканд, 1966, стр. 63—68.

25. Ройзензон Л., Хаютин А., Замечательный советский ученый, — газ. «Ленинский путь» (Самарканд), 9. IX. 1964.

26. Ройзензон Л., Хаютин А., «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова». Межвузовская конференция в Самарканде, — «Русский язык в узбекской школе», 1964, № 6, стр. 26—33.

27. Сонкин Мих., Ключи от бронированных комнат, М., 1966, стр. 27—32.

28. Тихонов А., Кунгуров Р., Хужаев Т., Поливанов конференцияси, — газ. «Ленин йули» (Самарканд), 28. VIII. 1964.

29. Форум лингвистов, — газ. «Ленинский путь» (Самарканд), 11. IX. 1964.

30. Шкловский В., Жили-были... О времени — не о себе. — Воспоминания Мемуары. Записки, М., 1966, стр. 173.

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

•

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 1917—1927 В ИСТОРИИ НАШЕЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

I

Революционный сдвиг, обнаружившийся во всех общественных дисциплинах советской науки, констатируется, разумеется, и в области лингвистики, выражаясь прежде всего в усвоении частью наших лингвистов марксистского мировоззрения и марксистских методов исследования. Правда, в такой точной науке, какой является лингвистика, не может быть речи об отмене всех сделанных этой наукой и, в частности, сравнительным языкознанием достижений — потому, дескать, что они не удовлетворяют марксистской точке зрения. Наоборот, можно сказать противное: в лингвистике (по крайней мере в том запасе лингвистических достижений, который был представлен работами лучших наших лингвистов начала XX в.) нет утверждений, противоречащих марксизму — точно так же, как например, и в области математики, математической физики, ботаники и т. д.: те результаты, которые добыты лингвистикой как наукой естественноисторической, остаются в полной мере приемлемыми и для представителя марксистского мировоззрения. Следовательно, не в этом состоит неудовлетворительность лингвистики дореволюционного периода, с нашей точки зрения — не в ошибочности ее положений как науки естественноисторической: добытые ею факты остаются фактами и для марксиста. Беда в том, что в работах лингвистов предыдущего поколения лингвистика была исключительно или почти исключительно наукой естественноисторической; было забываемо, что наука о языке в то же время должна быть наукой социологической. Вернее, это было забываемо не в теории, а на практике, — ибо, конечно, корифеям нашего языкознания (в дореволюционный период) не приходило в голову отрицать то, что язык, нуждаясь для своего обнаруживания в ряде физических, физиологических и индивидуально-психологических (т. е. в конечном счете опять-таки сводящихся на физиологические) моментов, есть в то же время явление социальное — достояние и орудие

борьбы определенного общественного коллектива, объединенного кооперативными потребностями. Это не отрицалось, но забывалось на деле — в самом процессе творческой работы, которая была направлена именно на физические, физиологические и индивидуально-психологические явления языкового процесса, тогда как социальная его сторона на деле оставлялась почти без внимания. Вот почему революционный сдвиг в сторону марксистской методологии должен осуществляться здесь не в виде похоронного шествия за гробом естественноисторического языкознания и добытой им конкретной истории языков, а в построении новых отделов — языкознания социологического, которое сольет в стройное прагматическое целое конкретные факты языковой эволюции с эволюцией (т. е. историей) общественных форм и конкретных общественных организмов. Вот почему здесь нельзя игнорировать лингвистическую культуру, созданную предшествующими поколениями, нельзя не знать установленных ею фактов, как и методов, позволяющих убедиться в математически точной доказанности этих фактов, и более чем необходимо помнить слова Владимира Ильича: «...только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру» («Задачи союзов молодежи»).

II

В задачу настоящей статьи не входит подведение итогов лингвистической работы в СССР за истекшее десятилетие: простой перечень наиболее существенных из разрабатывавшихся за это время проблем, а тем более перечень работ, изданных или подготовленных к печати отдельными лингвистами, потребовали бы статьи гораздо большего размера. Я постараюсь здесь лишь отметить те основные особенности, которыми истекшее десятилетие отличается от предшествующих этапов в истории нашей лингвистики.

Первая, существеннейшая особенность — в самом содержании лингвистических работ за последние 10 лет — уже была отмечена. Это — перенос центра тяжести на социологическую сторону в изучении языка. Внешним образом об этом говорят уже сами заглавия вышедших в последние годы работ, например из работ членов нашей Секции — «Язык и общество» (книжка Р. О. Шор), «Язык как социальное явление» (статья проф. М. Н. Петерсона в «Ученых записках Научно-исследовательского института языка и литературы») и т. д. и т. д.

Кроме работ по общим вопросам ту же устремленность в сторону социальных моментов жизни языка мы найдем в

ряде трудов, посвященных описанию отдельных языков и диалектов, в области русской диалектологии, например, у проф. Н. М. Каринского и Г. К. Данилова, оперирующих уже не только с территориальными, но и классовыми диалектами. Наконец, не могла не привлечь к себе широкого внимания частная тема — о влиянии политических сдвигов на эволюцию языка и, в частности, о влиянии Октябрьской революции на современный русский язык и прочие языки СССР (сюда относятся, например, книга проф. А. М. Селищева «Язык революционной эпохи», несколько статей проф. Поливанова в «Революционном Востоке» и других органах и ряд работ различных авторов, посвященных, например, влиянию революции на язык немцев Поволжья, на мордовский язык, на турецкие языки Союза и т. д. и т. д.). На очереди стоит планомерная организация коллективного сбора материалов по массовому языку современного рабочего в связи с другими общественно-групповыми диалектами.

Итак, революция в области лингвистики выразилась у нас прежде всего в появлении новых — именно социологических тем и задач исследования.

Вторая особенность рассматриваемой эпохи состоит в создании твердой целевой установки для научно-исследовательской работы наших лингвистов. Казалось бы, из представителей всех научных специальностей в старое время именно лингвисты рисовались в массовых представлениях как люди наиболее оторванные от реальной жизни и ее потребностей, занятые в своих кабинетах какими-то никому не нужными греческими и санскритскими корнями и настолько далекие от практических нужд народных, что дико было даже задавать вопрос о той пользе, которую они непосредственно могли бы принести трудовому населению. В смысле отхода от реальной жизни выбрать своей специальностью лингвистику — это было почти то же, что постричься в монахи.

Теперь перед нами открыта широкая возможность прямого приложения наших знаний и нашей энергии. Теперь, когда десятки национальностей Союза строят свои национальные письменности, вырабатывают литературные языки и организуют местное краеведение, лингвисты получили не только возможность, но и обязанность участвовать в этом строительстве национальных языковых культур, участвовать, конечно, не только в роли пассивного наблюдателя и регистратора свершающихся фактов, а, наоборот, самым активным образом. Для этого-то у нас и есть специальная подготовка по данным вопросам.

Достаточно указать на один (из ряда многих) пример: Всесоюзный центральный комитет Нового тюркского алфавита привлек к работам I Туркологического съезда (в феврале

1926 г.) целый ряд представителей лингвистики, часть которых не прерывает деятельного контакта с Комитетом и после этого съезда, участвуя и на I Пленуме в июне 1927 г. и на II Пленуме в январе 1928 г. и выполняя для Комитета ряд литературных заданий. Я мог бы взять и другие примеры, но этот случай уже достаточно говорит нам о том, что народы СССР ценят работу лингвистов и готовы обратиться к ним за советом в деле создания своей графической и языковой культуры.

Третья особенность — это переворот в самих кадрах научных работников. Правда, состав наших старших товарищей, конечно, тот же, что был и десять лет тому назад. Но зато молодежь уже не та, которую можно было видеть в университетах царского времени. В то время, когда университетское образование вообще и лингвистическое в частности было лишь достоянием господствовавшего класса и господствовавшей (русской) национальности, разве могли получить нужную для лингвистической работы выучку представители так называвшихся «инородческих народностей»? А теперь они идут к нам учиться, заполняя кадры аспирантов РАНИОНа, из всех углов Союза: и от финских народностей Поволжья и чувашей, и с Кавказа, и из глубин Средней Азии, и из далекой Якутии. В связи с этим вырабатывается новый тип работ по языкам наших нацменьшинств — работ, в которых представитель описываемого языка является не только объектом, но и субъектом (т. е. автором) данного исследования. А насколько это оказывается плодотворным в смысле широты кругозора и количества вовлекаемого в описание материала — об этом легко составит себе представление всякий научный работник. Между прочим, целый ряд подобного рода работ заготовлен для печати в Научно-исследовательском институте народов Востока, входящем в РАНИОН.

Остается указать четвертую — на этот раз печальную — особенность минувшего десятилетия нашей науки. Оставленная нам войной разруха полиграфического производства обусловила невозможность печатания лингвистических работ в первые годы революции и большую ограниченность издательских возможностей в последующие годы.

Правда, русские лингвисты всегда отличались тем, что большая часть сделанных ими открытий оставалась в рукописях или даже в черновых набросках. Достаточно указать классические примеры Ф. Ф. Фортунатова и особенно И. А. Бодуэна де Куртенэ, достижения которого полностью могли быть известными разве лишь непосредственным ученикам его: большая часть осталась неопубликованной, да и опубликованное разбросано в сотне статей в самых различных органах на четырех языках. И вот в результате, когда

теперь в Германии начинают только нащупывать — в порядке предварительных изысканий — ту почву, которая давно вспахана лингвистическим плугом Бодуэна, мы, к сожалению, не можем указать крупного печатного труда, где были бы подведены итоги его основных вкладов в науку.

За истекшее же десятилетие у всех нас были объективные причины того, что из сделанного могла быть опубликованной только самая незначительная часть. А между тем у нас, в СССР, за это время было поставлено, а отчасти и разрешено много совершенно новых для Запада проблем, что вполне оправдывает то любопытство или, вернее, пытливую любознательность, с которой западные лингвисты смотрят на происходящую у нас работу (сошлюсь хотя бы на ряд писем, получаемых от научных работников Запада, да и Востока, в частности Японии, с вопросами по отдельным лингвистическим темам, разрабатывавшимся у нас за последние годы).

Из числа компаративных проблем назову, например, 1) сравнительную грамматику «алтайских» языков, созданную нашими монголистами профессорами Н. Н. Поппе и Б. Я. Владимирцовым вместе с шведским ученым Рамstedтом, 2) теорию финской этнической подпочвы германцев, с которой выступил проф. Д. В. Бубрих, 3) проблему родственных отношений баскского языка, которой занят проф. Н. Ф. Яковлев, 4) проблемы японо-малайского и корейско-алтайского родства, затронутые в некоторых моих статьях. В области описательного языкознания и, в частности, фонетики — ряд методологических достижений у проф. Л. В. Щербы (его «Восточно-лужицкое наречие» не перестает служить образцовым описанием живого диалекта), в области синтаксиса — работы покойного акад. А. А. Шахматова, Пешковского, Петерсона. Ряд авторов работает над теорией эволюции языка, имея в виду сочетать достижения казанской школы (Бодуэна де Куртенэ) с принципами социологического исследования, и еще более значительный круг работников (во главе с акад. Н. Я. Марром) исследует живые языки национальностей СССР, участвуя вместе с тем в практических мероприятиях по национальным письменностям (назову хотя бы работу проф. М. В. Сергиевского по цыганскому языку, содержащую проект алфавита для цыганской письменности).

Но от дальнейшего упоминания отдельных работ (примеры которых легко можно было бы удешевить по большинству вышеназванных пунктов) приходится отказаться: несмотря на неблагоприятные условия опубликования, перечень одних напечатанных статей (не говоря уже о готовых к печати и служивших предметом доклада) потребовал бы рамок отдельной библиографической статьи.

И во всяком случае можно сделать бесспорный вывод,

что наша продукция не только изменилась качественно (о чем я говорил уже выше), но и возросла количественно — в связи с изменившимися после революции условиями и целями работы. Остается лишь пожелать, чтобы последующее десятилетие, с его улучшением издательских возможностей, заполнило бы тот пробел в опубликовании лингвистических работ, который был неизбежен в тяжелые годы войны и блокады.

ФАКТОРЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКА КАК ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

1. ОБЗОР ПРОЦЕССОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ В ЭПОХИ НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

I

В основе излагаемой здесь мотивировки эволюционного процесса в языке (и в частности — в звуковой его стороне) лежит понимание языка как трудовой деятельности, имеющей целью коммуникацию между членами данного (объединяемого языковым признаком) коллектива. Таким образом, явления языка, т. е. речевого общения, становятся в один ряд с такими видами человеческой деятельности, как письмо, сигнализация, радиотелеграфия и т. д. Целевая установка, т. е. то, для чего и ради чего язык существует, — это именно лишь коммуникация, необходимая для связанного кооперативными потребностями коллектива. Все же остальные случаи применения языка — вне целей коммуникации, как то: песня, монолог, бредовая речь — могут рассматриваться, как явления вторичные (представляющие собою не то, для чего существует и усваивается каждым индивидуальным мышлением языковая система, а лишь окказиональное применение этой системы), и их незачем иметь в виду в вопросе об эволюции языка. В чем содержание этого трудового процесса (т. е. в чем именно состоит трудовая деятельность в языке) и в чем особенность этого трудового процесса с точки зрения задач и материала?

Прежде всего нужно указать на необходимость различать два совершенно различных процесса: 1) работу над усвоением языка, производимую (в нормальных условиях) индивидуальным мышлением в детском возрасте, и 2) фонационную, слуховую и мыслительную деятельность во время речевого обмена (в связи с чем можно рассматривать и явления «внутренней речи», т. е. мышление языковыми образами или словами).

В эволюции языка имеют значение оба этих вида трудовой деятельности, однако значение неравномерное и принципиально различное для того и другого вида.

Что же касается задания, имеющегося в виду в том и в другом случае (в процессе обучения языку и в процессе речевой коммуникации), то процесс обучения языку можно — с этой точки зрения — сравнить не с такими производственными процессами, где формы выявления творчества свободны, а наоборот — с процессами типа «копирования»: задачей ребенка (в усвоении материнского языка) является копирование определенной модели (языковой системы старшего поколения), хотя тут же необходимо отметить: 1) что степень требуемой при этом копировании точности бывает ограниченной (т. е. допускается возможность и известных отхождений от оригинала — в чем, в сущности, и открывается свобода творческой деятельности, — допускается в тех пределах, поскольку различия копии от оригинала не приведут к трудностям взаимного понимания при коммуникации), 2) что кроме этой модели (языка старшего поколения) существует вторая модель в виде языка сверстников, корректирующая сделанные от копируемого оригинала (языка старших) уклонения и обуславливающая, следовательно, лишь коллективный характер вносимого младшим поколением творчества, т. е. приходящихся на данное поколение языковых новшеств (что диктуется потребностью коммуникации, а следовательно, и единства коммуникационных средств [т. е. языковой системы] внутри младшего поколения).

Думается, что именно наличие второй модели (языка сверстников) и способствует эволюции, так как благодаря ей канонизируются (признаются законными) те новшества, которые осуществлены в индивидуальной работе отдельных детей данного поколения (в их копировании языка взрослых); иначе, если бы модель была только одна, эти индивидуальные новшества со временем были бы изживаемы¹ в угоду этой модели. Тут же они встречают поддержку в параллелизме тех же новшеств у других детей того же поколения, а значит, выдерживают пробу с точки зрения социальной их значимости²; эти новшества так же, как и правильно скопированные (всеми детьми) черты языковой системы, дают единство языку данной группы (младшему поколению данного коллек-

¹ Как изживаются те индивидуальные новшества (или дефекты), которые появляются у одного или у некоторых лиц, т. е. у меньшинства детей данного поколения.

² Ребенок, усвоивший язык старшего поколения с известным «дефектом» (с точки зрения старшего поколения), на примере своих сверстников, обладающих тем же «дефектом», убеждается, что его речевая система (с данным дефектом) вовсе не является дефективной, так как никаких затруднений (в виде непонимания или насмешек над неправильностью речи) в коммуникации со своими сверстниками он не встречает; дефект получает социальное оправдание — в порядке плебисцита, а этим может парализоваться значение первой модели (языка старших).

тива), а значит, получают социальное оправдание, так как в пределах данного младшего поколения они не могут вредить основной цели языка — коммуникации (между сверстниками).

Конечно, это относится только к тем новшествам, которые параллельно осуществлены (более или менее значительным) большинством детей данного поколения; в противном случае «дефект», т. е. новшество, — и под давлением старшего поколения, и под давлением большинства чуждых данному дефекту сверстников — в конце концов изживается, или же сохраняется в виде индивидуальной аномалии³. Кстати замечу, что если коммуникация ребенка со сверстниками направлена к принципиально иным результатам (языковой эволюции), чем коммуникация со старшим поколением (родителями и т. д.), то априорно можно сделать вывод, что ход (точнее темп) языковой эволюции будет в известной мере зависеть от различных форм детского быта (воспитания группового или, наоборот, замкнутого в семейной ячейке). Но вопрос этот можно разрешить, разумеется, лишь апостериорно — из фактического материала.

Каково же задание второго из вышеназванных вида трудовой деятельности — речи как таковой и, в частности, фонационного (с сопутствующим ему мыслительным) процесса?

Для нормальных (обыденных) условий речи, например диалога, приходится исключить из акта языкового мышления как такового творчество символа, долженствующего выразить известное внеязыковое представление: этот символ — «речение» по терминологии русских синтаксистов — оказывается уже готовым⁴ (например, говорящему не приходится в ответ на вопрос «Вы пили чай?» создавать [как нечто новое] фразу «Да, благодарю Вас». Эта фраза уже готова в ассортименте его словарного, фразеологического мышления как определенный, постоянный символ для выражения данной совокупности идей). Правда, в состав речевого процесса

³ Как, например, смешение *л* твердого [l] и *в* [v] у некоторых представителей русского языка (смешивающих, таким образом, *лодка* и *водка* и т. п.).

⁴ И в действительности мы увидим, что даже такой произвольный на первый взгляд выбор, как выбор порядка слов в русском словосочетании, на самом деле вовсе не составляет свободного творчества говорящего, а диктуется оттенками значения (т. е. второстепенными хотя бы различиями в той совокупности идей, которая выражается данной фразой): ср. русск. *сорок верст* и, с другой стороны, *верст сорок*. Иначе говоря, и тут определенный выбор (в составе символа) уже предопределен семантическим заданием и решение (выбор того или другого порядка слов) зависит не от творчества говорящего индивидуума, а от социально существующей системы языка.

(у лица говорящего) входит и предварительная, предшествующая фонации мыслительная работа (которая, в сущности, очень близка к обыкновенному мышлению, оперирующему [в числе других] речевыми образами, т. е. к «внутренней речи» или к «думанию словами»), состоящая в анализе (расчленении) коммуницируемой совокупности идей и в мобилизации соответствующих этому расчленению языковых ассоциаций (словарных и фразеологических). Это, конечно, очень важная часть речевого процесса, и я на ней не останавливаюсь только потому, что моя тема относится к фонетической лишь эволюции; для этого же важны лишь те психические явления, которые связаны с звуковой стороной речи; с последней же мы сталкиваемся на той стадии процесса, когда в мышлении созрело уже конкретное представление слова (или по крайней мере морфемы).

Итак, для нас важен акт самой фонации (и, с другой стороны, акт слышания или апперцепции). В чем же его задача?

Нормально она сводится к тому, чтобы вызвать соответствующую апперцепцию (у слушателя), т. е. создать акустический результат, достаточный для расслышания (и для узнавания слушателем) данного ряда символов, ассигнуя на это минимум рабочей энергии (но так, однако, чтобы от сокращения энергии не пострадало ни слышание, ни полное различие слышимого собеседником); и тогда, при наличии, конечно, способности слуха у собеседника и при тождестве языковой системы (у говорящего и слушающего), коммуникация будет достигнута. Из указанных здесь моментов задания не требуют особых пояснений ни требование достаточной силы, ни требование достаточной ясности фонации. Зато третий момент — экономия рабочей энергии — может вызвать сомнения: действительно ли он входит в задачу фонации?

Конечно, экономия до *minimum'a* (требуемой все-таки в достаточной для апперцепции мере) энергии не является абсолютным, безысключительным условием всякого случая говорения. Но все-таки мы можем считать ее типичной чертой нашей фонационной деятельности, а это и является для нас важным в смысле выводов о факторах эволюции языка.

И, с другой стороны, экономия энергии в пределах, обеспечивающих, однако, достижение результата (здесь — апперцепции, а значит, и коммуникации), есть типичная черта любой трудовой деятельности, имеющей определенное задание (ср. экономию графической энергии при письме — до тех пределов, однако, когда почерк становится нечитаемым).

Под экономией фонационной энергии можно понимать как экономию силы (например, силы голосового тона), так и сокращение (неполное осуществление вплоть до полной нулизации) отдельных артикуляций, так, наконец, и эконо-

мию времени, тратимого на фонацию данного комплекса. Нужно, однако, указать, что сокращение времени в известных только пределах является полезной экономией трудовой деятельности: очень быстрая речь, требующая в то же время нужной для апперцепции степени отчетливости, может быть более трудной задачей для говорящего, чем речь нормального темпа (независимо уже от того, что быстрый темп фонации обязывает к быстроте предварительной мыслительной работы).

Остается вопрос о материале обоих процессов. В процессе создания индивидуальной языковой системы (и, в частности, системы фонетической: совокупности дифференцируемых звукопредставлений) в период обучения языку материалом является:

1) копируемый материал — в виде апперцепции речи старшего поколения (а затем и речи сверстников);

2) общечеловеческие⁵ физиологические и психологические данные (органы произношения, психологические способности, например, звукоразличения, запоминания и т. д.).

В процессе же фонации готовым материалом являются: 1) выработанные в период обучения языку фонетические навыки — в виде системы простых и сложных фонетических представлений (к простым, или элементарным, относятся звукопредставления, к сложным — общие представления фонетических единиц высшего порядка: слога, слова и т. д.) и управляемых ими артикуляций; 2) существующие в социально принятой языковой системе (а значит, и в данном индивидуальном мышлении) представления слов и фраз, сполна разлагающиеся на вышеуказанные общие фонетические представления (звукопредставления и т. д.).

Аналогичным образом можно было бы проанализировать и состав противоположной — апперцепционной деятельности (слушающего). Но сказанного уже достаточно в качестве предпосылок к учению о факторах фонетической эволюции.

Для анализа механизма фонетической эволюции выгодно начать с примитивной в социологическом (и экономическом) отношении ситуации языкового развития, т. е. рассмотреть тот случай эволюции, который является типичным для эпох натурального хозяйства и характеризуется диалектиче-

⁵ Расовые особенности можно игнорировать; по крайней мере в конкретной истории разных языков нет достаточно явных признаков отражения антропологических — физиологических, например, отличий в эволюции языка [подробнее об этом — в моих «Лекциях по введению в языковедение для востоковедных вузов, 1»]. Это значит, что те языковые признаки, которые отличают языки той или другой расы, не являются ее органической принадлежностью.

ским дроблением первоначально единой⁶ языковой системы на ряд обособившихся диалектов (впоследствии языков) в связи с разложением данного коллектива на ряд новых, территориально и экономически обособленных коллективов. Переход к товарному хозяйству открывает возможность обратного по результатам процесса (который становится все более типичным по мере дальнейшего экономического развития) — «от многообразия к единообразию» в пределах нового расширенного коллектива, спаенного специфическими кооперативными потребностями. Механизм фонетической эволюции во втором случае («от многообразия к единообразию»), естественно, несколько модифицируется — в зависимости от объема исходного материала (несколько фонетических систем вместо одной)⁷, но «пружины» этого механизма, если так можно выразиться, остаются те же самые. Поэтому развития, характерные для эпох товарного хозяйства, следует ввиду их сложности анализировать отдельно, но на основании (и значит, после) того, что может быть выяснено (в механизме фонетической эволюции) для примитивного в экономическом отношении случая.

II

Изменения фонетические могут быть разделены на две принципиально различные категории:

1) изменения, происходящие в составе самой системы фонетических представлений, причем изменяется число элементов этой системы;

2) изменения в фонетическом составе отдельных слов (состоящих из последовательного ряда элементарных фонетических представлений) или в составе отдельного фонетического представления (одного из элементов системы), не затрагивающие общий состав и число элементов всей системы.

⁶ Это отнюдь не противоречит, конечно, тому давно- и общеизвестному положению, что вначале, т. е. в первые периоды существования речи, был не один, а много языков. Наличное в лингвистике понятие праязыка (пример: латинский язык — праязык романских языков) ничего общего не имеет с приматным языком. [И единственный случай типотетического праязыка, к которому приложимо и понятие приматного языка, это праязык, постулируемый яфетической теорией: *сал-бэр-ён-рош*].

⁷ Возможность гибридизации (или метисации) вовсе не исключена, однако, и в языковой эволюции в эпохи натурального хозяйства. Моя «теория конвергенций» не противопоставляет себя «теории этнической подпочвы»: где иноязычная «этническая подпочва» имела место, «теория конвергенций» должна учитывать — в качестве исходного материала эволюции (т. е. заслушиваемого младшим поколением материала) — обе системы (и «почвы» и «подпочвы»). Различие лишь количественное: в сложности исходного материала. Но для эпох товарного хозяйства эта сложность исходного материала является уже типичной чертой языковых развитий.

Как те, так и другие изменения происходят главным образом не в течение речевой практики одного и того же поколения (и, значит, одного и того же индивидуального мышления), а при переходе языка от поколения к поколению. Иначе говоря, различия эти в большинстве случаев сводятся к уклонениям, допускаемым младшим поколением при копировании им языковой системы старшего поколения.

При этом можно указать и то направление, в котором совершаются изменения обеих категорий.

Элементарные фонетические представления (существующие в языковом мышлении старшего поколения) не преподаются младшему поколению разложенными на блюде; оно должно строить свою систему фонетических представлений (фонем), отыскивая и отождествляя сходные (с своей точки зрения) элементы в составе постепенно заслушиваемых (из уст старших) и заучиваемых слов. В большинстве случаев отождествляются (в составе разных слов) — на правах разных случаев одного и того же звукопредставления (фонемы) — те же самые звуки, которые отождествлялись (т. е. принадлежали одной фонеме) и в мышлении старшего поколения. Но в известных случаях, когда имелись специальные объективные (физические) условия, процесс отождествления звуков (входящих в качестве элементов в разные слова) шел у младшего поколения по иной линии, чем в мышлении старшего поколения.

Тут открываются две возможности:

1. Два звукопредставления, бывших принципиально различными в языке старшего поколения, отождествляются младшим поколением. Назовем это явление фонетической конвергенцией.

2. Различные случаи одного и того же (с точки зрения старшего поколения) звукопредставления распределяются младшим поколением между двумя принципиально различными звукопредставлениями, благодаря чему, следовательно, число различаемых в языке звукопредставлений увеличивается. Условимся называть такого рода процессы (являющиеся, по существу, противоположными понятию фонетической конвергенции) фонетической дивергенцией.

Рассмотрим оба рода явлений отдельно.

Конвергенции

Условным обозначением конвергенции нам будет служить знак \times , помещаемый между символами смешиваемых звукопредставлений, которые будем называть конвергентами. Появляющееся же на месте обоих конвергентов единое звукопредставление (в мышлении младшего поколения) будем

называть рефлексом конвергенции, отмечая его знаком \rightarrow . Таким образом, общая формула конвергенции выразится в виде: $a \times b \rightarrow c$, где a и b конвергенты, а c — рефлекс.

Приведу некоторые примеры.

1-й пример. Догреческое $*k^w$ (в аттическом только не перед передними гласными) $\times p \rightarrow p$ ($=\pi$), например $\pi\acute{o}$ -τερος //лат. *quo*-// русск. *который* и т. д.; гомер. $\pi\acute{\iota}\sigma\upsilon\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ //лат. *quattuor*// русск. *четыре* и т. д.

В аттическом имела место и другая конвергенция: $*k^w$ смягченное (перед e, i), т. е. $*k^{w'}$, совпало с $*t$; следовательно, $*k^{w'} \times t \rightarrow t$ ($=\tau$), например $\tau\acute{\epsilon}\zeta\alpha\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ // *quattuor* // *четыре*// гомер. $\pi\acute{\iota}\sigma\upsilon\rho\acute{\epsilon}\varsigma$.

Аналогичные конвергенции мы найдем и в ряду соответствующих придыхательных и в ряду звонких: $*k^{w'} \times p$ (из и. - е. $*b^h \rightarrow p'$ ($=\varphi$), $*g^w \times b \rightarrow b$ ($=\beta$); аттич. $*k^{w'} \times t'$ (из и. - е. $*d^h \rightarrow t'$ ($=\theta$)).

Для объяснения первой из этих конвергенций ($*k^w \times p \rightarrow p$) достаточно указать: 1) на момент сходства как физиологического, так и акустического⁸ между обоими конвергентами (p и k^w — оба смычные, оба с губной работой и одинаковы по гортанной работе); 2) на то, что звук k^w (как и $k^{w'}$ и g^w) является трудным с общefonетической точки зрения, чем и предопределяется его историческая неустойчивость.

Для второй (уже диалектической) конвергенции ($k^{w'} [перед e, i] \times t \rightarrow t$) мотивировка сложнее. Эту конвергенцию трудно представить себе возможной без соупутствия первой конвергенции. И только рассматривая их обе вместе, можно найти объяснение и для второй.

Поскольку, ввиду комбинаторного влияния передних гласных (e, i), $*k^w$ уже стало (в аттическом) настолько отличаться в этой позиции ($*k^w e, *k^w i$) от k^w в других положениях, что не давало повода к акустическому сближению с p , оно должно было или уцелеть в виде особой фонемы ($k^{w'}$), или же войти в конвергенцию с каким-либо третьим звукопредставлением. Но поскольку k^w твердое уже исчезло (или исче-

⁸ В акустической близости k^w и p (а равным образом и g^w и b) я имел возможность убедиться во время моей работы над южнояпонскими говорами (обладающими звуками типа k^w, g^w [и даже $k^{w'}, g^{w'}$]). Записывая нагасакские диалектические тексты, я нередко воспринимал и даже записывал k^w как p , g^w как b . Те же ошибки встречались в восприятии этих южнояпонских звуков и у других русских. В этом факте, конечно, сказалось то обстоятельство, что k^w, g^w были принципиально чужды русским фонетическим навыкам (для японца же, когда я повторял *vasi* вместо *g^wasi* и т. п., это было такой же нелепостью, как если бы по-русски я стал говорить *пак* вместо *так*, *болго* вместо *долго* и т. д.), но несомненно для наших «ослышек» были и известные объективные акустические основания.

зало) из языка (заменяясь через p), в связи с чем число случаев k^w (остававшегося только перед e, i) сильно сократилось, было бы трудно рассчитывать, чтобы языковое мышление сохранило для этих оставшихся случаев особую фонему, да еще столь трудную (с общefonетической точки зрения), как k^w , да еще в тот момент, когда характерные особенности данной категории согласных (заднеязычных смычных лабиализованных) уже не воспринимались (младшим поколением), что видно из конвергенции $*k^w (o, a) \times *p \rightarrow p$. Итак, конвергенция уцелевших (в аттическом) от первой конвергенции случаев $k^w (=k^w')$ была неизбежна.

Остается мотивировать выбор второго конвергента, ставшего вместе с тем рефлексом конвергенции (т. е. уподобившего себе эти случаи $k^w = k^w'$). Если мы переберем состав греческого консонантизма соответствующей эпохи, мы найдем, что ближайшим по своему качеству к звуку k^w' согласным был именно $t (= \tau)$, как ни велико кажется объективное различие между k^w' и t с первого взгляда. Звук t был, конечно, гораздо более легким (объективно, т. е. с общefonетической точки зрения), чем k^w' , а потому он и заменил собою этот последний звук⁹.

2-й пример. Конвергенции, обусловившие переход $*sr \rightarrow fr$ -|- br в латинском языке (fr - в начале, $-br$ — внутри слова.) Примеры: *frigus* ← **srigos*, ср. греч. $\rho\acute{\iota}\gamma\omicron\varsigma$ (и далее латыш. *strēgele* и пр.); *membrum* ← **mensrom* из **memsrom*, ср. готск. *mimz*, прусск. *mensa*, русск. *мясо*; *consobrinus* ← **kon-suesrinos*, ср. **suesor* → *soror*, русск. *cec(m)pa*; *tenebrae* ← **temsrai*; ср. скр. *tamsrah*, лит. *timsras*, русск. *темный*.

¶ Переход этот является результатом следующих последовательных конвергенций:

1) $s (r) \times \theta \rightarrow \theta$ (= звук типа англ. *th* в *thin*);

2) $\theta \times f \rightarrow f$ (в позициях: в начале слова и внутри слова в группах $\theta r, r\theta$); за этим, для позиции внутри слова, имела место еще новая конвергенция:

3) $-f \times -b \rightarrow -b$.

Объясняются эти этапы эволюции следующим образом: в италийскую эпоху существовали следующие спиранты, служив-

⁹ Некоторым возражением против этого заключения может, казалось бы, служить пример исключительно редкого перехода $p' \rightarrow k^w'$ в одном из южнояпонских говоров (Нагасакского побережья), в слове $k^w'a:do\theta \leftarrow p'a:ro\theta$ (из китайского *бай-лун* 'белый дракон'). Но тут совершенно особые условия: p' краткое оказывается чрезвычайной редкостью для данных говоров (в независимой позиции, т. е. перед таким гласным, как a); являясь, следовательно, статистически аномальным звуковым представлением по сравнению с фонемой k^w' .

шие продолжением индо-европейских спирантов (*s) и спирантизации аспирианта (например, *b^h × *p^h, *d^h × *t^h и т. п.):

f (пример: *frāter* ← *b^h rātēr);

s (пример: *suesor → *soror*);

θ (пример: *θē-kai → *fēcī*, ср. греч. τιδιγμυι, арм. 1-е л. прош. вр. *edi*, др.-перс. 3-е л. *adā*, скр. *d^h ā-*);

x (откуда h, пример: *hortus*);

x^w (*ni^hx^witi → *ninguit*).

Указанные спиранты были по своей принципиальной характеристике глухими, но в то же время в древнейший период латинского языка аберрировали (именно в связи с отсутствием принципиально отличной от них категории звонких спирантов) между глухими и звонкими вариантами в зависимости от комбинаторных условий (именно озвонченный вариант появлялся внутри слова между двумя соседними звонкими звуками). Таким образом:

s → s/-z (откуда в дальнейшем дивергенция s и -z → -r, последнее, например, в *aurōra* ← *ausōsa*);

f → f/-v (откуда в дальнейшем, при определенном соседстве, переход -v → -b, например *albus*) и т. д.

Равным образом озвончалось внутри слова и θ (т. е. θ → δ), откуда δ затем совпало с d (т. е. δ × d → d), например *medius* (ср. скр. *mad^h ya-* ← *med^h iō-*).

К этой эпохе относится и первая из указанных конвергенций: s(r) × θ → θ, которую можно причислить к диссимилиации смежных звуков (sr → θr) и мотивировать общей для процессов этого рода причиной — стремлением предупредить ассимиляцию: не будь sr → θr, можно было бы ожидать sr → zr → rr (как при позднейшем сложении в *dirruere*) или же переход начального sr → r (ср. греч. *srigos → *rrigos → ρίγος). Дальнейшее развитие (θr → fr) обусловлено уже исторической неустойчивостью звука θ (иначе говоря, общefonетическими свойствами, делающими этот звук более трудным, чем другие, для перенимания одним поколением от другого), как и его озвонченного варианта δ, в силу чего это θ/δ подвергалось уподоблению или звуку f (конвергенция θ × f → f) или же звуку d (конвергенция δ × d → d). Одни из итальянских говоров произвели конвергенцию θ × f → f, куда вошла фонема θ полностью (и в начале и в конце слова), об этом свидетельствует, например, форма (оскского языка) *tefia-* вместо лат. *media*. В латинском же было учтено комбинаторное различие вариантов θ в начале и внутри слова, и произведена дифференциация их в виде двух разных конвергенций: интервокальное θ, точнее его озвонченный вариант δ, уподобился звуку d (т. е. соответствующему звонкому смычному), а начальное глухое θ — звуку f. Таким образом, *θē дало *fēcī* и *srigos → *frigus*.

Инлаутное θ в соседстве с r также уподобилось фонеме f , а не d ; но при этом как θ , так и f фигурировало в данной позиции в качестве озвонченного варианта (т. е. в виде δ , *resp.* v). Следовательно, с физиологической (а не психологической) точки зрения этот переход нужно формулировать так: $r\delta \rightarrow rv$ и $\delta r \rightarrow vr$. Примеры: $*b^h ard^h a \rightarrow *far\delta a \rightarrow *fa\gamma va$ 'борода', $*keres-ro-m \rightarrow *keredrom \rightarrow *kerevrom$ 'мозг'. Под $*v$ здесь разумеется, конечно, озвонченный вариант (оттенок) фонемы f (самостоятельной же фонемы v не существовало; был только губно-губной $w-u-i$ в латинской графике). Затем этот озвонченный вариант вступил в конвергенцию с ближайшим (сходным с ним по звонкости) представлением смычного b . Таким образом получились формы *barba* вместо $*farba$ ¹⁰ и *cerebrum*.

Участвующие в рассматриваемых (греческом и латинском) примерах конвергенции: $*k^w \times *p \rightarrow p$, $k^w \times t \rightarrow t$ (в аттическом), $\theta \times f \rightarrow f$ являются, однако, примерами одного типа конвергенций, — именно таких, где рефлекс совпадает (по качеству) с одним из конвергентов. Между тем возможны и другие типы с точки зрения классификации конвергенций по качественному соотношению между рефлексом и конвергентами. В моей работе «Из теории фонетических конвергенций» («Сборник в честь проф. А. Э. Шмидта», Ташкент, 1923 г.) я указывал на существование трех типов:

I. Конвергенции, в которых рефлекс равен одному из конвергентов.

Формула: условившись обозначать оба конвергента символами a и b , их естественные отражения в языке младшего поколения (которых мы могли бы ожидать в том случае, если бы конвергенции не было) через a_1 , b_1 и, наконец, рефлекс конвергенции через c , мы можем характеризовать данный (I) тип конвергенции следующей формулой: $a \rightarrow b_1 = c$, $b \rightarrow b_1 = c$. А так как уподобляющий конвергент (b) обычно может допускаться тождественным для обоих поколений (т. е. допуская равенство $b = b_1$), мы можем упростить эту формулу так:

$$a \rightarrow b = c$$

II а. Конвергенции, в которых рефлекс не равен ни одному из конвергентов, но комбинирует в своей (спонтанеической) характеристике моменты, унаследованные от качества каждого из конвергентов.

Формула: $a \rightarrow (a_1 + b_1) = c$; $b \rightarrow (b_1 + a_1) = c$

II б. Гибридный (производный от двух конвергентов) характер рефлекса обнаруживается не в постоянном (спонтанеическом) его качестве, а в комбинаторно-факультативной аберрации его вариантов между качествами обоих конвергентов. Формула: к типу II б применима та же формула, что и к типу II а

¹⁰ Начальное b в результате ассимиляции к b второго слога.

($a \rightarrow a_1 + b_1 = c$; $b \rightarrow b_1 + a_1 = c$), но так как признаки, входящие в характеристику рефлекса c (т. е. признаки a_1 и b_1), объединяются не в постоянном сочетании друг с другом, а в порядке взаимного чередования (т. е. один из комбинаторно-факультативных вариантов рефлекса будет близок к a_1 , а другой, наоборот, к b_1), то можно, употребив вместо плюса (+) знак чередования (!), видоизменить эту формулу так:

$$a \rightarrow (a_1 | b_1) = c; b \rightarrow (b_1 | a_1) = c$$

Нужно, однако, помнить, что вполне твердые границы между типами IIa и IIб неустановимы: даже в самом ярком примере типа IIa можно ожидать встретить зависимость качества конвергенции от комбинаторных условий [а также, может быть, известную возможность факультативной аберрации], и вполне естественно ожидать при этом, что один из комбинаторных [герср. факультативных] вариантов будет более приближаться к качеству одного, а другой к качеству другого конвергента.

Приведу по одному примеру на тип IIa и тип IIб.

IIa. Конвергенция общекитайских глухих и звонких смычных (включая аффрикаты) в соответствующих полувзвонких (в независимой позиции — в начале слова) фонемах мандаринского наречия (например, пекинского говора):

* $p \times *b \rightarrow$ пек. $^p b$ (b в русской транскр., p в европейской);

* $t \times *d \rightarrow$ пек. $^t d$ (d в русск. транскр., t в евр.);

* $c \times *z \rightarrow$ пек. $^t z$ ($цз$, dz в русск. транскр., ts в евр.);

* $\check{c} \times *\check{z} \rightarrow$ пек. $^t \check{z}$ ($чж$, $дж$ в русск. транскр., ch и т. п. в евр.);

$\acute{c} \times z' \rightarrow$ пек. $^t z'$ ($цз(u)$, $dz(u)$ в русск. транскр., $ch(\check{i}) k(i)$ в евр.);

* $\gamma \times *g \rightarrow$ пек. $^k g$ (z в русск. транскр., k в евр.).

[Параллельно этому произошла и конвергенция глухих и звонких спирантов, заместившихся глухими: * $f \times *v \rightarrow$ пек. f , * $s \times *z \rightarrow$ пек. s и т. д.].

Примечание. Осуществлению этой конвергенции способствовала очевидно, встреча китайского языка с иноязычной этнической подпочвой на севере Китая, которой было известно, следует предполагать, только двойное, а не тройное различие смычных не носовых (т. е. различие типа $t = t'$, а не $t-d-t'$, каковым было общекитайское различие, сохранившееся доньше в шанхайском). В частности, указанная конвергенция (типа $t \times d \rightarrow ^t d$, причем, следовательно, тройное различие типа $t-d-t'$ заменилось двойным $^t d-t'$) особенно хорошо объясняется, если мы допустим, что иноязычные аборигены Северного Китая обладали корейским типом консонантизма (с различием типа $t/d-t'$, где под t/d понимается фонема, осуществляющаяся в виде t в начале слова и в виде d между гласными). Допущение иноязычной подпочвы в виде повода к совершенно конвергенции

во всяком случае не вносит существенных изменений в нашу оценку этого процесса с точки зрения вышеуказанной классификации конвергенций: по отношению к конвергентам (*t, *d и т. п.) их результат, т. е. рефлекс конвергенции — в виде ^td занимает промежуточное положение, следовательно, здесь налицо гибридная конвергенция типа IIa.

IIб. Конвергенция *z (в слове *zu* ← *du) и *z (в слогах *zu, *za, *zo, *ze) в японском языке (в большинстве говоров), причем рефлексом является фонема *z* | *z*, осуществляющаяся в виде аффрикаты в начале слова и после носового, и в виде спيرانта *z* между гласными (при обыкновенном темпе речи; при старательном произношении и здесь будет произнесено *z*), например: **midu*¹ → *mizu* | *mizu* 'вода'; **zeni* → *zeni* 'деньги' (китайское заимствование древнейшего периода).

Отсутствие звукоразличения *z* — *z* обнаруживается, между прочим, и в том, что японцы, даже повторяя чужие слова (например, русские), невольно заменяют начальное *z* (*z*) через *z* (*dz*), например *dzuby* вместо *zuby* и т. д.

Рефлекс здесь тоже (как и в IIa) является гибридным, но это сказывается не в единичном произношении его, а в комбинаторно-факультативном чередовании двух его вариантов, один из которых унаследовал качество одного, а другой — качество другого конвергента.

Этими примерами конвергенций здесь можно и ограничиться (интересующиеся более подробным изложением найдут еще ряд примеров в указанной моей работе в «Сборнике в честь проф. А. Э. Шмидта»).

Теперь нужно спросить: каковы же поводы для того, чтобы младшее поколение допускало конвергенции того или другого типа при копировании языка старшего поколения? Из приведенных примеров уже ясно, что мотивы допущения конвергенции I типа должны быть иные, чем у конвергенции IIa и IIб.

В первом случае (при I типе) младшее поколение просто не усваивает одно из звукопредставлений из системы звукопредставлений старшего поколения (обычно в силу сравнительной трудности — с объективной, т. е. общefonетической точки зрения, что относится к таким конвергентам, как *k^w*, *ø*; но может быть — и в силу его статистической редкости) и просто заменяет его (в соответствующих словах) другим, уже усвоенным (обычно более легким [*p*, *f* или *d*]; или же более частым, т. е. статистически нормальным) звукопредставлением из той же системы.

Во втором же случае (при IIa и IIб) трудным является, видимо, не каждый из конвергентов сам по себе, а уловление различия между ними, почему и происходит принципиальное отождествление словарных случаев первого конвергента со словарными случаями второго. А раз такое отождествление совер-

шилось, то естественно, что характеристика рефлекса будет строиться (в уме младшего поколения) как из апперцепции случаев первого конвергента (в произношении старшего поколения), так и из апперцепции случаев второго.

В итоге мы подходим к тому взгляду на новшества, вносимые обучающимся языку поколением при конвергенционных процессах, какового мы и вправе были бы ожидать на основании предпосылки, гласящей, что обучение языку есть трудовая деятельность: младшее поколение осуществляет здесь (в конвергенционных явлениях) экономию своей психологической деятельности, или сокращение заданий своего трудового процесса (по сравнению с такой выучкой языка, которая во всех деталях, т. е. без конвергенций, скопировала бы фонетическую систему старшего поколения).

Эта экономия выражается в двух видах: 1) во-первых, из числа заданий выпускается задача усвоения трудного звукопредставления — трудного или по общefonетическим его свойствам¹¹, или же в силу статистической его редкости (в словаре данного языка), что имеет место при конвергенциях I типа; 2) или же опускается (т. е. просто не создается) задание дифференцировать два звукопредставления, различие которых — на общefonетических же основаниях — оказывается более трудным, чем другие звуко различия¹², что имеет место при конвергенциях IIa и IIb.

¹¹ Нужно, следовательно, допустить, что в числе типов звуков, представленных всевозможными языками, есть звуки: 1) с объективной точки зрения нормальные, легко доступные всякому ребенку [типичные примеры — *t, p, a, i*, с которых, собственно, и начинается консонантизм и вокализм (обучающегося ребенка) в языке; в моем докладе я прилагал к таким типам условное наименование «первофонемы»] и 2) объективно более трудные, позднее усваиваемые ребенком и в связи с этим часто входящие в конвергенции I типа (в роли уподобляемого конвергента), а следовательно — исторически неустойчивые, а значит, и редкие в составе звуковых систем *n*-го числа языков. Конечно, это положение требует апостериорного подтверждения на основании общefonетических данных. Но именно к такому (апостериорному) выводу я и склонен приходить на основании конкретного языкового материала. Разумеется, в настоящей статье это можно утверждать только голословно, так как изложение самого доказательства потребовало бы по крайней мере отдельной статьи, если не книги.

¹² И действительно, для китайского, например, случая, различие *p—b* является (особенно если мы допустим наличие в севернокитайском иноязычной подпочвы с фонетическими навыками корейского типа, т. е. с различием *p | b—p'*) гораздо более трудным, чем, например, различие *p—t* или *b—s* и т. п., и даже — более трудным, чем различие *p—p'*, если мы допустим, что этнической подпочве было присуще различие *p—p'*, а различие *p—b* было чуждо (как корейскому языку). Равным образом, есть возможность общefonетического утверждения, что в японском примере различие *zi—*zi* было более затруднительным, чем какое-либо другое различие согласных, и даже чем различие соответствующих глухих *si—si* (позволю себе не приводить здесь мотивировку этого утверждения, которая не представит для лингвиста-фонетика ничего нового).

Остается второй вид фонетических изменений, затрагивающих самый состав системы звукопредставлений.

Это — дивергенции, т. е. процессы, обратные конвергенциям и состоящие в том, что различные случаи одной и той же фонемы (с точки зрения языка старшего поколения) в мышлении младшего поколения дифференцируются, т. е. распределяются уже по двум различным звукопредставлениям (фонемам). Условным знаком для обозначения дивергенции я возьму знак \div , который буду помещать между дивергентами.

На первый взгляд казалось бы, что рассмотрение дивергенции должно внести существенно новое в нашу оценку эволюционной работы младшего поколения (построенную на основании рассмотрения конвергенций), ибо тут, казалось бы, налицо большая точность языкового мышления младшего поколения по сравнению со старшим, и значит, казалось бы, речи не может быть о сокращении психической деятельности (при усвоении языка).

Но это может казаться только при изолированном рассмотрении дивергенций — вне связи с другими эволюционными сдвигами, а между тем на самом деле дивергенции никогда без сопровождения другого новшества не осуществляются. Действительно, нельзя найти и представить себе такого случая, чтобы при всех прочих равных — со старшим поколением — условиях два комбинаторных оттенка фонемы X (допустим, неназализованный и назализованный оттенки фонемы a в русских словах *так* и *там*) стали бы вдруг различными фонемами в мышлении младшего поколения. Наоборот:

1) в громадной массе случаев дивергенция сопутствуется той или иной конвергенцией, и при этом диктуется ею. Например, в вышеприведенном греческом аттическом примере дивергенция $k^w(e, i) \div k^w(a, o)$ есть не что иное, как обратная сторона двух конвергенций: $*k^w \times p \rightarrow p$ и $*k^{w'} \times t \rightarrow t$. Поскольку должна была произойти первая из этих конвергенций, но комбинаторный вариант $k^w(e, i)$ в ней участвовать не мог, постольку была продиктована и дивергенция этого варианта (как и вторая конвергенция $k^{w'} \times t \rightarrow t$, о чем говорилось выше)¹³;

2) дивергенция может иметь место только тогда, когда налицо достаточное физическое расхождение дивергируемых вариантов. И в качестве почвы для дивергенции у нас есть основания допускать усиление физического момента в абберрации комбинаторных вариантов. В частности, это имеет место при усилении ассимилирующего влияния соседних с данным вариантами звуков: а это усиление естественно наблюдается

¹³ Есть, правда, некоторые явления (вроде японского $t + c$), где связь дивергенции с одновременной конвергенцией более отдаленная (конвергенция имеет место в рядах соответствующих звонких).

при ускорении темпа или вообще при уменьшении фонационной энергии. Тут может, следовательно, сыграть роль «изнашиваемость» слов в течение речевой практики индивидуумов старшего поколения (т. е. постепенная подстановка скороговорочных дублетов вместо фонации, идеально осуществляющей произносительное намерение). Иначе говоря, здесь мы встречаемся с общим моментом, характерным для фонетических изменений второго порядка (т. е. затрагивающих не состав элементов фонетической системы, а качество отдельных элементов). Здесь (при дивергенции) добавляется лишь то обстоятельство, что результат «изнашивания» слов (или, что то же, «изнашивание звуков в составе слов») закрепляется младшим поколением в виде осознания принципиального различия двух «по-разному изношенных» (в разных словах) вариантов.

И такое различие двух звуков, по существу, с точки зрения деятельности младшего поколения не представит никакой разницы с различием и таких двух звуков, которые уже и старшим поколением относились к двум различным фонемам. Только нужно не забывать, что случай «чистой дивергенции», изолированной от какого-либо сопутствующего конвергенционного процесса, есть в сущности случай теоретический, и на практике весьма затруднительно подобрать для него примеры.

Таким образом, на дивергенцию мы вправе смотреть как на частный случай психического различия физического различия, т. е. как на нормальное задание в работе над усвоением языка.

И для нашей темы представит интерес, следовательно, уже не акт дивергенции сам по себе, а подготовка нужного для него физического расхождения вариантов (а она лежит в сфере изменений второго порядка, к рассмотрению которых мы сейчас и переходим).

Обращаясь к изменениям второго порядка (т. е. внутри данного элемента фонетической системы), приходится отводить здесь роль фонационному процессу в целом — как в момент обучения, так и в период практики речи, ибо нельзя отрицать, что постепенное сокращение «звуков» (т. е. составляющих артикуляцию данного звука работ) и звукосочетаний мы производим постоянно, подставляя обычные и ультрасокращенные (скороговорочные) дублеты слова вместо той идеальной формы слова, в которой данное слово нами впервые было воспринято¹⁴.

¹⁴ А тот факт, что первичное восприятие и первые опыты произношения слова сопровождалось у нас большей тщательностью (значит, и большей тратой времени и энергии), чем 20 000-е по порядку его произнесение, можно в виде нормы (т. е. для большинства случаев) признать без оговорок.

При этом распределение ролей между двумя видами языковой работы «в общем и целом» рисуется таким:

1) взрослые «изнашивают» слова (а следовательно, и звуко сочетания и звуки в их составе) за время своей речевой практики, подставляя «изношенный дублет» вместо исходного (хронологически) состава слова;

2) дети в период обучения языку воспринимают этот «изношенный дублет» уже как свою исходную форму слова (и, значит, в своем «изнашивании» слова пойдут уже от этой «изношенной формы» еще дальше).

В действительности же все изменения второго порядка как раз и состоят в облегчении фонации. Всюду здесь мы встречаем эволюцию не от простого к сложному, а наоборот¹⁵: слово из пяти звуков превращается в слово из четырех или трех звуков; слово из четырех или трех звуков превращается в слово из двух или одного звука (ср. и.-е. **esti* → лат. *est* → франц. *e* [-*e(st)*]); сложный звук (например, аффриката типа $z = dz$ или $\check{z} = d\check{z}$) заменяется простым (z или \check{z}); разнообразие работ какого-либо из активных органов произношения в течение звуко сочетания сменяется однообразием (например, $r \rightarrow r$ глухое в слове *министр*, потому что после предшествующего (при звуках *st*) покоя голосовых связок легче продлить это спокойное их состояние и на звук r , т. е. до конца слова), отдельные звукопроизводные работы различных органов — в составе артикуляции одного звука — не доделываются и просто отпадают; время, ассигнуемое на фонацию отдельного звука, все сокращается (например, долгие гласные сокращаются, а краткие постепенно превращаются в нуль) и т. д. и т. д.

Словом, процесс идет по линии экономии фонационной энергии¹⁶, чего мы и вправе были ожидать из вышеприведенного определения фонации (см. стр. 60).

Правда, в глаза бросается известный ряд исключений (т. е. случаи перехода от простого к сложному). Значительная часть из них, однако, исключения мнимые: в них мы имеем дело не

¹⁵ Мнимые же исключения из этого объясняются уже изменениями первого порядка (вроде $z \rightarrow z$ [= dz] в японском [в начале слова], что объясняется конвергенцией $z \times z \rightarrow z|z$; см. выше).

¹⁶ Правда, мне могут возразить, что если бы это был безысключительный закон фонетической эволюции, то за период в несколько десятков (по крайней мере) тысячелетий существования человеческой речи все наши слова должны были бы уже стянуться в нуль (и наша речь, значит, заменилась бы молчанием). Но не надо забывать, что кроме фонетической эволюции у нас есть эволюция морфологическая, которая всегда и приходит на помощь при чрезмерно сокращенном составе морфем: взамен данной морфемы (или слова) создается (для той же семантической функции) уже новый комплекс (новое слово) из сложения двух морфем (ср. слав. **n* ← **ei*, получающее наращение *n*- [из суффикса Imperativi **-d^{hi}i*]: *нд-н*, русск. *ид-у* и т. д.).

с процессом второго, а с процессом первого порядка (результатом конвергенции).

В некоторой же (правда, очень небольшой) части случаев, которая, ввиду своей малочисленности, не меняла бы общего взгляда даже и без нижеприведенной оговорки, мы действительно находим добавление активной работы определенного органа произношения к тому комплексу работ, который составлял данную фонему у старшего поколения. Таков, например, случай перехода Λ (т. е. делабиализованного o) в o , но без конвергенции с o другого происхождения, что можно констатировать в нескольких языках. С физической точки зрения здесь, действительно, налицо плюс (т. е. новшество) активной губной работы, и это, следовательно, противоречит выше высказанному положению. Мотивом здесь, однако, оказывается то, что звук o с общefonетической точки зрения является гораздо более нормальным, чем Λ (иначе говоря, o является «первофонемой», а Λ — общefonетической аномалией).

Для таких случаев приходится, таким образом, создавать особую теорию «конвергенций с первофонемами» (понимая, следовательно, $\Lambda \rightarrow o$ как конвергенцию I типа: $\Lambda \times o \rightarrow o$, причем «первофонема» o как одна из наиболее удобных комбинаций работ предполагается возможной в виде продукта самостоятельного творчества ребенка в его первых фонационных опытах; а как более удобный — с общefonетической точки зрения — звук, это o способно и заменить собою аномальное Λ). Таким образом, хотя и с известными натяжками, но удастся рассматривать все явления фонетической¹⁷ эволюции как относящиеся к двум классам: или 1) к сокращению процесса выучки (т. е. копирования) языка — изменения 1-го порядка; или 2) к экономии фонационной энергии — изменения 2-го порядка. Этого мы и могли ожидать на основании наших предположений, рассматривавших языковую деятельность как два различного рода трудовых процесса — усвоения языковой системы и практики фонации.

¹⁷ Об эволюции же морфологической, семантической, словарной, синтаксической и т. д. нужно говорить, конечно, в особых работах.

ГДЕ ЛЕЖАТ ПРИЧИНЫ ЯЗЫКОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ?

I

Вопрос о причинах, или факторах, языковых изменений (т. е. эволюции языка) составляет, собственно говоря, целую самостоятельную область или дисциплину внутри науки о языке или общего языкознания, и само собой разумеется поэтому, что, принимаясь за эту тему в краткой и популярной статье, я могу иметь в виду лишь в самых общих чертах изложить то основное, что удастся установить в этой области.

Начну с того, что человеку непредубежденному, т. е. не знающему того, что принято утверждать по данному вопросу, и подходящему к нему просто с аппаратом здравого смысла, вполне естественно будет начать даже с постановки под сомнение самого факта языковых изменений. «Разве язык изменяется? — спросил меня в Японии один далекий от лингвистики, но вполне интеллигентный японец. — Ведь мы, когда учимся говорить, просто-напросто заучиваем тот язык, на котором говорят наши родители, а они в свою очередь усвоили речь своих родителей и т. д. и т. д. Нашей задачей в нашем детстве, как и задачей наших родителей и их предков в их период обучения языку, было — научиться говорить именно так, как говорят взрослые, а отнюдь не переиначивать их слова». Отсюда мой японский собеседник делал вполне логический вывод, что «изменений в языке как будто и не должно происходить». — *Рассуждение*

Так говорить, однако, мог, разумеется, лишь тот, кому не известны конкретные исторические факты, факты не только частичных изменений, но и полного перевоплощения одной языковой системы в другую, как например, латинского языка в итальянский или же (на почве Галлии — нынешней Франции) во французский и т. д. и т. п. Факты эти свидетельствуют, что, наоборот, изменения — это неизбежный спутник языковой истории и что на протяжении более или менее значительного ряда поколений они могут достигнуть чрезвычайно больших размеров.

Как же согласовать вышеприведенное априорное рассуждение о стабильности языка («язык стабилен потому, дескать, что детям незачем отходить от копируемой ими языковой системы и вносить в нее новшества или изменения») с

апостериорным противоречием ему, на которое мы наталкиваемся в подлинной истории языков?

Найти выход из этого противоречия, конечно, не трудно. На долю взглядов моего собеседника падает все-таки следующая частица истины: у детей, т. е. в детской психике, во время обучения речи нет сознательной цели изменить язык взрослых. Задачей обучения для этой психики действительно является перенять слова (и всю, следовательно, языковую систему) старшего поколения именно таковую, как она есть. И, позволив себе несколько забежать вперед, мы можем даже обобщить это положение, придав ему следующую форму: в эволюции языка вообще, в виде общей нормы, мы встречаемся с коллективным намерением подражать представителям копируемой языковой системы, а не видоизменять ее, ибо в противном случае новому поколению грозила бы утрата возможности пользоваться языком как средством коммуникации со старшим поколением. (Исключения из этой общей нормы, как оказывается, встречаются, но действительно в исключительных по своим условиям случаях: тогда, например, когда в процесс создания коммуникационной системы вносится криптолалическое задание, т. е. задание сделать данный язык (или жаргон) «потайным языком» (криптолалией), непонятным для определенных слоев общества) (не входящих в данное профессиональное объединение, на которое рассчитан данный потайной язык). Сознательное коллективное намерение вносить изменения в данную (например, общерусскую) языковую систему мы констатировали бы, таким образом, у коллективных творцов «блатной музыки», т. е. потайного, «своего» жаргона людей темных профессий,— того самого, которому посвящена одна из дальнейших статей нашего сборника. Но тут мы имеем дело, разумеется, с явлением вполне исключительным.

Итак, если иметь в виду статистически доминирующий характер процессов языкового преемства, то в них мы должны будем признать именно отсутствие намеренных изменений в языке или, с другой стороны (поскольку изменения все-таки происходят), бессознательный, помимовольный характер внесения языковых новшеств.

Но надо остановить внимание еще на одном факте, который опять-таки, по крайней мере на первый взгляд, оказывается говорящим в пользу мнения моего японского собеседника: в нашем быту мы обычно не замечаем тех сдвигов (т. е. новшеств или изменений), которые отличали бы (или отличают) язык детей от языка отцов (т. е. язык младшего поколения от языка старшего)¹. Для осторожности попробуем

¹ Явления так называемого детского языка (т. е. такие, наприм-

взять, например, то поколение, к которому принадлежу я лично, — поколение, созревшее задолго до революций, языковое обучение (речеобучение) которого падает на 90-е годы. Вряд ли для кого-либо из представителей этого поколения окажется легким ответ на вопрос: «Чем отличается ваш индивидуальный язык от языка ваших родителей?». И вряд ли кто-либо сумеет найти здесь хотя бы несколько черт, относящихся не к словарю (т. е. к употреблению отдельных слов с таким-то и таким-то значением²), а к фонетической и морфологической системам языка, т. е. различий в звуках и грамматических формах. В лучшем случае, я полагаю, ответ ограничится скорее всего именно словарными фактами (т. е. указаниями на то, что мои родители употребляли такие-то и такие-то слова, которые я с данными значениями уже не употребляю, и наоборот). Да то же самое, в сущности, нам скажет даже и то поколение, которому на долю выпало быть «детьми революции» и созревать, следовательно, в тех социально-культурных условиях, которые максимально благоприятны для осуществления языковых сдвигов и новшеств. Здесь можно ожидать, правда, что перечень словарных (и фразеологических) различий между языком отцов и детей (в частности, данным индивидуальным говором экспериментируемого лица) будет порою довольно значительным, т. е. удастся подсчитать более или менее длинный ряд слов (и выражений), которые или родителям вашим³ были неизвест-

мер, слова, как *пи-пи*, *ка-ка* и т. д., употребление которых ограничивается детским возрастом), конечно, нисколько не противоречат сказанному: ведь это — явления временного, преходящего порядка, и такими же (т. е. временными и со временем изживаемыми) они были в свое время и в устах наших отцов (т. е. нынешнего взрослого поколения).

² Напомним, что изменения словарного характера мы должны рассматривать как стоящие (во всем, что касается вопросов языковой эволюции) на особом положении: говоря о них, никогда не следует забывать, что громадная часть новшеств (т. е. таких явлений, как смерть, т. е. исчезновение из обихода одних слов и появление других, частичные или полные видоизменения значений слов) прямо и непосредственно отражает изменения социальных и культурно-бытовых условий данного коллектива (а следовательно, и изменения того круга понятий, с которыми оперирует данное коллективное мышление). Эта прямая и специфическая зависимость от социальной и культурно-исторической эволюции дает право, следовательно, выделять их из прочих явлений языковой эволюции. Ниже нам придется вернуться к этой стороне вопроса о словарных новшествах и остановиться на ней подробнее.

³ Надо оговорить, конечно, что опрос этот будет в том случае иметь прямую показательность, если и отцы и дети окажутся преемственными представителями одного и того же социального диалекта (например, языка интеллигенции — и в том и в другом поколении). В противном случае — если, например, отец ваш говорит на одном из крестьянских территориальных говоров (Олонецкой, например, губернии), а вы говорите на общерусском современном стандарте, то представителями старшего поколения (или «языковыми родителями») будут уже не ваши физические родители, а другие — и именно по социальному признаку иные — лица.

ны, или, наоборот, вами выброшены из вашей речевой практики, или уже употребляются с новыми значениями. Но попробуйте спросить себя о различиях звуковых и морфологических, и здесь, я уверен, чаще всего ⁴ мы встретимся с затруднением дать какой-либо ответ, т. е. привести какой-либо пример указанного рода новшеств. В лучшем случае, может быть, кто-либо сумеет обратить внимание в области звуковых различий, например, на то, что старшее поколение еще употребляло проточный *g* в таких словах, как *бог, благо, господи*, и некоторых других, а младшее в этих словах употребляет уже обычное, т. е. смычное *g*. Но в большинстве случаев (т. е. у громадного большинства опрошенных лиц), я уверен, даже и этот фонетический сдвиг (выпавший на два последних поколения по преимуществу) останется незамеченным ⁵. Итак, в виде общего правила мы позволяем себе утверждать, что языковые новшества не только помимовольны, но и незаметны для тех, кто фактически осуществляет их. Этим, конечно, и объясняется возможность таких выводов, к которым готов был прийти мой японский собеседник.

II

Вернемся к нашему основному вопросу — к попытке характеризовать самый механизм этих эволюционных новшеств в языке, невольных и несознаваемых активными их участниками. Из того, что смежные поколения не настолько в об-

⁴ А ведь конкретный состав явлений языковой эволюции, — какими мы наблюдаем его на процессах того масштаба, как, например, от латинского до итальянского или от латинского до французского и т. д., — говорит нам за то, что язык изменяется не только в словарном (и фразеологическом) отношении (т. е. дело не ограничивается тем, что выходят из употребления, а затем и из памяти определенные слова и определенные словосочетания); наряду с этого рода эволюцией (т. е. словарной и фразеологической) совершает свое медленное течение и громадная волна эволюции другого порядка; медленно и неуклонно перед глазами истории течет поток новшеств в звуковой системе, т. е. изменений в числе звуков языка (присущих данному языку на таком-то этапе его истории), в навыках звукопроизводных работ, характеризующих каждый отдельный из этих звуков языка, и в акустической (на слух) их характеристике; благодаря всему этому на разных концах эволюционной линии (как, например, между латинским и французским языками) мы находим две звуковые системы, уже совершенно не похожие одна на другую; то же приходится сказать и об эволюции морфологической, — эволюции, которая мало-помалу вполне преобразует систему грамматических форм данного языка, так что на противоположном конце его эволюции мы находим уже язык принципиально иного грамматического строя (ср., хотя бы различия морфологического строя латинского и французского языков).

⁵ Опять-таки, конечно, при соблюдении только что указанного условия — чтобы пришлось говорить о сдвигах в масштабе двух поколений одного и того же социального диалекта, а не о случаях сопоставления двух социальных диалектов.

щем⁶ отличаются в языковом отношении, чтобы эти отличия бросались им в глаза и привлекали бы к себе внимание, мы можем сделать вывод, что на каждом отдельном этапе языкового преемства происходят лишь частичные, относительно немногочисленные изменения, а такие крупные результаты — в виде принципиального преобразования фонетического и морфологического строя, — какие мы находим между латинским и французским (или, например, между древнекитайским и современным китайским) языками, мыслимы лишь как сумма из многих небольших сдвигов, накопившихся за несколько веков или даже тысячелетий, на протяжении которых каждый отдельный этап или каждый отдельный случай преемственной передачи языка (от поколения к поколению) приносит только неощутительное или мало оощутительное изменение языковой системы.

Однако, устанавливая эту разлагаемость исторически установимых различий между языковыми состояниями двух эпох⁷ на ряд отдельных частичных сдвигов, мы поспешим все-таки, хотя и забегая несколько вперед, внести сюда две оговорки, имеющие существенную, принципиальную значимость.

1. Не надо рассматривать общую линию пройденной (за столько-то веков или тысячелетий) эволюции как вполне непрерывный ход процесса постепенных изменений, лишенных ускорений и замедлений, внезапных скачков, а порою и внезапных остановок. Наоборот, весьма многое в этой цепи последовательных видоизменений принадлежит к процессам или «сдвигам» мутационного или революционного характера.

2. Весьма часто анализ длительных процессов звуко- или формоизменений позволяет нам установить однообразие направления у следовавших одно за другим новшеств (каждое из которых вносилось новым поколением). Иначе говоря, на протяжении такого, например, процесса, как «переход гласного *a* через ступень *o* в гласный *u*»⁸, мы склонны

⁶ Для осторожности опять-таки сделаем исключение для эволюций, падающих на эпохи, специфические по своему социально-экономическому и политическому содержанию (какова, например, эпоха социальной революции, хотя и тут различия между языковыми системами смежных поколений придутся по преимуществу за счет словарно-фразеологической стороны эволюционного процесса).

⁷ Например, между латинским и итальянским или французским, древнекитайским и новокитайским, или же возьмем еще несколько примеров — от русского языка двинских грамот (памятника, где отразился народный русский язык без примеси традиционных церковнославянских элементов) до современных русских диалектов, от древневерхненемецкого языка «Нибелунгов» и до современного Bühnendeutsch.

⁸ Берем здесь условный пример из области фонетической эволюции; но в той же мере можно было бы приложить наш вывод и к фактам морфологическим (формоизменениям и т. п.).

бываем допустить, что в течение некоего столетия, например на протяжении XII что ли века, совершен был путь от *a* до *o* открытого, в следующем (XIII в.) *o* открытое постепенно превратилось в *o* закрытое, и в XIV в. последнее сменилось уже гласными типа *u*. Правда, наряду с такого рода последовательными (и как бы преследовавшими одну и ту же затаенную цель) движениями мы сплошь и рядом наталкиваемся на то, что длинная цепь подобных постепенных «уклонов» опрокидывается вмешательством совершенно отличного по природе своей фактора, который сразу может продвинуть наблюдавшееся нами явление (звук или форму) в противоположном направлении (примеры нетрудно найти у меня в статье «Факторы фонетической эволюции языка как трудового процесса», в главе, посвященной явлениям фонетической конвергенции). Но во всяком случае, пока этих принципиально отличных по своим причинам вмешательств нет, мы наблюдаем **обычно**, что **более или менее длинный ряд последовательных поколений продолжает** (как будто заранее сговорившись⁹) эту свою эволюционно-языковую работу в одном направлении. А это значит, что в языковых изменениях сказывается (та или иная) определенная тенденция, обусловленная или психологическими или — в области фонетических изменений — физиологическими и психологическими данными.

Наблюдая же, с другой стороны, что целый ряд так называемых тиичных эволюционных процессов (или изменений) повторяется (в одной и той же или приблизительно в одной и той же форме) в историях **самых различных языков** — как родственных, так и неродственных¹⁰ — мы можем непосред-

⁹ Если допустить на минуту столь нелепую вещь, как возможность сговора между отдельными поколениями по поводу их языковой деятельности в детских возрастах.

¹⁰ Из числа таких типичных (с общелингвистической точки зрения) изменений в области исторической фонетики можно назвать, например, так называемое переходное смягчение (т. е. переход в аффрикаты типа *ч* или *ц*) заднеязычных (типа *к*, *г*), а с другой стороны, и переднеязычных (типа *т*, *д*) согласных в соседстве с передним гласным (*и*, *е*), т. е. такого рода звукоизменения, как *teki* — *мечь* (*меч*); *teki* — исходная германская форма этого слова, оказывающегося, следовательно, в славянских языках заимствованием из германских; *pekesi* — *печешь* — 2-е л. наст. вр. от *peku*; или же *ovi-ka* — *овца* и т. п.; те же самые развития, т. е. переходы заднеязычных (в частности, *к*) в аффрикаты (сложные звуки типа *ч* или *ц*), мы находим (кроме славянских) и в целом ряде всяких других языков, например: в романских языках (итальянское *чи* из латинского *ci*, произносившегося в древности как *ки*), в китайском (ср., например, северокитайское произношение названий городов Пекина и Нанкина в виде *Бэй-цзин* и *Нань-цзин*), в японских диалектах (например, в самом южном из японских диалектов — в рюкюском вместо *ки* произносится *чи*) и т. д. Другой общий вид типичного историко-фонетического процесса может быть характеризован как спирантизация (т. е. превращение в проточные звуки типа *с*, *ш* и т. д.) аффрикат или сложных согласных типа *ч*, *ц* (или *дз*, *дж*); примеров на процессы этого рода опять-таки мож-

ственно перейти и к обобщениям тех тенденций, которые в этих типичных эволюционных процессах — в ряде самых различных языков — обнаруживаются.

И вот, если попытаться одним словом дать ответ относительно того, что является общим во всех этих тенденциях разнообразных (и без конца — в самых различных языках — повторяющихся) «типичных» процессов, то лаконический ответ этот — то первопричине языковых изменений — будет состоять из одного, но вполне неожиданного для нас на первый взгляд слова: «лень».

Как это ни странно, но тот коллективно-психологический фактор, который всюду при анализе механизма языковых изменений будет проглядывать как основная пружина этого механизма, действительно, есть то, что, говоря грубо, можно назвать словами: «лень человеческая» или — что то же — стремление к экономии трудовой энергии.

Удивляться этому на деле вовсе не приходится, так как стремление уменьшить (экономить) расход трудовой энергии — это общая черта для всевозможнейших видов продуктивно-трудовой деятельности человечества. В виде общего признака (для всесторонних разновидностей продуктивного и имеющего определенную цель труда) можно установить и границы такой экономии энергии: экономия трудовой энергии склонна осуществляться (и фактически осуществляется) именно лишь до тех пор, пока сокращение энергии не угрожает бесплодностью всего данного трудового процесса (т. е. недостижением той цели, для которой данный труд вообще предпринимается). Например, в процессе письма от руки пишущие естественно (именно в силу вышеуказанной тенденции к экономии трудовой энергии) упрощают начертание отдельных букв, сокращают число черт, а в связи с этим и число мускульных движений руки, нужных для данных словонаписаний, но все это делается лишь в позволительных пределах, т. е. постольку, поскольку почерк остается все-таки читаемым. То же самое и с устной речью¹¹, на которую мы тоже, разумеется, имеем полное право смотреть как на трудовую деятельность (притом имею-

но набрать сколько угодно. Укажу хотя бы на их наличие в истории славянских (в том числе русского), романских (например, французского, где звук *ц* регулярно перешел в *s*, а звук *ч* — в *ch = ш*), японского, китайского, турецких (башкирского, где древнее *ч* стало *с* через ступень *ц*) и т. д. Аналогичные же обобщения мы можем сделать и в историко-морфологических изменениях среди наиразличнейших языков.

¹¹ Нужно не забывать, впрочем, что одной лишь фонационной деятельностью состав трудовых актов, входящих в понятие языка, не исчерпывается (см. ниже). Но мы начинаем наше рассуждение (об осуществлении экономии трудовой энергии) именно с данной части языкового процесса: с актов фонационной деятельности.

щую серьезнейшие социально-экономические функции). И вот, реальный состав нашей фонационной деятельности (при речевом обмене) действительно определяется, в виде общего правила, условием минимальной траты произносительной энергии, достаточной, однако, для достижения цели говорения (т. е. коммуникации): мы говорим настолько громко и настолько внятно, чтобы быть услышанными и понятыми, но обычно — не слишком громко и не слишком явственно, не более чем это нужно. Отсюда и вытекает общая для всех участников языкового общения и постоянно осуществляющаяся тенденция — по возможности сокращать комплексы звукопроизводных работ (а также и энергию, расходуемую на каждую отдельную из этих звукопроизводных работ, т. е. на отдельное, например, движение языка, губ и т. д.), а в итоге, следовательно, и время, занимаемое данной фонацией. Это особенно бросается в глаза на примерах таких часто употребляемых слов, как *здравствуйте*, *ваше превосходительство* (в старом военном быту) и т. п.

Семантическая (смысловая) и бытовая функция слова *здравствуйте* именно такова, что понимание (или угадывание) значения здесь достигается при неполном произнесении звукового состава слова и даже при самом кратком на него намеке. Вот почему, раз цель (т. е. понимание или угадывание слова *здравствуйте*) все-таки достигается, наш язык и позволил себе донельзя сокращать звуковой состав этого слова: буквально никто уже не говорит сейчас *здравствуйте* в виде слова, действительно заключающего в себе 12 звуков; на деле произносится просто *здрас(с)те* или *здрас(с)ти*, а весьма часто — в зависимости от определенной бытовой ситуации — из всего слова уцелевает один только (более или менее долгий) звук *с*: *з с с с!* или *с с с!*...

Конечно, *здравствуйте* и т. п. слова, претерпевающие сильнейшие звуковые сокращения, стоят, как мы уже указывали, в особом положении (по причинам смыслового и бытового характера). Но это значит лишь то, что тенденция к сокращению произносительной (фонационной) энергии, обнаруживаемая в таких словах, как *здравствуйте* → *зссс*, в максимальной степени, в прочих обычных (нормальных в семантическом отношении) словах тоже осуществляется, но в меньшей степени (и результаты ее скажутся здесь, следовательно, не так быстро). В общем ¹² можно установить, что при первых случаях произнесения (каждым данным индивидуумом) некоего, впервые только что усвоенного слова, это слово произносится с наибольшей внятностью, с полным осуществлением своего звукового состава, потом же, при после-

¹² Т. е. в виде нормы, справедливой для большинства случаев.

дующих произнесениях (в особенности же многократных, т. е. когда слово оказывается часто употребляемым) тенденция к экономии произносительной энергии постепенно все больше и больше осуществляется — известные звуки (согласные и гласные) не доделываются, а порою (при особых позиционных и других условиях) просто выпускаются. Слово, таким образом, «изнашивается» даже на протяжении речевой практики одного и того же индивидуума или одного и того же поколения. Естественно поэтому, что младшее по отношению к данному поколению усваивает — на правах исходного для своей речевой практики «стандартного» шаблона — уже «изношенный» в звуковом отношении скороговорочный дублет слова, и само уже начинает сокращать («изнашивать») его далее. В итоге мы и получаем такого рода явления, которыми наполнены истории всевозможных языков: словосочетания стягиваются в одно слово (лат. *ille non habet passum* — из четырех слов — стянулось, например во французское *il n'a pas* — комплекс, который, несмотря на свое раздельное написание, является единым словом с точки зрения французского языкового мышления; имеет единое ударение на конце всего комплекса и т. д.), слова утрачивают часть своих звуков (ср., например, *солнце*, которое мы произносим уже как *сонце*, латинское *est*¹³ — из трех звуков — превратилось в один-единственный звук *e* во французском произношении, *Augustus* 'август' превратилось в один-единственный звук *u* во французском названии месяца *Août* и т. д.). Примеров можно привести бесконечное множество, собственно говоря, столько же, сколько существует слов во всех языках мира. И наконец, отдельный звук, если он был трудным (сложным) по своим звукопроизводным¹⁴ работам, заменяется другим, более легким; сюда, например, относится тот «типичный» историко-фонетический процесс «спирантизации-аффрикат», о котором мы упоминали выше: *ч* (*ts*) превращается в *ш* (т. е. утрачивается элемент *t*), *ц* (*ts*) превращается в *с* (т. е. утрачивается элемент *t*). Точно так же раскрывается — в виде процессов, сводящихся к замене трудных (по звукопроизводным работам) звуков и звуко сочетаний более легкими, — и ряд других типичных (т. е. часто повторяющихся в историях разных языков) звукоизменений; здесь, конечно, у нас нет возможности останавливаться на их анализе.

Нужно сказать, однако, что проявление «лени человеческой», т. е. экономия трудовой энергии, сказывается в истории языков не в одной только экономии физиологической¹⁵,

¹³ В свою очередь восходящее к общендоевропейскому *esti* (из четырех звуков).

¹⁴ Т. е. по артикуляциям.

¹⁵ В смысле экономии произносительных работ (языка, губ, гортани).

но и в виде экономии психической деятельности: сюда относятся и а) экономия мыслительных (конструирующих синтаксический и грамматический состав фразы) процессов во время речи и б) экономия энергии в процессе обучения родному языку (в детском возрасте). Остановившись на явлениях последнего рода, отметим, что они сводятся к бессознательным упущениям в копировании языковой системы старшего поколения: трудные элементы последней просто не заучиваются и подменяются более легкими. Так объясняется, например, то, что из целого длинного ряда неправильных глаголов старофранцузского языка в современном французском сохранились сравнительно лишь немногие — остальные перешли в категорию правильных глаголов: легче было спрягать их по общему (правильному) шаблону, чем запоминать индивидуальные особенности каждого неправильного спряжения. Того же порядка явления встречаются и в области исторической фонетики (т. е. звуковой эволюции): представление трудного (по своим артикуляциям) звука просто не усваивается данным новым поколением, и вместо него регулярно подставляется другое — более легкое (а потому и оказавшееся усвоенным) звукопредставление¹⁶.

Нужно помнить, однако, что, указав основной фактор языковой эволюции — в виде тенденции к экономии того или другого вида трудовой энергии, мы называем лишь отправной пункт, от которого приходится исходить в конкретных мотивировках того или другого историко-фонетического или историко-морфологического процесса (т. е. звуко- или формоизменения). Сами же эти мотивировки, как и их обобщения (составляющие уже особую отрасль, или особый отдел общего языкознания: учение об эволюции языка¹⁷), являются довольно сложным делом, так как требуют детального изучения и физиологических¹⁸ и иных данных, составляющих в каждом отдельном случае реальную обстановку (т. е. совокупность конкретных условий), в которой должна бывает осуществляться вышеуказанная экономия трудовой (физиологической или психологической¹⁹) энергии. Было бы слиш-

¹⁶ Из столкновения этого рода мутационных явлений с постепенным «изнашиванием» звукопроизводных работ в том или ином звуке языка и возникают те случаи внезапных изменений направления звуковой эволюции, о которых мы упоминаем выше.

¹⁷ Называемое также лингвистической историологией.

¹⁸ Как в области физиологии речи, так до известной степени и в области физиологии слуха.

¹⁹ В конечном счете в свою очередь сводимой к физиологическим явлениям; но поскольку есть принципиальное различие между физиологией мозговой (центральной) деятельности и физиологией «периферии» (т. е. звукопроизводного механизма), мы позволяем себе условно противопоставлять друг другу понятие физиологической и психической деятельности (или энергии).

ком поспешно, правда, считать учение об языковой эволюции (т. е., иначе говоря, методологию конкретных мотивировок языковых изменений) законченной, до конца разработанной лингвистической дисциплиной. Наоборот, здесь многое подлежит установлению в будущем, кое-что находится в стадии гипотетических высказываний и т. д.²⁰ но ведь такое состояние — удел очень и очень многих научных дисциплин. Во всяком случае сейчас уже нельзя предъявлять общему языковедению (и теории эволюции языка в частности) тот упрек, который нередко высказывался скептиками прошлого столетия; «у вас всё может перейти во всё и к в с, и с в к и т. д.». На это, впрочем, уже тогда (т. е. в прошлом столетии) Бодуэн де Куртенэ уверенно ответил: «Нет далеко не всё во всё; например, если к переходит в с, то с в к непосредственно никогда не переходит...» — «Как же, а формы ду р а с и ду р а к?» — продолжал скептик. Но на это нашему почтенному лингвисту оставалось только спросить скептика, какую из этих двух вышеприведенных форм он выбирает себе в наименование.

Главное же, что следует возразить по поводу таких скептических выводов, как «всё во всё может переходить», это — необходимость обратить внимание на причинные связи каждого из различных (по направлению) эволюционных процессов: если правда, что звук *a* в одном случае (например, в языке *X*) дает звук *b*, а в другом случае (в языке *Y*) — звук *c*, то в каждом из этих случаев имелись свои особые условия, и поскольку мы знаем, что в такой-то и такой-то ситуации направлением звукоизменения должно быть *a*→*b*, а при принципиально отличных условиях *a*→*c*, нас уже несколько не должно смущать наличие этих двух разных рефлексов (*b* и *c*) одного и того же исходного звука (*a*). Так ведь дело обстоит, собственно говоря, и в ряде других наук: лакмус окрашивается и в синий и в красный цвет — в зависимости от того, с чем он входит в соединение.

III

«А где же зависимость эволюционно-языковых явлений от социальной и экономической жизни? — спросит меня читатель. — Неужели все влияние последней ограничивается изменениями в области словаря (с фразеологией)?»

Конечно, нет. И то обстоятельство, что существует учение о языковой эволюции, в котором учитываются инго (не со-

²⁰ История лингвистики может дать до известной степени ответ, почему учение о языковой эволюции (как отдел общего языковедения) осталось менее разработанным, чем другие отделы языковедения (именно компаративной лингвистики).

циального) порядка факторы звуковых и грамматических изменений, ни в какой мере не отрицает зависимости языковой эволюции от социально-экономических фактов. На внутреннем, так сказать, техническом, механизме (физиологическом или психологическом) каждого отдельного процесса (идущего уже от определенного отправного пункта) социально-экономические сдвиги, правда, не отражаются непосредственно: т. е. не может быть того, чтобы вместо $k \rightarrow c$ при изменении экономических условий (но при той же языковой ситуации, т. е. в том же языке, в тех же словах и т. д.) получилось бы вдруг не $k \rightarrow c$, а $k \rightarrow d$ или что-либо подобное (или чтобы вместо уменьшения числа неправильных глаголов вдруг посыпались бы с неба новые неправильные глаголы). Зато для социально-экономических факторов открывается гораздо более широкое поле вмешательства в языковую жизнь и эволюцию: вместо влияний на технический механизм отдельных процессов (идущих от данного отправного пункта) экономические и политические сдвиги способны производить изменения в самих этих отправных пунктах (историко-фонетических и т. д. процессов) и таким образом в корне изменять все русло языковой эволюции.

Кроме того, нужно заведомо отказаться от допущения каких-либо таинственных (мистического, я бы сказал, порядка) соотношений между социальной историей общества и историей языка, соотношений, которые нельзя бы разложить на цепь конкретных причинных связей и которые можно только постулировать, исходя из предвзятой предпосылки о том, что все зависит от социально-экономических явлений. Нам же, лингвистам, надлежит не исходить, а прийти к подобному положению в качестве вывода из изучения и обобщения реальных фактов.

Путей или способов, какими могут экономические (и политические) или вообще культурно-исторические явления воздействовать на языковую эволюцию, много²¹, но в качестве основного момента здесь нужно указать на следующее: экономическо-политические сдвиги видоизменяют контингент носителей (или так называемый социальный субстрат) данного языка или диалекта, а отсюда вытекает и видоизменение отправных точек его эволюции.

Отсюда (т. е. из только что высказанного положения) в свою очередь вытекает ряд схем, определяющих причинную

²¹ В качестве примера одной из второстепенных зависимостей этого рода укажу хотя бы на то, что на ходе языковой эволюции отражаются различные формы воспитания детей — коллективного или индивидуального (внутрисемейного), в зависимости от которых видоизменяется степень зависимости формируемого младшим поколением языка — или от языка старших, или же, наоборот, от языковой практики сверстников.

зависимость между определенным родом изменениями «социального субстрата» языка и ходом его эволюции. Из них мы остановимся лишь на одной схеме, позволяющей связать модификации путей языковой эволюции с различиями экономического строя (в частности с противоположением натурального хозяйства товарному).

Укажем следующие отличия примитивного (типичного для примитивных в экономическом отношении эпох) пути языкового преемства (1-й случай) от языковых развитий в условиях гибридации и метисации, т. е. типичных для эпох товарного хозяйства (2-й случай):

1. Исходным материалом, копирование которого ложится в основу построения новой языковой системы, в 1-м случае (т. е. при простом наследовании родного языка младшим поколением от старшего) является только одна данная система языкового мышления, тогда как в условиях гибридации или метисации (2-й случай) таким исходным материалом служат, по крайней мере, две разные языковые системы.

2. В условиях 1-го случая дробление коллектива и, следовательно, разрыв производственных кооперативных связей между его частями является, разумеется, необходимым, но само по себе недостаточным условием для диалектологического дробления (т. е. для языковой эволюции); тогда как в случае слияния двух разнородных в языковом отношении коллективов в новый, экономически обусловленный коллектив этот самый факт слияния оказывается вполне достаточной причиной для языковых сдвигов (т. е. для языковой эволюции), ибо потребность в перекрестном языковом общении здесь обязывает к выработке единого общего языка (т. е. языковой системы) взамен двух разных языковых систем, каждая из которых неспособна к обслуживанию всего нового коллектива полностью.

3. Факт дробления коллектива в условиях 1-го случая лишь открывает возможность для языковой эволюции, но несколько не предопределяет направления этой эволюции, т. е. конкретных результатов языковых изменений, тогда как во 2-м случае факт образования нового крупного коллектива носит характер телеологического фактора языковых изменений: новая языковая система должна быть однородной, генетически восходя, однако, к двум (или более) различным системам, и, следовательно, эволюция каждой из последних имеет уже предначертанное направление, т. е. конечную цель процесса. Этого мало: экономический уклад нового коллектива и характер кооперативных связей между его частями предопределяет также и характер участия каждой из этих частей (т. е. прежних коллективов) в выработке единой общей системы языкового общения (соответственно, конечно, и рас-

определению социально-экономических функций между ними²².

4. Наследственное преемство языка и его территориально-диалектическое дробление (при миграциях) само по себе не находится ни в какой причинной связи с социальным расслоением коллектива (или коллективов) и социально-диалектологическим дроблением языка, тогда как явления гибридации и метисации могут считаться благоприятствующими образованию социально-диалектологических разновидностей: правдоподобнее допустить, что среди n -го количества случаев слияния коллективов будут преобладать такие случаи, где оба коллектива будут неоднородны в экономическом отношении, а случаи тождественной социально-экономической структуры сливающихся коллективов окажутся в меньшинстве. А эта неоднородность и может в известной мере считаться почвой для социальной и социально-диалектологической сложности нового коллектива. Сказанное ни в коей мере не должно, конечно, рассматриваться как попытка определить причины социально-диалектологического (а тем более социального) расслоения племенных или национальных коллективов; в данном случае мне важно было лишь отметить момент потенциальной прагматической связи между факторами гибридации или метисации и социально-диалектологическим дроблением.

5. Условия 1-го случая предполагают более или менее точное разграничение участия (активного или же относительно пассивного) различных возрастных групп в коллективном процессе фонетической эволюции, тогда как во 2-м случае, т. е. в условиях гибридации или метисации, если и возможно — хоть в какой-нибудь мере — предвидеть какие-либо ограничения для каких-либо возрастных групп, это распределение функций (активного или же относительно пассивного) будет уже совершенно иным и принципиально отличным по сравнению с 1-м случаем; в частности, здесь можно утверждать наличие полноправного участия взрослого населения и прежде всего той именно возрастной группы, которая выпол-

²² Здесь, разумеется, возможны самые разнообразные ситуации, уклоняться в разбор которых мне нет надобности; достаточно будет указать на соотношения: побежденных и завоевателей, более культурного и менее культурного коллектива и т. д. Прямое значение имеет, конечно, и просто относительная численность каждого из прежних коллективов, но ее тоже нет основания выделять на положение «неэкономического» фактора эволюционно-языковых явлений, так как этой относительной численностью определяется (наравне с другими факторами, разумеется) и социально-экономическая роль и позиция каждой данной группы в кооперативном общении всего нового коллектива, а отсюда уже и в деле выработки средства взаимного общения (т. е. общего языка).

няет максимальные кооперативно-экономические функции²³ в активных сдвигах языкового (и, в частности, фонетического) коллективного мышления (т. е. в активном строительстве новой системы фонетических представлений).

²³ Вместе с тем обнаруживается и соответствующая дифференциация по признаку пола: та группа, которая является наиболее активной и в экономическом (производственном) отношении, и в смысле активного участия в языковой эволюции, состоит обычно из мужчин. Отмечу, например, тот факт, что в эронийском (русск. «ирани», или в более точном произношении «эрони») населении города Самарканда мужской говор современного молодого поколения с гораздо большими основаниями может быть квалифицируе́м как один из говоров узбекского языка (самаркандско-бухарской подгруппы), чем как азербайджанский говор, несмотря на то что это не что иное, как азербайджанцы, сравнительно весьма недавно колонизовавшие в Самарканде (как и в некоторых других пунктах Средней Азии). А между тем у женского населения мы встречаем чаще всего преобладание азербайджанских черт. Правда, в этом конкретном примере мы сталкиваемся с почти крайним случаем социально-бытовой ситуации, благоприятствующей дифференцированию по половому признаку: мусульманский запрет языкового общения с посторонними мужчинами, твердое распределение трудовых функций между обоими полами и т. д. Но ведь в *pendant* к этому мы найдем и много других аналогий (между прочим, в том же Самарканде, в таджикском языке, где в свою очередь есть зародыш женского языка: специфические для последнего словарные факты отличаются, между прочим, именно тем, что являются настоящими элементами персидского (в широком смысле) языка, тогда как их «мужские» эквиваленты расшифровываются как «буквальный» перевод с узбекского); и эти аналогии уже не резкостью языковой дифференциации, а просто своей многочисленностью убеждают нас в том, что недаром для понятия исконного родного языка (каким для самаркандского эрони является азербайджанский) лингвистической традицией облюбован именно термин *Muttersprache* (а не *Vatersprache*).

МУТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗВУКОВОЙ ИСТОРИИ ЯЗЫКА

Вопрос о постепенном (градуальном) и внезапном (мутационном, или революционном) характере изменений в языке — далеко не новый вопрос. При этом дискуссировался по преимуществу вопрос о наличии или отсутствии внезапных изменений в фонетической (звуковой) стороне языковой истории, ибо мутационный ход историко-морфологических, синтаксических или словарных сдвигов может считаться более или менее очевидным и его трудно ставить под сомнение.

Действительно, нельзя не считать мутационными изменениями такие, например, процессы, как явления морфологической ассимиляции, т. е. так называемые изменения по аналогии, или аналогичные им по своему механизму (т. е. тоже ассимиляционные) историко-синтаксические новшества. В качестве примера — и именно из явлений морфологической ассимиляции — назову здесь хотя бы следующее явление узбекского языка, известное мне, в частности, по самаркандскому говору: это — образование дублетных форм Praesentis (настоящее-будущее время) от глаголов *de-* и *je-* ('сказать' и 'есть') в виде *dejəmən*, *jejəmən*, *dejəsən*, *jejəsən* и т. д. рядом с основными формами: *dejməŋ*, *jejməŋ*, *dejsən*, *jejsən* и т. д. Причина этого явления, т. е. развития указанных дублетных форм, конечно, вполне ясна и сводится к аналогии соответствующих форм от глаголов I спряжения (с основой на согласный); иначе говоря, морфологическая ассимиляция состоит здесь в том, что по подобию таких форм, как *keləmən*, *keləsən*, *berəmən*, *berəsən* и т. д., появляются формы с той же суффиксацией (*-əmən*, *əsən* и т. д.) и от двух вышеупомянутых глаголов (*de-* и *je-*)¹.

¹ Ср. подобные же «неправильности» в образовании некоторых других форм от этих глаголов, в частности будущее — *derərmət* вместо *derməŋ*, *jerərmət* вместо *jerməŋ* и т. д. Объясняются эти формы опять-таки (как и «неправильные» формы Praesens'a) аналогией к I спряжению — в связи с иррегулярным количественно-фонетическим составом данных основ: по аналогии к пропорции числа слогов в *ber* — *berərmən* (1:3), то же соотношение (1:3) вносится и в формобразование от односложных *de-*, *je-*. Иррегулярное соотношение (1:2) в *de* — *derməŋ*, *je* — *jerməŋ* заменится нормальным (1:3): *de* — *derərmət*, *je* — *jerərmət*; т. е. оказывается удвоенным суффикс будущего *-r/-ər*. Однако в пределах настоящей статьи нам незачем привлекать к рассмотрению эти и другие формы стяжения данных глаголов — достаточно ограничиться примером дублетных форм Praesens'a (*dejməŋ* и *dejəmən*).

Поводом для этой аналогии служил, очевидно, момент количественного, т. е. количественно-силлабического тождества именно этих двух глаголов (в отличие от большинства глаголов II спряжения, например *oqu* 'читать', *sənə* [**sana*-] 'считать' и т. д.) с доминирующей нормой I спряжения: большинство простых и часто употребительных глаголов I спряжения имеет односложную основу (например, *kel-*, *ket-*, *ber-*, *kes-*, *əjt-* [**ajt-*], *tur-*, *tut-*, *uc-*, *ic-* и т. д. и т. д.); данные же два глагола *de-* и *je-* тоже (несмотря на принадлежность ко II спряжению) односложны. Поэтому на вышеуказанные формы Praesentis и распространяется представление следующей количественной нормы, или пропорции (обобщенной, разумеется, из глаголов I спряжения *kel*, *ket*, *ber* и т. д.): если число слогов основы (или повелительного наклонения) равняется одному, то число слогов в формах Praesentis равняется трем ($kel : keləmən = 1:3$, $ber : berəmən = 1:3$, $kes : kesəmən = 1:3$ и т. д.). Отношение же между *de* и *dejəmən*, *je* и *jejmən* (1:2) противоречит только что указанной норме (для односложных основ); потому-то для достижения данной нормы (пропорции 1:3) и вырабатываются дублеты *dejəmən*, *jejəsən* и т. д. (ибо $de, je : dejəmən, jejəmən = 1:3$).

Само собой разумеется, что процесс творчества данных дублетных форм (*dejəmən*, *jejəmən* и т. д.) есть процесс мутационного, а не градуального характера. Ибо между мышлением того последнего (старшего) поколения², которому данные дублетные формы были чужды (т. е. которое знало только формы *dejəmən*, *jejmən*, *dejsən*, *jejsən* и т. д.)³, и мышлением того, следующего за ним (младшего) поколения, которое начало употреблять дублеты типа *dejəmən*, *jejəmən*, т. е. создало эти дублеты, мы, конечно, не найдем ничего промежуточного: на первом из этих этапов число форм Praesentis данного лица (от данных двух глаголов) выражается единицей (1), на втором — числом 2; и между этими 1 и 2 нельзя себе представить ни $1\frac{1}{4}$, ни $1\frac{1}{3}$ и т. д.

² В истории самаркандского, допустим, говора.

³ А мы можем, разумеется, утверждать, что трехсложные формы *dejəmən*, *jejmən* и т. д. не являются исконными. Правда, те исходные формы, к которым возводятся нормальные *dejəmən*, *jejmən*, звучали в глубоком прошлом турецкой языковой истории именно как **dejənən*, **dejəsən*, **jejmən*, **jejəsən* и т. д. из более древних **deəmən*, **deəsən* и т. д.; таково общепринятое объяснение, данное Радловым в его «Phonetik der nördlichen Türkssprachen». Но между той крайне удаленной от нас эпохой, когда вырабатывались формы на *-jəmən*, *-jəsən*, *-jdi*, *-jmiz* и т. д., когда впервые оформлялось, следовательно, различие между II и I спряжением и фактами, лежащими в плоскости диалектологии узбекского языка, расстояние, понятно, огромное. И показания прочих турецких языков дают нам уверенность в том, что в нынешних дублетах *dejəmən*, *jejəsən* мы имеем не реликт архаической старины, а именно новообразование.

Оговорка о различиях в статистической стороне употребления обеих форм будет сделана ниже, но именно лишь затем, чтобы показать, что, переходя к вопросам статистики, мы ставим вопрос уже на качественно иную почву.

Итак, взятый нами узбекский пример морфологической ассимиляции можно считать мутационным сдвигом.

Но мы нарочно выбрали такой конкретный случай морфологической ассимиляции, который позволил бы все-таки продлить рассуждение о постепенности или внезапности за пределы вышесказанного. Ведь по сравнению с другими случаями переходов по аналогии развитие форм *dejɒn* → *dejɒn* и т. п. может считаться процессом незаконченным. Действительно, новый дублет еще не вытеснил собою старый.

Впрочем если этого вытеснения никогда и не будет, то мы уже лишены возможности рассматривать пройденный путь морфологической эволюции данных форм как часть некоего подлежащего завершению процесса. Но допустим (хотя на это фактически и мало шансов), что формы типа *dejɒn*, *jejɒn* станут единственно возможными. Тогда, оказалось бы, открывается возможность снова заговорить о градуальной морфологической эволюции. Представим ее в виде следующей, например (конечно, вполне искусственной), картины.

Первое из поколений, допустившее употребление форм указанного дублетного типа (т. е. *dejɒn*, *jejɒn* и т. д.), ограничивалось, допускаем мы, крайне узким их применением, например 1 раз против 10 000 раз употребления нормальных, правильных форм (*dejɒn*, *jejɒn*, *dejsɒn* и т. д.); следующее же поколение, поскольку оно все же могло усвоить эти редкие формы, уже участило их употребление, например 1 раз против 1000 раз нормальных форм. И так далее — вплоть до современного поколения, после которого постепенное учащение функций данных дублетных форм будет все так же продолжаться — вплоть до 50 одних форм против 50 других, а затем и далее — вплоть до полного вытеснения правильных форм (типа *dejɒn*) неправильными (*dejɒn*).

Все это, конечно, предположения, но предположения, которых мы сейчас же опровергнуть не можем.

И в этих предположениях защитник постепенного характера языковых изменений (стараящийся отыскать характер постепенности даже в морфологических изменениях) может идти и еще дальше: он может перейти от понятия поколения, обладающего данным новшеством, к понятию поколения, в котором лишь назревает данное новшество. Именно он может, например, сказать: «Ведь не всякое индивидуальное новшество может быть сочтено за языковое изменение (и в этом он будет, конечно, совершенно прав). Языковым изменением, характерным для всего данного младшего поколения, становится

лишь такое новшество, которое принято (социально апробировано) более чем 50% данного младшего поколения. А ведь до достижения этих „более чем 50%“ должны были быть такие случаи, когда данное новшество — еще на правах индивидуального дефекта — могло быть присуще всего лишь 0,1% или 1%, 2%, 3% индивидуумов, входивших в состав данного языкового коллектива. А если так, — будет продолжать наш защитник постепенных изменений, — от первого произнесения *dejətən* или *jejətən* до полного в будущем возобладания этих форм над правильными формами можно протянуть единую линию вполне постепенного роста (или учащения) данных дублетных форм: она начнется с того момента, когда один-единственный индивидуум впервые употребил данную дублетную форму, например, *dejətən*, и идет непрерывно, без всяких мутационных сдвигов, до ее признания (на правах дублетной формы, т. е. одной из двух возможных форм) всем составом коллектива, после чего процесс этот, опять-таки без мутационных сдвигов, может идти и далее до возобладания над правильной формой (*dejətən*) и до полного вытеснения последней».

Что же можем мы ответить на подобные соображения и предположения защитника «постепенных переходов»? Ведь нужно признаться, что мы действительно не можем отрицать возможности постепенного учащения функций у той или другой морфологической формы, или по крайней мере лишены возможности доказать отсутствие этой постепенности (постепенного учащения функций).

Однако мы не должны забывать, о чем шла у нас речь, о характере чего ставился вопрос, т. е. какое явление мы имели в виду, когда начали говорить о его постепенности или мутационности. Ведь мы, очевидно, начали говорить о морфологическом изменении как о факте несомненном, реальном и «данном», т. е. доступном лингвистическому наблюдению и исследованию (или — что то же — говорить о морфологическом изменении в той мере, в какой оно является фактом, доступным лингвистическому наблюдению и исследованию). Вышеизложенные же предположения рисуют нам не то, что нам эмпирически известно, а то, что, может быть, могло бы иметь место (а может быть и нет). Оставаясь же в плоскости действительно реальных фактов, мы должны откинуть все эти допущения 0,1%, 1%, 2% и т. д. (ибо их, конечно, никто никогда не наблюдал), а иметь дело лишь со следующим: первый этап — отсутствие данного новшества (в частности, форм *dejətən*, *jejətən*, т. е. наличие только правильных форм — *dejətən*, *jejətən*); второй этап — появление этого новшества (форм *dejətən*, *jejətən*), и шаг от первого этапа ко второму, конечно, должен содержать сдвиг мутационного по-

рядка совершенно вне зависимости от того, сколько процентов детей младшего поколения впервые стали употреблять и с какой частотой данную новую форму.

Кроме того, надо принять во внимание — и именно одно вместе с другим — следующие два обстоятельства.

1. Морфологическим изменением или новшеством мы вправе считать именно появление новой (в предшествующей эпохе не существовавшей) формы; вопрос же о вытеснении этой новой формой (новым дублетом) старой формы (т. е. другого дублета) — это вопрос особый, который мы могли бы и вовсе не привлекать к делу решения вопроса о мутационном характере морфологических изменений. Поскольку же мы все-таки говорим об этом (о вытеснении новым дублетом старого дублета и вообще о случаях существования обоих дублетов), то здесь надо иметь в виду следующее (второе) обстоятельство.

2) Наличие морфологических дублетов вообще может считаться явлением не нормальным, а аномальным. Согласно принципу экономии языка (экономии, проявляемой в разнообразных направлениях, в том числе и в количественном оформлении морфологической системы), в одном говоре для одного и того же значения допускается не две (или три и более), но именно одна форма (одно морфологическое представление). Если в некоторых случаях, как например, в самаркандско-узбекском *dejman*, *jejman* наряду с *dejətan*, *jejətən* и т. д., и наблюдается дублетирование, то это вовсе не обычная вещь, а, наоборот — нечто иррегулярное и находящее себе объяснение в наличии специфических условий (в данном самаркандско-узбекском случае нельзя отрицать влияния всех прочих узбекских говоров и узбекского литературного языка). Обращаясь же к наличному составу разных других языковых систем, мы действительно можем убедиться, что морфологические дублеты встречаются весьма и весьма редко (по сравнению с числом случаев недублетных форм) и что зачастую то, что мы хотели бы подчас признать морфологическим дублетированием, носит мнимый характер: данные две формы или не являются вполне одинаковыми по своему смысловому значению, или же — что особенно надо иметь в виду — принадлежат не одному, а двум разным социально-групповым (классовым), а то и двум разным территориальным говорам.

Гораздо большую остроту (чем вопрос о мутационности морфологической эволюции) представляет соответствующий вопрос о фонетических (историко-фонетических) изменениях. Вопрос этот имеет уже некоторую историю, и если я позволю себе обойтись без изложения ее, то это только потому, что высказывавшиеся по этому поводу лингвисты стояли на совершенно иной методологической позиции, чем та, представителем которой являюсь я. У них речь шла об истории отдельных

звуков (и даже отдельных случаев, или отдельных функций данного звука в одном определенном слове), я же считаю необходимым рассматривать историческую фонетику не как совокупность разрозненных историй звуков и звукового состава отдельных слов, а как историю последовательной смены систем фонетических представлений. В настоящее время эта точка зрения может считаться более чем благоприятной, но именно к нашему-то вопросу (о мутационности или же о постепенности историко-фонетических изменений) она и не была еще приложена. Вот почему мне и приходится не отправляться от моих предшественников, а начинать самостоятельно с начала.

Я считаю, что объекту фонетики, т. е. звуковому мышлению, нельзя отказывать в специфических отличиях от Папинова котла, реагирующего на мельчайшие изменения в количестве нагрева: наше мышление всегда искусственно ограничивает себя известным числом им же созданных категорий. Оттенки цветов бесчисленны, но мы насчитываем семь или пять цветов радуги. Скрипка может издавать громадное количество различных тонов (считая $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ и т. д.

тона), но музыкант мыслит гаммой из двенадцати или семи или пяти тонов и, наконец, подчиняет даже внешний физический мир этой особенности своего мышления — создает темперированный инструмент (например, фортепьяно). *Mutatis mutandis* то же разнообразие мы находим и в физическом (акустическом) составе нашей речи, но различаем в ней потенциально нужные нам (для словоразличения, т. е. для смысловых функций) категории звуков языка (фонемы). А в конце концов создаем и своего рода «темперированную речь»: письмо (которое в виде общей нормы отображает в графических начертаниях, конечно, только фонемы, а не их вариации или оттенки).

Итак, языковое (и, в частности, звуковое, или фонетическое) мышление, а следовательно, и история фонетических систем (т. е. историческая фонетика) вовсе не котел, обязанный переварить (в виде своих производных) все физические мелочи служащей для него материалом фонации старшего поколения. Совершенно неверно представлять себе, что каждое слово, пущенное в этот котел, проваривается (видоизменяется) в нем по законам химических реакций, происходящих внутри каждого из звуков этого слова: $a, a^1, a^2, a^3 \rightarrow b, b^1, b^2, b^3$. И на самом деле новый состав слова (в языке молодого поколения) вовсе не зависит от тех a, a^1, a^2, a^3 , которые входили в его оригинал (в форму данного слова в языке старшего поколения), а складывается из тех элементарных фонетических единиц (например, звукопредставлений), которые вообще наличны в

системе языкового мышления младшего поколения и генезис которых объясним не из a, a^1, a^2, a^3 данного слова, а вообще из всего полученного в наследство звукового и словарного запаса (на основании которого выкована система элементарных фонетических представлений у данного младшего поколения).

Иначе говоря, в исторической фонетике мы имеем не эволюцию слов, а эволюцию системы фонетических представлений: каждое же отдельное слово не перерабатывается (по кусочкам: $a \rightarrow b, a^1 \rightarrow b^1, a^2 \rightarrow b^2, a^3 \rightarrow b^3$), а создается заново из тех наличных в фонетическом мышлении элементов (звукопредставлений), генезис которых зависит: 1) от всего материала данного языка и 2) от общечеловеческой способности узнавать и отождествлять (под одним принципиальным звукопредставлением) физически друг другу близкие звуки в составе разных слов.

Поясним это примером:

**sŭnŭ* (сънъ) → русск. *son*, серб. *san*.

**dŭnŭ* (дънь) → русск. *d'en'*, серб. *dan*.

Идя за формулой $a \rightarrow b, a^1 \rightarrow b^1, a^2 \rightarrow b^2$ и т. д., мы могли бы получить только $sŭnŭ \rightarrow sŭn, dŭnŭ \rightarrow d'in', d'in$, но не далее: из материала, данного одними этими словами, никак непонятно, почему *ŭ, ı* в слоге, предшествующем падению глухих, должны были измениться в другие гласные: русск. *o*, русск. *e*, серб. *a*. Даже если мы допустим (повторяю совершенно непонятное и необосновываемое из данной пары слов) соответствие русских изменений $\ddot{y} \rightarrow o, \check{y} \rightarrow e$ формуле $a^1 \rightarrow b^1, a^2 \rightarrow b^2$, то в сербском случае получается прямо абсурд: $\ddot{y} \rightarrow a, \check{y} \rightarrow a$ (два разных основания дают одну и ту же функцию).

Дело становится понятным только тогда, когда выглянем за пределы данных двух слов и примем во внимание вышесказанное (весь материал данного языка и способность отождествлять — на правах случаев одного и того же звукопредставления — физически близкие звуки): именно в силу $\ddot{y} \rightarrow$ нуль, $\check{y} \rightarrow$ нуль (на конце слов и вообще во всех случаях, где не было опасности обезгласить, т. е. лишить гласного звука, слово или известную часть слова) произошли и $\ddot{y} \rightarrow o, \check{y} \rightarrow e$ (в русском), $\ddot{y}, \check{y} \rightarrow a$ (в сербском). Дело в том, что падение глухих ($\ddot{y} \rightarrow$ нуль, $\check{y} \rightarrow$ нуль) было, по существу⁴, исчезновением фонем *ŭ, ı* из системы языкового (в частности, фонетического) мышления. А раз исчезала фонема (звукопредставление), то язык данного (младшего) поколения не мог иметь ни одного случая звукопредставления (дело было бы иначе, мо-

⁴ Т. е. с точки зрения эволюции фонетического мышления, а не эволюции отдельных слов.

жет быть, если бы число случаев позиций, препятствующих нулю гласного, было значительно больше; тогда возможно и сохранение фонем *ÿ*, *ÿ* специально для таких случаев, как **sün*, **d'in'* или **d'in*); а значит, если гласный в **sün*, **d'in* (resp. **d'in'*) должен был остаться (чтобы не «обезгласить» слово), то он должен был быть осознан как какая-либо другая гласная фонема (т. е. отождествлен со всеми другими словарными случаями этой последней фонемы). Так *ÿ* в **sün*(*ÿ*) отождествляется с *o* (например, в *конь*, *онь* и т. д.), *i* в **d'in'*(*i*) с *e* в русском; или же оба они [*ÿ* в **sün*(*ÿ*), *i* в **d'in*(*i*)] отождествляются с *a* (например, в *сам*, *дал* → *дао* и т. д.) в сербском⁵.

Подобных примеров можно привести тысячу. Почему, например, *k^w* «мягкое» (т. е. **k^w* перед *i*, *e*) дало в древнегреческом аттическом диалекте *t* (τ) в *τέσσαρες*? Ведь из праформы **k^wetwares* этого никак не вывести? Да потому, что переход **k^w* («твердого») → *p* (π) означал смерть фонемы *k^w*, а значит, уцелевавшие от *k^w* → *p* случаи этого звука (*k^w* комбинаторно смягченное) должны были уподобиться (быть отождествлены), т. е. конвергировать с любой ближайшей фонемой, каковой (именно для «мягкого» варианта) оказалась *t*. Очевидно, сохранению только в таких позициях (перед *e*, *i*) заднеязычной лабиализованной фонемы *k^w* претили как особое трудное качество этого звука, так и относительная малочисленность таких позиций⁶. И когда мне говорят, например, что в калмыцком *morŋ* звук *r* — полумягкий, потому, что после него был *i* (в **mörin*), — мне это кажется очень странным. Какое дело нынешней калмыцкой массе до того, что было в языке ее предков? С точки зрения современной калмыцкой фонетики эта «полумягкость» зависит просто от принадлежности всего данного слова к переднему ряду (т. е. уже скорее всего от гласного *o*). Исторически же дело тоже не объясняется тем, что было в **mörin*, а тем, что вообще ряд слов группы *or*, *ur* восходит к **öri*, **yri* (откуда *r* и сохранило в данных передних словах оттенок полумягкости).

Я не буду доказывать здесь правильность моей точки зрения, ибо об этом много писалось. Да в настоящее время основное вышесказанное положение (о необходимости иметь в виду фонетическую систему как целое) признано и принято и французской социологической школой и пражскими фонологи-

⁵ Мне незначем, в данном случае в настоящей статье, останавливаться на причинах расхождения между русским и сербскими явлениями (с внешней стороны «среднее» между тем и другим мы имеем в польском: *sen*, *dzień*); ясно, что здесь играло роль сербское «отверждение» согласных.

⁶ Для говоров же с *πίτυρες* (Гомер) и т. п. были, конечно, особые условия, состоявшие в отсутствии (или слабой степени) комбинаторной палатализации **k^w* (перед *i*, *e*).

стами⁷. Если я говорю, что предшественники мои (в вопросе о мутационности или постепенности фонетических развитий) стоят, в общем, на принципиально иной позиции (в отношении вышесказанного положения), то это потому, что ни французская социологическая, ни пражская фонологическая школа еще не создали своей собственной теории фонетической эволюции, не пересмотрели вопрос о мутационности или постепенности этой эволюции.

Перейду поэтому прямо к моей формальной классификации историко-фонетических изменений, с тем чтобы затем перейти к выяснению мутационного (или же, наоборот, постепенного) характера в отдельных разновидностях историко-фонетических изменений, устанавливаемых этой классификацией.

Классификационная схема эта, как она изложена мною в «Факторах фонетической эволюции языка как трудового процесса, I» (и предшествующих моих работах), сводится к следующему:

I. Историко-фонетические изменения внутри качества (или характеристики) отдельных элементов фонологической системы и не затрагивающие состав, т. е. число элементов системы: говоря кратко: изменения внутрифонемного порядка.

II. Изменения в самом составе фонологической системы, обуславливающие изменение числа элементов этой системы:

1) дивергенции, т. е. изменения, ведущие к увеличению числа элементов системы;

2) конвергенции, т. е. изменения, ведущие к уменьшению числа элементов системы.

Далее следует уже внутреннее деление конвергенций на три типа:

I тип, где рефлекс равен одному из конвергентов;

II тип, где рефлекс не равен ни одному из конвергентов:
подтип IIa: рефлекс совмещает черты обоих конвергентов в своей спонтанической характеристике;

подтип IIб: рефлекс совмещает черты обоих конвергентов в аберрации своих вариантов.

Но на этом последнем подразделении нам в данной статье можно не останавливаться⁸.

⁷ Достаточно указать на эпиграфы к книге Р. Якобсона (R. Jakobson, *Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves*, — «Travaux du cercle linguistique de Prague», 2, 1929;

1) «Chaque fait linguistique fait partie d'un ensemble où tout se tient. Il ne faut pas rapprocher un fait de détail d'un autre fait de détail, mais un système linguistique d'un autre système». — A. Meillet.

2) «L'histoire d'une langue... ne doit pas se confiner dans l'étude des changements isolés, mais chercher à les considérer en fonction du système qui le subit» — Résolution du premier congrès international des linguistes à La Haye.

⁸ Само собой разумеется, что и изменения внутрифонемного порядка и дивергенции тоже могут иметь внутреннее подразделение, например, для

Наиболее крупными (по своим результатам) изменениями следует считать, разумеется, не процессы внутрифонемного порядка, а дивергенции и конвергенции. Но из этих двух последних классов конвергенции (как это видно из вышеупомянутой моей статьи) имеют весьма часто самодовлеющий характер, тогда как сопровождающие их дивергенции являются зависимыми от них, и потому я считаю естественным задать поставленный нами вопрос (о мутационности или постепенности) прежде всего относительно конвергенций как наиболее важного класса историко-фонетических изменений. Да, собственно говоря, вопрос о том, имеются ли мутационные историко-фонетические изменения, уже будет, в основном, решенным, если мы докажем, что конвергенции являются не чем иным, как изменениями мутационного характера. Считаю, что в этих отделах (т. е. относительно одних лишь конвергенций) решение вышепоставленного вопроса было бы известным достижением.

Итак, являются ли конвергенции мутационными или же, наоборот, постепенными изменениями?

Но поскольку я позволяю себе базироваться на прежних моих работах, вопрос этот уже не приходится решать: он является уже решенным — нужно сделать только логическое заключение из уже высказанных мною положений (или даже простую их перефразировку). Именно конвергенции есть не что иное, как неосознание (младшим поколением) того различия (двух или нескольких элементов фонетической системы), которое еще существовало (т. е. сознавалось) у старшего поколения. Возьмем уже использованные мною (а следовательно, и более или менее разъясненные ужэ) примеры: 1) конвергенция догреческих $*k^w$ и $*p$ в греческом p (π), т. е. $*k^w \times p \rightarrow p$; 2) конвергенция древнекитайских глухих непридыхательных (например, $*t$) и звонких ($*d$) в севернокитайских «полузвонких» ($*'d$) (т. е. $*t \times *d \rightarrow 'd$, $*p \times *b \rightarrow 'p b'$) и т. п.

Говоря самым простым языком, можно передать сущность этих процессов следующим: было (в языке старшего поколения) два разных звука, стало (в языке младшего поколения) уже не два, а один звук. Например, было (в одном из периодов истории греческого языка) два звука — k^w и p , но вслед

дивергенций принципиально важным является критерий — сопровождается ли данная дивергенция конвергенцией или нет, но для наших целей (в настоящей статье) об этих подразделениях нет надобности говорить.

⁹ Примеров, конечно, можно было бы взять бесконечное множество; ибо громадное большинство зарегистрированных в исторических фонетиках изменений сводится именно к конвергенциям или по крайней мере не обходится без конвергенций. Понятен поэтому тот вопрос, который задал мне проф. Ушаков еще в 1921 г. после моего доклада о теории конвергенций: «Что же еще, кроме конвергенций, существует в области историко-фонетических изменений?».

за тем (у младшего поколения) и в тех словах, где раньше было k^w , и в тех, где раньше было p , стал произноситься один тождественный звук — p (писавшийся буквой π). Или: было (в древнекитайском) два разных звука: t и d , но на их местах в севернокитайском стал произноситься один и тот же тождественный звук — полувзвонкий $'d$ (звук по качеству промежуточный между t и d).

Какова бы ни была подготовительная работа (в изменении качества одного из данных звуков или обоих их), но ведь она вся протекала в тот период, когда еще существовало два звука, а не один. Самый же сдвиг, который и составляет конвергенцию, является не чем иным, как скачком от двух к единице — без всяких промежуточных ступеней (т. е. без ступеней вроде 1,99—1,98—1,97—1,8...1,1; этих ступеней и нельзя себе представить, ибо было бы бессмыслицей сказать, что в таком-то языке различаются $1\frac{1}{2}$ или $1\frac{1}{3}$ или $1\frac{1}{4}$ звука). Следовательно, конвергенционный сдвиг (или скачок от 2 к 1) является несомненным мутационным сдвигом. И это можно утверждать относительно любой из всех конвергенций, ибо вышеуказанное применимо ко всем процессам этого рода¹⁰.

Правда, мутационный характер устанавливается здесь нами лишь для самого конвергенционного сдвига, а не для всего диалектического¹¹ развития, конечным этапом (синтезом) которого весьма часто (как показывают конкретные факты) бывает конвергенция. Но этого-то и достаточно для признания наличия мутационных историко-фонетических изменений.

Для того чтобы быть ясным читателю, необходимо привести пример такого диалектического развития, синтезом которого являлась бы конвергенция (и которое, в целом, занимало бы более или менее длительный период времени). Возьму пример из области японского языка: тот тип конкретных историко-фонетических изменений, который крайне характерен (типичен) для истории японского языка, притом для разных (или всех) его эпох и разных (или всех) его диалектов, — именно процесс утраты слога, содержащего узкий

¹⁰ Тот случай, что в конвергенциях наблюдается порою совпадение не двух, а трех или более элементов в одном элементе, конечно, не вносит ничего противоречащего нашему выводу (скачок от трех до одного, или от четырех до одного опять-таки остается скачком). Не найдем мы противоречия и в таких случаях, где число различимых элементов сначала сокращается с трех до двух, а потом (у следующего поколения) с двух до одного: здесь просто будет не одна, а две (и не одновременно) конвергенции, но никак не одна «постепенная конвергенция».

¹¹ Слово «диалектический» употреблено, конечно, в философском смысле (от диалектики, а не от диалекта). Во избежание путаницы для второго значения (производного от диалект) я стараюсь, по мере надобности, употреблять не слово диалектический, а диалектологический.

(и краткий при этом) гласный (т. е. *i* или *u*) и, следовательно, замены двусложного комплекса односложным.

Приведу случай конкретных разновидностей этого развития из разных эпох и диалектов:

1. В весьма древнюю (или общепонскую) эпоху: **no¹mi-to¹* (букв. 'дверь [**i¹to¹]* для питья [*nomi-*']) → **no¹m(i)to¹* → *no¹ⁿdo¹ⁿ* → совр. зап.-яп. *no¹do* || токиоск. *'nodo* 'горло'.

Примечание. Знаки *1* служат обозначением музыкальной акцентуации: следовательно, в исходной форме высокими по тону были два последних слога (*mito*); отсюда понятно, почему наиболее архаическая из современных — современная западнояпонская форма — имеет повышение на последнем слоге (*do*). А так как этой акцентуации регулярно соответствует обратная ей токиоская акцентуация (с ударением на 1-м слоге), то в токиоской форме ударение на слоге *no*.

Аналогичный же случай: **ami-pari* (*ami-* 'плести'; **pari* 'игла') → *am(i)pari* → *a^mbari* → совр. *abari* 'ткацкий челнок'.

2. В тосаском и некоторых других диалектах: **da¹si¹ta* (прош. вр. от *das-u* 'вынимать', 'выставлять') → **da¹s(i)ta* → *da¹(i)ta* → **da¹çta* → совр. тосаское *da¹i¹ta*. В нагасакских говорах с дальнейшей эволюцией *dai¹ta* → *d^ε:ta* → *d^εa:ta* → *r¹a:ta* (в говоре дер. Мие).

3. В некоторых нагасакских говорах (например, в говоре дер. Мие) **tori* 'птица' → **tor'* → *to_ɰ* (тот же процесс в рюкюском *tu_ɰ*).

4. Во всех говорах (но с разными конечными результатами) в историческую эпоху, в определенных морфологических условиях: **sin-i-t-a* (прш. вр. от *sinuru*, *sinu* 'умирать') → **sin(i)ta* → *šinda*; **kap-i-t* (прош. вр. от **kap-u* → *kau* 'покупать') → **kap(i)ta* → зап.-яп. *ka_ɰta* (и далее *ko:ta*) || токиоск. *katta*; **nom-i-t-a* (прош. вр. от *nom-u* 'пить') → **nom(i)ta* → **noMda* → зап.-яп. и южно-яп. **no_ɰda* (далее → киотоск. *no:da* || нагасак. *nu:da*, говор дер. Мие *nu:ra*) || рюкюск. *nuda-(n)* || токиоск. *nonda*; **jo^mb-i-t-a* (прш. вр. от **jo^mb-u* → *job-u* 'звать') → **jo^mb(i)ta* → **joMda* → зап.- и южно-яп. **jo_ɰda* (и далее → *jo:da*, говор дер. Мие *jo:ra*) || рюкюск. *juda(n)* || токиоск. *jonda*. И аналогичные же изменения в других классах глаголов I спряжения (с основой на согласный).

Сюда же можно присоединить и случаи из другой морфологической категории, например: **kari^mbito* 'охоты человек' — 'охотник' → **kari^mb(i)to* → **kariMdo* → зап.-и южно-яп. **kariudo* → нагасак. *kar'u:do* → говор дер. Мие *kar'u:ro*; **aki^mbito* 'торговли человек' — 'купец'; последнее слово дает, например, следующие формы: токиоск. *akindo* || нагасак. *ak'u:do*, говор дер. Мие *ak'u:ro*.

¹² *n^d* — звонкая полуносовая фонема (как и *m^b*).

5. В рюкюском (говор Нафа): **^mbur-* (как и **-mur*)→*nd*. Например, рюкюск. *anda* (ср. станд.-яп. *abura*) 'масло'; рюкюск. *-nda* на конце местных названий деревень←**-mura* (ср. яп. *mura* 'деревня'); рюкюск. *sanda*:/яп. *saburo* (собств. имя) — из кит. **sam-lap*, исходная яп.-рюк. форма **sa^mburam*, отсюда уже, согласно регулярным звукосоответствиям→яп. **saburau*→*saburo*:; рюкюск. *sanda* (ибо **M* дает в японском и неслоговое, а в рюкюском — нуль гласного).

Примечание. С этим рюкюским развитием **^mbur* → *nd* можно сопоставить итальянский процесс *mbul* → *nd* в лат. *ambulare* → ит. *andare* (с фонологической точки зрения японо-рюкюская фонема *r* вполне сопоставима — хотя и не соизмерима — с *l* европейских языков; (подробно об этом в работе Е. Поливанова «Субъективный характер восприятий звуков языка»).

6. Случай, несколько обособленный от прочих в формальном отношении: во многих говорах **uturo*→*ut(u)ro* (ср. тосаск. *ut^(u)ro* — эта форма и может рассматриваться как промежуточный этап развития)→*uro* 'дупло' (наряду с литературным дублетом *ucuro*, где *cu*←*tu*, как во всех других позициях, в большинстве говоров, но не в Тоса).

Число подобных разновидностей процесса может быть сильно увеличено (не говоря уже, разумеется, о примерах на каждую разновидность), ибо, повторяю, этот тип процесса (нулизация слога, содержащего *i* или *u*) представлен в истории японского языка чрезвычайно широко.

Добавлю, что представленный ныне в формулах каждого примера ход историко-фонетических развитий можно считать доказанным: промежуточные этапы воссоздаются на основании тщательного изучения¹³ каждого из данных развитий в отдельности и, если не всегда могут быть теоретически защищены против теоретического допущения некоторых (хотя и минимальных) шансов на вероятность иного хода процесса (а это можно сказать относительно тех промежуточных

¹³ Для примера укажу, что одному только южнояпонкорюкюскому процессу **Vri*→*Vr'*→*Vi* (например, *tori*→*toɽ* в говоре дер. Мие Нагасакской префектуры, см. выше, 3-й пример), рассматриваемому в пределах кюсюских говоров, посвящена была монографическая работа в несколько печатных листов (написанная в 1918 г.). Напечатать ее целиком не удалось (по вполне понятным для 1918 г. причинам), но главные ее части вошли в «Историко-фонетический очерк японского консонантизма». Насколько результаты детального («микроскопического» и потому гарантированного от принципиальных ошибок) изучения могут при этом расходиться от того, что может «показаться на первый взгляд» (и того, следовательно, что готово даже стать общепринятым), говорит этот самый процесс *Vri*→*Vi*. У всех авторов до меня (не обследовавших это явление детально) он трактуется как «выпадение *r*», иначе говоря, здесь начало и основная суть процесса определяются как нулизация согласного (*r*). Тогда как на самом деле толчком или антитезой диалектического противоречия здесь оказывалось стремление к нулю именно не согласного (*r*), а гласного *i*.

этапов, которые восстанавливаются в истории данного диалекта по аналогии к фактам другого диалекта, где данные формы засвидетельствованы, т. е. даны в современном состоянии этого последнего диалекта¹⁴), но в пределах практически-достаточной доказуемости могут быть признаны вполне достоверными (в той же мере, как и общепризнанные построения всякой другой исторической фонетики).

Однако, сделав это замечание, я должен прибавить и следующую оговорку. Приведенные мною историко-фонетические формулы (например, **kap(i)ta*→зап.-яп. **kaɯta* или **jo^mb(i)ta*→**joMda*→зап.-яп. *joɯda*) даны здесь в наиболее упрощенном виде, без уточнений и пояснений, которые необходимо нужно было бы сделать, если бы я имел целью полностью представить фонетическую эволюцию данного слова (например, не пояснен знак **M* — символ губного носового, восходившего к конвергенции яп. **mi* и кит. *ɰ* в китайских заимствованиях, и заменившегося затем в японском через *ɯ*, а в рюкюском давшего нуль гласного); но здесь оставлено лишь то, что нужно для пояснения данного историко-фонетического развития (а не для истории данного слова в целом).

Кроме того, напомним, что мною взяты примеры в полне завершенных процессов данной категории; вот почему сюда не вошли, например, также (наиболее известные японистам) случаи редукции *u*, *i* как в токиоских неударенных слогах *su* и *si* (например [haś(i) 'палочки для еды', [das(u) 'вынимает' и т. п.).

Исторический (историко-фонетический) процесс, к разновидностям которого относятся все вышеприведенные примеры, обнаруживает следующие этапы.

I. Первый этап (тезис диалектического развития): длительный (и обычно весьма длительный) период всестороннего (и физического) соответствия рассматриваемого комплекса закону открытых слогов [согласно которому возможный состав слогов определяется исключительно формулой (C)V, где C — символ согласного (Consonans), а V — символ гласного (Vocalis) элемента]¹⁵. Следовательно, это период

¹⁴ Так, т. е. по аналогии, воссоздается, например, этап *daç-ta* (с согласным ç- нем. *ich-Laut*) во 2-м примере, а в известной мере (но не исключительно) аналогия служит нам и для воссоздания этапа *tor'* с согласным *r'* на месте слога *ri-* в 3-м примере. Иначе говоря, в некоторых других диалектах мы фактически встречаем (в современную нам эпоху) и данное *s't*→*çt*, и данное *ri*→*r'* в условиях, генетически соответствующих условиям данных примеров.

¹⁵ Правда, для дояпонской эпохи мне приходится допускать (по крайней мере для одного из дояпонских источников японского языка-гибрида) отсутствие или по крайней мере принципиальное нарушение закона открытых слогов в виде слогов на носовой согласный, как, например, в «общекорейско-японском» **acam* (яп.-киотоск. *asâ*//корейск. *ac'am*, *açam* 'утро' или **turum* (обще-яп. *turâ*→совр. киотоск. *curâ*//кор. *turum* 'журавль').

безусловной двусложности комплексов *nomi* (в слове **nomi-to*), *ami* (в **amipari*) (1-й пример), *dasi* (в форме **dasita*) (2-й пример), *tori* (3-й пример); *sini*, *kapi*, *nomi*, *jo^mbi* в формах прошедшего, *ri^mbi* в слове **kari^mbito*, *ki^mbi* в слове **aki^mbito* (4-й пример), *a^mbu*, *sa^mbu* и т. п. (5-й пример), *utu* (6-й пример).

Но мы только тогда поймем диалектический характер (наличие диалектического противоречия), когда в роли первого антагонизирующего начала представим себе сам закон открытых слогов (обнаруживающийся в данный период, между прочим, и на составе вышеназванных комплексов *nomi*, *dasi*, *tori*, *sini*, *kapi*, *ri^mbi*, *ki^mbi*, *^mburu*, *utu* и т. д.). И конечно, этот закон открытых слогов должен пониматься отнюдь не как объективное лишь обобщение единичных фактов языка [т. е. наличных в японском языке слогов, удовлетворяющих формуле (C)V], но именно как субъективный, т. е. усвоенный самим данным коллективным языковым мышлением, принцип, не допускающий появления (в данном языке) слогов отличного состава (т. е. слогов CVC, VC, CCV и т. д.¹⁶). Только в таком виде этот закон и мог оказаться противоречащим началом по отношению ко второму (нижеуказываемому) фактору (к антитезису данного диалектического развития).

II. Второй этап (антитезис диалектического развития): длительный этап редукции узкого гласного (*i* или *u*) в составе второго слога данных (двусложных) комплексов, т. е. гласного *i* в комплексах *nomi*, *ami* (1-й пример), *dasi* (2-й пример), *tori* (3-й пример), *sini* и т. д. (4-й пример); гласного *u* в комплексах *a^mbu*, *sa^mbu* (5-й пример) и гласного *u* во втором слоге комплекса *utu* (6-й пример).

Причина этой редукции — физиологическая, и поскольку редукция (или «стремление к нулю») узких, и притом кратких, гласных имеет место в истории очень многих (если не всех) языков, причина эта хорошо уже известна нашей науке. Вкратце о ней здесь можно сказать следующее: узкие гласные (типа *i*, *u*, а также и типов *y*, *ɯ*[=*ɯ*]), т. е. наименее

¹⁶ А это очень легко подтверждается на опыте (даже посредством эксперимента, т. е. при нарочито подстраиваемых условиях опыта); например, японец, слыша русские слова *так*, *там*, *пить*, воспринимает и повторяет их не как односложные, а как двусложные комплексы: *taku*, *tamu*, *picu* (или *pit'i*, если мы имеем дело с уроженцем Тоса), а слово *драма* — как трехсложный комплекс *dorata* или *zurate*. То же самое имело место и в древности — в эпоху (или, точнее, в различные эпохи) китайских заимствований: например, односложное кит. **kam* дало яп. *kami* 'бумага' или (в более позднюю эпоху) кит. **it* → яп. **iti* → совр. яп. *ichi* 'один'; кит. **pat* → яп. **pati* → совр. яп. *hachi* 'восемь'; кит. **liuk* → яп. *roku* 'шесть'; кит. **zip* → *ziru* (откуда далее *z'u*; токиоск. *ju*: 'десять' и так далее; число примеров — неограниченное).

типичные представители класса гласных, расходуют в единицу времени наибольшее (по сравнению с другими гласными, например, *a*) количество выдыхаемого воздуха.

Следовательно, расходуя, в общем, одно и то же количество воздуха, гласный *a* удаётся произносить в течение значительно большего промежутка времени, чем гласные *i*, *u*, *y*, *ш*[=*ы*]. А отсюда легко прийти к выводу, что при прочих равных условиях¹⁷ узкие гласные будут, в среднем или в виде общей нормы, произноситься с меньшей длительностью, чем широкие (типа *a*) или полуширокие (типов *e*, *o* и пр.)¹⁸. А это уже и есть не что иное, как преимущественная склонность к редукции именно узких гласных (по сравнению с более широкими). Будучи же склонны к наименьшей длительности, они (узкие гласные) в том общем процессе «изнашивания», которому постоянно (хотя и весьма медленно, т. е. на громадных хронологических дистанциях), подвергаются все звуки языка, должны будут опережать другие (более широкие) гласные на пути к предельному результату «изнашивания» (или редукции), т. е. будут скорее превращаться в нуль и исчезать из произношения слов, чем более широкие гласные, находившиеся в одинаковых с ними условиях.

Эмпирически эта тенденция (т. е. преимущественная тен-

¹⁷ Говоря о равенстве прочих (кроме узости или широты, т. е. степени раствора) условий, здесь следует иметь в виду не только чисто статические, т. е. лежащие в данной эпохе, моменты (комбинаторные условия, принадлежность к ударяемому или, наоборот, неударяемому слогу, к односложному или двусложному и т. д. слову, к одному и тому же стилю и темпу речи и т. д.), но и историческую количественную адекватность: например, гласные типа *u*, *i*, если они восходят по крайней мере в относительно недавнем прошлом к сочетанию двух фонем, могут сохранить в качестве «наследственной» черты остатки двойного количества, т. е. обладать относительно большей длительностью даже по сравнению с максимально широким гласным *a*, если он в данном языке восходит не к двум, а к одной одинарной фонеме. Но такие именно *u*, *i* и нельзя считать соизмеримыми с данными: здесь нет равенства прочих условий. Укажу, кстати, что русские *u*, *y*, *ы* (*i*, *u*, *ш*) могут служить примером узких гласных, наследовавших двойное количество: они восходят или к древним дифтонгам (сочетаниям двух фонем) или к принципиально долгим гласным. Что же касается одинарных, т. е. восходивших к исконно кратким звукам, звуков *i*, *u*, то они давно уже превратились в нуль в большинстве своих позиций в истории славянских (в том числе и русского) языков: это — гласные, писавшиеся буквами *ь*, *ѣ* в славянском и древнерусском языках; благодаря своей краткости они уже давно достигли предела редукции, т. е. нуля гласного.

¹⁸ Конечно, вывод этот предполагает в качестве одной из своих посылок принцип более или менее равномерного распределения фонационной энергии (а в связи с ней и выдыхаемого воздуха) между соизмеримыми (и находящимися в равных условиях) фонетическими единицами — принцип, который в свою очередь упирается опять-таки именно в понятие «языка как трудового процесса» (т. е. вне данного понимания языка не находит себе логической мотивировки).

денция) узких гласных к нулизации вполне подтверждается: если мы возьмем совокупность изученных в историко-фонетическом отношении языков (т. е. все известные нам исторические фонетики конкретных языков), то случаи «падения» узких гласных окажутся явно преобладающими над «падениями» прочих гласных. Правда, далеко не во всех языках относящиеся сюда факты (т. е. факты редукции и падения узких гласных) представляют столь стройную картину, как это имеет место в истории славянских языков (падение *ъ, ь*) и, с другой стороны, японского. Поэтому относительно многих языков мы еще не находим в литературе того вывода (или обобщения), который уже сделан (и вошел в научную лингвистическую литературу) по поводу падения узких гласных в славянских языках и японском¹⁹. Но это означает лишь, что этот вывод (вывод о преимущественной регулируемости именно узких, а не широких гласных) должен быть нами сделан самостоятельно на основании пересмотра всей данной исторической фонетики в целом²⁰.

Нужно сказать, правда, что в некоторых отдельных случаях (например, в истории некоторых германских языков) мы наталкиваемся и даже на такие явления, которые, казалось бы, противоречат указанному выше общему положению, т. е. на такие развития, где редуцируются (и исчезают) именно более широкие гласные при сохранении узкого гласного. Но при внимательном анализе этих случаев (не говоря уже о том, что они встречаются редко, т. е. могут рассматриваться как исключения) их удастся объяснить за счет наличия специфических правых условий. И следовательно, указанный выше общий закон (закон преимущественной редуцируемости узких гласных) может быть доказан апостериорно — и именно на основании фактов не одного какого-нибудь языка, но, наоборот, на основании исторических фонетик возможно большего числа языков.

Действие тенденции к нулизации японских кратких *i, u* обнаруживалось в каждом из вышеприведенных примеров, по-видимому, так же, как оно обнаруживается в современных еще не завершенных процессах «падения» *u* и *i*, которые мы можем наблюдать, например, в современном стандартном, или

¹⁹ Славянское явление вполне общеизвестно; на «падение» японского *u, i* было указано мною еще в моей первой, ученической работе 1913 г., и о ней не раз шла речь в последующих.

²⁰ Например, турецкие языки (и притом не один или два из них, но все из лично обследованных мною турецких языков) могут служить отличным примером редукции узких гласных (и стабильности находящихся с ними в разных условиях «неузких», т. е. широких и полушироких гласных), но, насколько мне известно, это не вошло еще в лингвистическую литературу, если не считать моей еще не напечатанной работы «Вокализм азербайджанского языка».

токиоском, говоре, в таких случаях, как *!das(u)*, *!has(i)* и т. д., т. е. данный гласный (*u*, *i*) постепенно сокращался и в количественном, и в артикуляторном отношениях (а в случае соседства с двумя глухими согласными и оглушался) так, что, в конце концов, по крайней мере при известном темпе речи (т. е. при известной быстроте произношения данного слова), достигал полного физического нуля. На вопрос — должна ли эта физическая нулизация (или — если примем в расчет необходимость определенного темпа речи для этой нулизации — физическая факультативная нулизация) обязательно сопровождаться утратой представления данного гласного (*u* или *i*) в данном слове, — мы должны, бесспорно, ответить отрицательно. О том, что физическая нулизация *u* или *i* может осуществляться без утраты принципиального его представления (в данном слове), нам говорят современные (незавершенные) случаи падения *u*, *i*, хотя бы в вышеприведенных токиоских словах *!das(u)*, *!has(i)*²¹. И само собой разумеется, что это противоречие между нормальным физическим осуществлением данного слова (без произношения *u* или *i*, т. е. в виде *nomto* вместо *nomito* — 1-й пример, *das'ta* вместо *das'ita* — 2-й пример, *tor'* вместо *tori* = *tor'i* — 3-й пример и т. д.) и принципиальным фонетическим его представлением могло длительно существовать именно ввиду того присущего японскому языковому мышлению общего принципа, который был назван нами «законом открытых слогов».

Языковое сознание не допускало принципиальной возможности закрытых (оканчивающихся на согласный) слогов, а произносительный аппарат — по крайней мере при известном темпе фонации (данных слов) — произносил закрытые слоги.

Этим, казалось бы, можно было бы и закончить характеристику второго этапа (или, точнее, последних стадий второго этапа) рассматриваемых нами развитий, этапа, на котором оба антагонизирующие начала находились в состоянии неразрешенного противоречия.

Но, принимая во внимание ту сложность современной нам картины неразрешенных случаев падения *u*, *i*, о которой нам дают представление современные токиоские факты (с одной

²¹ Правда, детальный анализ всех (или большого числа различных примеров) случаев современной токиоской редукции показывает нам, что в действительности дело обстоит сложнее, чем может показаться a priori или на первый взгляд: от большинства случаев, подобных примерам *!das(u)*, *!has(i)*, надо отличать такие случаи редукции, как в суффиксах *-des* из **-des-u*, *-des-ta* из **des-i-t-a*, *-mas* из **mas-u*, *-mas't-a* из **mas-i-t-a*. В этих последних условия падения *u*, *i* специфические: физической нулизации данных *u*, *i* сопутствует полная утрата «семантической нагрузки» этих гласных (утрата морфем *-u*, *-i*). И в таких условиях мы, действительно, наблюдаем уже и отсутствие самого представления данных гласных.

стороны, $!das(u)$, $!has(i)$ и пр. с факультативным падением узких гласных, с другой — суффиксы $-des \leftarrow *desu$, $-dešta \leftarrow *des-i-t-a$, $-mas \leftarrow *mas-u$, $-mašta \leftarrow *mas-i-t-a$, где u, i в современном токиоском уже вообще никогда не произносятся), мы можем сделать еще одну оговорку, допустив следующую альтернативу. Физическое падение u, i могло или сопровождаться прежней (отвечающей закону открытых слогов) принципиальной оценкой данных комплексов (причем, следовательно, языковое сознание не провело еще грани между представлениями $C(u)$, $C(i)$ и представлениями тех же слогов Su , Si в других словах, где благодаря иным позиционным условиям гласные u, i вовсе не подвергались исчезновению) или же сопровождаться в некоторых хотя бы примерах выработкой особого представления слога, оканчивающегося на согласный (притом именно на определенный согласный). Однако это представление (например, допустим, в 3-м примере — представление слога типа $(C)Vr'$ ²², в частности $*tor'$ 'птица') должно было обладать следующими двумя специфическими признаками, ставившими его на вполне особое, исключительное место среди других слогопредставлений: во-первых, оно должно было быть несамостоятельным, представляя собою дублет или субститут определенного комплекса нормальных слогопредставлений, например, гипотетически допускаемое нами r' в форме $*tor'$ 3-го примера могло существовать лишь как потенциальный субститут слога $ri = r'i$; во-вторых, именно в связи с этой несамостоятельностью своей это представление должно было носить аномальный, исключительный (противоречащий общим принципиальным нормам) характер среди всех прочих фонетических представлений данной системы (иначе говоря, принципиально противореча общим нормам, т. е. закону открытых слогов, это представление — представление C или C' без последующего гласного — только и могло быть допустимым в составе данного звукового мышления как окказиональный дублет, или субститут, некоего нормального представления — именно Su или Si).

III. Третий этап (синтез диалектического развития): мутационное (революционное) разрешение выросшего противоречия посредством конвергенции (и именно конвергенции I типа) данных комплексов с неким другим, нормальным (и уже существовавшим в данном языке) слоговым представлением. Именно:

1) в 1-м примере в слове $*nomi-to$ комплекс $m(i)to$ или

²² В современную нам эпоху услышать подобные слоги можно в кумамотоском говоре. Он-то, между прочим, и позволяет нам восстанавливать промежуточную ступень tor' в рассматриваемом нами (в 3-м примере) нагасакском диалектическом процессе $tori (-tor'i) \rightarrow *tor' \rightarrow toi$ в говоре дер. Мие.

mto, превратившийся уже (благодаря закону об озвончении согласного после носового) в *mto*, конвергирует со слогопредставлением *ᵐdo*, уподобляясь последнему; таким образом, вместо исконной трехсложной получается двусложная форма *noᵐdo* (\rightarrow *nodo*), уже полностью удовлетворяющая закону открытых слогов; равным образом, в слове **ami-pari* комплекс *mpa* \rightarrow *mba* уподобляется нормальному слогопредставлению *ᵐba*(\rightarrow *ba*) (получается вместо исконно четырехсложного трехсложное слово);

2) во 2-м примере комплекс *daç* уподобляется слоговому представлению (т. е. представлению дифтонгического слога на *i*), которое уже имелось в языке в данную эпоху в качестве одного из вариантов формулы (C)V, т. е. переходит в *daḷ* (из трехсложного **dasita* в конце концов получается, следовательно, двусложное — и удовлетворяющее закону открытых слогов — *daḷta*);

3) в 3-м примере комплекс *tor'* уподобляется слогопредставлению *toḷ* и дает таким образом односложное *toḷ*;

4) в 4-м примере в слове **kapta* комплекс *kap* уподобился дифтонгическому слогу *kaṷ*, откуда затем *ko:*, т. е. *kaṷta* \rightarrow *ko:ta*; в восточных же говорах (например, в токийском) данное *kap* (в форме **kapta*) уподоблялось представлению слога, завершающегося долгим согласным, и таким образом на месте **kapta* получилась форма *katta*; в слове **nomda* в западных и южных говорах комплекс *nom* уподобился дифтонгическому слогопредставлению *noM*, где **M* — символ губного носового на конце дифтонга; отсюда далее в связи с общим процессом **M* \rightarrow яп. *u*//рюк. *u* нуль получалось *noṷda*, а в рюкюском *nuda* (ибо всякое **o* \rightarrow рюк. *u*); и в токиоском же *nom* (в составе формы **nomda*) уподоблялось дифтонгическому представлению *noN* (где **N* — символ переднеязычного носового на конце дифтонга), и, следовательно, **nomda* \rightarrow *noNda* \rightarrow *nonda*: аналогичное же развитие мы видим и в слове **joᵐbita* — дело в том, что комплексы **m(i)t* и **ᵐb(i)t* на одной из ступеней своей эволюции совпали (конвергировали), и, следовательно, дальнейшее развитие протекало, как и у предшествовавшего слова (**nom(i)ta* \rightarrow **nomda*);

5) в 5-м примере комплекс *m(u)r*, как и конвергировавший с ним комплекс *ᵐb(u)r*, уподобляется комплексу *nd* (комментарии опускаю);

6) и, наконец, в 6-м примере *ut^u* или *u'* благодаря нулизации второго *u* уподобляется просто слогу *u*.

Нетрудно убедиться, что рефлекс (результат) всех этих конвергенций является не только новым этапом — новшеством по отношению к предшествовавшему состоянию, но и органическим совмещением (уже без противоречия) тех двух начал, которые в предшествовавшем состоянии находились в проти-

воречии друг к другу, а именно: 1) принципа открытых слогов и 2) тенденции к нулизации *i* или *u*.

В данной, т. е. третьей — синтетической — стадии развития принцип открытых слогов полностью выдерживается, а тенденция к нулизации *i* и *u* получила окончательное свое осуществление (ибо данного гласного *i* или *u* уже не существует). Таким образом, оба антагонировавших начала удовлетворены и примирены, хотя это и достигнуто путем резкого (мутационного) — и качественного и количественного — изменения данных комплексов, т. е. посредством подстановки новых, отличных от прежних, фонетических представлений²³ и путем утраты слога как такового, т. е. сокращения числа слогов данного слова на единицу.

Из приведенного примера мы видим, что конвергенция (относительно которой мы и утверждаем мутационный, т. е. революционный характер) является только разрешением (синтезом), т. е. конечным этапом диалектического развития. А следовательно, об исторической мгновенности или мутационности всего диалектического развития в целом у нас отнюдь не было речи. Но того вывода, который может быть сделан из обобщения рассмотренного и всех подобных ему развитий (т. е. диалектических развитий, разрешающихся конвергенцией) именно и вполне достаточно для того, чтобы решить в утвердительном смысле вопрос о наличии мутационных изменений в языке. Ведь и в области социальной истории мы вовсе не утверждаем мутационного (революционного) характера всего того процесса, который завершается (или разрешается) революционным сдвигом; нам достаточно признание того, что сам этот сдвиг (т. е. изменение как таковое) носит мутационный (революционный) характер. Было бы невозможно утверждать, например, что весь процесс русского освободительного движения (с 1816, допустим, года — года «Зеленой лампы», т. е. той организации, с которой можно считать начало освободительного движения русской интеллигенции) есть нечто мгновенное, квалифицируемое как «мутационное изменение». Нам достаточно того, что то подлинное изменение порядка вещей, которое произошло в 1917 г. и служило разрешением выросшего противоречия, носило мутационный характер; а само нарастание этого противоречия, без сомнения, носило длительный характер.

Следовательно, признавая мутационный характер конвергенции, т. е. одной из двух главных категорий крупных историко-фонетических изменений, мы уже тем самым решаем общий вопрос о том, что в фонетической истории языка мутационные изменения имеются и занимают важное место.

²³ Например, *toł* вместо *tor'* (←*tori*) в 3-м примере.

Но для полноты решения следует остановиться и на двух других классах историко-фонетических изменений: 1) на дивергенциях и 2) на процессах меньшего масштаба — внутрифонемных изменениях (не приводящих к изменению числа элементов фонетических систем).

В дивергенции — если мы условимся только понимать под дивергенциями именно процессы, увеличивающие число элементов фонетической системы²⁴, — применимо опять-таки рассуждение, аналогичное тому, которое высказано было выше относительно конвергенций: переход от единицы к двум единицам — здесь не допускает промежуточных ступеней, которые просто логически непредставимы: нельзя, например, представить себе такое состояние фонетической системы, в котором бы вместо одной фонемы (например, фонемы *p*) стало бы существовать $1\frac{1}{10}$ фонемы, или $1\frac{1}{9}$ фонемы, или $1\frac{1}{2}$ фонемы и т. д.: возможно лишь целое число фонем, т. е. две или три, четыре фонемы на месте одной фонемы. Следовательно, дивергенции (приводящие к увеличению числа элементов системы) тоже являются мутационными изменениями.

Но этого нельзя, разумеется, утверждать относительно всего подготовительного процесса, предшествующего самому акту дивергенции, и обычно состоящего в «физической дивергенции», т. е. выработке двух (или более) комбинаторных вариантов данной фонемы, тех вариантов, которые впоследствии после акта дивергенции превратятся в две принципиально различаемые фонемы. Этот подготовительный процесс протекает, разумеется, внутри отдельной фонемы, и к нему мы не имеем права применить понятие мутационного изменения.

Итак, относительно дивергенций мы опять-таки можем сделать то же замечание, какое выше было высказано по поводу конвергенций: мутационным (революционным) оказывается лишь завершение развития, предшествующая же этому разрешению подготовительная часть развития обычно носит длительный характер.

Совпадение этих общих выводов (и относительно развитий, завершающихся конвергенцией, и относительно развитий, завершающихся дивергенцией) должно быть поставлено в связь еще со следующим обстоятельством: чрезвычайно частым (и, так сказать, типичным для историй всех языков) явлением оказывается одновременность и взаимная обусловленность конвергенции и дивергенции, причем дивергенция может рассматриваться как обратная сторона (изнанка) конвергенционного процесса, и обратно. Примером может служить

²⁴ А не те дивергенционные по направлению процессы, которые принадлежат к внутрифонемным изменениям.

хотя бы аттическое изменение догреческого $*k^w$ (точнее, двух комбинаторных вариантов этого $*k^w$ — перед задними и передними гласными), которое упоминалось мною в «Факторах фонетической эволюции» и которое может быть характеризовано следующей формулой: греч. аттич. $p(\pi) \leftarrow *p \times *k^w(a, o) \div *k^w(e, i) \times *t \rightarrow$ греч. аттич. $t(\tau)$.

Другой пример из истории русского языка: дивергенция \bar{z} , завершенная исчезновением одних случаев \bar{z} и переходом $\bar{z} \rightarrow o$, с другой стороны (например, $с\bar{z}н\bar{z} \rightarrow сон$). Формулой это можно выразить так: $o \leftarrow *o \times \bar{z} (\dots \frac{\bar{z}}{b}) \div \bar{z} \rightarrow$ нуль.

Благодаря стремлению узких гласных — в данном случае \bar{z} (из $*u$ краткого), и \bar{b} (из $*i$ краткого) — к нулю большинство случаев \bar{z} приобрело характер крайне редуцированного (близкого к нулю) гласного²⁵. Но в тех случаях, когда эта тенденция к нулизации не могла осуществляться — именно когда за слогом с данным \bar{z} следовал слог с подвергавшимся редукции \bar{z} или \bar{b} (например, в первом слоге слова $С\bar{b}Н\bar{z} = s\bar{z}n\bar{z}$, где выпадение обоих гласных обещало бы оставить это слово вовсе без гласного), имелся, разумеется, отличный от вышеупомянутых случаев \bar{z} вариант этой фонемы. Мы обозначаем его схематическим символом « $\bar{z}(\dots \frac{\bar{z}}{b})$ », и в даль-

нейшем будем называть «устойчивым» вариантом фонем \bar{z} .

Таким образом, внутри фонемы \bar{z} мы констатируем дивергенционное по направлению развитие двух комбинаторных вариантов: стремящегося к нулю и «устойчивого» \bar{z} . С наступлением же мутационного сдвига имело место следующее: стремящийся к нулю вариант (например, второй \bar{z} в $с\bar{z}н\bar{z}$) перестал существовать в качестве гласного звукопредставления (например, вместо $с\bar{z}н\bar{z} = s\bar{z}n\bar{z}$, состоявшего из четырех звуков, стало мыслиться слово из трех звуков). Уцелевший же «устойчивый» вариант, как представленный сравнительно небольшим числом случаев, уже не мог существовать в виде особой фонемы и вошел в конвергенцию с одним из других гласных данной системы (в русском с фонемой o , в польском с e , в сербском с a и т. д.). Таким образом, произошла и дивергенция — отрыв случаев «устойчивого» \bar{z} от нулизовавшихся (переставших существовать) случаев \bar{z} — и конвергенция: русск. $o \leftarrow *o \times \bar{z} (\dots \frac{\bar{z}}{b})$, польск. $e \leftarrow e \times \bar{z} (\dots \frac{\bar{z}}{b})$ и т. д., и оба

²⁵ Качественную аналогию для славянского гласного \bar{z} позволяю себе видеть в казакском гласном \bar{u} , в казакской латинице 1924 г. u (например, в слове $\bar{u}ot$ 'держи'); при определенных позиционных условиях фонема эта достигает в максимальной степени физической редукции, т. е. нуля гласного.

этих явления взаимно обуславливают друг друга или, точнее, составляют две стороны одного и того же мутационного процесса.

Разумеется, относительно таких именно случаев, где дивергенция тесно связана с конвергенцией, мы можем сделать вывод о мутационном характере дивергенционного сдвига уже просто на основании того, что выше было сказано о мутационности конвергенций.

Что же касается изменений меньшего масштаба — внутрифонемных процессов (которые, как мы уже говорили, часто относятся к подготовке конвергенционных или дивергенционных или же конвергенционно-дивергенционных сдвигов), то мы не можем, разумеется, отрицать среди них постепенных, длительных (охватывавших несколько поколений) процессов. Ведь точно так же и в социальной истории, например в истории дореволюционной России, мы не можем отрицать наличия многих явлений меньшего (несоизмеримо меньшего) масштаба, чем революция, которые должны были бы квалифицироваться именно как постепенные (немутационные) изменения.

Но это вовсе не означает, однако, что все историко-фонетические процессы данной категории должны оказаться постепенными (немутационными)²⁶. Наоборот, есть основания думать, что некоторые типы внутрифонемных изменений носят именно мутационный характер. Откладывая их анализ до опубликования систематических монографий, посвященных историческим фонологиям отдельных языков²⁷, я замечу лишь, что здесь придется обратить внимание прежде всего на акустически (а не физиологически) мотивируемые внутрифонемные изменения (и в частности, между прочим, на те процессы, которые, не будучи настоящими конвергенциями, могут быть названы «конвергенциями с первофонемой»²⁸ в том смысле, в каком этот последний термин был употреблен мною в «Факторах фонетической эволюции» и в «Двух статьях по теории конвергенций»).

²⁶ Или, как иногда говорят, эволюционными.

²⁷ Эти мои работы будут опубликованы Пражским лингвистическим кружком (в первую очередь в виде № 2 серии фонологических монографий, издаваемых этим кружком, пойдет работа по японской фонологии).

²⁸ В качестве прелиминарного примера укажу, например, на переход $*k^w \rightarrow p$ в истории кельтских языков (где, как я полагаю, $*p$ уже перестало существовать как таковое к моменту изменения $*k^w \rightarrow p$) или, по крайней мере, на заключительный этап этого процесса. Другой прелиминарный пример (прелиминарный опять-таки потому, что здесь я не излагаю всей ситуации данных явлений) — заключительный этап перехода «начальное $*j \rightarrow$ мягкий ж» перед узкими гласными (i, y, u) в кашгарском языке. Это явление строго отлично от начального $*j \rightarrow$ ж в казакском, ибо здесь (в кашгарском явлении) отсутствовала промежуточная ступень $\check{z} = дж$, а следовательно, не имела места конвергенция начального $j \times \check{z} \rightarrow \check{z}$.

ЗАКОН ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО В ПРОЦЕССАХ ИСТОРИКО-ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

I

Как и в моей давнишней, около 10 лет тому назад написанной работе, посвященной вопросу о так называемых мутационных, т. е. скачковых, изменениях в языке, так и здесь, говоря о законе перехода количества в качество, я нахожу нужным остановиться прежде всего на фонетических (в частности фонологических) изменениях, а не на процессах морфологической, синтаксической и т. д. эволюции¹. Поступаю я так вовсе не потому, что считал бы преимущественно важным внутри эволюционно-языковых именно фонетические (или, в частности, фонологические) изменения, а просто потому, что в теории эволюции языка механизм фонетических изменений является наиболее трудной проблемой.

Должен оговорить, что в настоящей статье я вовсе не ставлю себе задачи рассмотреть обнаружение вышеназванного закона материалистической диалектики во всех или хотя бы

¹ В качестве примеров из историко-морфологических явлений назову здесь: 1) образование Composita (хотя бы русский случай: *право учения* → *правоучение*, например во фразе *Им еще не было внесено правоучение* и т. п.) и процессы грамматикализации с превращением двух слов в новое или грамматическую форму (например, образование французского наречия *viva mente* → *vivement* и т. п. или образование таких глагольных форм, как юж.-яп. *Progressiv mijori* ← *mijoru* из **mi oru* и *Perfectiv miçori* ← *miçoru* из **mite oru* или узб. *Progressiv kewotmæn* из **kelib jataman* и т. д., — процессы, обильно встречающиеся именно в языках с постоянным порядком членов предложения и т. п.); переход количества (двух слов) в качество (специфический смысловой и морфологический состав получающегося в результате универбации одного слова) здесь усматривается с элементарной ясностью; 2) морфологическая конвергенция двух членов (в частности, падежей) в одной и той же парадигме (в склонении), например, образование (под таджикским влиянием, конечно!) синкретического дательного-местного падежа на *-gɛi/-kɛi* в самаркандско-бухарском типе узбекских говоров из конвергенции дательного (на *-gɛi/-kɛi*) и местного (на *-dɛi/-tɛi*) и целый ряд аналогических процессов в различных других языках; переход количества (два падежа) в качество выражается здесь в новом, специфическом расширенном значении, т. е. в новом семантическом качестве данного нового падежа. Кроме того, в ряде подобных процессов присоединяется и новое качество формальной характеристики данного синкретического падежа. Так обстоит дело, например, в южнояпонской формации *Dativ'a*-*Locativ'a* из падежей на *-ni* и на **(p)e*.

даже во всех главнейших типах историко-фонетических процессов (подойти к осуществлению этой последней задачи я могу лишь в соответствующей главе моей книги «Теория эволюции языка», ибо более или менее полный охват главнейших типов фонетических изменений возможен только на основе уточнений классификации их, содержащейся в предшествующих главах), а наоборот, позволяя себе смотреть на эту статью лишь как на первое общелингвистическое² высказывание по данному вопросу (о законе перехода количества в качество на материале эволюционно-языковых явлений), я имею здесь в виду весьма скромную задачу: показать наличие перехода количества в качество на анализе лишь некоторых типовых разновидностей историко-фонетических (и именно историко-фонологических)³ процессов. Ограничусь здесь следующими типовыми случаями (подбираемыми именно с той целью, чтобы показать возможность разнообразного содержания того, что оказывается качеством, и того, что оказывается количеством в данных мутациях):

1°. Первый случай. На месте комплекса двух смежных фонем вырастает новая (отсутствовавшая в фонологической системе старшего поколения) фонема (относящиеся сюда процессы объединяются здесь в данный «типовой случай» независимо от наличия ~ отсутствия конвергентных явлений).

2°. Другой случай. Конвергенция двух фонем⁴, рефлекс которых в своей спонтанической характеристике объединяет момент качества обоих конвергентов, т. е. обеих данных фонем (следовательно, это — конвергенции типа II по моей классификации конвергенций, изложенной в «Факторах фонетической эволюции языка, как трудового процесса»).

3°. Третий случай. Конвергенция двух фонем, рефлекс которых объединяет моменты качества обоих конвергентов (обеих данных фонем), не в спонтанической своей характеристике, а в аберрации комбинаторных и комбинаторно-факультативных своих вариантов (следовательно, это — конвергенции типа II⁶ по вышеупомянутой классификации).

4°. Четвертый случай. Частный вид эволюционных явлений в области вокализма, состоящий в замене долготы ~ краткости качественным различием данных гласных фонем.

² Что же касается анализа историко-фонетических явлений отдельных языков (анализа, устанавливающего именно переход количества в качество в механизме данного процесса), то относящийся сюда материал может быть указан в ряде моих работ: например, в «Историко-фонетическом очерке японского консонантизма» и др.

³ Полагаю, что читателю уже знакомо специальное употребление терминов фонология, фонологический, выдвинутое современной фонологической школой лингвистики.

⁴ Или других элементарных фонологических единиц (например, мелодий в музыкальной акцентуации и т. п.).

Наконец 5°. Уже не типовой, а индивидуальный случай, иллюстрирующий возможность констатировать переход количества в качество даже там, т. е. в такой категории эволюционных явлений, где рефлекс является равным фонологическому нулю, и где, следовательно, на первый взгляд вовсе не может быть качества рефлекса.

II

1° Комплекс из двух смежных фонем дает некую новую (одину!) фонему. Первый конкретный пример (для этого типового случая) я позволю себе взять из дунганского языка. Существеннейшим отличием дунганского консонантизма от севернокитайского (бейпинского, шаньдунского, мукденского, баодинфуского и т. п. типов) служит наличие «мягкостной» корреляции согласных, т. е., иначе говоря, консонантического дуализма в виде парных категорий твердых и соответствующих мягких согласных фонем. Благодаря этой своей особенности, находящей близкую параллель, между прочим, и в русском языке — в русской «мягкостной» корреляции парных согласных:

<i>п ~ нь</i>	<i>д ~ дь</i>	
<i>б ~ бь</i>	<i>с ~ сь</i>	
<i>ф ~ фь</i>	<i>з ~ зь</i>	
<i>в ~ вь</i>	<i>р ~ рь</i>	
<i>м ~ мь</i>	<i>л ~ ль</i>	
<i>т ~ ть</i>	<i>н ~ нь</i>	и т. д.,

дунганский язык оказывается входящим в обширный географический район обладающих данным консонантическим дуализмом языков (приблизительно от польского и ревельского говора эстонского языка на западе через русский и восточнофинские вплоть до дунганского в качестве крайнего юго-восточного представителя этого района). И так как эта довольно отчетливо очерченная географически изоглосса простирается на дунганский язык, по-видимому, не случайно⁵,

⁵ Хотя мы не должны забывать, что и за пределами данного района мы опять-таки встречаем единичные островки «мягкостной» корреляции: укажем здесь на японский язык, где парные мягкие согласные развились на том же словарном материале (китайских заимствованных словах), что и в дунганском (см. ниже); с другой стороны, можно назвать ирландский язык (таким образом, выходит, что именно на крайних западной и восточной перифериях Европы — Азии, в Ирландии и в Японии, мы находим две добавочные территории дуалистического консонантизма). Добавлю, кстати, что я решительно отмечаю те культурно-исторические и политические теории, которые развивались сторонниками евразизма, в частности, на почве лингвистических фактов, в том числе и вышеупомянутого района «мягкост-

то известную роль в мотивировке данного дунганского новшества (отсутствующего ведь в севернокитайском) мы можем приписывать моменту гибридизации — в виде влияния турецких языков, хотя они обладают лишь зависимым консонантическим дуализмом. Итак, для полноты в изложении условий данного процесса я должен упомянуть о том, что здесь допустимо и некоторое участие и постороннего, т. е. иноязычного, фонологического влияния. Однако это может быть только сопутствующим условием, но не материалом самого процесса. Точно так же другим сопутствующим условием оказывается то, что уже в предшествующем (отожествимом с современным севернокитайским) состоянии консонантизма имелись уже отдельные случаи мягких согласных (не составлявшие еще корреляций!) в виде четырех палатальных согласных, которые я, максимально упрощая транскрипционную передачу, позволю себе обозначать русскими буквосочетаниями *цзъ, ць, сь, нь*.

Но основным материалом дунганского фонологического новшества (создания «мягкостной» корреляции) служили именно те сочетания, т. е. двухфонемные комплексы, из которых родились новые (отсутствовавшие в севернокитайском) парные мягкие согласные. Это комплексы:

б+й
п+й
м+й
д+й
т+й
л+й

В замене каждого из этих фонемосочетаний (двухфонемных комплексов) одной новой согласной фонемой и состоял

ной» корреляции: там, где от языковой действительности делается фантастический скачок к предвзятым выводам исторического идеализма, там кончается наука и начинается белоэмигрантская метафизика. В частности, и сами языковые факты, привлекаемые к обоснованию евразийской теории, при их ближайшем рассмотрении, например при конкретном выяснении юго-восточной границы «евразийского языкового союза», когда устанавливается, что дунганский язык повторяет только одну из тех двух фонологических черт («мягкостная» корреляция согласных и отсутствие политонизма), на которых, как истукан на глиняных ногах, выситя здание «евразийского языкового союза», — могут только предостеречь против тех обобщений, до которых доходят лучшие из представителей современной лингвистики, когда они перестают быть лингвистами. Если я в свое время протестовал против невежественной фальсификации «материалистической лингвистики» (работы Н. Я. Марра в период 1925—1929 гг.), то я еще с гораздо большим рвением готов протестовать против высоко эрудитного историко-идеалистического использования языковых данных именно потому, что здесь, в лице авторов евразийской теории, я имею вполне вооруженных лингвистически противников.

основной сдвиг, обусловивший данную перестройку консонантизма. Тот факт, что вырабатывавшееся при этом представление парного мягкого согласного проникало и в зависимые позиции, например, перед гласным *и*, это уже дополнительное, второе явление в данном процессе (точно так же, как другим дополнительным, т. е. третьим явлением в нем оказывается еще стяжение комплексов со старыми мягкими согласными: изменение типа *нь + ѱ + а* → *нь + а*, *сь + ѱ + а* → *сь + а* и т. д.). Итак, фактической основой рассматриваемого дунганского процесса служили следующие образования:

б + ѱ → бь
п + ѱ → пь
м + ѱ → мь
д + ѱ → дь
т + ѱ → ть
л + ѱ → ль

Примечание. *Дь* и *ть* сохранились лишь в так называемом ганьсуйском диалекте дунганского языка; в так называемом шэньсийском диалекте имело место еще дальнейшее фонологическое изменение: конвергенция этих звуков-*цзъ* и *цъ*.

Примеры силлабем (словов), в которых имели место выше-названные замены: *б + ѱ + а + у* → *бь* + полифтонгическое *о* [=о] (= *bjо* в дунганской орфографии); *п + ѱ + гласный* ϵ [mid-back - unround] → *пь* + комбинаторный вариант гласного ϵ (= *pje* в дунганской орфографии); *л + ѱ + а + ѱ* → *ль* + полифтонгическое *о* [=о] (= *ljo*); *л + ѱ + а* заднее + *в* → *ль + а* заднее + *в* (= *ljov*) и т. п. и т. п. Переход количества в качество обнаруживается здесь в том, что на месте двух (количественно!) фонем вырастает одна качественно новая, отсутствовавшая в предыдущем состоянии консонантизма, фонема — именно палатализованный согласный, специфическое качество которого состоит, следовательно, в совмещении артикуляций (и акустических моментов) обеих исходных фонем: и прежнего недифференцировавшегося по твердости ~ мягкости согласного и неслогового *ѱ* (так, например, в дунганском палатализованном согласном *ль = л'* совмещаются артикуляции и акустические моменты обеих фонем, имевшихся в «додунганском» комплексе *л + ѱ = lj*).

Обобщая вышеупомянутые процессы (в генезисе согласных *бь* из *б + ѱ* и т. д.), мы выводим формулу: $C\check{i} \rightarrow C'$ (где *C* — символ согласного, *C'* — символ палатализованного согласного). Формула эта наглядно говорит о наличии перехода количества в качество.

2. Второй конкретный пример: совершенно аналогичное (вышеприведенному дунганскому процессу) и на том же словар-

ном (китайском) материале осуществлявшееся образование палатализованных согласных в японском языке. Например, в следующих комплексах — кит. *bjau* → яп. **b'au* → совр. яп. *b'o:*; кит. *pjau* → яп. **p'au* → совр. яп. *h'o:*; кит. *ljaav* → яп. **r'aM* → *r'au* → совр. *r'o:* и т. п. — механизм процесса тот же, что и в вышеприведенном дунганском образовании палатализованных согласных и, следовательно, содержащие количества и качества, как и формула, обобщающая эти случаи образования японских палатализованных согласных фонем, те же самые, что и в первом примере.

Для полноты картины здесь нужно будет указать на следующие специфические условия данного японского случая, т. е. формации парных «мягких» фонем, а следовательно, и «мягкостной» корреляции в японском консонантизме:

1) кроме китайских заимствований (служивших, бесспорно, главным лексическим материалом в формации японских парных мягких согласных, материалом, без которого эта формация вовсе не имела бы места⁶ в истории японского языка), случаи образования палатализованных согласных⁷ констатируются кое-где и в чисто японских словах. Например: **keru* → **ke(ɸ)u* → *k'o:* 'вчера' и т. п. Но несомненно, что эти случаи оказываются вторичными по отношению к случаям появления данных палатализованных согласных в к и т а й с к и х заимствованиях (напомним, что главное большинство случаев палатализованных согласных в чисто японском языковом материале принадлежит уже формам отдельных японских диалектов: ср., например, обилие явно позднейших случаев мягких согласных в нагасакских или, с другой стороны, в тосаских говорах); иначе говоря, процессы типа **CiV* (или *CeV*) → **CɨV* → *C'V*⁸ в туземном, т. е. чисто японском словарном материале, оказались возможными именно только после того и именно потому, что уже до этого японскому коллективно-языковому мышлению стало известно представление *C'* (представление парного мягкого согласного из приведенных выше японских форм китайских заимствований: *b'o:* из кит. *bjau*; *h'o* из кит. *pjau* и т. д.);

2) существенную роль в проведении развития кит. *Ci* → яп. *C'* сыграла, бесспорно, японская норма слогового состава, не

⁶ По крайней мере в данные эпохи.

⁷ В независимой позиции (т. е. не перед *i*). Появление «мягких» согласных в зависимой позиции, в свою очередь, должно рассматриваться как вторичное явление (независимо от того, к какому языку восходят относящиеся сюда словарные примеры) по отношению к вышеуказанному процессу.

⁸ Конкретные примеры из диалектов: тосаск. **umi-pa* → **umia* → *um'a* 'гной' в падеже логического подлежащего; нагасак. **ore-pa* → **orea* → *or'a* 'я' в падеже логического подлежащего и т. п.

допускавшая двух звуков перед гласным звуком данного слова (благодаря этой норме осуществилось также и второе преобразование китайских анлаутов — преобразование, результатом которого было появление заднеязычных лабиализованных кит. *кца* → яп. *к^{wa}*, кит. *гца* → яп. *г^{wa}*; см. ниже). Однако мы должны допускать известную аналогию этому фактору и в вышеприведенном дунганском явлении (т. е. в первом примере): ведь, если мы допускаем фонологическое воздействие турецких языков на дунганский⁹, то мы обязаны по поводу данного развития вспомнить о том, что и турецкие языки не допускают двух согласных, в том числе, например, *bj*, *tj* и т. п., перед гласным данного слога. Но, разумеется, для японского мы можем утверждать гораздо большую действительность данного фактора (общей слоговой нормы) уже потому, что в дунганском это — предполагаемое нами — воздействие турецкой фонологической нормы вовсе не привело еще к абсолютному устранению противоречащих данной норме случаев анлаута (например, имеются же в дунганском такие силлабемы, как *xwa//xia*, *d'wan//duan* и т. п.¹⁰);

3) в составе японской категории парных мягких первоначально имелись именно палатализованные (в том числе, например, *s'*, *t'*, *d'*, *n'* и пр.); но впоследствии некоторые из этих палатализованных (в большинстве говоров) перешли уже в палатальные звуки: *s'* (русского типа, т. е. сходное с русск. *сь*) → *ś* (польского типа или же, с другой стороны, сходное с дунганским «*śj*»); *t'* (сходное с русск. *ть*) → *c'*; *d'* (русск. *дь*) и *z'* (русск. *зь*) совпали в двуликвой фонеме *ž/ž*. Тосаский диалект, наоборот, сохранил старое качество этих согласных, т. е. палатализованные *s'*, *t'*, *d'*, *z'* (сходные с русскими *сь*, *ть*, *дь*, *зь*). Зато палатализованный носовой *n'* (*нь* в русском) именно в тосаском (по совершенно определенным фонологическим, так называемым междуфонемным условиям) перешел в палатальный звук (типа сербского *њ*, итальянского *gn* и т. д.).

Третий пример. Процессы, вполне аналогичные по принципиальным чертам¹¹ вышеприведенным дунганскому и японскому процессам, легко могут быть указаны во многих других языках, конечно, из числа языков, обладающих (или обладавших) «мягкостной» корреляцией (начиная с русского и кончая

⁹ Общая совокупность фонетических (и морфологических) сдвигов именно в сторону принципиальных черт турецких языков позволяет нам допускать его воздействие с уверенностью.

¹⁰ Мы можем думать, что в слогах последнего рода (*xwa*, *dwan* и т. п.) процесс стяжения двух первых элементов в один элемент (с таким же переходом количества в качество, как в японском случае *ku... → k^w*, *gi... → g^w*) лишь подготавливается как общее для всех данного рода слогов изменение.

¹¹ Т. е. по наличию перехода *Ci → C'* (и следовательно, перехода вышеуказанного именно количества в вышеуказанное именно качество).

ирландским и т. д.) Но мы в данном случае обратимся не к повторам (в разных других языках) вышерассмотренной формации палатализованных, а к параллельному ей явлению — к формации лабиализованных согласных, в частности, к тому японскому случаю заднеязычных лабиализованных (k^w , g^w), о котором было уже упомянуто в связи с 2°.

Подобно китайским слогам с начальным комплексом Cj , японский язык заимствовал и слоги с начальными комплексами $ku...$,¹² $gu...$, $хu...$, $пu...$ ¹³. Под давлением той же принципиальной нормы слогового состава (не допускавшей двух неслогообразующих фонем в начале японского слога), о которой мы упоминаем выше по поводу формации палатализованных ($Cj... \rightarrow C'...$), данные сочетания заднеязычных согласных с u стягивались в представление единого, но сложного по артикуляции — именно заднеязычного лабиализованного согласного k^w и g^w .

Примеры: кит. $kuan$ \rightarrow яп. k^wan ($-k^wan$) \rightarrow совр. юж.-яп. k^wan (в большинстве же так называемых центральных говоров последовала уже конвергенция заднеязычных согласных с простыми k , g , и, следовательно, вместо k^wan мы имеем уже просто kan); кит. $хuа$ \rightarrow яп. k^wa (сохранившееся до настоящего времени в южнокитайских, а с другой стороны, и в северо-восточных говорах; в центральных же говорах на месте k^wa имеется теперь просто ka); кит. $vuak$ \rightarrow яп. g^waku (сохранившееся в японских и северо-восточных; в центральных же говорах $gaku$) и т. д.

В этих процессах стяжения (двух фонем в одну новую, артикуляционно сложную фонему $ku \rightarrow k^w$, $gu \rightarrow g^w$) переход количества в качество усматривается, конечно, в том, что две фонологические единицы (количество) переходят в одну, но зато обладающую новым сложным качеством фонетическую единицу: сложное качество данных рефлексов k^w , g^w состоит, разумеется, в том, что эти согласные объединяют в себе и артикуляцию простых заднеязычных смычных k , g , и губную артикуляцию, имевшуюся в китайском элементе u .

Примечание. Из моих наблюдений над японскими звуками k^w , g^w я убедился в том, что для субъективного русского, например, слуха¹⁴ эти звуки, воспринимаемые в составе японских слов, при беглом про-

¹² Оговариваюсь, что я всюду в настоящей статье опускаю обозначение придыхательности китайских согласных и таким образом вместо обозначенных двух древнекитайских анлаутов $ku...$ и $k^h u...$ обобщаю их в написании $ku...$

¹³ А также и с комплексами $ky...$, $gy...$ и т. д., которые в японском оценивались в общем одинаково с $ku...$, $gu...$ т. д.

¹⁴ Сужу не только на основании своего личного опыта, но и соответствующих экспериментов с двумя другими представителями русского языкового мышления (один из них Н. И. Конрад, ныне профессор японского языка).

изношении нормального темпа могут давать впечатление звуков *p, b* (*p, b*), т. е., иначе говоря, могут конвергировать в русском звуковом мышлении с русскими смычными губными согласными — фонемами *p, b*. Если мы позволим себе и по поводу этого «изменения» (изменения, имевшего место не в истории коллективно-языковой системы, а лишь в случаях скрещивания индивидуальных представителей двух языковых систем, в мышлении воспринимавшего данные звуки k^w, g^w русскоязычного индивидуума) задать вопрос: «в чем же в этом „изменении“ переход количества в качество?», то ответ на этот вопрос будет, естественно, совпадать с соответствующим анализом конкретных случаев $k^w \rightarrow p, g^w \rightarrow b$, имевших место в фактической уже истории некоторых других языков, например греческого (в древнейшую, доисторическую эпоху), определенных древнеитальянских языковых систем, в частности тех итальянских диалектов, из которых в латинский язык вошли слова: *lupus* [$\leftarrow *w|k^wos$] ‘волк’, *bōs* [$\leftarrow *g^wōs$] ‘бык’, *botulus* [$\leftarrow *g^wot-...$] ‘кишка’, ‘колбаса’ и т. д. Остановившись, в частности, на древнегреческом случае, приведем следующие словарные примеры на вышеназванные изменения ($k^w \rightarrow p, g^w \rightarrow b$): $\pi\omega\varsigma = pōs \leftarrow *k^wōs$ (позволю себе здесь писать $*k^w$ вместо традиционного $*q^w$, так как уточнять качество восстанавливаемого нами звука — заднеязычного смычного лабиализованного — в данном случае излишне); $\beta\omicron\upsilon\varsigma = bous \leftarrow *g^wōs$ // лат. *bōs*, скр. *gāuh*, русск. *говядина* и т. д., а также ¹⁵ гомер. $\pi\iota\sigma\upsilon\rho\epsilon\varsigma = pisures \leftarrow *k^wotures$ // ион.-атт. *tessares, tettares*; дорийск. $\pi\iota\varsigma = pis \leftarrow *k^wis$ // ион.-атт. *tis, lat. quis* и т. д.

Очевидно, на определенном этапе истории древнегреческой речи, т. е. в коллективном мышлении одного из древнегреческих поколений, осуществлена была та же конвергенция заднеязычных лабиализованных смычных с губными смычными, т. е. $*k^w \times *p \rightarrow p, *g^w \times *b \rightarrow b$ и т. п., какую я наблюдал в описанном выше случае индивидуального скрещивания южнояпонского и русского консонантизмов, когда представитель русского языка, слушая южнояпонское k^w, g^w , приравнивает их к своим, русским, *p, b* (*n, b*). Типовой механизм ¹⁶ обоих процессов может быть признан, таким образом, одинаковым, и то, что будет сказано по вопросу о переходе количества в качество насчет данной древнегреческой конвергенции, применимо будет и к вышеназванному индивидуальному факту (русского восприятия южнояпонских говоров), и обратно. Переход количества в качество (в данных процессах перехода $k^w \rightarrow p$ и $g^w \rightarrow b$, т. е. в конвергенциях $k^w \times p \rightarrow p, g^w \times b \rightarrow b$) констатируется в том, что оба артикуляционных момента, имевшиеся в заднеязычном лабиализованном k^w или g^w : 1) смычка (в данном случае осуществляется задней частью языка, против задней части неба) и 2) губная работа, — соединяются в одной фонеме, в смычном губном согласном. Таким образом, количеством является здесь наличие двух различных артикуляций в k^w (или g^w), а именно: 1) смычки (не губной) и 2) губной работы (не смычной); качеством же оказывается сочетание основных качественных признаков обеих этих артикуляций в смычном губном рефлексе (*p* или *b*).

¹⁵ На том обстоятельстве, что в известной части древнегреческих диалектов в смычный губной (*p*) превращался только твердый k^w , а мягкие комбинаторные варианты этой фонемы (перед *i, e*), дивергировав от «твердых» случаев (перед *a, o*), вошли в другую конвергенцию — в конвергенцию с *t*, я здесь имею право не останавливаться: достаточно будет сказать, что я уславливаюсь иметь здесь в виду тот путь эволюции (звуков типа k^w, g^w), который представлен, например, дорийским наречием или гомеровским языком.

¹⁶ На деталях, повторяю, мы здесь не останавливаемся: для нас уже само собой подразумевается то обстоятельство, что в древнегреческом имела место еще третья губная смычная фонема $\varphi = p^h$, восходящая к соответствующим придыхательным источникам, в частности $*b^h$ и g^wn .

То же самое можно сказать, разумеется, и по поводу $k^w \rightarrow p$ ¹⁷ (или $g^w \rightarrow b$) в разных других языковых историях, например p и b в латинских словах *lupis*, *bōs* (а с некоторыми дополнительными замечаниями — *mutatis mutandis* — и относительно $kw \rightarrow pp$ в греческом ἵππος).

После этого экскурсивного примечания я возвращаюсь к продолжению примеров на первый (1⁰) типовой случай:

В дунганских слогах *du*, *tu* (с ультразакрытым $u = w$ в дунганской латинице, т. е. в слогах, пишущихся по-дунгански в виде dw , tw и означающих, например, 'яд' и 'земля'¹⁸) согласная фонема d , гесп. t , весьма часто произносится в качестве одноударно-дрожащего губного согласного (ближайшую аналогию к которому мы находим в абхазском консонантизме в фонемах, обозначаемых в Марровском абхазском аналитическом алфавите знаками d_3 и $\text{d}^{\circ 19}$). Эти губные одноударно-дрожащие звуки — звонкий и глухой²⁰ — являются, таким образом, комбинаторными (точнее: комбинаторно-факультативными) вариантами переднеязычных согласных фонем d , t , а

¹⁷ В том числе и по поводу кельтского процесса (несмотря на то, что старое $*p$ уже перестало существовать в данной языковой истории до перехода $*k \overset{w}{\rightarrow} p$).

¹⁸ А также — с меньшей, однако, регулярностью — и в слогах, начинающихся с d или t перед w (неслоговым сонантом типа белорусского ў). Например, в $duan = dw\epsilon i \sim$, $tu\alpha = tw\epsilon$, $dwn = dw\omega$ (со слогообразующим носовым, после неслогового $u = w$), $twoj = twr$ [со слогообразующим недрожащим какуминальным r (= китайскому «эрл») после неслогового $u = w$] и т. п. Однако в данном случае я позволю себе, чтобы не слишком удлинять изложение данного примера, говорить только о слогах dw , tw (= tu , du), т. е. об изменении дунганских d , t только перед слоговым u (= w в дунганской латинице); напомню, кстати, что этот закрытый u отнюдь нельзя смешивать с более открытым и притом полифтонгическим звуком типа $u = u$ в дунганской латинице, например tu/ tou 'голова'.

¹⁹ О третьем (произносимом с надгортанной экспирацией) члене абхазской триады — t_0 в Абхазском аналитическом алфавите — я позволю себе здесь не упоминать, так как в дунганском не тройное, а двойное (парное) различие смычных по гортанной работе (и, следовательно, соответствия для данного третьего звука t_0 мы в дунганском уже не имеем).

²⁰ Имеющийся здесь в виду звонкий звук (β в нашем условном обозначении) находит себе некоторую аналогию в том губном дрожащем согласном, который мы произносим при ощущении холода и который в русском письме принято выражать через *бrrr...*, а глухой (ʔ в нашем условном обозначении) в той же мере находит себе аналогию в звуке, которым у нас принято останавливать лошадь и который в русском письме выражается через *тrrp(y)*. Существеннейшая разница между данными дунганскими звуками (β и ʔ) и упомянутыми здесь спорадическими звуками, так называемыми звуковыми жестами русского языка *бrrr...* и *тrrp(y)*, состоит именно в том, что данные дунганские, а с другой стороны, и абхазские губные дрожащие являются одноударными, тогда как фигурирующие в русском языковом быту *бrrr...* и *тrrp(y)* состоят из нескольких дрожащих губ, т. е. являются многоударными. Эта особенность данных дунганских (и абхазских) звуков служит принципиальной для них чертой, так как только при одноударности возможна их фонологическая квалификация в качестве одного из рядов в системе смычных согласных (дунганского, гесп. абхазского языка).

процесс образования этих комбинаторных вариантов, которые я условлюсь здесь обозначать греческими буквами β и φ , должен рассматриваться как ассимиляция переднеязычного согласного (d и t) следующему губному гласному (ультразакрытому u). Первозначальной формой ассимиляции было, естественно, образование лабиализованного переднеязычного смычного (под влиянием лабиального гласного), т. е. образование согласных звуков d^w , t^w (под влиянием следующего u , который, таким образом, играл роль уподобляющего члена в этой ассимиляции). Но главный скачковый (мутационный) сдвиг состоял, конечно, в замене переднеязычного лабиализованного (т. е. огубленного) согласного (d^w , resp. t^w) губным согласным (β , resp. φ). Относительно этого-то сдвига нам и следует задать вопрос: в чем здесь надлежит усматривать переход количества в качество? Ответ на этот вопрос будет у нас во многом аналогичен тому ответу, который был даваем нами по поводу только что рассмотренного процесса типа процессов $k^w \rightarrow p$, $g^w \rightarrow b$, ибо сходство между обоими данными явлениями, конечно, очень велико, ср:

$$1) g^w \rightarrow b, k^w \rightarrow p \quad 2) d^w \rightarrow \beta, t^w \rightarrow \varphi$$

Именно в дунганском сдвиге ($d^w \rightarrow \beta$, resp. $t^w \rightarrow \varphi$) количеством было наличие двух артикуляционных моментов данного согласного: 1) переднеязычной (не губной) смычки и 2) губной (не смычной) артикуляции — лабиализации. Схематически мы можем выразить это так:

$$d^w = (1) d + (2)^w \quad t^w = (1) t + (2)^w$$

Качеством же, которое мы констатируем в рефлексе данного мутационного изменения (т. е. в звуках β , φ), оказывается объединение кардинальных свойств обеих упомянутых выше артикуляций в одной артикуляции: в губной смычке, притом губной смычке специфического образования, ибо в рефлексе мы здесь имеем не простые b , p , но губные смычные особенного, именно одноударно-дрожащего способа образования.

Совершенно сходное разъяснение мы можем дать и абхазскому генезису звуков типа β , φ (их, как мы указывали уже, три: звонкий, глухой придыхательный и глухой с надгортанной экспирацией). Надо только оговорить, что данные звуки (смычные губные одноударно-дрожащего образования²¹) в аб-

²¹ И притом с несколько отличным (от b и p) местом образования: при p смычку образуют края губ, а при звуках типа β , φ — более внутренние зоны губных поверхностей (что и давало проф. Н. Ф. Яковлеву право называть эти абхазские согласные условным термином «губно-дорсальные»; при этом имелось в виду, конечно, не *dorsum* языка, а именно *dorsum* внутренней поверхности каждой из губ).

хазском являются уже не комбинаторными вариантами переднеязычных фонем (как в дунганском), а вполне самостоятельными фонемами.

Как показывают некоторые этимологии, данные абхазские фонемы, в частности, например, звонкая фонема этого ряда β , восходят к комплексу: «переднеязычный смычный (например, d) + гласный u », причем, очевидно, развитие это шло через ступень лабиализованного согласного, т. е. таким, в частности, путем:

$$*du \rightarrow *d^w \rightarrow \beta$$

В качестве относящегося сюда словарного примера возьмем арабское заимствование: араб. *duka:n* → совр. абх. — $\beta k'a:n$ (очевидно, через ступень $*d^w k'a:n$).

Будем ли мы иметь здесь в виду исходный двухфонемный комплекс (du) или непосредственно предшествовавшую рассматриваемой нами мутации ступень (d^w , иначе говоря, ступень лабиализованного переднеязычного смычного), так или иначе количеством здесь будет являться наличие двух единиц (двух фонем или двух артикуляций: $d + u$ или же $d + ^w$). А качеством (в рефлексе β) оказывается одна артикуляция (специфического вида губная смычная артикуляция), в которой объединены характерные моменты обеих вышеназванных единиц: 1) смычка, которая была прежде негубной, и 2) губная работа (которая прежде была несмычной).

Чтобы покончить с примерами из консонантизма на данный первый (1°) типовой случай, назову теперь пример из древнейшей истории русского языка: переход $*tj$ в \check{c} (=русск. ч) в слове $*sw\check{e}t-j-\bar{a} \rightarrow св\check{ч}-a = свеча$ и других подобных случаях; ср. также аналогичное (хотя и не до конца параллельное²²) изменение комплекса с соответствующим звонким: $*dj \rightarrow ж$ в $*medj-a \rightarrow меж-a$ и т. д. Переход количества в качество (в данном процессе $*tj \rightarrow \check{c}$) состоит, конечно, в том, что на месте двух фонем (количество) развивается одна новая, т. е. обладающая специфическим качеством, фонема \check{c} .

²² Нарушение параллелизма, состоящее в том, что рефлекс $*tj$ — аффриката, а рефлекс $*dj$ — спирант, находит себе объяснение в общезвонковом законе: звонкие затворные (звонкие смычные и аффрикаты) ввиду относительно меньшего выдыха воздуха обладают более слабой смычкой, чем соответствующие им глухие (так как чем меньше давление выдыхаемого воздуха, тем меньше и оказываемое ему на месте смычки сопротивление со стороны активного органа, образующего смычку). Поэтому смычка эта при звонких оказывается менее долговечной (при прочих равных условиях), чем при соответствующих глухих, т. е. данный звонкий затворный (звонкий смычный или звонкая аффриката) обычно скорее превращается в спирант, чем соответствующий глухой затворный (глухой смычный или глухая аффриката).

Примечание. Разумеется, наш вывод (относительно перехода количества в качество) останется без существенных изменений и в том случае, если мы первоначальной формой рефлекса, т. е. первоначальным заместителем группы *tj, будем считать не современного качества *č*, а некий особый — палатальный смычный согласный (притом долгий). Важно, что на месте двух звукопредставлений вырабатывалось одно, но зато качественно-специфическое, до того времени отсутствовавшее в данном консонантизме (а допуская одновременность процессов *tj → č и *kj → č, мы можем утверждать, что данный согласный č или его первоначальная форма был до того известен данному языковому мышлению).

Из области вокализма мы возьмем здесь в качестве примера дунганский процесс стяжения дифтонга *aɥ, а затем и дифтонга *ai.

В слогах, пишущихся по-дунгански lo (с твердым l), ljo (с мягким l'), do, то, mjo и соответствующих севернокитайским слогам laɥ (со средним l), liaɥ (тоже), *daɥ, таɥ, miaɥ [= lao, ляо, дао, мао, мяо в традиционной русской транскрипции], дунганский o обозначает полифтонгическую, т. е. неоднородную гласную фонему, которую мы будем обозначать транскрипционным символом ɔo. Этот полифтонг начинается, следовательно, с широкого или открытого звука o (близкого к a) и затем постепенно сужается вплоть до узкого или закрытого o (близкого к у), и правильнее было бы изобразить его в виде ɔ...o, но по вполне понятным чисто практическим причинам мы упрощаем это написание в ɔo. Таким образом, в физическом (произносительно-физиологическом и акустическом) отношении это дунганское o = ɔo мало отличается от своего севернокитайского соответствия — дифтонга aɥ. Так как дифтонг этот в свою очередь представляет постепенный, последовательный переход от a к у через различные открытые, а затем закрытые вариации звуков типа o, то физический состав его мог бы быть выражен следующим образом: aɥ = a...ɔ...o...u или упрощенно — aɥ = aɔou. Сравнивая этот состав севернокитайского дифтонга с дунганским o: aɔou (точнее a...ɔ...o...u) и ɔo (точнее ɔ...o), мы найдем, что дунганский язык освободился здесь от крайних — начального и конечного — периодов в данной постепенной градации гласных звуков.

Так обстоит дело в физическом отношении. Но с фонологической точки зрения разница между севернокитайским и дунганским состоянием здесь оказывается очень существенной: в севернокитайском мы находим именно дифтонг, т. е. принципиальное двузвучие, иначе говоря, дифтонгическое сочетание (сочетание в один слог) двух фонем²³ a + u, тогда как дунганское o = ɔo, несмотря на свой неод-

²³ Из которых первая (a) является слогообразующим и вторая (u) — неслогообразующим элементом дифтонга.

нородный (полифтонгический) состав в физическом отношении, представляет собою одну фонологическую единицу: одну гласную фонему.

Переход количества в качество здесь и состоит именно в том, что две фонемы (количество) заменяются одной, но зато вполне специфической фонемой — полифтонгическим гласным \mathcal{O} , унаследовавшим элементы сложного своего качества от обеих прежних фонем (и от a и от u).

Совершенную параллель этому стяжению дифтонга, т. е. дифтонгического сочетания двух фонем в одну полифтонгическую фонему, мы найдем и в дунганской эволюции китайского дифтонга ai ²⁴ (=... ай в русской транскрипции), например, в слогах: кит. дай //дунг. «de» = $d\epsilon e$ (точнее $d\epsilon...e$); кит. май //дунг. «me» = $m\epsilon e$ (точнее $m\epsilon...e$); кит. куай// дунг. «kie» = $k\omega\epsilon e$ (точнее $k\omega\epsilon...e$) и т. п. (Напоминаем, что символом ϵ мы обозначаем открытый звук типа э, а символом e — соответствующую закрытую, т. е. узкую вариацию э; таким образом, в полифтонге $\epsilon...e$ мы находим совершенно такое же стяжение дифтонга ai , какое мы констатировали в полифтонге $\mathcal{O}...o$ по отношению к дифтонгу au).

Я умышленно остановился сначала на данных, т. е. из дунганского языка взятых, примерах (имея в виду говорить далее вообще о процессах стяжений типа $au \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$), так как данный дунганский процесс стяжения дифтонгов является крайним случаем (крайним — именно с точки зрения качества рефлексов) в общей совокупности процессов, сводящихся к замене дифтонгического сочетания двух фонем типа au , resp. ai одной фонемой типа o , resp. e ²⁵. Но мы можем приложить вышесказанное утверждение

²⁴ Рефлекс которого, однако, встречается в дунганском языке, — в отличие от рефлекса дифтонга au — лишь после твердого согласного. В слогах с мягким согласным дунганская буква e имеет уже совсем другое звуковое значение.

²⁵ Крайним случаем дунганское звукоизменение является здесь потому, что рефлекс его оказывается в физическом (фонетическом, не фонологическом) отношении наиболее близким к физической картине исходного дифтонга au , resp. ai . Действительно, как мы видели, физическое различие между современным дунганским полифтонгом \mathcal{O} , resp. ϵe [= o , resp. e в дунганской латинской графике] и двухфонемным комплексом au , resp. ai на предшествующей эволюционной ступени чрезвычайно невелико, и фактически сводится к «обламыванию краев», т. е. к утрате крайних — начального и конечного — периодов в тех постепенных грациях $a... \mathcal{O}... o... u... \epsilon... e... i$, которые составляют физическую картину данных дифтонгов. Но в фонологическом отношении данный дунганский случай не представляет никаких принципиальных отличий от $au \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$ в разных других языках (где o и e неполифтонгичны), так как для дунганского мышления в физическом отношении рефлекс является именно фонем а м и, а не сочетаниями из д в у х фонем.

О Наличии перехода количества в качество и к любому другому случаю изменений $ai \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$, взятому из истории любого другого языка: во всех этих случаях количеством будет наличие двух фонем (в дифтонгическом сочетании ai , гесп. ai), а качеством — специфическое качество той одной фонемы, которая стала на место данного дифтонга, т. е. фонемы типа o , гесп. e , и которая объединяет или, вернее, примиряет в себе качественные моменты обеих данных исходных фонем. Число относящихся к этим типам примеров, т. е. процессов $ai \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$, из истории конкретных языков крайне велико: *embargas du richesse* здесь такое, что оказывается трудным, наоборот, назвать такой язык, в котором нельзя было бы указать развитие типа $ai \rightarrow o$ или $ai \rightarrow e$.

В качестве совершенно случайных примеров назовем здесь хотя бы следующие языки: персидский (словарные случаи $ai \rightarrow \bar{o}$, $ai \rightarrow \bar{e}$ мы имеем, например, в др.-перс. *kaufa* → новоперс. *kōh* // сев.-тадж. *kūh* 'гора'; др.-перс. *daiva* → новоперс. *dēv* 'злой дух'); санскритский (*sōma*, *dēvaḥ*); французский (*chauve* = [ʃo:v], где $o \leftarrow *ai$ из *al*; *maitre* -]mɛ:tr], *fait* = [fɛ], где $e \leftarrow *ai$ восходит к *ak* и т. п.) и японские диалекты (в особенности северовосточные, с одной стороны, и южные — с другой: ср., например, кюсюские формы *ko:ta* ← **kauta* ← **kap(i)ta* 'купил'; *de:ta* ← **daita* ← **das(i)ta* 'выставил' и т. п.). Было бы ошибкой думать, что во всех тех (к самым различным языкам относящихся) случаях $ai \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$, где рефлекс представляет собою однородный гласный типа o или e , мы имеем еще вторичное звукоизменение — последовавшее за той начальной стадией рефлекса, какую мы нашли в дунганском случае — в полифтонгических фонемах $əʊ$, $e̞$. Наоборот, относительно очень многих, очевидно, насчет большинства конкретных случаев $ai \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$ мы имеем право утверждать обратное: что данного промежуточного этапа в виде полифтонгических фонем (дунганского типа) в данных процессах вовсе не было. Иначе говоря, мы можем утверждать, что именно дунганская разновидность процесса (с полифтонгической фонемой в рефлексе) является исключением и что в очень большом количестве языков, наоборот, дифтонгическое фонемосочетание сразу же замещалось единой, и притом однородной, гласной фонемой типа o или типа e ²⁶. И тем не менее тот же самый по существу дела факт перехода количества в качество, какой мы усмотрели в дунганском случае, мы имеем право констатировать и в

²⁶ Доказательство этого (довольно очевидного, особенно для тех языков, где данный рефлекс дифтонга конвергировал со старой фонемой o , гесп. e) положения я позволяю себе здесь не приводить, чтобы не затягивать свое изложение.

любом другом случае фонологических изменений типа $ai \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$ ²⁷, в том числе и в упомянутых развитиях персидского, санскритского, французского, японского языков и т. п.

Именно количество усматривается (в общем типе процессов $ai \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$) в наличии двух фонем на исходной ступени развития, а качество состоит в специфическом качестве фонемы рефлекса, т. е. фонемы типа o , геср. типа e , по отношению к обоим фонемам исходной ступени (т. е. a по отношению к фонемам $a + u$, $a + i$). Специфическим с данной именно точки зрения качеством o или e оказывается, конечно, именно потому, что каждая из данных фонем объединяет в качественной своей характеристике и произносительно-акустические моменты, унаследованные от фонемы a , и произносительно-акустические моменты, унаследованные от второй фонемы данного дифтонга: от фонемы u , геср. от фонемы i . Если мы условимся иметь в виду произносительную (т. е. артикуляционную, а не акустическую) сторону данных явлений, то качество любой фонемы o будет состоять в объединении и в примирении: 1) языкового уклада, унаследованного от a , и 2) лабиализации и язычного уклада, унаследованных от u . А имея в виду соответствующие (данным артикуляционным моментам) акустические моменты, мы можем сказать, что качество любой фонемы типа o состоит в понижении характерного тона a в сторону характерного тона u .

Обращаясь ко второму виду процессов: $ai \rightarrow e$, мы видим, что качество любой фонемы типа e будет состоять в примирении: 1) языкового уклада от $a + u$ 2) язычного уклада от i . А соответствующее акустическое качество — в повышении характерного тона a в сторону характерного тона i . Различие между (более редким) дунганским случаем, где данные фонемы типов o и e полифтонгичны, и нормальным, так сказать, случаем процессов $ai \rightarrow o$, $ai \rightarrow e$ (где o и e однородны), будет состоять при этом только лишь в том, что в первом (дунганском) случае объединение двоякого происхождения моментов в произносительно-акустическом качестве рефлекса ($\underset{\sim}{o}$, $\underset{\sim}{e} = \underset{\sim}{a} \dots \underset{\sim}{o}$, $\underset{\sim}{e} \dots \underset{\sim}{e}$) оказывается механическим и диахроничным: сначала господствуют моменты, унаследованные от первой фонемы дифтонга (a), а затем они постепенно уступают место моментам, унаследованным и от второй фонемы дифтонга (u , геср. i), во втором же случае (когда рефлекс неполифтонгичен) это объединение оказывается органическим и синхроничным.

Мне остается здесь оговорить — во избежание недоразумения — что, усматривая качество в специфическом

²⁷ Т. е. во всяком процессе, где две фонемы типа $a + u$, геср. $a + i$, заменяются одной фонемой типа o , геср. e .

качестве фонем типа o , гесп. e , я вовсе не подразумеваю под этим специфическим качеством данных фонем их новизну в истории данной звуковой системы: эти гласные фонемы o , e могли иметься и в данном языке и на предшествующей эволюционной ступени, т. е. одновременно с дифтонгами $*a\ddot{u}$, $*a\ddot{i}$, только в иных, разумеется, словарных позициях. Иначе говоря, могла иметь место (и фактически чрезвычайно часто имела место) конвергенция старых o , e с новыми словарными случаями o , e (на местах $*a\ddot{u}$, $*a\ddot{i}$)...
 <...> [Пропуск в оригинале.—*Ред.*]

<...> то в этих случаях к указанному действию закона о переходе количества в качество присоединяется еще второе, совершенно новое (т. е. отличное от первого) обнаружение того же закона (закона о переходе количества в качество). Наиболее ясно и значительно констатируется это второе обнаружение закона в данных, т. е. в сопровождающихся конвергенцией, случаях процессов $au \times o \rightarrow$ фонема типа o , гесп. $ai \times e \rightarrow$ фонема типа e , тогда когда конвергенция имеет следующий вид:

$$au \times o_1 \rightarrow o_2, \text{ гесп. } ai \times e_1 \rightarrow e_2,$$

т. е. тогда, когда рефлекс конвергенции (o_2 , гесп. e_2) не равняется ни одному из конвергентов (т. е. не равняется o_1 , гесп. e_1 , как он не равняется, с другой стороны, и конвергенту au , гесп. ai), но соединяет в своем качестве черты, наследуемые от обоих конвергентов (т. е. o_2 отклоняется от качества o_1 именно под влиянием качества au ; гесп. e_2 отклоняется от качества e_1 именно под влиянием качества ai). Иначе говоря, наиболее явный и значительный случай этого второго констатирования закона о переходе количества в качество мы встречаем тогда, когда мы имеем дело с конвергенциями типа II (и II^a и II^b) по моей классификации конвергенций, изложенной в «Факторах фонетической эволюции языка как трудового процесса».

Это второе обнаружение рассматриваемого нами закона состоит в последнего рода процессах (т. е. в тех процессах стяжения дифтонгов au и ai , которые сопровождаются конвергенциями II типа, иначе говоря, конвергенциями: $au \times o_1 \rightarrow o_2$, гесп. $ai \times e_1 \rightarrow e_2$), конечно, в следующем: вместо двух фонетических представлений (хотя и не являющихся единицами одного и того же порядка²⁸), в новом состоянии языковой системы появляется одно, но качественно отличное фонетическое представление (o_2 , гесп. e_2), притом такое, специфическое качество которого объясняется из контамина-

²⁸ Поскольку в au , гесп. ai имелось фонемосочетание (две фонемы), а в o_1 , гесп. e_1 — одна фонема.

ции качеств обоих конвергентов. Разумеется, это приложимо и к любой конвергенции II типа (т. е. ко всем конвергенциям, рефлекс которых не равняется одному какому-либо из двух²⁹ конвергентов, а генетически восходит к качествам обоих конвергентов).

Иначе, конечно, будет обстоять дело в тех случаях, когда конвергенция, сопровождающая стяжение дифтонгов *ai* и *ai*, окажется конвергенцией I типа, т. е. конвергенцией со следующей формулой:

$$ai \times o_1 \rightarrow o_1, \text{ resp. } ai \times e_1 \rightarrow e_1.$$

Здесь данное второе обнаружение закона перехода количества в качество устанавливается уже в значительной мере как формальный момент. Но здесь мы наталкиваемся на следующий вопрос (вопрос, относящийся, конечно, не только к процессам стяжения дифтонгов, но к конвергентным явлениям с любым материальным содержанием): много ли мы в действительности (в фактических историях различных языков) встречаем вполне чистых случаев конвергенций I типа (т. е. таких конвергенций, в которых качество рефлекса равно качеству одного из конвергентов)? Не имеем ли мы фактически в целом ряде случаев, где мы на основании имеющихся у нас данных устанавливаем конвергенцию I типа, хотя бы малозначительных и ускользающих от нас уклонений рефлекса в сторону качества второго конвергента и, следовательно, уклонений данной конвергенции в сторону II типа конвергенций?

Однако этот и примыкающие к нему вопросы, лежащие в плоскости теории конвергенций, уже выходят за пределы того элементарного задания, которое я поставил себе в настоящей статье, — констатировать обнаружения закона о переходе количества в качество в разнородных конкретных примерах наиболее частых (с общефонетической точки зрения) звукоизменений. Для этой цели нам в отношении рассматриваемого нами типа процессов $ai \rightarrow o_1$, resp. $ai \rightarrow e_1$ достаточно будет уже сделанного выше наблюдения: о том, что в известной части случаев процессов $ai \rightarrow o$, resp. $ai \rightarrow e$ ³⁰, констатируется двоякое обнаружение перехода количества в качество: 1) с точки зрения эволю-

²⁹ Для упрощения изложения я уславливаюсь говорить лишь о конвергенциях с двумя (но не с тремя или более) конвергентами. Никакого затруднения не представит, конечно, распространить соответствующий вывод и на конвергенции с большим (чем два) числом конвергентом.

³⁰ Именно в случаях, сопровождаемых конвергенцией и, в частности, конвергенцией II типа (т. е. конвергенцией такого состава: $ai \times o_1 \rightarrow o_2$, resp. $ai \times e_1 \rightarrow e_2$).

ции самого данного фонологического комплекса (дифтонга *ai*, resp. *ai*)— количество в виде фонемосочетания из двух фонем переходит в специфическое качество одной фонемы и 2) с точки зрения эволюции данной фонологической системы, где две величины (хотя и не являвшиеся единицами одного и того же порядка³¹) замещаются одной величиной специфического качества.

В качестве последнего (восьмого) примера на вышеназванный 1° общий случай звукоизменения (стяжение двухфонемного комплекса в одну фонему, отличную от обеих фонем данного комплекса) приведу группу однотипных явлений, повторявшихся (в разные эпохи и во всевозможных диалектах) в японском языке и вызывавшихся в качестве первопричины стремлением к нулю узких (и притом кратких) гласных *i* и *u*³². Сюда относятся, например, следующие переходы (звукоизменения): 1) пример, относящийся к наиболее древним случаям перехода комплекса *mi* (т. е. сочетания из согласного + гласного) в некий единый носовой; в данном примере этот носовой выступает в дальнейшем вместе с последующим согласным (*t*) в образовании звонкой полуносовой согласной фонемы (*nd* или *n'd*), откуда в дальнейшем — в большинстве современных говоров — простой *d*. Данное развитие **Vmit* → **Vm(i)t* → **VMt* → **VMd* → **Vnd* [или *V'n'd*] → *Vd* имело место, например, в истории японского слова «горло» — *nodo* // в некоторых диалектах *nondo* // в рюкюском языке *nu:di*. А именно: **nomi-to* (букв. 'питья дверь', т. е. 'питьевое отверстие' → **nom(i)to* → **noMto* → *no'n'do* → совр. яп. *nodo* 'горло'. Позволю себе не останавливаться на диалектических формах: они легко разъяснимы и только подтверждают восстанавливаемую мною этимологию и фонетическую историю слова; с другой стороны, в защиту этой этимологии («дверь [для] питья» → «горло») говорит и музыкально-акцентуационное соответствие: в западнояпонском музыкальное ударение на втором слоге // в токийском — на первом слоге, что указывает на общепонскую форму **nondo*. А эта акцентуация (музыкальное ударение, т. е. повышение на два слога) именно и должна была получиться в результате стяжения такого комплекса, как *no¹mi + ¹to¹ = *no¹mi-to¹* (с повышением на двух последних слогах).

Символом *M* в этом примере (как и в последующих примерах) обозначается особого рода губной, т. е. *m*-образный, носовой, специфическое качество которого обуславливается его специфической позицией — положением не перед гласным,

³¹ С одной стороны — фонемосочетание из двух фонем, с другой стороны — фонема.

³² О явлениях этого рода я уже говорил в «Историко-фонетическом очерке японского консонантизма».

а перед согласным звуком. После того как этот носовой (*M*) оказался (благодаря исчезновению *i*) в непосредственном соседстве с согласным *t*, этот последний (*t*) подвергся озвончению (т. е. изменению в *d*) согласно действовавшему на протяжении очень длинного периода закону: «глухой согласный в положении после носового озвончается».

В древнейшей категории случаев образования подобных комплексов (т. е. комплексов $*Mt \rightarrow *Md$, или $*Mk \rightarrow *Mg$, или $*Mp \rightarrow *Mb$ и т. п.), куда относится и рассматриваемый здесь словарный пример (слово «горло»), данный носовой $*M$ вступал в образование звонкой полуносовой согласной фонемы $nd = {}^n d$ (через ассимиляцию $Md \rightarrow nd$) и, таким образом, дал фонематический нуль (по крайней мере в части диалектов, к которым относится современная стандартная японская форма *nodo*)³³.

Условившись говорить лишь о начальной стадии вышеизложенной фонетической эволюции ($nomi-to \rightarrow nom(i)-to \rightarrow noM-to$ и т. д., т. е. о переходе $mi \rightarrow M$), мы констатируем здесь переход количества в качество именно в том, что два вполне нормальных элемента (*m* и *i*) превращаются в один; но зато обладающий вполне специфическим качеством элемент — *M*. Специфическое качество этого носового обусловлено, конечно, экстраординарной позицией: не перед гласным, а перед согласным звуком. Эта экстраординарная позиция влекла за собою и особую фонационную и фонологическую характеристику *M* в отличие от обыкновенного антевокального *m*. Совершенно аналогичное этому обнаружение перехода количества в качество мы найдем и в нижеследующем более позднем примере образования $*M$ из комплекса $*mi$ (см. следующий, второй пример; различие будет состоять здесь лишь в последующих судьбах этого $*M$: как мы увидим ниже, оно давало в стандартном японском уже не фонематический нуль, как в слове «горло», а $*\mu$ не-

³³ К данной наиболее древней категории случаев носового в предгласной позиции, т. е. к той категории случаев, в которой данный носовой давал фонематический нуль (входя в образование звонкого полуносового), но не *u* или тому подобные рефлексы (ср., наоборот, пример второй: $*nomi-ta \rightarrow *nou{}^n da$), принадлежат, между прочим, и те комплексы типа $*M-t \rightarrow {}^n d$, $*M-k \rightarrow {}^n g$ и т. п. в *Compositi*, которые обусловили собою появление так называемого нигори, т. е. чередования начального глухого с соответствующим звонким внутри *Compositi*: ср., например, современные слова, как *kaō* 'лицо' и *asa-gao* (//в части диалектов *asa-ŋao* 'вьюлок' ← 'утреннее лицо')

где $-g$ объясняется из $M-g \leftarrow {}^n g$ (//), так как $*asaM$ 'утро' + $*karo$ 'лицо' $\rightarrow *asaM-ka(p)o$ $asa{}^n gao$ (в изолированном же положении, т. е. вне *Compositi*, слово $*asaM$ 'утро', в котором конечный губной носовой восстанавливается на основании корейской формы *asam*, превращалось в *asu* с нисходящим повышением [$\overset{\cdot}{\text{}}$] на последнем слоге; ср. современное западнояпонское, в частности, киотское *asá*).

слоговое), а затем во всех прочих приводимых здесь примерах, повторяющих одно и то же типовое эволюционное явление: превращение двухэлементного комплекса, состоявшего из некоего согласного + узкого гласного (*i* или *u*), в единый элемент, служащий непосредственным продолжением данного согласного, но находящийся в специфической экстраординарной позиции — не перед гласным³⁴, а в связи с этим обладающий и специфическим внутренним качеством, т. е. специфической фонационно-акустической и фонологической характеристикой; таким образом, общей формулой для всего данного ряда примеров может служить следующая: $C \begin{smallmatrix} i \\ u \end{smallmatrix} \rightarrow C_1$,

где под C_1 имеется в виду неслоговой³⁵ элемент специфического с точки зрения японской фонологии — качества; 2) пример, относящийся к стяжениям претеритальной (и герундивной — деепричастной) формы японских глаголов I спряжения с основой на согласный звук, т. е. к процессам, протекавшим $\langle \dots \rangle$ ³⁶.

³⁴ Т. е. или перед согласным, или на конце слова.

³⁵ Т. е. отходящий к слогу, возглавляемому предшествующим гласным.

³⁶ На этом слове рукопись обрывается. — *Ред.*

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Р. ЯКОБСОНА ¹

Прежде всего необходимо указать на принципиальные отличия задач и содержания книги Якобсона от того, что мы привыкли встречать в типичной лингвистической и именно историко-фонетической литературе по славистике. Эти отличия настолько характерны, что хочется сказать: это уже не та стадия науки, с которой мы имеем дело в большинстве работ по исторической фонетике славянских языков, эта книга принадлежит уже к новой эпохе в данной научной дисциплине. Именно: целью книги является уже не просто установление историко-фонетических фактов на разных этапах языковой истории, но прагматическая мотивировка этих фактов, в итоге дающая логически разъясненную картину всей данной эволюции (т. е. всей истории восточнославянской, или русской, фонологической системы от древнейшего из доступных компаративному анализу состояний до современности).

Итак, первым, хотя, может быть, и не самым главным, отличием данной работы от традиционной компаративистики является самый подход к историко-фонетическому факту: для автора важно не только установить (компаративным или иным путем, например, на основании данных древней письменности) наличие определенного звукоизменения, но и оправдать, т. е. прагматически разъяснить это звукоизменение как результат определенных эволюционных факторов, учитываемых в той общей теории фонетической эволюции, которая принимается автором (и созданной им «фонологической» школой). Вторая особенность, непосредственно связанная с только что упомянутой общелингвистической базой данного исследования (с данной теорией фонетической эволюции), может быть сформулирована в виде следующего, предъявляемого им к исторической фонетике, требования: ни одно из звукоизменений (как и ни одно, с другой стороны, из явлений статической фонетики данного языка) не должно и не может рассматриваться изолированно, без связи с данной фонетической системой в целом, ибо предметом исторической фонетики являются не отдельные изменения единичных зву-

¹ Roman Jakobson, *Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves*, — TCLP, II, Prague, 1929, 118 p.

мов языка (а тем более отдельных слов, т. е. единичных функций данного звука языка в определенных словах), а именно эволюция последовательно сменяющих друг друга (от поколения к поколению) систем фонетических представлений, т. е., иначе говоря, если допустить бодуэновскую терминологию,— эволюция языкового мышления в области звуков языка.

Только при этом взгляде на вещи, т. е. на основе уже установленных фактов в области эволюции фонетической системы (как целого), возможно дать правильное прагматическое объяснение единичным фактам (рассматриваемым именно как детали в составе целой системы, логически зависимые от всего состава этого целого).

Следовательно, с точки зрения Якобсона (как и с точки зрения пишущего эти строки), совершенно недостаточным (и неприемлемым) будет объяснение историко-фонетического факта, основывающееся на том, что причина и источник звукоизменения $a \rightarrow b$ в некоем слове X исчерпываются звуковым составом этого слова X (и, в частности, звуком a) в языке предшествующего поколения. Фонетическая судьба (и, в частности, $a \rightarrow b$) данного слова X зависела не только от этого слова в прошлой истории языка, и для объяснения этого перехода ($a \rightarrow b$) в данном слове X должны быть привлечены прежде всего все случаи (все словарные функции) звука (или звукопредставления, фонемы) a в языке предшествующего поколения, т. е., иначе говоря, общее фонетическое представление данного звука. От его изменения (или подмены) через звукопредставление b с необходимостью вытекает изменение $a \rightarrow b$ и в данном слове X , ибо фонетический состав этого слова X создается, или строится (складывается), из наличных в фонетической системе данного поколения элементов (в том числе и элемента b) именно на основе психологического акта приравнивания каждой из словарных функций данного звука языка к этому звуку в прежде усвоенных словах, т. е. к общему фонетическому представлению этого звука (так как усвоение каждого вновь усваиваемого слова возможно только путем разложения звукового восприятия этого слова на n фонетических элементов и узнавания в каждом из этих n элементов одного из элементов, наличных в своей, т. е. данному новому поколению принадлежащей, системе фонетических элементов). Но этого мало.

Переход $a \rightarrow b$ в составе данного слова X имел причиной и источником не только общее фонетическое представление a в языке старшего поколения, но и ряд других фактов, относящихся уже не к данному звуку a (и его рефлексу b), но к другим членам данной фонетической системы (или, вернее,

двух фонетических систем — и старшего и младшего поколения). Ибо всякое изменение, постигающее один из элементов (одно из звукопредставлений) фонетической системы, тесно и многообразными нитями связано с судьбой прочих элементов системы и осуществимо только тогда, когда не встречает себе препятствий в ситуации прочих элементов (т. е. увязывается с эволюцией прочего состава системы — при переходе от данного старшего к данному младшему поколению). И здесь можно назвать различные формы этих зависимостей — одного элемента от прочих, а следовательно, и эволюционной судьбы одного элемента от эволюционной судьбы целого.

Исчислением этих возможных зависимостей мне, конечно, невозможно здесь заниматься; могу только назвать некоторые общие, конечно, примеры. Можно указать на простой принцип экономии (или самоэкономии) фонетической системы — нежелательно (а при известных пределах и вовсе невозможно) большое увеличение числа дифференцируемых элементов (фонем); поэтому, когда должна произойти дивергенция фонемы *a* (на две фонемы *b* и *c*), язык стремится уравновесить это увеличение числа элементов одновременной с ним конвергенцией (конвергенцией одного из этих рефлексов *a*, например *c*, с некой другой фонемой — *d*) или же некоторыми другими, но достигающими той же конечной цели средствами (обзор этих случаев в рецензии, понятно, невозможен). Следовательно, переход $a \rightarrow b$ и дивергенция фонемы *a* оказываются в этом случае возможными только благодаря увязке с конвергенцией одного из дивергентов фонемы *a* с *d*.

Или другой общий случай: при большинстве конвергенций ($a \rightarrow c$ и $b \rightarrow c$) один из конвергентов наверняка не дал бы данного рефлекса (*c*), если бы эволюционировал изолированно — без конвергенции (в противном случае нужно было бы признать, что две разные причины в виде общего правила имеют один и тот же результат; конечно, возможно представить себе случай, когда два разных элемента при определенном направлении эволюции дали бы тождественный результат и без самодовлеющего участия фактора конвергенции: таков, в частности, случай совпадения двух фонем в нуле; но это — именно исключение, а не норма для конвергентных явлений). Следовательно, по крайней мере для одного из этих элементов (конвергентов *a* и *b*), а в некоторых случаях, можно утверждать, и для обоих, переход в *c* необъясним из самого данного элемента (например, *a*), а объясняется лишь с привлечением судьбы второго из этих элементов (*b*) и, следовательно, за счет самодовлеющей функции конвергенции.

В подтверждение этого методологического принципа (необходимости привлекать к объяснению не только данный, но и прочие элементы системы, и систему как целое) можно было бы, разумеется, сказать многое; но мне кажется, в настоящее время, когда уже существует и пользуется признанием фонологическая школа (и когда, в частности, рецензируемая здесь книга Яacobсона содержит блестящее и на множестве фактов ожидаемое подтверждение этого принципа — даже для тех случаев с некоторыми его объяснениями отдельных фактов и не совсем согласен), говорить по этому поводу уже излишне. Довожу оговориться, что мое полное признание (уже давно, между прочим, высказанное) того же общего принципа, который положен и в основу работы Яacobсона, вовсе не означает еще, что та теория фонетической эволюции, которой стал бы пользоваться при объяснении историко-языковых явлений я, вполне тождественна с теорией эволюции Яacobсона. Некоторые различия можно было бы указать именно на почве данной книги Яacobсона. Я, например, сомневаюсь в той всегда будто бы имеющейся возможности решить, какой из комбинаторных вариантов фонемы является основным, или нормальным, и в возможности только из этого объяснить некоторые историко-фонетические явления («переходы»). Но во всяком случае расхождения эти относятся к деталям, а не к указанному общему методологическому принципу или к чему-либо первостепенно-существенному в его применении и — скажу более — носят, как это ни странно может показаться на первый взгляд, не качественный, а количественный характер: именно из числа факторов фонетической эволюции, признаваемых нами за факторы потенциальные, я склонен в конкретных историях языков чаще видеть действия одних, а Яacobсон — в известной мере — некоторых других факторов. Напомню в связи с приведенным только что примером: нашими взглядами на значение основного, или нормального, варианта, — что и я считаю само понятие основного, или нормального, варианта вполне законным и эволюционно действенным; не сомневаюсь в том, что говорит Яacobсон по поводу русского *i*, как основного, или нормального, варианта двуликой фонемы *i/bl*, но в отношении некоторых других гласных — и, в частности, русской фонемы *e* — я пользовался бы этим понятием (основной, или нормальный, вариант фонемы) с большей осторожностью (самый факт наличия широкого варианта *e* в анлауте — в *этот* и т. д. — я встретил бы с опаской; по крайней мере в моем индивидуальном говоре оба варианта *e* — и широкий, и узкий — встречаются в начале слов: например, в *этот* и *эти* и т. п.).

Из того, что выше сказано было мною о задаче книги

Якобсона (как о задаче, характерной для новой стадии в дисциплине исторического языкознания, и состоящей в мотивировке эволюционного развития), может создаться представление, будто с задачей установления фактических этапов эволюции Якобсон считает уже дело поконченным и довольствуется принятием тех историко-фонетических фактов, которые были установлены до него. Но это было бы далеко не верным. Вполне считаясь со своими предшественниками (главным образом с А. А. Шахматовым), Якобсон тем не менее считает нужным подвергнуть пересмотру целый ряд пунктов в созданном ими построении славянской, resp. русской, звуковой истории: в известных случаях он берет на себя уточнение (или доформулировку) эволюционного факта (в вопросе об *je*→*o* в русском *олень* и т. п.) и в ряде других случаев склонен дать новую (историко-фонетическую) трактовку вопроса с привлечением новых отправных данных как из живых славянских языков, так и из показаний памятников. И чрезвычайно редко возможно — по крайней мере с моей точки зрения — сделать замечание, что принимаемое автором построение (высказанное его предшественником) недостаточно обосновано для того, чтобы не нуждаться в пересмотре (так, по-моему, обстоит дело с учением Трубецкого о делабиализации общеславянских долгих гласных).

Я не имею в виду выступить здесь с критикой конкретных утверждений Якобсона по отдельным историко-фонетическим явлениям (как русского, так и других славянских языков, которых касается автор попутно) — вернуться к некоторым общим методологическим положениям, высказанным в начале рецензируемой книги.

Одной из замечательнейших фраз, которая, без сомнения, остановит на себе внимание читателя, является, по моему мнению, следующая характеристика славянских фонетических систем (стр. 5): «Dans les langues slaves, le système des éléments significatifs réalisés dans le mot est un, il ne se subdivise pas en sous-systèmes solidaires entre eux, avec de fonctions spécialisées». Автор имеет здесь в виду отсутствие того разграничения функций, которое наблюдается, например, в семитских языках, где гласные морфологизованы, а согласные (по крайней мере преимущественно) семасиологизованы, и т. п. и т. п. Определение отличное и высказано именно на своем месте: начинать фонетическую характеристику всякого данного языка надо именно с этого, кардинально важного момента (содержащего вместе с тем и увязку фонетики с морфологией этого языка). И насколько разнообразны могут быть в отношении данного признака характеристики языков (и вместе с тем насколько важна формулировка этого при-

знака), особенно может судить языковед-ориенталист, которому (и помимо приводимого Якобсоном сравнения с семитской — дуалистической — фонетической системой) должны быть известны и разные другие, принципиально отличные от славянского случаи.

Укажу здесь хотя бы на китайский язык, по поводу которого в самом начале изложения китайской фонетической системы я считал нужным сказать: «Мелодическая характеристика слога — семасиологизуется, экспираторно-акцентуационная характеристика слога — морфологизуется, и, наконец, силлабема (т. е. представление состава слога из согласных, сонантов и гласных) по преимуществу семасиологизуется» (иначе говоря, три принципиально различных класса фонетических представлений обладают особыми функциональными характеристиками). Правда, пример китайского языка может быть (по моему мнению) использован — в другой раз — и как противоречие Якобсону: на стр. 18 говорится: «Lorsqu'existe la corrélation "l'une ~ l'autre structures de l'intonation syllabique", celle "accent d'intensité ~ atonie" est absente».

Однако в китайском языке (как видно уже из выше приведенного моего определения) имеется и *corrélation* «l'une ~ l'autre structures de l'intonation syllabique» (так называемые «тоны», т. е. *musikalischer Silbenakzent* китайского языка), и *corrélation* «accent d'intension atonie» (экспираторно-силовое ударение, которое возможно в современном китайском языке именно потому, что в нем существует лишь моносиллабизм морфемы, но не моносиллабизм слова, а нормальное представление элементарного слова мыслится именно двусложным, а не односложным).

Итак, факты китайского языка противоречат данному эмпирическому закону Якобсона, который — пока на основании одного лишь данного исключения: современного китайского языка — следовало бы, значит, снабдить оговоркой: «Возможно совмещение обеих данных корреляций тогда, когда функциональные их характеристики бывают принципиально различными» (ибо музыкальное слогуударение, как я уже говорил, исключительно семасиологизуется, а силовое — исключительно морфологизуется в современном китайском языке). Но это еще не означает окончательную формулировку данного закона — наоборот — его следует пересмотреть (как и прочие подобные законы в § 5, стр. 17—18) еще на очень и очень большом количестве языков, чтобы приблизить конечный вывод к понятию вывода полной индукции.

Можно привести и другие примеры, также до известной степени противоречащие законам, изложенным у Якобсона в § 5: (стр. 17—18), или же по крайней мере вносящие в них

оговорку. Не имея возможности остановиться на этом подробно, ограничусь указанием на эстонский язык².

Но означают ли подобные исключения (или противоречия), что законы (или обобщения), приводимые Якобсоном в § 5, вообще не являются законами? Конечно, нет. Эти законы «общей фонологии» чрезвычайно интересны и важны как относительные обобщения, выведенные относительно определенного круга (или определенного количества) языков; и вместе с тем они нуждаются в довершении для большого количества еще других языков или же в доформулировках (оговорках и пр.) на основании этих других языков.

Наконец, мне представляется спорным общеметодологическое утверждение Якобсона о преимущественном значении акустического момента в фонетической эволюции, сформулированное в § 6 (стр. 18): «Comme aux questions relatives à la production des sons se substituent des questions concernant les tendances et les buts des phénomènes phonologiques, la physiologie des sons du langage aura, dans le rôle de l'interprétation de l'aspect externe, matériel de ces phénomènes, à céder de plus en plus la place à l'acoustique, car c'est précisément l'image acoustique et non l'image motrice qui est visée par le sujet parlant et qui constitue le fait social». Я нисколько не хочу отрицать самодовлеющего значения акустического момента в весьма многих процессах фонетической эволюции; более того, в выставленной мною «теории фонетических конвергенций» [опубликованной, в ничтожном количестве экземпляров, в брошюре «Фонетические конвергенции», в статье в «Сборнике в честь проф. А. Э. Шмидта» и в статье в № 3 «Ученых записок Института языка и литературы (РАНИОН)»] и в конкретных объяснениях отдельных языковых историй на основе этой теории мне постоянно приходится отводить место мотивировкам на основе акустического момента. Тем не менее тот решительный вывод о преимущественной роли последнего, который сделан Якобсо-

² В эстонском мы имеем и accent d'intensité (словоударение в виде ictus'a на первом слоге), и четыре степени количества гласных (и согласных), которые по функциям их следовало бы рассматривать как две категории фонетических средств (краткость и долгота 1° [V:] лишь семасиологизуются, если не считать случаев чередования долготы 1° [V:] с двумя другими долготами — 2° [V::] и 3° [V:::]; долготы 2° и 3° [V:: и V:::] исключительно морфологизуются) и даже музыкальное слогуударение, хотя и в роли необходимого спутника долгот 2° и 3°. Таким образом, эстонский опять-таки (как и китайский) формально противоречит обобщениям § 5, и опять-таки здесь возможно допустить оговорку о принципиально различных функциях разных категорий фонетических средств. Но необходимо указать, что в эстонском мы имеем аномально-сложную с общefonетической точки зрения ситуацию, а потому этот пример (из эстонского языка) вовсе не сводит на нет относительную значимость данных законов Якобсона (в § 5).

ном, я опасался бы сделать. Я могу частично согласиться с Р. Якобсоном лишь в отношении того, что весьма многие из историко-фонетических явлений, которые лингвистами прошлых поколений рассматривались как физиологически мотивированные, на самом деле зависели именно от акустического момента (т. е. что нам нужно отказаться от традиционной трактовки в отношении определенных явлений). Но заключить, что один из данных двух моментов (акустический, физиологический) имеет преимущественную над другим значимость — мне мешает содержание моего лингвистического опыта.

Настоящая заметка имеет в виду одно из немногих префиксальных образований японского языка — именно интенсивную форму основ с качественным значением, формальным признаком которой служит префикс *ma-* вместе с долгой начальной согласной основы, например: *ma-k:uro* 'черным-черно' от **kuro* 'черн(ый)', *ma-šširo* < **ma-s:iro* 'совершенно белый' от **siro* 'белый', *ma-p:ra* от **pira* (> *çira*) 'плоский', *ma-n:aka* 'самая середина' от *naka* 'середина', *ma-m:aru* 'совсем круглый' от *maru* 'круглый'.

Долготу согласного не приходится объяснять ассимиляцией конечного согласного элемента префикса начальному элементу основы (предполагая, следовательно, *mak:uro* < **maC-kuro*, *mas:iro* < *maC-siro*), как можно было бы заключить по аналогии к образованию согласных долгот в историческую эпоху (например, в Praeterita' *kit'-a* < **kir(i)-t-a* от *kir-u* 'резать', токиоск. *kat:a* < **kap(i)-t-a* от **kap-u* 'покупать'; или в китайских заимствованиях — *hasseŋ* '8 копеек', *zisseŋ* '10 копеек' из кит. **pat-*, **žip-* 'восемь', 'десять' + *seŋ* 'копейка').

Я полагаю, что префикс в древнейшем своем виде оканчивался на гласный¹ и мог существовать независимо от удлинения начального элемента основы (ср. *makoto* 'правда', 'истина' при *koto* 'дело'); чередование же долгого и краткого согласных отношу к таким же видоизменениям основы, какие

¹ В иррегулярной форме *tak:a* 'совсем красный' от основы *aka* можно видеть стяжение из **ta-ak:a*. Другая иррегулярная форма *ma-s:a(w)o* 'весь бледный' от основы *a(w)o* объясняется, видимо, ассоциацией с *masa* 'истинный', которое в свою очередь, вероятно, разлагалось на *ma-sa*. Наконец, оговорю еще одну форму, которая может вызвать сомнения в исконном составе префикса *ma-* без конечного согласного, именно дублет *maruhadaka* к правильному интенсиву *mar:adaka* 'совсем голый' от *hadaka* 'голый'. Здесь, я полагаю, мы имеем дело с позднейшим осмыслением, которое внесло в данную форму интенсива (*ma-p:adaka*, где **p* сохранилось ввиду его долготы), во-первых, подвергнувшись фонетическому изменению основу *hadaka* (где *h* < **p*, согласно общему закону о развитии краткого **p*), во-вторых, в качестве приставки — основу *maru-* 'круглый', так что видеть в *mar:adaka* фонетический рефлекс древнего *mar(u)padaka* нет оснований.

представлены в системе оноματοпоэтических образований, состоящей из редупликационной формы (например, *pika-pika* о блеске, сверкании)² и формы с суффиксом *-ri* и удлинением второго согласного основы (*pik:a-ri*). Сравнивая образование *pik:a-ri/pika-pika* с *ma-k:uro/kuro*, как два древнейших случая консонантных долгот, можно видеть общий для них источник в редупликации, сократившейся до минимума (вместо полного удвоения основы в *pik:a* и *k:uro* удваивается лишь количество согласного) при наращении аффикса (суффикса *-ri* или префикса *-ma*³).

Предполагаемая праформа интенсива в виде «префикс *ma-* + редупликация» находит параллель на малайско-полинезийской почве; ср. Harold W. Williams «Grammatische Skizze der Ilokano-Sprache», (S. 11): «Bei adjektivischen Ausrufen hat sie (Gemination) die Wirkung, die durch die Wurzel bezeichnete Eigenschaft sehr stark hervortreten zu lassen. Ähnlich wird im Tagalischen ein Superlativ gebildet: *mabuting-buting* 'sehr gut' von *mabuting*». (S. 49): «*ma* kommt als Adjektivpräfix in den phil(ippinischen) Sprachen häufig vor, z. B. im Tag (alischen), Pamp (anga), auch Sangir. und Formos(anischen). Die Mehrzahl von den so gebildeten Adjektiven im Ilokano wird durch Reduplikation der Wurzel gebildet».

Приводимый Вильямсом пример *ma-saksakit* ('infirmos') от основы *sakit* может рассматриваться как промежуточная ступень между полной редупликацией⁴ в тагальском *ma-butij butij* (или, например, в меланезийских *manukunuku* 'weich', *manaenae* 'weich', 'schwach', 'müde' — см. Gabelentz, «Melanesische Sprachen. II, Die Sesake-Sprache auf Api», S. 9) и минимумом редупликации в японском *ma-k:uro*.

Так как соответствия японского и малайско-полинезийского словарного материала⁵ позволяют усматривать известную закономерность и в области акцентуации, я считаю не

² Та же основа усматривается в *çikar-u* < **pika-ru* 'сверкать', 'блестеть', *çikari* < **pika-ri* 'свет', 'блеск'.

³ Ср. появление других согласных в латинских *repperi* (при *reperio*), *reppuli* (при *repello*), *rettuli* из **re-peperi*, **re-pepuli*, **re-tetuli* (*tetuli* вместо *tuli* у Плавта). С другой стороны, я позволю себе сравнить двойное количество согласного в *pik:a-* с удвоением согласного в Intensiv'e семитского спряжения. Продолжая аналогию в область графически-языкового мышления, в качестве параллели для интенсивно-итеративного символа, каким служит удвоение фонемы в *pik:a-*, можно указать на прием удвоения графемы для выражения множественности, как, например, в русском *тг* вместо *товарищи*, *гг* вместо *господа*, *язз* вместо *языки* и т. д.

⁴ Употребление неполной редупликации, судя по Вильямсу, вообще характерно для Илокано (S. 2): «Besondere Merkmale des Ilokano im Vergleich mit dem Tagalischen sind:... häufiger Gebrauch der reduzierten Gemination».

⁵ Которые я предполагаю опубликовать параллельно с сравнением фонетических систем обеих групп.

лишним сопоставить неударенность префиксального *та-* в малайском (лично убедиться в ней я имел случай для тагальского) и соответствующий низкий тон первого слога в типе *та-¹к:и]го* (мелодию $\text{—} \overset{|}{\text{f}} \overset{|}{\text{f}} \overset{|}{\text{f}} \text{—}$, засвидетельствованную западнояпонскими говорами, например Киото⁶, можно восстановить для общепонского состояния).

⁶ Характеристика музыкального ударения в Киото дана в моих «Психофонетических наблюдениях над японскими диалектами», гл. II.

К РАБОТЕ О МУЗЫКАЛЬНОЙ АКЦЕНТУАЦИИ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ (В СВЯЗИ С МАЛАЙСКИМИ)

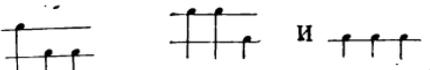
Настоящая заметка имеет в виду предварительную характеристику предназначенной в «Труды САГУ» моей работы «Акцентуационные системы японского языка», где будут опубликованы результаты моих психофонетических наблюдений, производившихся в Японии ровно 10 лет тому назад — в 1914 г. За истекший 10-летний срок мною уже опубликована некоторая часть собранного материала: описано «Музыкальное ударение в говоре Токио» (как образчик восточно-японских систем) в «Известиях Академии наук» (1915) и двух других диалектов — в «Психофонетических наблюдениях над японскими диалектами» (Пгр., 1917); там же дано полное описание одного южнояпонского говора; и в ЗВОРАО (1915) — тексты к нему («Материалы по японской диалектологии»); кое-что опубликовано и из историко-фонетической разработки собранного материала («Акцентуация японских прилагательных» в «Известиях Академии наук» в 1916 г., а также «Одна из японо-малайских параллелей», *ibid.*, 1918) и, наконец, в «Фонетике японского языка», издаваемой Московским институтом востоковедения. Но, в общем, опубликована ничтожная часть собранного и разработанного сравнительно-исторически материала¹, и по изменившимся условиям издания — приходится зачеркнуть первоначальный широкий план издания значительного числа описательных материалов, и за ними только — выводов из них. Приходится использовать возможность для суммарной, и описательной, и генетической характеристики отдельных вопросов японского языкознания (или — что то же — японской диалектологии). Одним из важнейших здесь — уже по самой новизне своей — вопросов является музыкальная акцентуация, открытая мною, притом в виде разнообразных и иногда весьма сложных систем, в разных диалектах японского языка (и с другой стороны, так же в малайском — тагальском).

Акцентуация является самым трудным — или вернее ска-

¹ Упомяну, впрочем, о серии моих докладов по исторической грамматике и диалектологии японского языка в Лингвистической секции Неофилологического общества (есть подробные протоколы) и в Японском отделе Общества востоковедения, а также о курсе лекций по японской диалектологии, читанном в Петроградском университете с 1915—1921 гг.

зять — единственным трудным вопросом японской фонетики. Трудным для европейского исследователя оказывается прежде всего само восприятие акцентуационных различий, настолько отличных от наших фонетических представлений, что мне на первых порах пришлось исходить почти исключительно из самонаблюдений объекта. Достаточно указать на то, что субъективный критерий исследователя, привыкшего к экспираторным и количественным признакам ударяемости, неприменим к понятию музыкально выделенного слога.

Но этого мало: в ряде случаев приходится иметь дело не с выделением одного слога, а с более сложной мелодической характеристикой слова и, например, различие тосаских ак-

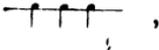
центуационных типов  не могло

бы быть констатировано наблюдателем² без указания объекта на принципиальное различие акцентуаций в данных примерах. Точно так же неприменимо понятие ударенного (или музыкально выделенного) слога к нагасакским типам мелодии слова. Наконец, субъективным восприятием не удалось бы открыть и характерного для киотоского нисходящего повышения внутри краткого слога. Словом, факты были таковы, что блестяще подтверждали необходимость психофонетической предпосылки для фонетического исследования и необходимость пользоваться субъективным методом в форме самонаблюдения объекта. Мне предстояло, следовательно, обучить объекта самонаблюдению, в частности научить изолировать акцентуационное представление от всех прочих, входящих в данное слово представлений. Первой задачей являлось заставить объекта осознать различие акцента в каких-либо двух словах, ничем прочим в своем звуковом составе не отличающихся, что соответствовало бы предъявлению к русскому, никогда не слыхавшему об ударе, вопроса: чем отличаются в произношении слова *rása* и *rosá*. Большей частью я исходил из подобных quasi-гомонимов, так как при них возможен был легкий способ проверки, действительно существует ли социально данное различие — диктовка между двумя объектами. Дальнейшее требовало уже большего труда: нужно было, чтобы объект абстрагировал данное различие, перенес бы отношение данных слов на два других примера, чтобы, например, получилось отношение $!asa: a!sa = !umi: u!mi = !aki: a!si$ (приводятся здесь токиоские слова: 'утро', 'конопля', 'море', 'гной', 'осень', 'нога').

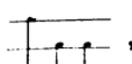
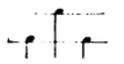
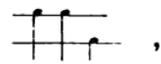
² Инструментальные записи здесь не помогли бы, как показывает опыт Пасси с аинским акцентом («Revue Phonétique», 1907), в котором даны мелодии некоторых слов, принадлежащих к разным типам, но не отмечен самый факт дифференциации.

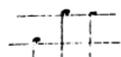
При этом мне обыкновенно уже становилось ясно, будет ли плодотворна дальнейшая работа с данным лицом. Часто выделение отличия давалось только после долгого времени, часто оно переплеталось со случайными отличиями слов; например, один из моих «учителей» (=объектов изучения) делил двусложные слова своего говора по «акценту» на четыре типа вместо трех: 1) с ударением на первом слоге, 2) на втором, 3) безударные, 4) те, первый слог которых оканчивается на носовой — сюда входили представители всех трех типов (и только в этом-то и была ошибка; если бы этот тип делился на три, нужный для меня результат был бы достигнут).

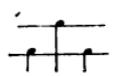
При этом вопрос: все ли называемые объектом типы действительно различаются — должен подвергаться постоянной проверке. Главным средством служил для этого мой собственный слух; я мог бы формулировать синтез этой проверки с основным методом использования фонетического сознания объекта в виде правила: не записывать ничего, что только я слышу (пока дело не идет об оттенках фонетических представлений), и не записывать ничего, чего я *не слышу*. И здесь не надо ожидать уже упрека в выборе такого субъективного критерия, как слух исследователя; уловить фонетическое различие из двух специально подобранных примеров и затем уже научиться улавливать его в других случаях — это совсем не то, что самому подглядеть данные фонетические моменты в естественном потоке речи. Кроме этого, очень удобны разные способы объективной проверки: повторное рассмотрение словарного материала или текстов, уже забытых объектом, обращение к другим представителям говора и пр. Вообще убедиться в том, что данные типы — не ложь и не фантазия объекта, не трудно. Зато гораздо труднее с уверенностью сказать, что данными типами исчерпываются существующие в говоре различия. Quasi-гомонимов, различающихся только по акценту, может не хватить для всех типов. Но можно видеть залог того, что возможные типы исчерпаны, в том, когда объект с легкостью и без изменений (при повторении через большие промежутки времени) сполна классифицирует значительный словарный материал. Когда же он задумывается над одними и теми же словами, относя их то к тому, то к другому типу, это может служить указанием, что типов не хватает, как было у меня при изучении говора Тоса³, когда мы с моим объектом рас-

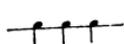
пределяли трехсложные слова только по типам 

³ Я изучал тосаский говор прежде киотского, почему и испытал как раз на этом говоре большую часть трудностей первых шагов.

 ,  , не зная о существовании  ,

 . Например, [kaʃi] [ja] „кондитерская“, я считал за

 , мой ученик Ор. Плетнер за  . Объект

утверждал, что оно похоже, но отлично от  , и только

сопоставление этого слова с [kaʃija] 'дом, отдающийся внаймы', научил меня слышать и воспроизводить эти различия.

Второе затруднение для исследования японской акцентуации представляет ее чрезвычайное диалектическое разнообразие, благодаря которому занятия со случайными представителями разных территорий (употребление разговорной «койнэ», иначе говоря, токиоского словаря и морфологии, обычно не сопровождается усвоением токиоской акцентуации) могли дать самую запутанную и противоречивую картину. Понятно, что ни о каком описании «японского ударения» без точной диалектической локализации данной системы не может быть речи, и какие-либо историко-фонетические построения позволительны только после знакомства с рядом типичных для разных территорий систем.

Из ознакомления с многими пунктами территории японского языка для меня выяснилось следующее.

1°. Наиболее архаичная и сложная система чисто мелодической акцентуации принадлежит так называемым «западным» говорам, представителями которых из детально обследованных мною являются говор Киото и говор Тоса⁴ (на Сикоку).

2°. Восточные (и северо-восточные) говоры представляют значительное упрощение общеяпонской системы (которую во многом позволительно отождествлять с западнояпонской), упрощение, сопровождаемое рядом новшеств (перенос места повышения, использование экспираторно-силового момента), характерных для всех восточных; самым важным представителем этой группы, естественно, является токиоский говор.

⁴ Территориально самый восточный из западных говоров, отрезанный горами от другой половины Сикоку, а другой стороной обращенный в Великий океан, этот район сохранил очень древние особенности, благодаря чему говор Тоса — своего рода «санскрит» японской диалектологии.

3°. Южные говоры представляют наибольшую степень нивелировки акцентуационных различий, крайний предел чего достигнут на юге Кюсю (Кумамото) с постоянным местом и характером ударения, а предшествующая ему ступень — нагасакская дуалистическая система (два акцентуационных типа: баритонный и окситонный — для всякого числа слогов в слове).

Описание и историческое объяснение доселе никем не констатированных, крайне разнообразных и, как указано, нелегко дающихся наблюдению систем чисто музыкальной акцентуации (и именно Wortakzent'a, а не Sylbenakzent'a, как в китайском, тибетском, аннамском) японского и малайских языков представляет прежде всего интерес для общего языкознания, лингвистики в ее целом, так как описание это является открытием совершенно своеобразной области фактов, вполне чуждых большинству других, уже научно обследованных языков, фактов, которые сами по себе вносят новые положения в общую теорию акцентуации (как отдела общего языкознания).

Из них именно и будет строиться описание музыкального Wortakzent'a, ибо из известных нам языков японские (как и малайские) факты как раз дают образчик чисто музыкальной акцентуации, о которой до сих пор говорилось в общих курсах без надежных примеров из живых языков (ведь ссылались в таких случаях на литовский, латышский, а иногда на шведский, сербский и китайский; африканские факты точно не описывались; но во всех этих языках, если не говорить об африканских банту, акцентуационная система не чисто музыкальная, а музыкально-экспираторная; и в китайском, в частности, акцентуационные явления, пожалуй, не менее отличны от японских, особенно от западнояпонских, чем и сербские явления; и только о японском, и особенно, в частности, о западнояпонских говорах, как, с другой стороны, о малайском, можно сказать: вот где образчик чисто музыкальной — без подмеси экспираторной — акцентуации).

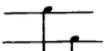
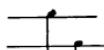
Итак, констатирование указанных японских фактов можно сравнить (качественно) с открытием новых видов в ботанике или зоологии. Количественно же — это более чем открытие зоологического вида: описывается целая новая область фактов, что позволительно, быть может, сравнить с открытием класса лабиринтодышащих.

Вслед за общим языкознанием выводы из наблюденных японо-малайских фактов черпает и языкознание историческое. Именно сходство (а для древнейшего, восстанавливаемого как «дояпонское», состояния — и почти тожество) японской музыкальной акцентуации с малайской (и, полагаю, с ма-

лайско-полинезийской⁵⁾ служит одним из существенных пунктов генетического сближения японского с малайско-полинезийским, и следовательно, для предстоящей «сравнительной грамматики японо-малайско-полинезийской языковой семьи», вместе, конечно, с конкретными этимологическими (словарными и морфологическими⁶⁾ параллелями с постоянными звуковыми соответствиями между обеими языковыми областями, т. е. японским и рюкюским (вместе с японскими элементами в айнском, с одной стороны, и малайско-полинезийскими или, как их называют, «аустронезийскими» — с другой).

Исторический вывод, который я уже вправе сделать (после историко-фонетической разработки мною японских диалектических фактов), не гласит, однако, что «японский — это один из малайских языков», но, однако, близок к этому утверждению. Именно, я считаю возможным доказать, что японский — в генетическом родстве с малайско-полинезийскими и что часть языковых фактов унаследована в японском из общего с малайско-полинезийскими (=аустронезийского) источника. Но есть и крупные отличия, так как японский язык гибридный по происхождению, амальгама южных, островных, аустронезийских и, с другой стороны, западных континентальных,

⁵ Я лично познакомился с одним из малайских языков (тагальским), констатировав в нем аналогичную (в основных чертах) общеяпонской музыкальную акцентуацию. Но ряд книжных данных позволяет мне сделать заключение о музыкальном ударении и для прочих малайских (между прочим, на основании работ Феррана) и даже меланезийско-полинезийских языков: для последних, между прочим, мне служит указанием даже такой факт, как разнообразное изменение гласного *o* в первом и во втором слоге слова (основы) *oro* > *aru* (*afu*) 'большой'; допустив на основании западно-японской (архаической) акцентуации основы *ʔo₁* 'большой' (восходящей к **ʔo₁ro*, ср. рюкюское *ufu* и японскую орфографию «*o fo*» с повышением на первой *o* и с понижением на второй *o*), т. е. *ʔo₁*: 

что указывает на старое общеяпонское *ʔo₁ro*: , что и полинезийско *oro* было акцентировано так же (т. е. «*o fo*») , мы найдем в этом самом возможную причину дифференциации обоих *o* в *oro* > *aru* || *afu*: первое, высокое по голосовому тону *o* повысило и свой характерный тон, что выразилось в его переходе в *a*; второе же, низкое по голосовому тону *o* (в слоге *ro*) соответствующим образом понизило и характерный тон, т. е. дало *u* (ср. аналогичную мотивировку индо-европейского аблаута у Пасси).

⁶ Образцом морфологических параллелей, не объяснимых без допущения общего происхождения японских и малайских морфологических фактов, может служить образование интенсива с префиксом *ma-* и сокращенной редупликацией основы (яп. *ma-kkuro* || *kkuro*, мал. *ma-saksakit* || *sakit*), на что я обратил внимание в заметке «Одна из японо-малайских параллелей» («Известия Академии наук», 1918).

общих и корейскому (и другим восточноазиатским континентальным «алтайским» языкам), элементов.

Иллюстрирую это сопоставлением двух японских историко-фонетических законов, касающихся истории носовых в сонантной функции, один из которых выводится из японо-корейских, другой — подтверждается японо-малайскими соответствиями: 1) дояпонское конечное *m* исчезло — в доисторическую эпоху, — оставив след в виде особой «нисходящей» мелодии предшествующего ударенного гласного, которую обозначаю знаком \wedge над гласной буквой: кор. *turum* || яп. **turum* > **turû* > Киото *curû* 'журавль'; кор. *açam* || яп. **asam* > *asâ* = Киото *asâ* 'утро'; 2) общеяпонское начальное *m* слогаобразующее, т. е. *m̥*, давало *o* в южных, *u* в восточных японских говорах: **msavi* > нагасак. *osagi*, токиоск. *usagi*, 'заяц'; восстанавливаемое же *msavi* может быть сопоставлено с малайским *musaj* 'Paradoxurus hermaphrodytus', который оказывается бытовым эквивалентом зайца на территории Лусона.

Итак, музыкальный Wortakzent (не Sylbenakzent, как в китайском и аннамском), обнаруженный мною в японском и малайском, — один из аргументов гибридного происхождения японского языка с участием аустронезийской языковой стихии, аргумент, имеющий значение как сам по себе, поскольку сходство в общей фонетико-морфологической характеристике (так называемом строе) языков уже может служить компасом для их генетического сближения⁷, так и в составе

⁷ Вспомним, какую роль играло в открытии Марра (установившего родство грузинского и других «яфетических» языков с семитскими) сходство в общем фонетико-морфологическом строе грузинского и арабского языков (сходство гласной системы и особенно «трехсогласность корней»). С другой стороны, для тибето-китайских языков (так называемых индокитайских) — односложность морфемы (для большинства языков), наличие музыкального Sylbenakzent'a. С третьей стороны, для доказательства принадлежности корейского языка к «алтайским»: многосложность суффиксального слова, постоянное место и двухполосность (первый и последний слог) ударения (ср. начальное ударение в монгольском и конечное в турецком — *çim gıano salis* в обоих случаях), наконец, гармония гласных, которую можно восстановить для прошлого корейского языка, и связанное с ней богатство гласной системы. Подобным же образом, в пользу японо-аустронезийского сближения можно назвать следующие внешние сходства:

1) типичная двусложность лексической морфемы (*kata, naka* etc.) и односложность формальной;

2) наличие некоторых префиксов в японском (что отличает японский от вполне суффиксальных алтайских), что является аустронезийским наследием, тогда как вся прочая, суффиксальная, морфология, видимо, континентального происхождения;

3) морфологические функции (полной и неполной) редупликации в самом архаическом слое японской морфологии;

4) простота гласной системы и отсутствие гармонии гласных (как мы увидим, в общеяпонском ее заменяет «гармония тонов»):

звуковых соответствий (так называемых звуковых законов), на которых строится сравнительная фонетика данных языков; укажу, например, на соответствие восходящей мелодии в японском — обще- и западнояпонском — *ki*¹, Киото *ki*¹: 'дерево' и в малайском — тагальском — *ka*¹*ju*: японская и рюкюская форма *ki*: восходит именно к *ka*¹*ju* > *kai* [*kai*, *gai*, = *rgai* засвидетельствованы на аустронезийской почве]; эта однородность, т. е. одинаковое место повышения в малайской и общеяпонской [но отнюдь не токиоской, где место повышения уже изменилось] акцентуации сближаемых слов устанавливается мною, конечно, не на одном примере.

Наконец, помимо общелингвистического интереса, исследование японской акцентуации имеет, конечно, специфическое значение для японолога, как существенная часть изучения японского языка. С практической полезностью исчерпывающего фонетического описания языка согласится, я думаю, всякий. Ведь было обидной ненормальностью то, что европейцы, профессора и преподаватели японского языка, ничего не могли сказать о японском ударении (что объясняется тем, что музыкальная акцентуация японского не дается в руки непосредственному наблюдению лица с европейскими звуковыми навыками, не разгадывается даже с помощью одних инструментальных записей, а требует своего особого тонкого, отшлифованного метода исследования). Пособия по японскому языку по вопросу об ударении противоречили и друг другу, и здравому смыслу. Полный пробел вместо описания акцентуации был и у «специалиста» по японской фонетике англичанина Эдвардса⁸: в «*Essai de la phonétique de la langue japonaise parlée*» он замечает только, что для различения подобно звучащих слов (quasi-гомонимов) вроде *asa* 'утро' и *asa* 'конопля' японцы прибегают к ударению, и отмечает токиоское место ударения в нескольких таких примерах. И только талантливый экспериментатор Мейер в небольшой заметке (в журнале «*Le Monde Orientale*», 1906) установил ту истину, что в японском языке есть ударение и именно му-

5) музыкальный Wortakzent;

6) типичность открытых слогов;

7) почти полное тождество дояпонской и типичной полинезийской — очень несложной системы консонантизма (без парных звонких и вообще без «парных» категорий фонем), между прочим, с тремя носовыми *m*, *n*, *ŋ*.

А также некоторые параллельные развития:

8) процесс утраты губной работы в **p:p* > *f*(*ç*) > *h*; ср. яп. *pi* > *fi* > *hi*, (*çi*) и полинезийск. **apii* > *api* > *afi* > *ahi* 'огонь';

9) вторичность парных звонких полуносовых (*^mb*, *ⁿd*, откуда токиоск. *b*, *d*), развивавшихся в общеяпонском и меланезийском, с другой стороны.

⁸ Другим крупным дефектом его книги служит то, что он не нашел в японском языке категории палатализованных (мягких) согласных (как наши *нь*, *рь* etc. в *ни*, *ня*, *нѐ*, *ри*, *рю*, *рѐ*, и т. д.), а это грубо исказило и его транскрипцию, и статистические подсчеты частоты употребления звуков.

зыкальное, исследовав инструментальные записи нескольких токиоских и киотоских слов⁹.

Японистам же японское ударение было столь же мало известно, как и посторонней обывательской публике. Преподавание японского языка или обходило этот вопрос (то заявляя, что «в японском вообще нет ударения», то рекомендуя ударять все долгие гласные¹⁰), или вносило в расстановку ударений (каких? — мелодических или силовых? — не объяснялось) невероятную путаницу (Д. М. Позднеев в своем «Токухон'е», Куроно в «Самоучителе»).

В итоге ни один европеец, за исключением, вероятно, выросших в Японии, не говорит по-японски правильно (т. е. с полной правильностью передачи японских словоразличий посредством акцентуации) и ни один не умеет правильно слышать японскую речь, т. е. улавливать нужные для нее словоразличия — словоразличия посредством акцентуации.

Вспомним цитированного мною в «Музыкальном ударении говора Токио» («Известия Академии наук», 1915) японского филолога, который нашел, что все европейцы, говорящие по-японски, заставляют слушающего выплевывать еду изо рта от смеха — так не попадая ставят они свои ударения. По десяти лет живут в Японии и не научатся правильно назвать город, в котором живут: *joko!ha:ma* или *!joko!ha:ma* вместо правильного *jokohama* (с ровной мелодией всех слогов или — факультативно — с повышением на последнем). «Если я позволю себе сказать решительно, — говорит японец, — то в Японии вовсе нет местности *joko!hama* или *!joko!hama*»¹¹.

Практика преподавания (но отнюдь не наука!), пожалуй, заинтересована, скажут мне, только в стандартной — токиоской, кстати наименее трудной (после кумамотоской и сацумоской), акцентуации. Быть может, не совсем так. Во-первых, и для практики нужно установить территорию стандартного говора (иначе говоря, территорию восточнояпонской акцентуационной системы, в ее среднем упрощении и с небольшим числом мигрировавших и сохранивших западную мело-

⁹ Полнее о литературе вопроса см. мою статью «Музыкальное ударение в говоре Токио». Там же разбор путаницы, введенной в «Самоучитель» Куроно.

¹⁰ Долгий гласный в японском слове воспринимается русским ухом как ударенный, просто потому, что в русском языке ударение связано с долгой, т. е. ударенный русский гласный гораздо длительнее неударенного. К японской фонетике это не имеет никакого отношения.

¹¹ Здесь, конечно, имеется в виду только неправильное ударение; русские же еще более довершают коверканье слова *Ёкохама* благодаря своему аканью и *г* вместо *h*: получается *Якагама* (или *Екагама*), уже совсем непонятное для японца; но последнему столь же режет слух, как аканье, как *г* вместо *h*, так и — нисколько не менее того — ненужное ударение (да еще с русской долгой) на третьем слоге (*jaka!gá:ma* вместо *jokohama*).

дию слов, — ведь вот что из себя представляет токиоская система); и для практики нужно разобраться, какие еще акцентуационные факты можно встретить за пределами стандартного диалекта. А наконец, несмотря на то, что токиоский говор становится, бесспорно, объединяющим языком японской интеллигенции, может всплыть практическая важность и другого диалекта — другого крупного центра. Я имею в виду центр японской индустрии и пролетариата — Осака (район, где растет японская рабочая революция). Говор Осака также служит объединяющим стандартом (разговорной *κοινή διάλεκτος*) — в пределах соседних провинций, где он борется с местными *patois*, притом стандартом для более широких масс, чем интеллигенция¹². Это делает небесполезным практически и знакомство с западнояпонской акцентуацией (которая представляет первостепенный теоретический интерес для лингвиста).

Это положение дела придает, видимо, исследованию японских акцентуационных систем, помимо научного, и прямое практическое значение.

¹² Стоит вспомнить и осакских рассказчиков (*hanasika*), разносящих свой диалект по разным провинциям (осакского рассказчика я слушал в 1915 г. даже в Иркутске).

К ВОПРОСУ О РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ КОРЕЙСКОГО И «АЛТАЙСКИХ» ЯЗЫКОВ

Сравнительная грамматика «алтайских» языков (т. е. ту-рецких, монгольских и маньчжуро-тангусских), заменявшая собою лишённые критерия достоверности «урало-алтайские» гипотезы Боллера, Грунцеля и Винклера и др., в настоящее время — после работ Рамстедта, Б. Я. Владимирцова и в особенности Н. Н. Поппе — уже вышла из стадии подготовительных «нащупываний почвы» и стала вполне наукообразной компаративной дисциплиной (подобно сравнительной грамматике «уральских», т. е. угро-финно-самоедских языков или же, например, семитической сравнительной грамматике). При этом метод компаративной работы «алтаистов» может быть указан в качестве желательного образца для всех прочих начинающих становиться сравнительными грамматиками языков — будь то «тибето-китайское»¹ сравнительное языковедение, основанное Конради, или мои японо-аустронезийские параллели, или, наконец, яфетическая теория (разумеется, в фактически обоснованной своей части).

Однако, не в виде корректива, а в виде лишь дополнения к методологии компаративной работы я позволю себе указать на одну область явлений, сравнение которых может — еще независимо от словарных параллелей со звуковыми законами и еще до установления последних — послужить для известных выводов генеалогического значения или по крайней мере указать направление для дальнейших (уже этимологических) изысканий, т. е. предсказать, какие именно языки окажутся в конечном счете родственными. Я говорю об общих сходствах в фонетическом и морфологическом строе сравниваемых языков².

¹ Я предпочитаю термин «тибето-китайские» языки — вместо «индо-китайские».

² Укажу для примера на чрезвычайно плодотворное указание, данное Н. Я. Марром, на «трехгласность» коренных морфем в грузинском и в семитических: «Основные таблицы к грамматике древне-грузинского языка с предварительным сообщением о родстве грузинского языка с семитическими» (1908). «Предварительное сообщение» перепечатано в сборнике Института народов Востока «По этапам развития яфетической теории» (1926, стр. 8—30). Стр. 10: «В корнеслове грузинский язык роднит с семитическими и то основное положение, что коренными служат лишь согласные, и

Правда, мне могут возразить, что сходства общего характера могут исчезать или, наоборот, появляться в самостоятельной эволюции каждого из языков (и для подтверждения сослаться, например, на современный английский язык, который и в фонетическом — в известных чертах — и в морфологическом отношении совершенно отошел от «индо-европейского строя», а скорее может быть сближаем с современными китайским или персидским, притом именно в прогрессивных явлениях новоперсидского). Отрицать этого нельзя. Но на то у нас и есть методы исторической грамматики (не сравнительной, а исторической в узком смысле — в пределах исходного материала одного только данного языка или его диалектов), чтобы уметь изолировать явления, возникшие в сравнительно поздние эпохи, так что к компаративному сближению надлежит привлекать только то, что за вычетом их останется; и как мы убеждаемся на компаративно-лингвистической практике, принципиальные черты «языкового строя» весьма часто оказываются архаическими, а следовательно, и показательными в генеалогическом отношении³.

то характерное явление, что грузинские корни трехсогласные или, что бывает реже, двухсогласные». Нужно сказать, что даже эта, лучшая (или, может быть, единственная приемлемая) из компаративных статей Н. Я. Марра («Предварительное сообщение») сама по себе еще ничего не доказывает, а дает лишь отправную точку для самостоятельной проверочной работы читателя над словарем обеих сравниваемых групп (в виде грузинского — с одной стороны, и семитических — с другой); тут-то и оцениваешь это указание на «трехсогласность» корней, благодаря которому, в конце концов, допускаются выводы, тождественные со взглядами автора гипотезы.

³ Таков, например, японский принцип «открытых слогов», который, несмотря на длинный ряд последовательных (хронологически) ограничений этого закона в разные эпохи и в разных диалектах японского языка [начиная с дояпонских случаев — исключений из нормы открытых слогов в виде конечных носовых, отразившихся затем в нисходящем повышении на данном слоге, и с появлением конечных носовых «второй формации» — в эпоху китайских заимствований — именно *N, *N(←*ni, *mi и из китайских n, v), из которых второй опять-таки уже успевает исчезнуть (яп. M→U, рюк. M→нуль), и кончая современными нам согласными на конце слога — s, ś в токиоском и ç или же r' во южнокюсюских говорах и т. д.], все-таки бесспорно господствует на всем протяжении истории японского языка, что и дает право перекинуть мост к аустронезийским языкам (вплоть до самого западного из них мальгашского на Мадагаскаре), в которых опять-таки, и опять-таки через ряд хронологических и диалектических исключений (еще более резких, чем в японских диалектах), можно отметить доминирование слоговой нормы в виде открытого слога. Другим из таких общих указаний на возможность родства была для меня количественно-фонетическая норма лексической морфемы (исключая местоименные основы, которые, строго говоря, обладают ведь не лексическим, а формальным значением) в виде двух слогов (например, яп. [pana] 'нос', *turum→зап. curû→вост. [curu] 'журавль'). Эта норма имеет полное значение для малайско-тагальского; но в японском языке наравне с двусложным есть некоторое (небольшое) количество и односложных слов. Тут-то нам и приходится на помощь историческая фонетика в пределах самого только япон-

Поэтому, обращаясь к корейско-«алтайским» отношениям, я позволю себе начать именно с общих черт «языкового строя», где отмечу следующие сходства:

I. Исключительно суффиксальный характер морфологии — и в «алтайских», и в корейском (в отличие от японского, где наряду с господством суффиксальных образований имеется все же и некоторая как бы особняком стоящая группа префиксальных форм, восходящая, вместе с такими же реликтовыми случаями редупликационной конструкции, к аустронезийскому наследию, ср. материальное совпадение префикса *ta-* с аустронезийским *ta-*: «Одна из японо-малайских параллелей», ИРАН, 1918).

II. Постоянное место и экспираторный характер ударения. Эта черта резко проводит грань между японским и аустронезийским, с одной стороны (и японский, и малайский обладают музыкальной акцентуацией и свободным местом тоноповышения⁴), и, с другой — «алтайскими» и корейским. Местом ударения в общеалтайском праязыке предполагается начальный слог слова (главным образом, на основании монгольского ударения на первом слоге и стабильности гласных первого слога в турецких языках). Вывод — совершенно правильный, но, мне кажется, не исчерпывающий фактов. Именно, на основании турецкого конечного ударения, а также того, что в монгольских (в калмыцком) я наблюдал независимо от ударения на первом слоге и факультативное — второстепенное ударение на последнем слоге, и депласацию ударения на последний слог при вопросе, я допускал⁵, что праязыковое ударение могло быть «двухполюсным», т. е. проявляться в зависимости от тех или иных привходящих условий или на первом, или на последнем слоге данного слова. В пользу этого могут быть истолкованы и случаи эмфатической депласации ударения в турецких языках — именно на первый слог: например, в узбекском произношении *axmæt* 'Ахмед' употребленное в виде вокативного предложения, может по-

ского языка, позволяющая возводить большинство этих моносиллабов к древним двусложным комплексам, например, токиоск. *ho:*, киот. *ho:* ← **porō* ← **porot*; *de-* ← **ŋ'de-* (ср. класс. *ide*, рюк. *ŋzi* [*ju-w*], где смягчение *d* → *z* обусловлено предшествующим **ŋ'*); токиоск. *ki*, киотос. *ki:* ← **kvi* (ср. рюк. *ki:*, но не *ci:*, как следовало бы ожидать, если бы праформа была односложной, т. е. **ki:*, привлечение аустронезийского материала уточняет нам историю слова в виде **kaŋ ju* → **kaŋi* → **ke* → **ki* → киотос. *ki:* *ŋ*). Следовательно, вопрос об исключениях из двусложной нормы для дояпонского состояния уже теряет свою остроту.

⁴ Для древнего общеяпонского состояния (в основных чертах уцелевшего в западнояпонском: квансайском).

⁵ Еще до того как приступил к обследованию нижеизложенных корейских фактов.

лучать начальное слогуударение — *æxmät* 'Ахмед!', *ɔ j æxmät* 'эй, Ахмед!' ⁶.

Обратившись же к корейскому языку, мы находим в нем как раз именно «двухполюсное» ударение — с абберрацией между первым и последним слогом в зависимости от синтаксических (*sandhi*'-ческих) условий: корейское слово в изоляции на конце предложения имеет ударение на начале, а слово, за которым следует продолжение фразы, — конечное ударение. Иначе говоря, чередование начального ударения с конечным выполняет в корейском синтаксические функции.

III. Приблизительные сходства в типичном количественном составе лексической морфемы. При этом корейский оказывается на стороне более прогрессивных в данном отношении — турецких — языков и, следовательно, представляет более краткий вид простой основы, обычно — в один закрытый слог: SVC — в соответствии двусложным комплексам в монгольском. Например: тур. **ta:š* 'камень'//чув. *čol, čul* (чул)//монг. *čilaγun* (и орончск. *žolo*)//кор. *tol* (*tor-*); монг. *mörin* (→калм. *mörŋ*)//кор. *mal* (*mar-*)←*mlr* 'лошадь'; монг. *muren* 'река'//кор. *mul* (*mur*) 'вода'; монг. *nidun* (→совр. *nudŋ*)//кор. *nun* 'глаз', и т. п. Но в местоименной основе мы встречаем уже всюду односложный комплекс: общеалтайское **i* 'он' (см. N. Poppe, «*Türkisch-tschuwassische vergl. Studien. Islamica*», 1925)//кор. *i* 'он', 'этот'.

Как видно уже из этих примеров, корейский (подобно турецким и чувашскому) представляет следующий по отношению к монгольскому (и маньчжуро-тунгусскому) этап в сокращении звукового состава коренных морфем, тот самый этап,

⁶ Ср. аналогичную депласацию при эмфазе и во французском: *kóšš* (как ругательство 'свинья!') вместо *kóšš* 'cochon', *æsu dósu* (в выкриках уличных торговек 'копейка! две копейки!') вместо *æsú dósú* 'un sou, deux sous' (примеры П. Пасси). Правда, мне могут возразить, что если тождественная депласация (с конечного слога на первый) бывает не только в турецком, но и во французском, то это отнимает историко-фонетическую значимость у турецкого явления (которое придется тогда относить просто за счет общечеловеческих условий). Однако оказывается, что именно у французского явления можно допустить историко-фонетическую почву — в виде начального слогуударения в архаической латыни (до *Dreisylben-gesetz*'а), и это дает возможность истолковывать французскую параллель именно в пользу нашего объяснения турецкого ударения (и депласации на 1-й слог) — из праязыкового «двухполюсного» ударения. Замечу еще, что эмфатическая депласация вовсе не обязательно связана с начальным слогом (хотя эта позиция и указывается для общепонской депласации музыкального ударения в вокативном употреблении имен, откуда — начальное тоноповышение в некоторых категориях личных имен по всем говорам: ср. токиоск. *hana*, *take* — женские имена, но *ha'na* 'цветок', *take* 'бамбук' и т. д.); так, в нагасакском говоре (дер. Мие) акцент переносится с конечного слога (в окситонном типе слов) не на первый, а на предпоследний слог (откуда эта эмфатическая мелодия становится обычной принадлежностью императивов как форм, принципиально склонных к эмфатизации).

к которому стремится современная эволюция живых монгольских языков, например, *modon* → *modŋ* → *mod(n)* и т. п. Иначе говоря, корейский дает нам формы как будто будущего состояния монгольского языка (т. е. на одну ступень опережает его в своих новшествах).

IV. Сингармонизм, являющийся (независимо от вопроса о времени его происхождения) характерным для всех групп «алтайского семейства»⁷, правда, в современном корейском языке отсутствует. Но пережитком его можно считать уцелевшие донныне чередования вроде *a/Λ* в praeteritis *č'ab-atta* (от основы *č'ap-* 'ловить')⁸ и *mΛg-atta* (от основы *mΛk-* 'есть'); допуская переход **e* → *Λ* (↱), мы получаем типично сингармонистический исходный вид этого чередования **e/a*.

V. Сходства общего характера в составе фонетической системы (гласных и согласных). В настоящее время в корейском различается 9 или 10 (если считать *y*) гласных фонем:

<i>i</i> (<i>y</i>)		<i>ш</i>	<i>и</i>
	<i>e</i> (<i>ø</i>)	<i>Λ</i>	<i>о</i>
	<i>æ</i>		<i>а</i>

Из них *æ*, *e*, *ø*, *y* — недавнего происхождения (что видно уже из графики: *æ* пишется *ㅏ*, т. е. *a + i*, *e* — *ㅓ*, т. е. *Λ + i*, *ø* — *ㅜ*, т. е. *o + i*, причем и в произношении возможно факультативное чередование с дифтонгом *oi* или *oe*; графика же *ㅗ*, т. е. *u + i*, читается обычно как *wi*, но после переднеязычных это *wi* способно монофтонгироваться в *y*).

Древняя же, предшествовавшая монофтонгизации дифтонгов *ai*, *li* (**ei*), *oi* (и частично *wi*), система вокализма (соответствующая времени изобретения «Эн-муна»), восстанавливается в виде семи фонем:

<i>i</i>	<i>ш</i>	<i>и</i>
<i>*e</i>	<i>*Λ</i>	<i>о</i>
		<i>а</i>

Отмеченные звездочкой гласные **e*, **Λ* не являются соответствиями к современным *e* и *Λ* (resp. *ø* в зависимости от говора). Наоборот, на основании некоторых этимологий я

⁷ Хотя и не для всех языков этих групп: ср. падение сингармонизма в узбекском иранизованном; с другой стороны, можно привести примеры финских языков, например эстонского, где тоже произошла утрата сингармонизма.

⁸ Ср. тур. *tap* (?).

склонен считать *е источником современного л (ḡ) — в «Эн-муне» 4. Древнее же *л, я полагаю, соответствовало знаку «Эн-муна» ʌ и в дальнейшем совпало с а (ʃ), ввиду чего в настоящее время звук а (на месте древних *л и *а) пишется двойко: 1) буквой ʌ (в случаях *л), например, *mal/mar* ← **mlr* 'лошадь', и 2) буквой ʃ (в случаях *а), например, *mal/mar* ← **mar* 'слово', 'речь'. Но в эту систему из семи гласных приходится внести еще два изменения — для еще более древнего периода, что еще более приблизит систему к типовому составу сингармонистического вокализма.

Аналогию «алтайским» звукам мы найдем также и в области консонантизма (если не останавливаться на таких специфических особенностях, как одна фонема *l/r* взамен *l* и *r*⁹, имплозивного характера согласных на конце слога¹⁰ и геминатов, допустимых даже в алауте).

Сказанного для пояснения методов «нащупывания компаративной почвы» достаточно. Остается дать иллюстрацию второй части работы — по установлению сравнительно-фонетических соответствий на этимологическом материале.

Для этого я выбираю в качестве примера соответствия, в которых участвует корейская фонема *l/r*¹¹ (ㄹ в корейском алфавите). Соответствия: 1) тур. *ṣ*//чув., монг., маньчж. *l* и 2) тур. *z*//чув., монг., маньчж. *r* — в настоящее время, после работ Поппе и Владимирцова, можно считать доказанными¹², и потому есть полное основание ожидать их распространения и на корейский; при этом естественно ожидать, что корейский корреспондент будет примыкать не к турецкому, а к остальным членам «алтайского» семейства: чувашскому, монгольскому, маньчжуро-тунгусскому. Но ввиду того, что в корейском не существует принципиального различия *l* и *r* (т. е. надо допускать конвергенцию древних **l* и **r*), а их место занято одной фонемой: *l/r*- [осуществляющейся в виде двух комбинаторных вариантов: *l* — на конце слога, т. е. в ауслауте и перед следующим согласным (кроме *h*), *r* — в начале слога

⁹ Эту черту надо рассматривать, конечно, в связи с японским неразличением *r* и *l* (в японском — если не считать *r*' «мягкого», позднейшего происхождения — нашим *л* и *р* соответствует только одна фонема *r* — переднеязычная, недрожащая мгновенная (весьма сходная с корейским *r* перед гласным).

¹⁰ Черта, очевидно, нового происхождения. Ср. имплозивные в аинском, тагальском.

¹¹ Как уже указывалось, на конце слога произносится *l*, а перед гласными (и также перед *h*) — *r*; в качестве долгого (гемината) произносится *l:(l)*.

¹² Вопросы о том, к чему восходит каждое из данных соответствий в общеалтайском языке, мне здесь, по существу дела, можно и не касаться; весьма возможно, что предположения, сделанные на этот счет Поппе (**r* и **l*), окажутся вполне верными; пока же они приемлемы в виде «рабочей гипотезы».

перед следующим гласным; например, *casus indefinitus mal* 'лошадь', *nominativ. mar-i*], корейские корреспонденты обоих вышеуказанных соответствий—1) для тур. *š*//чув. и т. д. *l* и 2) для тур. *z*//чув. и т. д. *r*—очевидно, должны были совпасть именно в этой «комбинаторно-двуликвой» фонеме *l/r*. А так как кроме двух названных соответствий имеются еще случаи тождественных—и для турецкого и для остальных языков—соответствий: тур. *l*//чув., монг., маньчж. *l*, и тур. *r*//чув., монг., маньчж. *r*, то теоретически можно было бы предполагать целых четыре соответствия, в которые войдет корейская фонема *l/r*:-

- 1) тур. *š*//чув., монг., маньчж. *l*//кор. *l/r*-;
- 2) тур. *z*//чув., монг., маньчж. *r*//кор. *l/r*-;
- 3) тур. *l*//чув., монг., маньчж. *l*//кор. *l/r*-;
- 4) тур. *r*//чув., монг., маньчж. *r*//кор. *l/r*-.

Приведу некоторые из относящихся к этим соответствиям этимологий:

1. Тур. *š*//чув., монг., маньчж. *l*//кор. *l/r*:-

Тур. **ta:š* (як. *ta:s*, туркм. *da:š*//сев.-узб. *ta:š*, и с сокращением долготы гласного: казакск. *tas*//узб. ираниз. *təš* и т. д.)//чув. *čul* (чул)//монг. *čilaγun*//орочонск. *žolo* (джоло)//кор. *tol* (*nomin. tor-i*) 'камень'.

Тур. **i:š*¹³ (туркм., сев.-узб. *i:š*//узб. ираниз. *iš* и т. д.) 'дело'//кор. *il* (*nomin. ir-i*) *idem* ('дело', 'работа') сюда не подходит, ввиду чув. *əš*.

2. Тур. *z*//чув., монг., маньчж. *r*//кор. *l/r*:-

Тур. **ja:z* (як. *sa:s* 'весна', туркм. *ja:ð* 'лето', карач. *ja:z*, сев.-узб., кара-булакск. *ja:z*; (ташк. *jəz*, казакск. *žaz*)//чув. *šur* (сур)//монг. *nirai* 'новорожденный'//маньчж. *ni jar xün* 'зеленый, свежий'//кор. *n'gram* (←**njerlm*) 'лето'.

Затем, в связи с обоими соответствиями (тур. *š*//кор. *z* и тур. *z*//кор. *z*), укажу еще корейские слова «зима» и «осень», в которых позволительно видеть соответствия к турецким *kuz* 'осень' и *quš* 'зима'; однако гласные данных корейских слов указывают на то, что корейское слово со значением «зима» соответствует турецкому *kuz* 'осень' и, наоборот, корейское «осень» отвечает турецкому *quš* 'зима'. Не предвешая окончательного вывода¹⁴, приведу оба соответствия:

¹³ Возможно, что грамматикализацию этой именно основы (*iš* 'дело'), мы имеем в форме отглагольного *nom. actionis* на *-iš/-uš/-uš/-yš* (в I спряж.) *-š* (во II спряж.), например в узбекских *kel-iš* 'приход', *ur-uš* или *ur-iš* 'бой', 'битва', *oqu-š* или *oqi-š* 'учение' и т. д.

¹⁴ Хотя принципиально переход значения «зима»→«осень» (или обратный переход «осень»→«зима») может считаться вполне возможным. Ср. расхождение значений общетурецкого **ja:z* в якутском (*sa:s* 'весна') и, например, в туркменском (*ja:ð* 'лето'). Весьма вероятно, что подобные пе-

Тур. *kuz* 'осень'//чув. *kər* 'осень'; ср. кор. *k'ulul* (←*kje-ul*) 'зима'.

Тур. *qış* 'зима'//чув. *xəl* 'зима'; ср. кор. *kaul* 'осень'.

3. Монг., маньчж. и тур. *l*//кор. *l/r*:-

Монг., маньчж. *tala*, тур. *Ул* 'степь'//кор. *tul* 'поле'.

Ср. также маньчж. *холо* 'долина'//кор. *kol* idem.

4. Тур. *r*//монг. и т. д. *r*//кор. *l/r*:-

Тур. суффикс мн. ч. *-lar/-ler* и т. д. (в як., кирг. и других также *-tar/-dar* и т. д.)//монг.-*nar*//кор. *-tal/-dal* (*-tar/-dar*).

Монг. *naran*//кор. *nal-(nar-)* 'день'¹⁵.

Монг. *nere*//кор. *niram* 'имя'.

Монг.  'река'//кор. *mul-(mur-)* 'вода' (ср. также тунгусские соответствия). Кор. *mul* часто оказывается и эквивалентом для понятия «реки».

Монг.  (→калмыцк. *mərü*) 'лошадь'//кор. *mal-(mar-)* 'лошадь'¹⁶; графика  указывает на древнюю форму **mл*^l, в свою очередь восходящую, вероятно, к **mər*. Ср. также кор. *murə* 'мерин'.

реходы значений (вроде «весна» → «лето» и т. д.) можно связать и с климатическими данными (различными для двух территорий). Наконец, теоретически можно допустить и возможность такого случая, что один какой-нибудь из терминов «зима» и «осень» восходит к древнему имени холодной половины (а не четверти) года.

¹⁵ Это слово нельзя считать китайским заимствованием, как предполагает П. Шмидт (см. *Опыт мандаринской грамматики*, стр. 51).

¹⁶ О связи этого монголо-корейского слова с китайским и некоторыми другими «тибето-китайскими» словами, означающими «лошадь» (а через китайскую праформу **mra* и с японским **mra* → токиоск. *m* 'ma, сев.-вост. *ma*), я уже упоминал в статье «Дальне-восточные термины...» в «Сборнике в честь проф. А. Э. Шмидта» (Ташкент). Интересно, между прочим, замечание П. П. Шмидта (приводящего следующие тибето-китайские примеры к китайскому 馬 и корейскому *mal*: «по-сокпаски *mari*, по-бирмански *mrag*, по-гярунски *boroh*, по-абормирийски *huri*): «Пустыню Гоби считают в Азии первоначальной родиной лошади, и там она была впервые приручена (см. Dr. O. Schmeil, *Lehrbuch der Zoologie*, 1889), поэтому может быть, что китайцы заимствовали лошадь вместе с ее названием у тюркско-монгольско-тунгусских племен. Если это так, то южные народы познакомились с лошадью у китайцев и заимствовали также ее название, которое тогда не должно было быть односложным» (*Опыт мандаринской грамматики*, стр. 8). Во всяком случае в данном названии лошади мы видим миграционный термин, распространявшийся, однако, в столь отдаленное время, что в пределах одной языковой семьи ему допустимо приписывать (с известными оговорками) и праязыковый характер. С другой стороны, так как это именно миграционный термин, у нас не будет повода к удивлению, если мы найдем его отложения и в языках других семейств [подобно тому, как другое миграционное слово — культурный термин доистории — «мед», мы обнаруживаем и в индо-европейском и уральском семействах, и в китайском (с дальнейшим заимствованием в японский и корейский), и даже, наконец, в чеченском], что, однако, вовсе не предполагает признания яфетидологических операций, прodelьваемых с китайским 馬.

Монг. *ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠯ* 'палец'//кор. *karak, kurak*.

Маньчж. *ᠮᠡᠷᠢ* 'гречиха'//кор. *mil* 'пшеница' и общее название зерновых хлебов, *mo-mil* 'гречиха'.

Тур. *turna*, як. *turuja* 'журавль'//кор. *turum*//яп. **turû*→ Киото *curû*, Тоса *tu'ru*, Номин. *tu'ru₁ga*, Токио *curu* (нисходящее повышение [û] восходит к дояпонскому конечному носовому, ср. яп. *asâ*//кор. **ac'am* 'утро').

Следующую статью я намерен посвятить простейшим соответствиям для корейских смычных и носовых (например, тур. *t*//кор. *t* в тур. **ta:m*//кор. *tam* 'стена' и т. п.). Особо придется говорить о корейско- или алтайско-японских отношениях — в связи с общим вопросом о генезисе японского языка, где (как показывает мой этимологический материал) обнаруживается сложная амальгама. Но не столь просто обстоит дело и в континентальных — «алтайских» языках: все наличные их факты нет никакой, по-видимому, надежды вывести из одного «общеалтайского» праязыка. Предугадывается картина гораздо более сложных соотношений. С другой стороны, занимаясь алтайской проблемой, нельзя было миновать енисейско-остяцкого вопроса. Алтайские элементы, именно туркизмы, констатируются в этом языке, разумеется, в виде позднейшего налета (странно, между прочим, что Шифнер не причислил к туркизмам такого очевидного факта, как суффикс *-dak* 'как'¹⁷: ср. тур. *دهك/دق*). Зато нельзя не остановить внимания на совершенно неожиданном наблюдении ряда поразительных сходств с баскским (правда, именно в силу своей разительности эти факты и заставляют предполагать здесь возможность случайных совпадений).

¹⁷ А. Schiefner, *Castrén's Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kotischen Sprachlehre*, 1858, § 67.

Уже неоднократно указывалось на совпадение индо-европейского **medhu* 'мед', 'медовый напиток' с угро-финскими словами, выражающими те же понятия (фин. *mesi* < **meti* 'Honig', лапл. *mietta* 'Meth', морд. *m'ed*', черем. *mü*, зыр. *ma*, вот. *mu*, венг. *méz* 'Honig')¹. Широкое распространение этого слова позволяет предполагать, что, может быть, и звуковая близость китайского слова для меда (по без значения медового напитка) с **medhu* оказывается не случайной. Именно пекинскому *mi* соответствует общекитайская форма **mit*, восстанавливаемая как на основании показаний прочих диалектов, так и из древних китайских заимствований в аннамский, корейский и японский языки. Так, аннамская форма, транскрибированная у Джилса² через *mêt*, вместе с кантонской (*met* у Джилса) и хаккасской (*mit* у Джилса) указывает на существование общекитайского конечного переднеязычного смычного неносового (может быть, *t*; но, конечно, неизвестно, был ли этот звук в общекитайскую эпоху эксплозивным или только имплозивным; неизвестно и то, был ли он глухим или звонким), исчезнувшего в пекинском, но давшего рефлекс в виде «входящего тона» в южномандаринском и других. Корейское *mil* объясняется тем, что всякое общекитайское конечное **t* отражается в корейских заимствованиях в виде *l*³.

В японском имеются формы *miçi*⁴ (Го-он) и *bicu*⁵ (Кан-он). Обе являются правильными соответствиями общекитайскому **mit*; *-çi* в первой форме восходит на японской почве к **ti*. Это последнее заменило повсюду в Го-оне китайское конечное *t* ввиду отсутствия представления закрытого слога

¹ Wiklund, *Finnisch-ugrisch und indogermanisch*, — «Le Monde Oriental», 1906, 63; семасиологические детали: Gauthiot, «Memoires de la Société de Linguistique de Paris», 1910, XVI, pp. 269—270.

² См. Giles, *Chinese-English Dictionary*, № 7834.

³ Ср. переход конечного **t* в *r* в китайских диалектах (см. Baron A. von Staël-Holstein, *Bemerkungen zu den Brühmiglossen des Tišastovustik-Manuscripts*, S. 141 ff; «Sitzungsberichte der Königl. Preuss. Akad. d. Wiss.», 1914, XXI, S. 643—650).

⁴ Знаком *ç* отмечаю мягкую дорсальную аффрикату — польск. *ć*.

⁵ Знаком *c* отмечаю аффрикату *ts* = русск. *ц*.

в японском. Этим же объясняется в кан-онной форме **tu*, откуда позднее *cu* (с факультативным гласным) в *bicu*; *b* из начального *t* является обычным в Кан-оне. Существующая кроме этих форма *micu* (также *haçi-micu* 'пчелиный мед') объясняется контаминацией Кан-она и Го-она (впрочем, дублетные формы, причисляемые к Кан-ону, с *t* вместо обычного *b < m*, довольно часты). Приведенное у Джилса *hitsz* (в моей транскрипции *çicu*) объясняется графически как заместитель *bicu* (*çi* и *bi* отличаются на письме часто пропускаемым диакритическим знаком), или же просто подстановкой *çi* вместо *bi*, потому что эти сочетания чрезвычайно часто чередуются в чтениях других иероглифов. Можно было бы видеть препятствие к восстановлению общекитайского **t* в существовании форм, оканчивающихся на *k*, в некоторых китайских диалектах (приведенные у Джилса: Foochow и Yungchow *mik*); но этот переход *t > k* имеет место только при смешении и **t*, и **k* конечных в одном звуке⁶.

Наконец, праформа **mit* доказывается и на основании данных древнекитайской лексикографии, собранных в труде Карлгрена⁷: иероглифу, означающему «мед», приписывается древнее чтение с Initiale 32 (= **m*)—см. № 3081 на стр. 137, и с Finale 259 (= **it*)—см. № 2814 на стр. 211.

В заключение я укажу: 1) что имеются сопоставления индо-европейского **medhu* также с семитическими словами⁸; 2) что в Китае пчела водилась искони: «In Asien ist die Honigbiene dagegen nur in einer schmalen Zone zu Hause, die von West nach Ost über Kleinasien, Syrien, Nordarabien, Persien, Afghanistan, das Himalayagebirge, Tibet und China läuft»⁹. В Японии же привоз пчел (из Кореи — из Кудара) относят к 643 г.

⁶ Ср. Parker в «Philological Essay» к словарю Джилса (стр. XVII) о Foochow: «...all final consonants become *k*»; П. П. Шмидт, *Опыт мандаринской грамматики*, I², стр. 54—55.

⁷ «Etudes sur la phonologie chinoise», I, 1915.

⁸ Н. Möller, *Vergleichendes indogermanisch-semitisches Wörterbuch*, S. 157.

⁹ Schrader, *Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde*. Biene, Bienenzucht.

В одной из моих работ я уже указывал на интересную параллель между и.-е. **med^{hu}*/скр. *madhu*//греч. μέθυ//слав. МЕДЪ и т. д. и китайским словом со значением «мед»: **miät*→**mit*→совр. кит. *mī*^{5,4}, которую позволительно продлить по крайней мере еще на три других языковых семейства, т. е. связать еще с фин.-уг. **meti*→фин. *mesi*, эст. *mezi* и т. д./чеч.-инг. (совр. чеч. *muoz*←**маз-ц*) и, наконец, андаманским (сев.-андам. *maro*) названиями «меда»¹.

С другой стороны, в моей напечатанной в «Трудах Ташкентского ИЛЯ» заметке под заглавием «О происхождении турецкого *oĵ, uĵ* 'дом', 'юрта'» я позволил себе усматривать в древнекитайском **ip* 'селение', 'товарообменный пункт' (→*i*⁴ в современном чтении) возможный источник как турецкого *ip*//**ep*~**eb*→*oĵ, uĵ* 'дом', 'юрта', так и японского наименования «дома»: **i₁pe*→совр. токиоск. *i¹je*//нагасакск. *i₁je*.

Если прибавить сюда и другие случаи древнейших параллелей между китайским и языками других семейств (в том числе и случаи так называемых доисторических, долитературных японских заимствований из китайского), которые я затрагивал в других моих работах² (например, др.-яп. **m:a*→**mma*→совр. зап.-яп. *i₁ma*//токиоск. *i₁ma*→сев.-вост.-яп.

¹ Сближение это вовсе не означает еще решения вопроса о том, из какого именно очага языковой культуры, т. е. из какого именно языкового семейства, распространился данный миграционный термин (по другим языковым семействам). Во всяком случае я далек от возможности доказать китайское происхождение индо-европейского (**med^{hu}*) и т. д. слова и скорее готов склониться к возможности обратного направления миграции. Так, в тибетском языке, где мы находим соответствие для китайского *ju₁, фын-цзы* 'пчела', 'муха' (в виде *sbraŋ-[bu]*; это сопоставление уже приводилось в моей заметке об этимологии *медъ*), для самого слова **miät*~*mit* параллели не находится, и потому у нас нет оснований считать этот термин «тибето-китайским» (в смысле исконной принадлежности к тибето-китайскому семейству).

² В частности, например, в работе «О происхождении дальневосточных орудий письма» («Сборник в честь профессора А. Э. Шмидта», Ташкент, 1924). Позволю себе назвать также подготовленную мною к печати работу «Японские названия животных», где вместе с «алтайско-корейскими и др. параллелями попутно трактуются и некоторые древнекитайские слова.

ma 'лошадь', происходящее из древнекитайского **mra* [ср. бирм. *mraŋ*] → совр. кит. *ma*³, с которым в определенной генетической связи стоят и др.-кор. **mal* → совр. кор. *mal* и монг. *mörin* → русск. *мерин*), а также и те заимствования — из китайского и в китайский, — которые издавна уже упоминаются в синологической литературе (например, такие миграции древнекитайских слов, как: 1) др.-кит. **kam* 'бумага' → яп. *kami* // рюкюск. *kabi* [*<*ka^mbi*] и → перс. *kā[gaz]*; 2) др.-кит. **žjān* → совр. нек. *цян*, дунг. *çjan* → яп. **zeni* 'деньги'; с другой же стороны, случаи обратных по направлению заимствований вроде греч. *ῥοζός* → кит. *пу²-мао²* в современном произношении), то общий перечень материала окажется — хотя и не очень уж значительным, — но все же достаточным для того, чтобы ликвидировать взгляд на древнейшие этапы китайского языка как на языковую историю, вполне изолированную от связей и соприкосновений с языками других семейств (т. е. не принадлежащими к тибето-китайскому языковому семейству). Добавлю, что было бы весьма полезной задачей дать критический пересмотр тому, что высказывалось (особенно в ориенталистической, по Дальнему Востоку, литературе) по подобным архаическим случаям «китайских заимствований», так как кое-что из считавшегося уже установленным в этой области приходится, мне кажется, считать не только недоказуемым, но и опровержимым (например, объяснение японского *ῥūdē* ← **[puⁿde]* 'кисть для письма' из др.-кит. **pit* должно быть заменено туземной, т. е. чисто японской, этимологией японского слова **[puⁿde]* ← **[pumi]* + *te'*, т. е. помет *verbale* от глагола **[pum-ul]* + *te'* 'рука', которое и в других сходных случаях принимает значение суффикса орудия действия || и.-е. **-tlo-m*, **-tro-m*]).

Цель настоящей заметки ограничивается, однако, лишь установлением одного нового (доселе не встречавшегося мне в лингвистической, resp. ориенталистической литературе) соответствия: между индо-европейским названием «свиньи» и древнекитайским словом того же значения. Уже по поводу двух греческих дублетов *ῥς* и *σς* (т. е. *hū-s* и *sū-s*, resp. *hū-s* и *sū-s* в более позднем аттическом произношении) у компаративистов возникло предположение — не восходят ли эти дублеты к двум различным праформам? Если *ῥς* (*hū-s*) представляет собой регулярное фонетическое (т. е. вполне соответствующее греческим Lautgesetz'ам) отражение **sū-s* (ср. лат. *sūs*, совр. нем. *Sau*; а также ср. и суффиксальное образование от той же основы **su-in-* в немецком *Schwein*, русск. *свинья*), то для второго дублета *σς*, т. е. *sū-s*, возникла дилемма: 1) считать ли его иррегулярным, т. е. незаконным (=нарушающим Lautgesetz греческого spiritus asper [‘-h] из начального *s), рефлексом той же индо-евро-

пейской праформы **sū-s* или же 2) допускать в нем отражение некой другой индо-европейской праформы, т. е. второго, или дублетного, индо-европейского наименования «свинья», именно — праформы, начинающейся двумя согласными, например **tjū-s* или **tjū-s*, откуда уже регулярно фонетически *sū-s* = *ῥῥ*.

Для сторонников метафизической безысключительности Lautgesetz'ов соблазнительно было получить какую-либо опору для второго из этих предположений, и эта опора, наконец, отыскивается — в сопоставлении греческого *ῥῥ* с латышским *cuka* (= *tsuka*) 'свинья'. Привлечение этой латышской корреспонденции позволило отделить (в этимологическом отношении) *ῥῥ* от *ῥ*: первое слово (*ῥῥ* вместе с латышским *cuka* = *tsuka*) возводилось к основе **tjū- ~ *tjū-* или тому подобной, а второе *ῥ* — к **sū-s* (откуда и латинское *sūs* и т. д.).

Подходя к этому вопросу без постулата «безысключительности» Lautgesetz'ов (ибо в моей концепции языковой эволюции метафизическое понятие Lautgesetz'a заменяется — в каждом индивидуальном случае — определенной цепью вполне конкретных факторов звукоизменения), я позволяю себе, наоборот, считать, что оба греческих дублета (*hū-s* и *sū-s*) в конечном счете всходят к одному и тому же источнику, дифференцировавшись из него в двух различных руслах словарной преемственности. И поскольку звуковое и полное смысловое совпадение позволяют подозревать родство с китайским словом *чжу*¹, архаическая форма которого восстанавливается в виде **čū* = **tšū*, я допускаю возможным именно эту форму (**čū* = **tšū*) и считать на правах миграционного слова неиндо-европейским источником обоих индо-европейских дублетов названия «свиньи» (не предрешая, однако, вопросов: из какого именно языка поступило это миграционное заимствование в индо-европейский словарь и для какой именно среды это слово являлось исконным — ибо вполне возможно, что и в китайский, как и в индо-европейский, оно было усвоено из некоего третьего источника)³.

Полагаю, что при заимствовании слова, содержащего шипящую аффрикату *č* = *tš*, языком, который не имел шипящих вообще (либо только шипящих аффрикат), естественным процессом должна быть замена этого *č* = *tš* через *ts* или *tš* (в качестве современных примеров можно указать хотя бы на финский, эстонский или греческий языки, представители ко-

³ Так как ни одно из объяснений, пытавшихся этимологизировать **sū-s* на индо-европейской почве (например, объяснения Курциуса, Ваничка, Хирта), не может считаться доказуемым, то препятствий к допущению в этом слове миграционного термина я не вижу.

торых при усвоении иноязычных слов регулярно производят подобную подмену шипящего согласного свистящим). Естественно допустить, таким образом, что исходная форма миграционного названия «свиньи» — **tʃu* на индо-европейской почве превратилась в **tsū*-[s] (или **tʃū*-[s])⁴. Это и есть, согласно моей гипотезе, тот первый — более консервативный — дублет индо-европейского слова, продолжением которого являются и латышское *tsuka* (где **-k-ā* является, очевидно, такой же суффиксацией, как **-k-ā* в слав. **owī-k-ā* → *овьца* // русск. *овца* ~ ср. скр. *avih* // греч. *ὄις* ← *ὀίωις* // лат. *ovi-s* // литов. *avi-s* и т. д.) и греческий дублет *ὄις* (где *s* ← **ts*). Однако такой малоти- пичный для индо-европейского анлаута комплекс, как **ts* (который до нашего времени мог сохраниться — в виде аффрикаты *tʃ* — лишь в такой консервативной индо-европейской группе, как балтийская), в большинстве древних индо-европейских языков должен был подвергнуться естественному упрощению: **tsū*- (или **tʃū*-) → *sū*-[s]. Это и есть тот дублет, к которому восходит греч. *ὄις* (с регулярным переходом начального **s* → *h*: ср. то же звукоизменение в иран.-авест. *hū*- 'свинья', а наконец, и в британской ветви кельтских языков — кимрск. *hwch*, корнск. *hoch* при др.-ирл. *soec* → совр. ирл. *suig* 'свинья') и который представлен, с другой стороны, в лат. *sū-s*, др.-верх.-нем. *sū* → совр. нем. *Sau*, алб. *ḡi* (с регулярным для албанского переходом **ū* в *i*: ср. *mi* // *mūs* 'мышь'), а наконец, и в таких производных основах, как готск. *swein*, др.-верх.-нем. *swin*, русск. *свинья* и пр.

Та значительная роль, которую играла свинья — это чисто «арийское» (в современном немецком смысле термина) животное — как в древнем быту индо-европейских народов⁵, так и в древнем хозяйстве Китая, может говорить только в пользу нашей гипотезы, сводящей индо-европейские и китайские названия этого животного к одному и тому же миграционному термину. А в связи с этим могут быть сделаны попытки установить отложения того же миграционного термина (**tʃu*) и в языках некоторых других семейств, в частности в турецких языках: ср. узб. *сoсqа* 'свинья'⁶, *сoрpа* 'поросенок'. Но ряд относящихся сюда вопросов (в том числе слова, объясняющиеся уже как заимствование из индо-европейских языков, например, эст. *сiɡа* ← **сiɡа* 'свинья' и т. п.) требует

⁴ Напоминаю, что в историко-фонетических реконструкциях мы имеем возможность восстанавливать не фонемы, а звуки языка и лишь в зависимости от наличия дополнительных данных можем, в определенных случаях, делать дальнейшие домыслы о фонематическом (=фонологическом) составе реконструируемых нами форм.

⁵ Ср., между прочим, роль свиней в «Одиссее».

⁶ К татарской, по-видимому, форме (*ḡiʃqа, ḡiʃqа*) восходит, между прочим, и русск. *чушка*.

уже особого рассмотрения и безусловно выходит за рамки настоящего краткого сообщения.

Также и та сравнительно-фонетическая проблема об исключениях из закона $*s \rightarrow h$ (в пределах индо-европеистики), которую мне пришлось здесь затронуть в связи с вышеизложенной трактовкой $\tilde{u}\zeta$ и $\sigma\tilde{u}\zeta$, заслуживает, по моему мнению, пересмотра в объеме всех аналогичных примеров (греч. $\sigma\tilde{i}\beta\alpha\tilde{\zeta}$ 'brünstig' в сопоставлении с лат. *subo, subare ~ subĕre*; а с другой стороны, др.-кимрск. *dis-suncnetic* 'exanclata' и ново-кимрск. *sugno*⁷ в сопоставлении с лат. *sūgo, sūgere*; также $\sigma\tilde{u}\nu$ - и $\xi\tilde{u}\nu$ -; и, наконец, $\sigma\tilde{u}\rho\tilde{i}\gamma\tilde{\zeta}$ ⁸) именно в свете вышеизложенного объяснения (допускающего в одном из дублетов сохранение элемента t в $*tsu$ - вплоть до эпохи действия греческого закона $*s \rightarrow h$).

⁷ Ибо в британских языках (кельтской группы) мы встречаем тот же «закон» перехода начального $*s$ в h , как и в греческом (и в иранских, и в армянском).

⁸ Которое я склонен, впрочем, считать как по суффиксу, так и по основе догреческим неиндо-европейским словом, — это нисколько не снимает необходимости объяснения анлаутного s и в этом слове.

ДУНГАНСКИЙ СУФФИКС МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА -*мѡ*

Употребляемый в дунганском языке в соответствии севернокитайскому *мынь* (們) суффикс множественного числа *-мѡ* (например, *таѡл* 'они', *ѡѡтѡ* 'мы', *пимѡ* 'Вы') нуждается, во-первых, в разъяснении фонетического своего состава: является ли он этимологически-тождественным китайскому *мынь* (служа в таком случае дальнейшим его историко-фонетическим видоизменением)? И если — да, то каковы причины и каков ход данного звукоизменения?

Во-вторых, поскольку этимологическое тождество дунг. *-мѡ* и кит. *мынь* (*-тэп ~ -тѣ*) может быть установлено, возникает вопрос: каково же происхождение, т. е. каков общий древнекитайский источник обоих суффиксов (*-мѡ//мынь*)? Иначе говоря, какое (первоначально самостоятельное) слово грамматикализовалось в данный (китайский и дунганский) суффикс множественного числа?

На второй из этих вопросов мною уже дан был краткий ответ в «Грамматике современного китайского разговорного языка» А. И. Иванова и Е. Д. Поливанова; и потому здесь мне придется лишь повторить этот ответ, снабдив его некоторыми новыми параллелями общелингвистического характера. Но предварительно нужно, разумеется, разрешить первый вопрос: действительно ли дунганское *-мѡ* является просто историко-фонетическим рефлексом китайского *мынь*? (так как в противном случае не имело бы смысла и привлекать дунганский суффикс к этимологии *мынь*, т. е. ко второму из вышеназванных вопросов).

Мне кажется, что объяснение (и именно историко-фонетическое объяснение) дунганского суффикса *-мѡ* из кит. *мынь* оказывается не только вполне вероятным, но и единственно возможным (ввиду отсутствия конкурирующих с ним объяснений)¹. Ход звуковой эволюции при этом я допускаю такой:

¹ Может быть названо только одно, чисто гипотетическое, соображение, которое могло бы быть противопоставлено нашему допущению (относительно кит. *мынь* → дунг. *-мѡ*), а именно — дунганский суффикс представляет собою грамматикализацию слова *му* 'мать': ср. комплекс *цзы-му* 'алфавит', 'азбука', где *му* действительно оказывается как бы субститутотом понятий «совокупность» (т. е. «алфавит, азбука» = букв. «мать», букв. «совокупность букв»), откуда очень недалеко, разумеется, и до понятия

поскольку китайское *мынь* (неударенное, как это вообще свойственно китайским суффиксам) произносится в виде нормы, уже без гласного звука, т. е. со слогообразующим *n* (*-mɿ*; например, *ta-мынь* = *t^há-mɿ* 'они' и т. д.), постольку и эволюцию на дунганской почве мы вправе вести от этого комплекса *-mɿ*. Дальнейший, т. е. второй, этап возможно (хотя и не обязательно) допускать в виде **mɿ̃*, благодаря ассимиляции второго носового (*ŋ*) первому (*m*) по месту образования, т. е. по губной работе. Аналогией может служить изменение *ŋ* → *ŋ̃* после губного согласного в современном немецком языке; например, *lieben* = *li:bŋ* → *li:bŋ̃* (в быстрой речи) и т. п. Но надо иметь в виду, что 1) этот (второй, или промежуточный) этап мог и вовсе отсутствовать: переход в *u* (= дунг. *ɯ*) возможен и для переднеязычного носового слогообразующего (в данной позиции); 2) что если этот этап и существовал, то лишь в виде крайне кратковременного этапа и, по-видимому, лишь в качестве факультативного варианта (варианта быстрой речи) переднеязычного носового слогообразующего *-ŋ* (ввиду диалектического противоречия между физиологически-мотивированным переходом *mɿ* → *mɿ̃* и принципиальными фонологическими нормами западнокитайской, а также и севернокитайской, силлабемы, допускающими в конце слога только *n* и *ŋ*, но не *m*).

Для следующего этапа — для перехода *ŋ* → *u* или *ŋ̃* → *u* (т. е. *-mɿ* → *mi* = «*mɯ*», или **mɿ̃* → *mi* = «*mɯ*»), мы можем назвать — до известной степени близкую — аналогию опять-таки из немецкого языка, именно из некоторых немецких народных диалектов. Еще лет 20—25 тому назад проф. Ф. А. Браун приводил в своих лекциях в качестве текстового примера песенку, исполнявшуюся немецкими солдатами и начинавшуюся с фразы: «*Unser Kaiser soll leben...*»

Нелепое содержание песенки² мы оставляем, конечно, в стороне: я привожу первую ее строку исключительно потому, что в ней отмечена (проф. Ф. А. Брауном) форма *leben* (*le:bun* в фонетической транскрипции) вместо *leben* (*le:bŋ* или *le:bŋ̃* в обычном немецком произношении). Форма эта показывает, что в данном слове (как и в других словах с подобным же конечным звукосочетанием) имел место переход носового слогообразующего в *un* — иначе говоря, повторился

множественного числа. Но стоит ли говорить о том, что именно в приложении к основам личных местоимений (после которых дунг. *-mɯ* главным образом и употребляется, как и кит. *мынь*) эта этимология и обнаруживает свою несостоятельность: «его мать», «моя мать», «твоя мать» никак не превратимы в личные местоимения «мы», «вы».

² В стандартной немецкой орфографии текст ее таков: *Unser Kaiser soll leben...*

тот же процесс, который восстанавливается для древней истории германских языков.

Сходство между этим диалектическим немецким (как и древнегерманским) звукоизменением, где в составе рефлекса *nasalis sonantis* развивается гласный *u*, с дунганским **mŋ*→*mi*[=*mɯ*] приобретает в глазах фонетика и, в частности, фонолога решающее значение, если принять во внимание акустическую причину появления здесь (т. е. в данных — германском и дунганском — рефлексах носовых слогообразующих) гласного *u*, т. е. гласного с крайне низким характерным тоном (ср. по этому поводу разъяснение, даваемое Р. Якобсоном в «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», № 2 — появление гласного *u* в русском, сербском и чешском рефлексах «большого юса» *u*, т. е. *O* носового). Учитывая, следовательно, как главный момент снижающее тон гласного влияние назализации, мы можем уже не придавать значения различию между немецким, а также древнегерманским и дунганским рефлексами: *un*, с одной стороны, и дунг. *u* — с другой; мотивировка отсутствия конечного носового в дунганском *-mi* (не *miu* — и не *miu!*) затруднения не представляет.

Наконец, позволю себе добавить еще одну приблизительную параллель (к данному переходу *nasalis sonantis* в *u*): японское звукоизменение **M* (так я обозначаю *m*, игравшее роль второго элемента дифтонга) в *u* неслоговое³; например *siramu* (будущее «узнаю, узнает»)→**siraM*→яп. *siraŋ*→*siro:* и рюкюск. *š'ira*, *sira*; кит. *fau* 'сторона'→яп. и рюкюск. **paM*→яп. **pau*→*ho:* и рюкюск. **pa:*→*ʒa:*.

Вышеприведенные соображения (и параллели) позволяют нам, по моему мнению, представить себе и гипотетическую картину (т. е. причины и ход) звукоизменения *-mŋ*→дунг. *-mɯ*.

Переходя ко второму вопросу о происхождении китайского *мынь* (и восходящего к нему дунганского *-mɯ*), можно указать прежде всего на иероглифическое написание китайского суффикса (們), которое само по себе имеет уже разгадку его этимологии. Иероглиф, которым пишется китайский суффикс числа, состоит из ключа: «человек», так называемой фонетики *мынь*='дверь', 'ворота' (們=*f* + 門); «фонетика» эта является вместе с тем и этимологией: суффикс *мынь* есть не что иное, как грамматикализовавшееся слово «дверь», «ворота»⁴.

³ Которое затем иногда становилось и слоговым: ср. др.-яп. *Хюга* в русской транскрипции (название провинции) из **piṃuka*→**piMka*→**piMga*→**piuga*.

⁴ Добавить можно, что ключ «человек» (*f*, так называемый жэньцэр), дифференцирующий данный суффикс от лексической морфемы «дверь».

Эволюция значения (от «ворот» до понятия множественного числа) такова: «ворота» или «дверь»→«двор (дом)»→«семья»→«и прочие»→понятие множественного числа (прежде всего в личных местоимениях).

Для начала этого смыслоизменения можно указать параллель в виде общего происхождения русских слов *дверь* и *двор* (и.е. основы *dwer-* ~ **dwor-* оказываются вариантами одной и той же основы — по нормальной форме Umlaut'a **e/o*), к развитию: «дом (или двор)»→«семья»→значение множественного числа в личных местоимениях. Ближайшими параллелями (если не считать некоторых примеров из западнокавказских языков, которые я опускаю ввиду затруднительности их транскрипции) можно назвать диалектические японские случаи, например:

1. Морфема *ku* 'дом' в тосаском (пров. Тоса на о-ве Си-коку) диалекте — в комплексах вроде *as'in̄ku* = *as'i-n̄-ku* 'мы', где *as'i* 'я', а *n̄* — комбинаторное сокращение падежного суффикса Genitivi *-no* (следовательно, 'мой дом' = 'мы').

2. Морфема *-i-* (вместо *!je* 'дом' из *i'e* ← *!iipe*) в нагасакском говоре деревни Мие, описанном мною в «Психофонетических наблюдениях над японскими диалектами» (I, 1917), в таких комплексах, как *oigaino!ko* = *o-i ga-i-no-ko* из **!o-rega!* + *!iipe-no* + *!ko!* 'наш ребенок', 'наше дитя', букв. 'ребенок (дитя) нашего дома' (см. статью «К происхождению турецкого *اوي*» в сборнике Института языка и литературы Узб. ССР, 1934).

Наконец, в качестве известной параллели к последующему звену вышенамеченного эволюционно-семантического ряда могут подойти:

1. Исп. *nosotros* 'мы' и *vosotros* 'вы' из лат. *nos* или *vos* + *alt(e)ros* или фр. *nous autres*, *vous autres*.

2. Иероглифические этимологии японских суффиксов множественного числа.

«ворота», объясняется, очевидно, тем обстоятельством (в составе семантической характеристики суффикса), что этот суффикс множественного числа употребляется почти исключительно после основ личных местоимений и имен лиц (например, *во-мынь* 'мы', *ни-мынь* 'вы', *цзам-мынь* 'мы с тобой' = 1. 2. Plur. Inclusiv., *та-мынь* 'они', и, с другой стороны, например, *сюэ-шэн-мынь* 'студенты').

ПРОБЛЕМА МАРКСИСТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЯФЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

(Тезисы доклада)

1. Определение понятия «марксистское языкознание» в связи с некоторыми недостатками термина «материалистическая лингвистика».

2. Объем понятия «яфетическая теория», отношение яфетической теории к прочим продуктам научной деятельности акад. Н. Я. Марра. Подлежащие ревизии элементы яфетической теории.

3. Основным дефектом яфетической теории (и именно подлежащего ревизии материала) является не характер и не содержание общих положений, а противоречащее фактам использование конкретного живого материала. Частично к этому присоединяется не соответствующий действительности материал (неверно взятые факты). Примеры.

4. Об общих положениях в ревизии яфетической теории можно было бы, в связи с вышесказанным, вовсе не говорить, ибо всякая наука, претендующая на участие в создании реалистического и, в частности, марксистского миропонимания, должна вытекать из фактического материала, а не сводиться к нескольким общим положениям, не связанным с конкретными фактами данной области явлений.

5. В общих положениях яфетической теории, точнее в общих положениях, высказываемых смежно с яфетической теорией, приходится различать главным образом следующие категории: 1) суждения аксиоматического, с марксистской точки зрения, характера; 2) суждения справедливые и в то же время общеизвестные в лингвистике; 3) суждения неверные. Ревизия всей совокупности этих положений не нужна, так как при отсутствии увязки фактами для самой яфетической теории различие между этими тремя категориями не существует.

6. Использовать конкретные утверждения яфетической теории для работы в смежных научных областях нельзя.

7. Путь создания марксистской лингвистики должен идти не из яфетической теории: надо объяснить с помощью марксистской методологии и на основе марксистских предпосылок те эпизоды и эпохи языковой жизни, фактической мате-

риал которых вне спора и подозрений. Вполне естественно, чтобы создаваемая дисциплина начала оперировать сначала с хорошо известным материалом, и только выковав всесторонне свои методы, пыталась бы переходить вглубь к неизвестному.

8. То, что я назвал (в пункте 7) марксистскими предпосылками для лингвистической науки, можно уже, до известной степени, найти у Энгельса, Лафарга, Ленина и др. Элементарнейшее из методологии марксистской лингвистики сводится, по моему мнению, к следующему: язык должен изучаться как трудовая деятельность (параллель до известной степени найдется в изучении производственных процессов), но не индивидуальная, а коллективная. Следовательно, и описываться язык должен не только как индивидуальное отображение системы в одном мозгу, но и с точки зрения общей численности языковых мышлений, для которых данная система в той или иной степени тождественна. Отсюда вытекает, с одной стороны, законность социально-групповой (классовой и т. п.) диалектологии, наряду с территориальной диалектологией, с другой — необходимость изучать эволюцию [языка. — *Сост.*] в связи с эволюцией коллектива — носителя языка. [Связывать. — *Сост.*] требуется, разумеется, не только [с] культурой как таковой, но со всей совокупностью явлений экономического быта данного коллектива, прежде всего с кооперативными требованиями, т. е. с кооперативной деятельностью этого коллектива, обуславливающей как экстенсивность [притом и в территориальном и социально-групповом направлениях], так и интенсивность языкового общения как для всего данного коллектива, так и для группировок внутри него. Установление [путем проверки на ряде конкретных эпизодов и эпох языковой жизни] законосообразных связей между чертами из только что указанной области — экономической характеристики коллектива и языковыми фактами [точнее — фактами языковой эволюции] и явится той базой, от которой в дальнейшем можно будет приступить к новому материалу, уже зная пружины механизма языковой эволюции [ср. общий порядок, имевший место и в других методологических достижениях — еще в естественно-исторической лингвистике].

9. Методология марксистской лингвистики будет создаваться по мере роста самой марксистской лингвистики, но основные требования, которые марксистами могут и должны быть предъявляемы к любой из категорий лингвистических работ, могут быть формулированы и сейчас.

КРУГ ОЧЕРЕДНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Никто не будет оспаривать того положения, что язык есть явление социальное. Одно из определений языка гласит: язык есть тожество¹ систем произносительно-слуховых символов, существующих у n -ого числа индивидуумов, объединенных кооперативными потребностями в перекрестной коммуникации. Эта коммуникация, разумеется, только и возможна при том условии, что ассоциации между произносительно-слуховыми представлениями (в частности, представлениями звукового состава слов) и смысловым их содержанием (значениями слов) будут одинаковы у членов языкового общения. А так как состав потенциальных участников данного языкового общения определяется составом коллектива, реально связанного кооперативными потребностями (т. е. в конечном счете известной общностью экономических условий), то язык постольку лишь и имеет *raison d'être* (смысл своего существования), поскольку он будет достоянием всего данного коллектива.

Допустим — в виде приема *reductio ad absurdum* — обратное: я, например, или другой какой-либо индивидуум, выдумал заведомо оригинальную искусственную систему ассоциаций между произносительно-слуховыми (а может быть, и какими-нибудь другими: музыкальными, графическими и т. д.) знаками и внеязыковыми (смысловыми) идеями. Прав ли я буду, называя эту систему языком?

Ответ на такой вопрос (явится ли данная произвольно созданная мною система языком?) равносителен следующему вопросу: употребляется ли она кем-либо (хотя бы даже минимальным коллективом из двух лиц) для коммуникации? И пока такого социального использования системы не происходит — это не язык.

¹ Разумеется, говоря здесь о тожестве систем, не приходится настаивать на полном тожестве всех их деталей во всех индивидуальных мышлениях данного коллектива: те или иные индивидуальные отклонения (в частности, например, дефекты речи и т. п.) могут быть терпимы, поскольку сумма их не вырастает настолько, чтобы препятствовать взаимному пониманию при перекрестном общении.

А что нужно для того, чтобы данная произвольно созданная индивидуумом система получила реальное существование в качестве языка, т. е. чтобы нашлись лица, заинтересованные в том, чтобы эту систему усвоить и применять для взаимного общения? Для этого требуется реальное существование коллектива, реально объединенного известными кооперативными потребностями и неспособного обслужить себя (в составе всех членов данного объединения) какой-либо другой системой (т. е. другим языком).

Пусть даже кооперативные потребности, объединяющие коллектив носителей данного языка, будут вполне специфическими, как, например, в коллективе потенциальных участников общения на эсперанто (или идо, или «новой латыни» и т. п.); но они все-таки существуют, почему эсперанто (gesp. идо и т. д.) и изучается. Но, разумеется, если бы весь контингент лиц, побуждаемых данными специфическими потребностями к обеспечению для себя перекрестной коммуникации (на языке эсперанто) мог бы быть сполна обслуживаем каким-либо другим языком², то отпало бы побуждение изучать эсперанто, и сама идея подобного языка потеряла бы всякий смысл.

В одном из романов Джека Лондона на редкость талантливый, но слепой старик-меланезиец обучает собаку особому, им самим выдуманному, «человеко-собачьему» языку, в результате чего собака своими донесениями о виденном и видимом ею заменяет ему зрение: предупреждает, например, о появлении врагов, называя даже (более или менее приблизительно) число их и т. д. Допустим, что такой случай возможен³ и действительно имел место. Тут будут все моменты существования языка как такового: наличие коллектива, правда минимального, из двух членов, связанных вполне специфическими (чуждыми всему прочему населению острова) кооперативными потребностями в коммуникации: слепой старик нуждается в «речи» собаки, которая заменяет ему зрение; собака же, исполняя эту функцию, т. е. обслуживая в заданном направлении хозяина, зарабатывает этим, так сказать, свое пропитание. Никому другому участвовать в этом общении нет никакой реальной надобности: данный коллектив (из двух существ) естественно отграничен здесь от всего прочего одушевленного мира. И, разумеется, никаким другим языком, например родным меланезийским наречием старика-хозяина, эта коммуникация (между человеком и собакой) не может быть выполнена уже потому, что, как и замечает Джек Лондон, рот у собаки устроен совершенно иначе, чем у

² Уже усвоенным всеми данными лицами.

³ Лично я не вижу здесь невозможного (хотя нужен, конечно, подбор исключительных условий).

человека, и безусловно не может быть приспособлен к производству звуков человеческой речи. Этим оправдывается потребность (а значит, и реализация потребности) в особом, совершенно новом языке. Конечно, старик-меланезиец, кроме этой выдуманной им самим системы «человеко-собачьего» языка, знал и свой родной человеческий язык; но здесь он уже должен рассматриваться как член второго, гораздо более обширного (и связанного уже совсем другими, гораздо более сложными кооперативными потребностями⁴) коллектива, говорившего на данном меланезийском наречии. Надо не упускать из виду, что один и тот же индивидуум может участвовать (т. е. быть потенциальным членом общения) в нескольких различных объединениях — коллективах, обслуживаемых каждый своим языком или диалектом (включая как территориальные, так и социально-групповые диалекты); тогда, следовательно, данный индивидуум совмещает знание (и употребление) нескольких языков или диалектов⁵.

Итак, знание языка и состав языка определяются не индивидуумом, а диктуются индивидууму коллективом. Это, по-видимому, было аксиомой и для К. Маркса: ср.: «Die Production der vereinzelt Einzelnen ausserhalb der Gesellschaft ist ein ebensolches Unding als Sprachentwicklung ohne zusammen lebende und zusammen sprechende Individuen» (К. Маркс, «Zur Kritik der politischen Ökonomie, Einleitung») ⁶. Укажу, кстати, что социальным характером языка (как системы речи) обусловлен, оказывается, телеологический характер язы-

⁴ Замечу здесь, что реальное бытие языка определяется не только составом кооперативно-спаянного коллектива, но и характером кооперативных связей внутри него. В качестве наиболее резкого примера укажу на такие профессиональные диалекты, которые по принципу должны обладать элементом криптолалии (тайной речи) ввиду специфических нужд данных профессий.

⁵ Сравни весьма интересное констатирование этого положения в применении к социально-групповым диалектам в статье Г. Поспелова «Три рассказа из „Записок охотника"» («Родной язык в школе», № 5, 1927 г., стр. 24): «...язык каждой общественной группы не одностороннее, а многостороннее явление. Если мы возьмем повседневный разговор членов группы друг с другом, то этот разговор будет иметь определенные речевые свойства; если же мы послушаем члена той же группы в его обращении к представителям другой социальной среды, то его речь может сильно изменить свой характер, может стать совсем другой. Если, например, буржуазная дама разговаривает в гостиной с равными себе людьми, ее речь обладает одними свойствами; если она обращается к прислуге, ее речь сильно меняется; подбор слов, выражения, интонация — весь строй речи. Словом, одно дело — язык социальной группы в ее внутреннем обиходе, другое — ее язык, обращенный вовне, к представителям других социальных слоев».

⁶ Производство обособленного индивида вне общества — такая же несообразность, как развитие языка помимо живущих вместе и говорящих вместе индивидов». (См. К. Маркс, *К критике политической экономии. Предисловие*. Русск. перевод).

ковой эволюции, позволяющий в учении об эволюции или истории исходить не только от причин, каковыми являются — в эволюции языка — прежде всего черты и факты языка предшествующих поколений, но и от необходимых следствий, продиктованных данному хронологическому этапу данного языка вовсе не языковыми фактами, а данными экономического порядка (ибо они-то определяют состав коллектива, связанного кооперативными потребностями во взаимном перекрестном общении). Именно необходимым следствием языковой эволюции, следствием, которое мы заранее (вовсе не справляясь еще о языковых факторах и тенденциях эволюции) можем знать, поскольку нам дана (с исчерпывающей точностью) экономическая конъюнктура, является то, что у n -ого числа участников данного (экономически predetermined) коллектива будет один, тождественный в основных чертах язык (иначе у данного коллектива не было бы достаточно годного орудия перекрестного общения). Вот то обстоятельство, которое решительным образом будет опрокидывать все попытки прогноза языкового будущего, поскольку эти попытки будут строиться на основании языковых лишь факторов языковой эволюции (т. е. будут в конечном счете рисовать возможную эволюцию индивидуального языка данного состава вне учета социально-экономической и политической конъюнктуры).

Конечно, не менее, а еще более нелепой будет обратная попытка — предсказать (для будущей эпохи) или объяснить (для настоящей эпохи) конкретный состав языка, исходя исключительно лишь из внеязыковых данных (экономических и т. п.). В эту ошибку впадали те «социологи языка» (XVIII и первой половины XIX столетия⁷), к которым нам уже во всяком случае не стоит возвращаться. Действительно, совершенно нелепым упрощением будет попытка объяснить все факты современного, например русского, языка экономическо-политической историей последних ста, трехсот или пяти-сот, а тем более последних двадцати лет, если объяснитель (будь то, допустим, представитель «наивного марксизма» или, наоборот, представитель диаметрально противоположной — и по «бытию», и по «сознанию» — марксизму «расовой теории» — Rassentheorie) не захочет знать ни о чем больше, т. е. упустит из вида технический момент эволюции языка: и материал эволюции (т. е. состав предка данного языка в исходную для эволюции эпоху), и технические законы языкового развития. А ведь подобные объяснения были,

⁷ Т. е. до того «младogramматического» периода в истории нашей науки, для которого характерно оперирование с индивидуальным объектом исследования.

например, та или другая черта немецкой фонетики (а то и звуковой состав отдельного немецкого слова с данным, почему-либо интересным, значением) объяснялись ведь из присущей германской нации национальной психологии. В столь же безнадежном положении окажется и тот, кто захочет объяснить подобные факты из экономической конъюнктуры Германии и из ничего больше.

Какой же вывод непосредственно вытекает из всего сказанного по поводу науки о языке, т. е. лингвистики (или «прагматического языкознания», как можно называть лингвистику в отличие от практического изучения, т. е. усвоения языков)?

Для того чтобы эта наука была адекватна своему объекту изучения, она должна быть наукой социологической. Это, собственно, давно уже признано лингвистами в выставленной ими трехчленной формуле определения языка и языкознания (лингвистики): язык есть явление физическое, психическое и социальное; точнее, в составе языковой деятельности имеются факты физического, психического и социального порядка; отсюда и лингвистика, с одной стороны, является наукой естественноисторической (соприкасаясь здесь с акустикой и физиологией), с другой стороны — одной из дисциплин, изучающих психическую деятельность человека, и, в-третьих, наукой социологической.

Эту трехчленную формулу, в той или иной редакции, мы часто будем встречать в общих и элементарных курсах, и ее можно, следовательно, считать общепринятой для лингвистической литературы конца XIX и начала XX века. Однако нужно признать (и в этом сами сознавались лучшие представители языкознания предшествующего нашему поколению), что в отношении даже второго, а главным образом третьего члена этой формулы она страдает значительным платонизмом, т. е. говорит не о том, что есть в лингвистике, а о том, что теоретически должно в ней быть.

Действительно, за все время существования европейской лингвистики она разрабатывалась главным образом именно как естественноисторическая наука: например, в сравнительной грамматике индо-европейских языков наиболее развитым и наиболее богатым бесспорными положениями является учение об истории звуков и звукового состава слов в разных индо-европейских языках (начиная с древнейшего, общего всем этим языкам состояния, и вплоть до исторических эпох, засвидетельствованных или литературными памятниками, или же живыми современными говорами).

Второй из вышеназванных трех элементов лингвистики — изучение психической деятельности (в конечном счете, разумеется, также сводимой к физиологической) индиви-

дуального члена языкового общения находится уже в менее счастливом положении.

По крайней мере, один из относящихся сюда отделов — так называемая «психофонетика», т. е. учение о психической деятельности, направленной не на значения, а на звуковую лишь сторону речи⁸, — совсем не существовал в западноевропейской лингвистике, и создание этой дисциплины (в конце прошлого столетия) проф. Бодуэном де Куртенэ является одним из крупнейших вкладов русской науки в международный комплекс достижений лингвистики.

И совсем плохо, наконец, обстоит дело с изучением социальной стороны языка — с социологической лингвистикой. Для большинства авторов в лингвистической литературе характерно просто игнорирование относящихся сюда тем и вопросов. Язык описывается как принадлежность одного какого-то абстрактного индивидуума (реже одного конкретного индивидуума, когда автор сознательно подменяет язык индивидуальным говором, что — в диалектическом развитии нашей методологии — является несомненным уже шагом вперед); для исторического объяснения языка привлекается опять-таки язык такого же абстрактного индивидуума более древней или древнейшей (из доступных анализу) эпохи; о каких-либо соотношениях между коллективом — носителем данного языка и самим описываемым или объясняемым языком нет и помину (в наиболее распространенном типе лингвистических работ). В лучшем случае, когда автор вспоминает все-таки про теоретическую трехчленную формулу (см. выше), он (беру опять-таки типовые случаи) или ограничивается констатированием печального факта, что современная ему лингвистика игнорирует социальную сторону языковых явлений, т. е. выражает платоническое сожаление; или же — что делает ему несомненную честь — решается исправить эту ошибку своих предшественников тем, что принимается за сбор и сводку всякого внеязыкового (бытового, экономического, исторического и т. д.) материала по тому коллективу, которому принадлежит изучаемый им язык (или говор). В связи с первым случаем (платонического сожаления) мне вспоминается, однако, предсказание одного из моих учителей, который, констатируя факт, что современные ему западноевропейские и русские лингвисты не занимаются социологической

⁸ В том, что таковая психическая деятельность (направленная именно лишь на звуковую сторону речи) действительно есть нечто реальное, можно убедиться не на основании анализа моментов говорения взрослого человека (у которого звуковые навыки уже опустились в бессознательную зону), а на основании наблюдений над процессом обучения родному языку у детей (отмечу, между прочим, интересное наблюдение покойного В. П. Вахтерова в его книге: «Предметный метод обучения»).

лингвистикой, предполагал вместе с тем, что следующим диалектическим этапом в развитии нашей науки именно и будет поворот в данном направлении — к изучению социальной стороны языка. Прав был он или нет в этом предсказании — это должно показать сегодняшнее поколение лингвистов.

В связи со вторым случаем я не могу не вспомнить покойного акад. А. А. Шахматова: человек поистине редчайших дарований, сделавший больше чем кто-либо в науке о русском языке, но занимавшийся и всеми смежными проблемами (генеалогически и географически близкими к русскому языку), он создал капитальную работу по мордовскому языку в виде детального описания и текстов двух мордовских (именно эрзянских) говоров. Этот толстый фолиант известен под именем «Мордовский этнографический сборник» (издание Отделения русского языка и словесности Академии наук в 1910 г.).

Как показывает само заглавие, лингвистическому сбору фактов здесь соответствует параллельный этнографический материал (по тем же пунктам — именно деревням Карбулак и Оркино). Автор помещает здесь все сведения о быте, истории, экономике и т. д. данных деревень, какие ему могли быть доступны; печатает целиком записи других лиц, посвященные этим деревням, и не останавливается даже, например, перед такими подробностями, как рассказ об осушении озера, бывшего посредине деревни.

Как мы видим, автор «Сборника» не жалел места для внеязыкового материала — для характеристики самого коллектива, говор которого служил предметом его исследования. Но если мы попробуем искать причинных связей между тем или другим внеязыковым (экономическим, бытовым, чисто географическим и т. д.) фактом и каким-либо явлением в самом составе данного говора, мы увидим, что автор предоставляет эти задачи (установления указанных причинных связей) дальнейшим исследователям, а сам озабочен лишь тем, чтобы собрать для них побольше сырого материала.

Такова типовая картина, характерная для поколения, предшествующего нашему. В наше время наблюдается, правда, поворот, выражающийся именно в искании путей социологической лингвистики. На Западе можно назвать, например, де Соссюра (в последней опубликованной уже после смерти автора книге), Вандриеса, Мейе, Балли, Есперсена, Иордана, Фосслера, Наумана, Вреде, Жильерона и др.

Не нужно, однако, думать, что эти новейшие продукты западноевропейской лингвистической мысли всегда представляют собою нечто действительно новое для советского лингвиста. Проработка общелингвистических вопросов в рус-

ской науке во многих отношениях далеко опередила то, что делалось на Западе. И в частности, например, относительно прошумевшей посмертной книги де Соссюра можно уверенно утверждать, что в ней нет никаких новых положений, которые не были бы нам уже известны из учения Бодуэна де Куртенэ⁹.

Из молодых же советских лингвистов наибольшего внимания, по-моему, заслуживает Н. Ф. Яковлев с его теорией эволюционных типов грамматического строя, обусловливаемых различными стадиями в истории общественных форм.

Размеры настоящей статьи совершенно исключают возможность характеристики всех этих представителей «социологической школы» или, вернее, ряда социологических направлений лингвистики.

Позволю себе, однако, указать, что далеко не всякая теория, именуемая себя социологической, может представить интерес для марксистской разработки языкознания. Совершенно недостаточно для этого антагонизма с работой предшествующих поколений. Работа над созданием марксистского языкознания должна выражаться не в виде похоронного шествия над гробом естественноисторической лингвистики, а в построении новых лингвистических дисциплин на том фундаменте бесспорных фактов и положений, которые даны лингвистикой как естественноисторической дисциплиной. Бесмысленно, например, отрицать конкретную картину звуковой и всякой другой эволюции, добытую компаративным языкознанием, ибо она, как и сам компаративный метод, достаточно уже проверена эмпирически; нужно не браковать, а пополнять те стороны картины, где остался пробел, — именно дать фактам социологическое обоснование. Вспомним общее положение Ленина: «От раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм» («Успехи и трудности советской власти», 1919 г., т. XVI). Ту же мысль — уже в прямом приложении к научному наследию от капиталистической эпохи — мы найдем у Ленина в «Задачах союзов молодежи»: «Только точным знанием культуры, созданной всем

⁹ С именем Бодуэна де Куртенэ обыкновенно ассоциируют созданную им дисциплину «психофонетики» (часто неправильно называемую «теорией фонем»). Но можно указать и целый ряд других достижений, в которых первенство принадлежит именно ему. Для примера укажу на популярную ныне идею смешения («гибридизации» и «метисации» по Н. Я. Марру), — достаточно будет напомнить, что еще в 1901 г. Бодуэн опубликовал работу под заглавием «О смешанном характере всех языков». Аналогичные справки можно было бы дать и по поводу многих современных «Америк» как в нашей, так и в западноевропейской (и американской) лингвистике.

развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру».

Каковы же очередные проблемы социологической лингвистики?

Мне удастся здесь ограничиться лишь простым (голым) и притом не исчерпывающим перечнем основных подразделов:

1. Определение языка как социально-исторического факта. Собственно говоря, сочетание лингвиста и марксиста в одном лице уже предполагает решение этой задачи. Но все-таки нужна еще формулировка. Итак, это лишь первый необходимый шаг, не более того.

2. Описание языков и диалектов с социологической точки зрения. Нужна, конечно, методология прежде всего (с новыми понятиями вроде социально-групповых диалектов¹⁰ и т. д.).

3. Оценочный анализ данного языка как орудия общения.

4. Изучение причинных связей между социально-экономическими и языковыми явлениями.

5. Оценочный анализ языка (и отдельных его сторон) как средства борьбы за существование.

6. Общая типологическая схема эволюции языка в связи с историей культуры.

7. Прикладные вопросы социологической лингвистики: языковая политика.

Каждый из этих пунктов мог бы быть освещен в самостоятельной статье. Надеюсь, что это будет делом недалекого будущего.

¹⁰ Этот модный термин («социально-групповые диалекты») обнимает и понятие классового (и прослоечного) и, с другой стороны, профессиональных и тому подобных диалектов.

I

От революции зависит целый ряд революционных (и именно революционных, а не эволюционных) процессов в самых различных областях нашего быта и нашей духовной культуры, вплоть до такого специального уголка, как техника нашего письма: графика и орфография, которые тоже пережили свою революцию в «новой орфографии 1917 г.». И поскольку эти процессы стали возможны исключительно при наличии Октябрьской революции и в своем содержании отражают политические ее лозунги (как, например, «новая орфография 1917 г.» осуществляет лозунг демократизации письменности, а следовательно, и книжной культуры вообще), можно даже сказать иначе, именно: эти процессы — не просто следствия, но составные части Октябрьской революции, плоть от плоти и кровь от крови ее, и таким образом даже «новая орфография 1917 г.» (которая была невозможна при царизме и которую не умела и не могла осуществить керенщина) — это тоже кусочек революции в узкой технической области духовной культуры — в графике. И тем более это можно сказать о вызванных к жизни Октябрем десятках новых национальных график (частью рационализированных на основе прежних систем, частью заново созданных) бывших «инородческих» народностей, каковы, например, мордовская, вотская, марийская, чувашская, якутская (первая из турецких латиниц, родившаяся в «Якутском букваре» уже в ноябре 1917 г.), татарская, узбекская, туркменская, казакская (наилучшая из турецких график на основе арабского шрифта), киргизская, азербайджанская (знаменитый «Новый путь»), карачаевская, ингушская, чеченская, кабардинская, черкесская, абхазская и т. д. и т. п.

Итак, в области графики мы имеем вполне реальные продукты революции — факты бесспорного значения (ибо от рационализации графики зависит громадная экономия времени и труда начальной школы, успехи ликвидации неграмотности, а следовательно, вообще все дело культуры данной национальности), и было бы вполне благодарной и уже свое-

временной темой подвести итоги достигнутого в этой области (в графических реформах у нацменьшинств нашего Союза) за десятилетие революционной эпохи.

Но это — в области графики. А в чем влияние революции в области языка как такового, т. е. системы устной речи (причем сначала мы зададим этот вопрос только относительно русского языка)?

На этот вопрос ответ гораздо труднее, и даже — насколько можно заключить из сравнения бывших на эту тему статей и докладов — ответ получается далеко не однородный, именно: колебание мнений имеет место даже по двум основным вопросам: 1) имеются ли языковые факты, появившиеся — в известных областях языковой системы — в русском языке впервые за последнее десятилетие и 2) какие из этих фактов мы можем приписать влиянию революции?

На это лингвисту прежде всего следует указать, что язык (система устной речи) есть стихия, гораздо более консервативная и в основных своих элементах, кроме словаря (т. е. в фонетике, морфологии и синтаксисе), почти не поддающаяся (или во всяком случае гораздо менее, чем графика, поддающаяся) воздействию организованного управления. Действительно, для того чтобы в языке произошло то или иное фонетическое (например, замена одного звука другим в ряде слов) или морфологическое (например, утрата среднего рода или грамматического рода вообще) изменение, совершенно недостаточно декретировать это изменение, т. е. опубликовать соответствующий декрет или циркуляр. Можно, наоборот, даже утверждать, что если бы подобные декреты или циркуляры даже и опубликовывались бы (каким-либо лингвистически наивным правительством), ни один из них не имел бы буквально никакого результата: никто не стал бы менять звуки в произносимых им словах, никто бы не отказался от грамматического рода — это совершенно несомненно, и именно потому, что родной язык выучивается (в основных своих элементах) в том возрасте, для которого не существует декретов и циркуляров.

II

Словарь (запас слов языка) — другое дело, ибо словарь данного конкретного языкового мышления накапливается постепенно, по мере обогащения данного индивидуума запасом новых понятий. Поэтому формулировка словаря — более чем какого-либо другого элемента языковой системы — принадлежит также и взрослому возрасту; поэтому словарь наиболее может отражать общественно-культурные сдвиги (сопрово-

дающиеся привнесением в круг коллективного мышления ряда новых понятий, для которых нужны новые слова).

Поэтому-то как раз в области словаря мы и имеем наиболее бесспорные результаты воздействия революции на язык. О них-то мы и будем говорить в следующих главах.

А пока зададим все-таки вопрос: неужели в области фонетики, морфологии и синтаксиса так и приходится отрицать влияние революции?

Отнюдь нет. Можно указать причину, почему фонетических и морфологических изменений (они ведь бывают во всяком новом поколении, только обыкновенно в такой дозе, что при сравнении двух смежных поколений их усматривается чрезвычайно немного, и разительные различия накапливаются лишь за период в несколько поколений) в языке поколения, принадлежащего (по годам обучения речи) к революционной эпохе, будет не в пример больше, намного больше, чем у поколений предшествовавших. Основания для этого следующие.

Усиленный темп языковой (фонетической, морфологической и т. д.) эволюции вызывается количественным и качественным изменением контингента носителей данного языка (т. е. его человеческого коллективного субстрата¹), наиболее сильная нивелировка языка и упрощения в нем (к упрощениям ведь в сущности сводятся все нормальные изменения в языке²) происходят тогда, когда к участию в данном языке привлекаются новые (в особенности же иноплеменные, владеющие одновременно или владевшие до сих пор другим языком) группы населения, и чем больше привлекается таких групп, и чем, с другой стороны, они разнороднее между собой (хотя бы по характеру тех языков, которыми они владели раньше), тем больше бывает новшеств (т. е. изменений). А как раз самое главное, что мы находим в языковых условиях революционной эпохи, это — крупнейшее изменение контингента носителей (т. е. социального субстрата) нашего стандартного (или так называемого литературного) общерусского языка (в основе которого лежит московский говор), бывшего до сих пор классовым или кастовым языком узкого круга интеллигенции (эпохи царизма), а ныне становящегося языком широчайших — и в территориальном, и в классовом, и в национальном смысле — масс, приобщающихся к советской культуре.

¹ Или — как мы будем говорить — социального субстрата (данного языка).

² Причем из изменений звуковых (фонетических) одна часть состоит в упрощении звукового состава данных слов, а другая — в упрощениях состава всей системы звукопредставлений (а сюда входят, между прочим, и такие — «конвергенционные» — процессы, от которых звуковой состав отдельных слов может не упроститься, а, наоборот, осложниться в известных случаях).

Итак, почва для усиленного хода языковой (фонетической, морфологической и всякой иной) эволюции в революционный период самая благоприятная.

Почему же тогда мы не можем констатировать фонетических или морфологических отличий между языком 1926 года и языком 1915 или 1913 годов, если не говорить о таком единственном фонетическом новшестве у нынешнего молодого поколения, как замена *г* проточного в словах *бога*, *благо* и т. д. обыкновенным смычным (причем это-то новшество меньше всего можно относить за счет влияния революции)?

Да потому, что для формации языка революционного поколения нужно иметь налицо поколение, выросшее в революционную эпоху, т. е., иначе говоря, нужно время. А пока мы можем только наблюдать целый ряд индивидуальных новшеств, из которых еще не произведен коллективным мышлением отбор черт, способных (как присущие преобладающему проценту среди данного нового поколения) зафиксироваться в виде имеющих право гражданства языковых черт.

Отбор же этот всегда происходит (и тут произойдет) по одним и тем же мотивам «перевеса большинства»: точно так же, как любое из до сих пор совершившихся изменений в языке происходило после того, как процент совершивших это изменение детей нового поколения оказывался больше, чем процент детей, воспринявших язык родителей без данного дефекта, так путем этого же «перевеса большинства» будут узаконены в языке будущих поколений те изменения, которые назревают теперь, и назревают в усиленной дозе, благодаря изменению социального субстрата нашего общерусского языка.

И, строго говоря, лишь через два-три поколения мы будем иметь значительно преобразенный (в фонетическом, морфологическом и прочих отношениях) общерусский язык, который отразит те сдвиги, которые обуславливаются переливанием человеческого моря — носителей общерусского языка в революционную эпоху.

Вот почему сейчас рано еще говорить о коллективных новшествах в нашем языке, за исключением области словаря и фразеологии (нужно оговориться, что фразеологию я буду относить к словарю в широком смысле этого слова).

Итак, обратимся теперь именно к этой наиболее быстрочувствительной области языка — к словарю и попробуем взглянуться в его новшества за революционную эпоху.

Обращаясь к новшествам в области словаря, нужно указать на две главнейшие предпосылки, обуславливающие появление таких новшеств в нашу эпоху. Это:

1) наличие большого числа новых понятий (прежде всего политических, а затем и общенаучных — ввиду повышения

массового развития), привносимых в эпоху революции в коллективное мышление людей, пользующихся общерусским языком; появление же массы новых понятий предъявляет спрос на массовое творчество новых слов (ибо, по законам экономики языка, каждое часто фигурирующее в данном коллективном мышлении понятие уже не может выражаться длинным словосочетанием — вроде *Совет рабочих и крестьянских (или солдатских) депутатов*, а требуются выражения одним словом: будь то *Совет* или *Совдеп* и т. д.). Как мы увидим, этот массовый спрос на новое словотворчество не только увеличил производство новых слов по старым рецептам словообразования, но и создал новый, революционный прием словотворчества (типы: *Совнарком*, *эР-эС-эФ-эС-эР* и *нэп*);

2) изменение социального состава носителей общерусского или литературного языка (бывшего до революции принадлежностью исключительно интеллигентских слоев); ввиду вхождения в число носителей общерусского языка массы лиц, принадлежавших доселе к иным социальным группам, а также ввиду учащенных соприкосновений пользующихся общерусским языком с группами лиц, пользующихся своими «групповыми» диалектами, в общерусский язык входят многие словарные заимствования из этих «групповых» — классовых, подклассовых и профессиональных диалектов (как и наоборот: на словаре «групповых» диалектов отражается словарь «литературного» языка; но на этом последнем явлении мы останавливаться не будем, так как оно состоит из массы индивидуальных и мало долговечных фактов³, которые потому плохо поддаются учету).

Сообразно этим двум предпосылкам мы и попробуем сгруппировать факты в двух следующих главах.

³ Сюда относятся, например, смешение слов *элемент* и *алимент* (в последнее время) или понимание слова *элемент* как *враг советской власти* (что можно было констатировать в языковом мышлении деревни, особенно в первые годы революции и первые годы нэпа); или же из области фразеологии — следующее, встреченное мною летом 1917 г. у одного рабочего на уличном митинге, употребление слов *если посмотреть с точки зрения*. Слова эти он говорил тогда, когда ему нужно было выиграть время для обдумывания дальнейшей фразы, но, прозвонясь *если посмотреть с точки зрения*, он не говорил, с какой именно точки зрения, а просто так, например: *Если посмотреть с точки зрения, то большевики и т. д. и т. д.* Что же? Подобные явления уродливой пересадки литературного словаря на почву группового диалекта (а случаи неуродливые мы будем рассматривать, наоборот, как распространение стандартного словаря на новые социальные области) суть факты индивидуальные и недолговечные, потому что они существуют лишь до тех пор, пока их не стер контроль правильного литературного языка. Рабочий, который говорил *с точки зрения*, но не говорил — с какой, наверное, никого не обучил этому приему и сам, очевидно, с 1917 г. уже успел отучиться от этого приема.

Факт внедрения в массовое мышление новых понятий во время революции не требует доказательств. Нужна только оговорка, что массово новыми понятиями (и словами) мы будем считать и такие, которые и до революции были известны, но лишь узкому кругу лиц — специалистов или еще более редким универсалистам, и которые впервые лишь после революции входят в обиход массового мышления.

Предъявленный в связи с появлением новых понятий спрос на новые слова удовлетворяется следующими тремя главными путями:

1. Изменением значения старого слова, что мы видим на примере слова *совет*: в старый термин вложено новое революционное содержание — *Совет рабочих и крестьянских (или солдатских) депутатов*, а именно с этим значением, т. е. уже новое слово *совет* выходит на международную арену, попадая из русского языка, языка Ленина, в языки всего мира, начиная с английского и турецких и кончая китайским (*саюэ-та*).

2. Заимствованием иностранного слова; при этом обычно слово берется из того самого языка, который был проводником и для самого данного понятия (вот почему Европа и Азия берут русское слово для понятия «совет», потому что в этой области — области ревгосстроя — Ленин и русский язык как раз и оказались в роли мирового учителя).

3. Созданием новых слов. Это творчество новых слов может идти:

1) или традиционным приемом образования сложных слов по общим нормам русской морфологии (с соединительной морфемой *о* между обеими лексическими морфемами и т. д. и т. д.); таково, например, создавшееся на глазах моего поколения (в первом и втором десятилетии нашего века), типичное для вузовского быта слово *правоучение* (*у него не внесено правоучение*);

2) или же новым, революционным (по времени) и именно в силу указанного массового спроса — в данную эпоху узаконенным приемом аббревиации (сокращения). Сюда относятся следующие три главных типа современных аббревиатур, или сокращений (кроме которых существуют, конечно, и гибридные, смешанные случаи, наполовину принадлежащие одному, наполовину — другому типу), исторически восходящие к приемам телеграфного кода (знакомство с которым возросло в предшествовавшую революции военную эпоху, вспомним еще тогдашние *Румчород*, *Земгор* и т. п.):

а) наиболее распространенный тип — *Совнарком*, основанный на абсорбции начального (в большинстве случаев)

произносительного отрезка (по преобладающей норме — отрезка в один слог из согласного, гласного и согласного) от каждого слова из сокращаемого словосочетания (здесь: *Совнарком* из словосочетания *Совет народных комиссаров*);

б) тип *эс-эр* (С.-Р), или *эР-эС-эФ-эС-эР* (РСФСР), основанный на абсорбции инициалов (=начальных букв) от каждого слова из сокращаемого словосочетания, инициалов, произносимых в виде названий этих букв в алфавитном перечне (*а, бэ, вэ, гэ, дэ, е, жэ, зэ, и, ка, эл, эм* и т. д.); это — тип, менее удобный по морфологическим обстоятельствам чем первый, именно для русского языка (в противоположность английскому, где нет грамматического рода и определенных норм для окончаний именной основы, почему этот тип как раз в ходу в английском языке, например, *МР* — читается «эм-пи» вместо *Member of Parliament* 'член парламента' и т. д.); поэтому РСФСР и переделывается в *Эресэфэсэрию* (чтобы иметь признак женского рода), а *К-Д* в *кадет* (чтобы иметь признак мужского рода — окончание основы на согласный);

в) тип *нэп*, где абсорбируется тоже инициал (начальная буква) каждого элемента словосочетания, но не с алфавитным своим названием, а с обычным чтением, — это обычное чтение получившейся суммы инициалов (*нэп*) и представляет собою данное сокращение.

Тип этот, конечно, малоудобен в фонетическом отношении, так как при отсутствии слова с гласным инициалом образовать по нему сокращенные слова совсем невозможно (получаются фонетически непереваримые комплексы вроде *СЗКГХ, ПБСК, ЖМПМБС* и т. д.).

Кроме того, рецепт первого типа (*Совнарком*) оказывается более пригодным для массового пользования, ввиду того что он основан не только на графических, но и на произносительных представлениях сокращаемых слов.

Более подробный анализ этих трех типов и параллели к ним (из других литературных языков, а также из самых естественных эволюций устной речи — вплоть до слоговой абсорбции в русских ласкательных именах вроде *Шура ← Сашура ← Саша ← Алексаша ← Александр, Нюра ← Анюра ← Аня ← Анна*) даются мною в другой статье⁴, и здесь я ограничусь вышесказанным. Добавлю только, что дурно или хорошо с эстетической точки зрения (о чем предоставляется судить специалистам-эстетам, а не лингвистам), но вышерассмотренные сокращения выполняют свою задачу, давая русскому словарю экономные и большею частью удобные слова для новых понятий, а потому всякого рода теоретические возражения против них, по моему мнению, излишни.

⁴ В журнале «Родной язык», № 1.

IV

На очереди теперь вопрос о заимствованиях из групповых (классовых, подклассовых, профессиональных) диалектов в наш общелитературный язык. Социальные условия революционного периода для этого, мне кажется, не нуждаются в особом перечислении.

Остается подтвердить это положение фактическим материалом, что, по-моему, не трудно было бы сделать в коллективной работе — возьмем ли мы какой-либо особый стиль литературного языка или же общий перечень слов (словарь, в буквальном смысле), потенциально употребляемых ныне в стандартной речи.

В частности, в стандартный словарь проникают элементы следующих классовых и профессиональных диалектов:

- 1) словаря фабрично-заводских рабочих;
- 2) матросского словаря (что не трудно себе объяснить, если мы вспомним ту роль проводников революции, которую сыграла «морская братва» в самой толще нашего, главным образом провинциального, населения);
- 3) «блатного» жаргона людей темных профессий (сюда относятся, например, *липа* и прилагательное *липовый*⁵, глаголы *храть*, *зекать* и т. д., которые сейчас далеко вышли за первоначальный круг их носителей).

Вот тот перечень, который можно сделать по моим наблюдениям; весьма возможно, что его следует и расширить. Но во всяком случае большинство новшеств данного порядка (заимствований из классовых и профессиональных диалектов) вольется в вышеуказанные рубрики.

V

Перейдем теперь к фактам других (нерусских) языков Союза ССР.

В значительной мере мы встречаем здесь то же положение дела, что и в области русского литературного языка, но в известных областях факты носят здесь еще гораздо более яркий характер, и влияние революционной эпохи сказывается с наибольшей силой.

Так, если отражение Октябрьской революции в сфере русской графики, т. е. русская «орфография 1917 г.», является не более как реформой в буквальном смысле этого слова (т. е. упорядочением или улучшением прежде существовав-

⁵ Слово, объясняющееся, может быть, из выражения: *липовый* (т. е. не настоящий) *чай*. Отсюда *липовый* вообще начинает значить «не настоящий», «поддельный», а отюда и существительное *липа* в значении «фальшивый документ» и т. д.

шей системы), то у многих нацменьшинств Союза созданное революционной эпохой письмо означает гораздо большее — не улучшение, а прямо создание национальной графической культуры (а вместе с нею и литературного языка и литературы); в частности, так обстоит дело у якутов (являющихся, бесспорно, передовым и наиболее радикальным из наших сибирских народов в деле графической культуры), у которых до появления новой латинизированной графики (так называемой Новгородовской⁶ транскрипции) в 1917 г. не существовало ни более или менее распространенного в массе алфавита (если не считать русской миссионерской транскрипции), ни национальной литературы (если не говорить о народном устном творчестве, которое стало записываться местными работниками опять-таки лишь в эпоху «якутского национального возрождения», т. е. после 1917 г.). Иначе говоря, у якутов (как и у ряда других, стоявших в аналогичных условиях народностей, например у яфетических кавказских) создание национальной графики, принятой к обязательному изучению в школе, открывает собою новую страницу культурной истории народа, с которой, собственно, только и начинается его национальная культура (с письменностью, литературой, краеведением и школой на родном языке; все это было бы невозможно при отсутствии такого необходимого орудия духовной культуры, как национальное письмо).

Я нисколько не боюсь упрека в преувеличении, если сравню коллективную работу, проделанную и проделывающуюся сейчас в разных углах СССР, с прославленной деятельностью Кирилла и Мефодия, за которую эти два почтенных ученых своего времени удостоились и чина канонизированных святых, и ряда монографических исследований со стороны новейших ученых; скажу даже больше: что результаты работы современных нам якутских, азербайджанских, чеченских, ингушских и т. д. «Кириллов и Мефодиев» будут не в пример более плодотворны, ибо открывают путь не к религиозной культуре X в., а к советской культуре в ее национальных формах.

Тесно связанные с Октябрьской революцией, эти «графические революции» выполнили (или выполняют) весьма серьезную задачу демократизации национальных письменностей — а следовательно, и культуры — путем радикального «режима экономии» в отношении времени и труда, тратимых и учащимися и учащими в обучении родной грамоте (ибо уничтожение излишних, ничем не оправдываемых и ничем, кроме исто-

⁶ По имени автора этого алфавита С. А. Новгородова, безвременно погибшего в 1924 г. — после целиком посвященной просвещению родного народа молодой своей жизни.

рической инерции и традиционности, не объяснимых трудностей письма, намного⁷ — в известных конкретных случаях во много раз — сокращает время начального обучения, чем, конечно, оказывается наилучшая из возможных помощь ликвидации неграмотности, тому наиважнейшему делу, от которого зависит все будущее нашего Союза).

Итак, я вовсе не переоцениваю значения графических реформ у наших нацменьшинств.

Эта общая оценка явления вовсе не значит, однако, что я считаю нынешнее положение дела у всех принявших за реформу национальностей блестящим и самые реформы идеальными. Даже в лучших случаях, как, например, в образцовом разрешении вопроса о национализации прежнего арабского алфавита у казаков (и вслед за ними у киргизов), мы видим, что этого вполне удовлетворительного состояния их графика достигла лишь в 1924 г., т. е. после целого ряда лет менее удачных опытов. И в то же время это еще не конечный пункт, а лишь переходный этап реформы, ибо вслед за тем выбирается совершенно новый путь (новое русло) реформы — латинизация. Равным образом, и в весьма и весьма рациональной «якутской латинице» (так называемой Новгородской транскрипции) мы имеем некоторые детали, которые можно было бы заменить другим, технически менее трудным выбором знаков.

⁷ В качестве аналогии со стороны не лишне будет указать, что английский (и американский) школьник тратит лишних два года на преодоление трудностей английского правописания (и реформа правописания позволила бы, следовательно, употребить эти два года на приобретение других реальных знаний). Положим, английская орфография на редкость сложная и путаная (значительно труднее всех других европейских орфографий, в том числе и французской и дореформенной русской), но все-таки это еще не крайний случай: японская иероглифическая письменность заставляет терять на ее преодоление целых шесть лет, т. е. по крайней мере 60 000 000 индивидуальных трудовых лет (или, по минимальному расчету 302 400 000 000 лишних индивидуальных трудовых часов) в течение каждого десятилетия во всей Японии. Это трудовое время расходуется, так сказать, «задарма», в угоду исторической традиции. И от всего этого может спасти такой простой шаг, как графическая реформа, пример которой дан за время китайской революции Китаем (уж таков исторический закон, что только эпоха революции является благоприятным моментом для революции графической) в виде последнего завоевания китайского школьника: алфавита «Чжу-инь-цзы-му» (т. е. «Фонетического алфавита»). Правда, алфавит этот не получил еще всеобщего распространения или по крайней мере не стал еще основным видом китайского письма и играет роль вспомогательной графической системы; кроме того, возможно, что это еще не окончательный выбор алфавита, ибо вместо «Чжу-инь цзы-му», созданного из обломков начертаний китайских иероглифов, в будущем Китай предпочтет, может быть, латинскую азбуку, т. е. алфавит вполне международного значения. Но это положение графической реформы как раз именно и соответствует политической ситуации современного Китая, где социальная революция еще далека от своего разрешения.

А что же сказать про худшие случаи алфавитов? Про те алфавиты, которые в настоящей своей форме (1926 г.) еще не избавились от ряда довольно значительных недочетов (каковы, например, многие латинские алфавиты яфетических народностей Кавказа, а также, в известной степени, восточнофинские алфавиты на основе русского шрифта и даже некоторые из турецких, например «туркменская орфография 1925 г.», сделавшая шаг назад по сравнению с «Гельдиевской туркменской азбукой» 1924 г.).

Рассматривая свою деятельность, коммунистам отнюдь не пристало рисовать ее в ложнорозовом свете и замалчивать дефекты там, где они есть, да мы и заранее должны знать, что ни одно массовое мероприятие не может быть с равной степенью успешности в один и тот же срок проведено по всей территории Союза. И графическое обновление всего Союза, конечно, не есть дело одного-двух лет или одной ударной кампании. За первое десятилетие революции в графике нацменьшинств и так сделано много; но одни народности сильно продвинулись вперед, другие же отстали (конечно, по вполне определенным культурно-историческим их условиям). И однако, то, что сделано, позволяет нам сказать с уверенностью, что к концу второго десятилетия (к 1937 г.) отставших уже не будет.

Выбор того или другого пути графической реформы (например, или в виде упорядочения старой системы, или, наоборот, в виде перехода к совершенно новому, латинскому шрифту) вполне определяется, конечно, культурно-историческими и географическими условиями данной национальности к моменту реформы. Вполне ясно, например, почему немусульманский (а потому и не ведавший арабского алфавита) турецкий (т. е. «тюркский») народ — якуты — прямо — и уже в 1917 г. — сделали смелый шаг в будущее, к латинскому, т. е. к наиболее интернациональному письму: якутам просто не было чего выправлять (за исключением миссионерских русских транскрипций; но от этой попытки их должны были удержать те политические ассоциации, которые связывались с этим орудием обрусения царской политики и которые никак не могли связать миссионерский алфавит с революционным делом создания письменности и школы на родном языке); вот почему у них и была открыта дорога к латинице⁸.

⁸ Конечно, известную роль в выборе латинского алфавита сыграла и личность Новгородова, но лишь только потому, что выбор Новгородова отвечал тем возможностям, которые представлялись коллективным политическим мышлением якутской среды: массовые чаяния национального возрождения еще в последние десять лет царизма выдвинули Новгородова, который со специальной задачей — создать якутское письмо — поехал в Пестербург, кончил там восточный факультет и после этого вполне сознательно выбрал основу для будущего якутского письма: международный фо-

Точно так же ясно, что, наоборот, те турецкие народности, которые — благодаря исламу — издавна уже пользовались арабским алфавитом и имели на нем в одних случаях более, в других — менее значительную литературу (каковы, например, татары и среднеазиатские турки, например узбеки, казаки, туркмены), поставили себе задачей, по крайней мере для первого этапа реформы, упорядочение (и, в частности, фонетизацию) этого своего традиционного письма арабскими буквами. Так вырастает ряд усовершенствованных мусульманских алфавитов, достигающих наибольшего совершенства у казаков с киргизами⁹ и у татар.

И с третьей стороны, понятно также, почему те из вышеупомянутых мусульманских турецких народов, которые истратили больше всего энергии на только что названный вид реформы (упорядочение своего арабского алфавита), именно татары и казаки, изъявляют меньшую готовность сменить это свое, только что выработанное письмо (мусульманский алфавит) на новейший вид реформы — латинизацию. А впереди всех латинизаторов идут — из мусульманских турецких народов — именно азербайджанцы, которые к реформе своей арабской письменности почти вовсе не приступали.

Так могут найти свое объяснение и все разновидности реформы — вплоть до сложного случая сосуществования двух официально признанных график: реформированной арабской и новейшей латинской (в исполнение постановления I Туркологического съезда в феврале 1926 г.), что мы наблюдаем, например, в настоящее время у узбеков и туркмен.

Обращаясь же к народностям нетурецким, укажу на специфическую особенность восточнофинских график (двух мордовских, вотской, марийской, зырянской и пермяцкой): они основаны не на латинском, а на русском алфавите; дело объясняется географическим и культурным русским окружением этих народностей (в большинстве своем двуязычных, т. е. знающих кроме родного языка и русский); вот почему в этом отношении вместе с восточнофинскими идет (т. е. пользуется русским шрифтом) и один из турецких (по языку) народов —

нетический алфавит (т. е. алфавит на латинской основе) с некоторыми условными дополнениями. Однако если бы Новгородов не отражал взгляд якутской интеллигенции вообще, то его «транскрипция» или просто была бы забракована, или заглохла бы в скором времени, но не превратилась бы в подлинное общеякутское письмо.

⁹ Всюду в настоящей статье я употребляю — в согласии с современной официальной терминологией — слово «казаки (qazaq) взамен прежнего (существовавшего — и притом ошибочно — только в русской литературе, но не в туземной речи) термина «казак-киргизы», и равным образом слово «киргизы» взамен искусственно созданного русскими прежнего термина «кара-киргизы». Под «узбеками» же имею в виду, конечно, как «сартов» прежней дореволюционной терминологии, так и собственно узбеков.

чуваши: культурные и географические условия (благоприятствующие сильнейшему влиянию русской среды) у чувашей, в общем, те же, что и у восточных финнов (и совсем не те, что у мусульманских турецких народов).

Что же касается народностей иранской языковой семьи (разумеется, в пределах СССР), то о них нельзя сделать никакого общего вывода, так как эта семья на территории Союза представлена почти исключительно двумя совершенно различными по культурным условиям (и географически совершенно не соприкасающимися) народами: осетинами (которые пользуются уже вполне разработанной системой латиницы) и таджиками, у которых практическое осуществление графической реформы¹⁰ еще вовсе не начато (было только теоретическое обсуждение проекта, выдвинутого в сентябре 1926 г.)¹¹. В столь же почти различных условиях стоят обе монгольские народности, живущие в СССР, калмыки и буряты; в то время как у первых привилась уже (в замену старой азбуки Зая-пан-диты, XVII в.) русская транскрипция (правда, далеко еще не совершенная), у бурят к практическим мероприятиям еще не приступлено.

Остается сказать о яфетических народностях Кавказа, имея в виду не грузин, у которых (как и у армян¹²) существует уже многовековая (гораздо более древняя даже, чем у русских) литературная традиция и вполне выработанный литературный язык, а доселе бесписьменные или почти бесписьменные (весьма многочисленные) языки: абхазский, черкесский, кабардинский, лезгинский, чеченский, ингушский, лазский (чанский), сванский, мингрельский, аварский (служащий, между прочим, для общения целого ряда мельчайших дагестанских народностей, обладающих, кроме того, каждая своим языком) и т. д. Уже в силу этого языкового многообразия на Кавказе графический вопрос гораздо более болезнен, чем у других, например у турецких, народов, и поэтому, а также по ряду других причин процессы создания национальных график в большинстве случаев не достигли еще удовлетворительного вида. Тем не менее у многих из

¹⁰ Таджики пишут традиционным персидским (арабскими буквами) письмом и притом даже не на своем диалекте, а на обыкновенном литературном персидском языке.

¹¹ Со времени написания этой статьи прошло три года. За это время уже осуществлена таджикская графическая реформа, и притом в наивыгоднейшем направлении — в форме непосредственного перехода к латинице (предугадывая возможность этого шага, я еще в 1926 г. написал статью «Выгоды выжидательной тактики в деле графической реформы. По поводу таджикского алфавита»).

¹² У армян, несмотря на огромную старину их графики, революция тоже вызвала к жизни орфографическую реформу (хотя и не радикального характера).

названных народностей уже сделан переход к латинскому шрифту. Их «латиницы», правда, зачастую заставляют желать много лучшего, а потому оказываются и недолговечными: на смену одному проекту принимается другой и т. д. Эта смена «орфографий», конечно, вредно отражается на работе школы и грамотности населения. Но что делать? Пока не создан компетентный центральный орган (место которому, очевидно, в Ростове, если не в Москве) для руководства графическими мероприятиями по языкам Северного (главным образом) Кавказа, до тех пор указанный калейдоскоп алфавитов — явление неизбежное для того, чтобы выявить в конце концов на почве массового (хотя и слишком дорого стоящего) опыта нужную для данного языка графическую систему¹³.

Остается сказать о самом литературном языке у наименьшинств Союза и о воздействии на него политического фактора — революции.

Как и в вопросе о графике наименьшинств, так и тут мы встретим, во многих случаях, еще более тесную зависимость между революцией и языковыми явлениями, чем в русском литературном языке, и еще более яркий характер относящихся сюда фактов. Это именно потому, что ряд литературных или письменных языков, оказывается, вовсе не существовал или был в зародышевом существовании до революции; революция, оказывается, у ряда народностей вызвала к жизни и национальную графику и литературный язык (якуты, ряд кавказских народностей и т. д.; почти в таком же положении многие из восточнофиннов).

Характер созданных таким образом (в революционную эпоху) литературных языков бывает в значительной мере разнообразным — в зависимости от специфических культурных условий данной нации. Но все же можно отметить и известный ряд постоянных (для многих литературных языков) признаков — признаков литературных языков современной эпохи у нерусских народностей Союза. К ним будут относиться (из области словаря и фразеологии¹⁴):

¹³ Но облегчить, в известной мере, болезненность этого процесса (калейдоскоп алфавитов) могла бы и работа Секции родных языков КУТВ — путем оценки и корректирования национальных алфавитов, в постоянном контакте, конечно, с руководящими органами на местах (как это уже проводилось в жизнь по отношению к языкам других семейств, например по вопросу о туркменской латинице 1926 г.).

¹⁴ Так как из области фонетики и морфологии никаких специфических новшеств (тем более общих для ряда языков) констатировать, очевидно, еще не приходится (если не считать результатов возобладания одного диалекта данного языка — в качестве литературного диалекта — над другими).

1. Сильнейшее влияние русского словаря, главным образом в области политической и научно-технической терминологии, а также нередко и в области фразеологии и даже (в языках, представители которых являются часто двуязычными, как, например, восточнофинны) в области синтаксиса. В состав русской терминологии проникают — наряду с чисто русскими по происхождению словами и даже количественно часто опережая их — иностранные элементы русского словаря (латинские, греческие и иногда из новых европейских языков), а равно и новые сокращения (типов *Совнарком*, *С.-Р.*, *нэл*). Последние заимствуются, однако, не в виде самого рецепта словообразования, но как ряд именно данных русских сокращений (*совдеп*, *Совнарком* и т. д.); производство же своих, туземных аббревиатур по подобию русских нормально отсутствует; исключения представляют лишь такие языки с высокоразвитой графической культурой, как грузинский и армянский (у которых исторические и историко-литературные данные, обуславливающие гибкость словообразования, в общем, столь же, если не более благоприятны, чем в русском). Размеры русского (включая и русскую иностранную терминологию) словарного влияния видоизменяются в зависимости от характера контакта, существующего между данным языком и русским: если русский язык, в общем, чужд как разговорный язык данной национальной массе, то проникновение русских заимствований ограничивается лишь именно специфическими новыми терминами для новых понятий (например, названиями современных учреждений или политическо-научными терминами вроде *революция*, *капитализм*, *милитаризм*, *империалисты* и т. п.).

При этом, хотя известная часть этих терминов (например, названия учреждений) и может проникать в данный национальный язык путем устного заимствования, основной их источник все-таки — письменные переводы с русского на данный литературный язык. Именно тогда, когда переводчик не находит соответствующего термина в родном языке (где он и не мог ожидать найти данное соответствие, потому что его словарь не обладал до сих пор данным понятием), там и совершается сама собою пересадка русского термина.

Количество русских заимствований сильно колеблется в зависимости от его географических и культурных условий данной национальности: наибольшее число русских элементов современного словаря наблюдается, например, в восточнофинских литературных языках (обоих мордовских, марийском и т. д.), а также у чувашей, что объясняется, конечно, сильной степенью их обрусения и двуязычности (при окружении русским населением). Значительно меньший процент их мы находим у прочих турецких народностей, причем из них

больше всего пользуются русской терминологией татары, что опять-таки вполне понятно из их географического положения. Частичное противодействие массовому внесению русских слов оказывается у турецких народов — в тех случаях, когда их литературный язык (существовавший уже до революции) обладает значительным числом «научных» слов арабских и персидских (проникших в предшествовавшие эпохи под напором влияния мусульманской культуры). И в таких случаях литературный словарь (например, у узбеков, туркмен и до известной степени у казаков) представляет собою арену соревнования (конкуренции) русской и арабско-персидской культур¹⁵.

Только это соревнование осложняется (в особенности у казаков) вхождением третьего элемента в продукцию новых слов — терминов, создаваемых уже из своих собственных, турецких основ. Этот третий источник новой терминологии является при этом сознательно покровительствуемым в силу поднятия национального самосознания, столь окрепшего у среднеазиатских турецких народов в наш революционный период. Особенно ярко сказывается это течение в пользу создания своей подлинно турецкой терминологии (т. е. определенный национальный пуризм в лексическом вопросе) у казаков и киргизов (которые, кстати, меньше других среднеазиатских турок подверглись арабскому и персидскому влиянию).

И с точки зрения целесообразности нам нельзя, разумеется, не приветствовать этот пуризм (представителем которого можно считать, как я указал, казаков), ибо от создания новых терминов из родных, общепонятных турецких корней данный литературный язык (проводник революционной культуры) обещает быть гораздо ближе и понятнее массам данной национальности.

До крайностей здесь доходить, конечно, не следует, да до них никто пока и не доходит: никто, даже казаки и киргизы не считают нужным перевести на свои основы такие международные слова, как *телефон*, *автомобиль* и т. п. И мы увидим, что эти исключения сознательно учитываются, если об-

¹⁵ Так, бывает, что и для совершенно нового, революцией привнесенного понятия выбирается не русский, а арабский или персидский термин, создаваемый из наличных в данном турецком словаре арабских и персидских основ — и именно потому, что эти основы окрашены в данном коллективном сознании окраской, присущей серьезным научным терминам. Подобные примеры представляют, в частности, современные узбекские термины арабского происхождения, употребляемые в совершенно новом политическом значении, даже, например, для передачи русского *совет* (или *совдеп*) употребляется арабское слово *шорз* (оно транскрибируется здесь по своему современному узбекскому произношению; знак *э* обозначает открытое *о* в отличие от закрытого).

ратимся к теоретической программе тех органов, которые руководят (в Казакстане, Узбекистане и других республиках) терминологической работой, каковы Акцентры этих республик: например, постановление Акцентра Узбекистана гласит: «Термины научно-технические создаются, по возможности, из корней узбекского языка, для чего привлекаются не только слова, принадлежащие литературному и городскому узбекскому языку, но и термины, известные лишь в диалектическом употреблении (для чего ведется специальная работа по собиранию народной терминологии), чтобы в будущем общеузбекском словаре были выявлены все потенциальные богатства родного языка. Исключения допускаются для слов международного употребления, каковые вносятся в узбекский язык без перевода».

В тех же случаях, где перевод термина оказывается практически неосуществимым, берется или русское (в том числе латинское или греческое по своему происхождению и т. д.) слово или же арабское (или персидское), но — по желанию Акцентра — лишь в том случае, если данная арабская (или персидская) основа уже известна в данном своем значении массовому языку (а не является достоянием лишь узкого круга знатоков старых литературных произведений).

И в этом принципиальном отказе от излишней «арабщины» мы, конечно, можем констатировать попытку избавить новый терминологический словарь и от той специфической религиозно-культурной окраски, которая ассоциируется с большинством прежних «серьезных» (т. е. литературных) слов арабского (и персидского) происхождения.

2. Стремление приблизить новый литературный язык к образцам массовой разговорной речи, т. е. ввести разговорную речь в литературный обиход — в противовес тому искусственному характеру письменного языка, который воспитывался литературной традицией и таит в себе зачастую наследие иной, отличной от современных народных масс диалектической среды (так, в письменном языке и у узбеков, и у туркмен, и у казаков наблюдались черты, вполне чуждые их живой речи и являющиеся наследием старого литературного языка — чжагатайского).

Конечно, эта черта имеет место только у языков, имевших литературную традицию и дореволюционной эпохи.

3. В нередких случаях имеет место также сознательное желание избавить словарь литературного языка от тех бытующих в языке терминов, с которыми ассоциируется окраска религиозного мировоззрения (хотя бы само значение этих терминов и не относилось к специально религиозным понятиям); это можно, например, отметить в языке современных калмыцких авторов (и переводчиков с русского) в виде по-

пытки избавляться от элементов буддийской терминологии (что вполне, конечно, не может удасться ввиду чрезвычайной насыщенности калмыцкой духовной культуры буддизмом) или же, с другой стороны, в литературном языке мусульманских турецких народов, например узбеков, по отношению к арабским терминам, фигурировавшим в литературе богословия, суфизма, шариата¹⁶.

Отметив вышеуказанные общие явления в быту литературных языков современности, нужно, однако, указать, что не все наблюдаемое в их развитии можно было бы признать правильным и желательным. Так, говоря о первом из названных явлений — руссизмах в национальных литературных языках, нельзя умолчать, что в ряде случаев (особенно в восточнофинских языках, в частности в переводной с русского литературе) эти руссизмы являются крупным злом:

1) потому что при своем обилии (когда бывает, например, что идут подряд три русских «иностранных» слова, совершенно непонятных для массы) они делают книгу непонятной для массового чтения;

2) потому что они часто качественно не выдерживают критики, противореча обязательным для данного языка нормам.

Сюда относятся и случаи механической пересадки русского синтаксиса (в мордовский, марийский и т. д. переводный текст): можно встретить, например, выражения *Съезд Четырнадцатой партии* вместо *Четырнадцатый Съезд партии* — все, конечно, потому, что переводчик сохраняет русский порядок слов, не считаясь с обязательной для финских языков синтаксической нормой (где определение ставится перед своим определяемым, а согласование отсутствует).

К сожалению, многие переводные с русского издания (да и не у одних только восточнофиннов) пестрят подобными искажениями (не говоря уже о случайных «шедеврах» нелепости вроде выражения *Буржуазная советская конституция* — в одной из мордовских брошюр), делая книгу часто почти непригодной для понимания рядового читателя. Объясняется это (временное, конечно) явление отсутствием кадров

¹⁶ Полное освобождение от подобных элементов терминологии, конечно, и здесь невозможно, из-за чего, впрочем, нет нужды и беспокоиться: нет никакого вреда, например, в том, что термин мусульманского права (шариата) — «вакуф» (узб. *вахит* или даже *вахим* — по вульгаризованному узбекскому произношению) приобрел права гражданства в узбекском официальном языке и даже в названии учреждения (Вакуфное управление), и поскольку вакуфы остались в Узбекистане, важно не то, как они называются, а то, куда идут с них доходы, и если они идут на советскую школу, а не на постройку мечетей, то, может быть, еще приятнее называть эти средства «вакуфными»!

достаточно подготовленных переводчиков, чего, впрочем, нельзя было и ожидать при дореволюционных условиях просвещения «инородцев».

В будущем подобные дефекты, конечно, исчезнут. И известную долю уверенности в этом, в том, что у наших национальностей будет советская литература на их подлинном, понятном для массы языке, дает работа Коммунистического университета трудящихся Востока им. Сталина — в той области, которая выполняется его Секцией родных языков.

О ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ СОЦИАЛЬНО-ГРУППОВЫХ ДИАЛЕКТОВ И, В ЧАСТНОСТИ, РУССКОГО СТАНДАРТНОГО ЯЗЫКА

В том, что язык, на котором мы говорим в 1928 г., и тем более язык того пионерско-комсомольского поколения, которое вообще не существовало еще в дореволюционную эпоху, существенно отличается от языка рядового интеллигента довоенного времени, никто, я полагаю, не будет сомневаться. Можно выставить даже такую точку зрения, которая будет определять язык среднего обывателя 1913 г. и, с другой стороны, язык современного комсомольца — не как разных два диалекта, а как два разных языка, в том именно понимании терминов «диалект» и «язык», которое употребительно в лингвистике и основано на категории взаимной понимаемости (диалекты) или непонимаемости (языки). Действительно, если мы возьмем, например, те страницы из «Комсомольских рассказов» Колосова, которые цитирует в своей книге Селищев¹ в качестве образца речи комсомольцев (допустим, что в данном случае автором, т. е. Колосовым, дана приблизительно верная картина языковых фактов), и попробуем прочесть их вслух обывателю, «проспавшему» революционную эпоху и сохранившему языковое мышление 1913 г.², то, разумеется, для него будут словами чужого языка такие идиомы, как: *в ячейку; работу ставить; фабзаяц; фабзавуч; я солидарен; я не такой инстанции; бузы не было, бузу затирал; комсомольское слово* (в смысле «честное слово»); *момент опасный; ребята, момент, значит, ужасно серьезный; вести собрание; кого выставлять; к стадии подходящий; заслушать доклад фабкома; кампанияев* (вместо кампаний) *много; как будет насчет высказаться; от имени бюро ячейки РКСМ; трепачей не потерпит; хватит наглости просить слова; кандидатура согласована с ячейкой партии; то раз он под такой шпаной ходит; для близиру; циркулярно в райком; валяет, как червонцы меняет; прозодежду не выдает; охлопочешь в Ра-*

¹ «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926 гг.)», Москва, 1928, г., стр. 207—208.

² А я позволю себе допустить, что найти такого индивидуума, хотя и в особо исключительных условиях, было бы возможно, и, значит, можно было бы в действительности произвести предполагаемый здесь эксперимент.

каке; мудистику не разводи; выбрали меня в соцоброй; хотя бы одну инструктурку дал; спудились, как на базаре; мазы; мазировать; мелкобуржуазное мещанство.

Что из этого поймет «дореволюционный человек»? А между тем то, что я здесь выписал из одной-двух страниц текста, вовсе не исчерпывает подобного рода непонятный (для до-военной психики) материал этих страниц. И так как эти непонятные элементы приходится почти на каждую фразу, то можно полагать, что и общее содержание данных страниц будет непонятно обывателю, заснувшему в 1913 г. и проснувшемуся в 1928 г.

Да, это уже другой язык. И почти столь же очевидно и то, что наиболее характерный (с точки зрения новизны) социально-групповой диалект языка современности нам следует искать в той группе, которая вовсе не существовала (и не могла существовать) в царской России, — в комсомольском коллективе. Ни для кого не будет Америкой, конечно, и общее объяснение происшедшего в языке сдвига за счет факторов политико-социально-экономических, объединяемых в понятии революции. Иначе говоря, позволительно а priori не сомневаться в том, что не будь революции, таких изменений, таких отличий от языка дореволюционного (или довоенного) мы бы не наблюдали.

Но тут, пожалуй, и оканчивается перечень очевидных и бесспорных утверждений. Уже на чисто лингвистический вопрос (т. е. ограничивающийся сферой самих языковых фактов, а не их мотивировкой) — на вопрос: в чем состоят специфические отличия языка современности — не так легко дать исчерпывающий ответ: бросаются в глаза, конечно, новшества в области словаря, т. е. лексики или, точнее, в области лексики и фразеологии³. Действительно, наиболее радикальный

³ Я позволю себе употребить термин «фразеология» для обозначения особой дисциплины (наряду с фонетикой, морфологией, синтаксисом и словарем или лексикой), занимающей по отношению к лексике то же положение, какое синтаксис занимает по отношению к морфологии. Дело в том, что как морфология, так и синтаксис (в отличие от лексики) имеют своим объектом изучения символику общих (абстрактных) идей: формальные значения слов и типов словосочетаний; лексика же имеет дело с выражением индивидуальных понятий (лексических значений). Но по количественному признаку тех величин, которыми оперируют в качестве единиц, данная дисциплина, лексика является соизмеримой лишь с морфологией (так как единицей-максимум и в лексике и в морфологии служит слово, а единицей-минимум — морфема: корень, суффикс, префикс), но не с синтаксисом (оперирующим в качестве единицы-максимум с словосочетанием или фразой, а в качестве единицы-минимум — со словом). И вот возникает потребность в особом отделе, который в данном отношении был бы соизмерим с синтаксисом, но в то же время имел бы в виду не общие типы, а индивидуальные значения данных конкретных словосочетаний, подобно тому как лексика имеет дело с индивидуальными (лексическими) значениями конкретных слов. Этому отделу языковедения, как и

характер имеют именно словарные новшества современного языка, и это относится ко всем его видам (письменный, литературный, устный язык) и ко всем социально-групповым диалектам. Но исчерпывается ли словарем и (фразеологией) происшедшая на наших глазах языковая революция? Остались ли прежними морфология и фонетика? На этот вопрос, я уверен, мы не получим единодушного и решительного ответа от наших читателей. Берусь утверждать, однако, что и в области морфологии даже стандартный русский язык⁴ получил значительный вклад именно в революционную эпоху в виде новых способов словообразования: поскольку потребность в массовом творчестве новых слов для новых понятий (привнесенных в коллективное мышление революцией) выразилась не только в увеличении числа слов, но и в выработке новых приемов такого словотворчества, это — уже не только лексика, но и морфология. А в области фонетики? Пускай, допустим, в стандартном общерусском языке не находится (по крайней мере крупных) фонетических новшеств революционного происхождения, ведь стандартный (а уже тем более письменный) язык всегда консервативнее в данном отношении, чем нестандартные диалекты. Но если мы будем рассматривать русский язык современности как всю совокупность нынешних социально-групповых и территориальных диалектов, то и фонетика насчитает здесь немало новшеств, которые не имели бы места вне социальных условий, созданных революцией. Первенствующего значения лексики (в указанном отношении, т. е. в смысле наибольшего богатства сдвигов) я при этом, однако, не думаю отрицать. Лексика (с фразеологией) — единственная область языковых явлений, где само содержание культуры (данного коллектива в данную эпоху) отражается более или менее непосредственно. Вот почему здесь быстрее всего (даже в пределах языка одного и того же поколения) может обнаружиться результат социально-экономической мутации. Естественно поэтому, что те исследования языка современности, которые успели уже

совокупности изучаемых в нем явлений, я и уделяю наименование фразеологии (укажу, что для данного значения предлагался и другой термин — идиоматика). Необходимо сказать, однако, что в качестве отдельной дисциплины или отдела языкознания фразеология (или «идиоматика») еще не завоевала себе обособленной позиции в литературе нашей науки, т. е. нет более или менее обширных отделов лингвистической литературы, посвященных именно фразеологии (подобно прочим дисциплинам: фонетике, морфологии, синтаксису, лексике), несмотря на все ее теоретические права на существование и практическую значимость (для преподавания языков).

⁴ Оставим пока в стороне различие в социальной характеристике стандартного общерусского языка дореволюционной эпохи (когда это был социально-групповой диалект интеллигенции) и языкового стандарта наших дней (социальный субстрат которого значительно расширился).

выйти в свет, имеют объектом прежде всего и почти исключительно словарь (т. е. лексику) революционной эпохи.

Но если не так уж методологически сложна задача само-го описания языка революционной эпохи, т. е. учета языковых фактов революционного происхождения, то наибольшие затруднения представит прагматический вопрос о том, как и почему отражаются в эволюции языка факты социального быта (т. е. экономические и политические факторы). Ведь не только между звуковым составом определенного слова и социально-бытовой ситуацией (данного языка в данную эпоху), но даже и между звуковым составом слова и его значением нет органической связи (в противном случае одни и те значения не могли бы выражаться в разных языках совершенно несходными звуко сочетаниями, как это мы наблюдаем в действительности на каждом шагу).

Действительно, есть ли какая-нибудь прямая связь между значением слова *святой* и тем обстоятельством, что это слово начинается в русском языке со звука *с* (*s*)? Конечно, нет, ибо в противном случае нужно было бы, чтобы и немецкое *heilig* начиналось с *s*⁵. Правда, можно было бы указать, что в факте наличия начального *s* в славянском *свѣтъ*⁶ (из индо-европейской праформы **kwentos*) сказались известные специфические особенности языковой эволюции в данной именно этнической группе (славянских языков) в отличие, например, от латинского языка, где соответствующий (т. е. восходящий к той же праформе) комплекс начинается уже не с *s*, но со звука *p*: *ponti-fex* (слово, точный этимологический перевод которого дал бы по-русски *свято-дей*). Казалось бы, в этом расхождении путей эволюции (в латинском *p* ← *k^w*, в славянском *sv* ← *k^w*) и можно было бы искать отражения индивидуальных особенностей социального быта: древнеиталийского, в одном случае и славянского, в другом. Допустим, что это так, что поиски конечных причин данного расхождения надо вести именно в указанном направлении⁷. Будет ли это основанием утверждать зависимость между наличием *s* (*c*) в слове *святой* (из современного русского язы-

⁵ То обстоятельство, что во французском *saint* мы имеем начальное *s*, как и в русском, относится исключительно за счет случая.

⁶ И в русском *святой* (где, впрочем, произносится, строго говоря, уже полумягкое или мягкое *s*).

⁷ Да это положение и вообще нужно будет признать верным (а не только допускать), поскольку мы согласимся с той оговоркой, что между конкретным языковым фактом расхождения путей эволюции (**k^w* → *p* и **k^w* → *sv*) в двух разных этнических группах (славянской и италийской) и соответствующим различием в области социального быта (и социальной истории) лежит целый ряд промежуточных звеньев, превращающих «причинную связь» между социальным и языковым явлениями в длинную «цепь причинных связей».

ка) и социальным бытом современного коллектива, объединяемого русским языком. Конечно, нет, потому что появление *s* (*c*) в этом слове (на место исходного **k*) относится к той эпохе, когда русского языка в нашем смысле слова и помину еще не было, т. е., по крайней мере⁸, за тысячелетие до 862 г. (с которого нас учили начинать историю русского государства). С этого момента начальный *s* (*c*) повторяется каждым следующим поколением (в данном слове) уже просто потому, что так говорило предшествующее ему поколение. И последнее соображение, т. е. указание на архаичность языковых (фонетических, морфологических и т. д.) фактов, отнимает у нас почву для выводов о взаимоотношении языка и социального быта данной эпохи по поводу громадного количества языковых явлений.

В языке мы более чем где-либо (например в материальной и духовной культуре, искусстве, литературе и т. д.) зависим от традиции, послушно отражая в наших словах факты языкового мышления давным-давно ушедших поколений, большинство которых чуждо нам даже по этническому имени. Говорить о полной адекватности языка данной эпохи ее социальному быту или культурному содержанию, рассчитывая объяснить из них все синхронически существующие в этой эпохе языковые факты, — это значит, во-первых, забывать, что одна и та же фраза *мой брат умер* могла быть понятна как и нам в XX в., так и представителю русского языка XII в., во-вторых, забывать то, что могут быть найдены два коллектива с замечательными сходствами в области социального быта и с совершенно различными языками, и, в-третьих, что два родственных языка даже при максимальном различии в фактах социального быта их коллективов обычно продолжают систему, полученную ими из общего источника, и вносят индивидуальные видоизменения лишь в постепенной последовательности и притом каждый раз лишь в масштабе деталей этой системы (иначе возникла бы опасность утраты общего языка для двух смежных поколений)⁹.

⁸ Беру в действительности минимальный срок.

⁹ Может показаться, что это противоречит высказанному выше о комсомольском языке по отношению к языку предшествующего поколения. Но не надо, конечно, забывать, что 1) различие между этими хронологически смежными языками сводится, почти исключительно, к области лексики (да и в лексическом отношении, если вычлест специфическую часть комсомольского словаря, соответствующую специфическому для революционного поколения кругу понятий, останется значительный состав общих с «довоенным» языком элементов, так что, например, фраза *дай мне воды* не будет нуждаться в переводе с языка одного поколения на язык другого), что 2) здесь мы имеем действительно крайний случай ввиду максимальной сдвига в области социального быта (другой пример подобного сдвига — и в области социального быта и в языке, именно в лексике — мы найдем, пожалуй, лишь в годы Великой революции во Франции).

Итак, вместо вопроса об обусловленности современными социальными факторами языка как целой данной системы может ставиться в наукообразной форме вопрос об обусловленности (социальными¹⁰ факторами) эволюции языка.

Но можно ли — и при такой формулировке вопроса — рубить гордиев узел простым утверждением: «Эволюция языка обусловлена факторами социально-экономического быта», и точка?

Необходимо разрешить одно недоумение, естественное для всякого знающего про то, что в естественной историческом направлении лингвистики¹¹ уже наметились конкретные теории фонетической эволюции языка, морфологической эволюции языка и т. д., в которых даны следующего типа «законы»: «При наличии условий (чисто языковых) *a*, *b*, звук *x* переходит в звук *y* и т. п.». Что же? Имеют ли какую-либо ценность эти «законы», устанавливаемые для языка вне времени и пространства, сформулированные без всякого упоминания о наличии социально-экономических или политических факторов?

Конечно, имеют. В той совокупности чисто языковых условий, которая налична для современного состава русского языка, предопределен, например, переход звука *дь* (в *дя*, *дю*, *де*, *ди*, *дь*) в звук *й* (*j*); и требовать, чтобы под влиянием какого-либо социально-экономического фактора вместо перехода *дь* → *й* осуществился бы иной переход: *дь* → *к* или *дь* → *б*, — это совершенно равносильно предположению, что от какого-либо социально-экономического сдвига, например, революции, поршни паровоза заработают вдруг не параллельно, а перпендикулярно направлению рельсов.

Мы, однако, вовсе не нуждаемся в таких предположениях для того, чтобы утверждать влияние революции на дело транспорта, и равным образом вовсе не нуждаемся в отмене естественных исторических теорий эволюции для того, чтобы утверждать зависимость этой эволюции от социально-экономических факторов. Последним принадлежит гораздо более существенная роль, чем изменение направления отдельного эволюционного процесса (например, замена процесса *дь* → *й* процессом *дь* → *к* или *дь* → *б*): именно от социально-экономических факторов зависит решение:

1) быть или не быть данного рода языковой эволюции вообще и

2) видоизменение отправных пунктов развития.

¹⁰ И экономическими прежде всего (см. ниже).

¹¹ Характерном для лингвистов предшествующего поколения.

Возьмем пример: до эпохи товарного хозяйства и, в частности, в доисторической истории различных языков мы наблюдаем — в качестве типичного для этих эпох явления — процесс расщепления одного более или менее единообразного языка на ряд родственных языков (или первоначально — диалектов), а в современную эпоху, когда происходит объединение разноязычных и разноговорных групп во все более и более крупные коллективы, объединяемые потребностью в перекрестном общении (а потому, следовательно, и единообразным языком), мы констатируем обратное направление общего языкового развития: от диалектического разнообразия — к единообразию; и причина этому, как мы здесь видим, конечно, экономическая. Не надо забывать, кроме того, что экономическими факторами всегда бывает предопределена конечная цель языкового развития, сопровождающего социально-экономическую перегруппировку коллективов, связываемых кооперативной потребностью в перекрестном общении: при всяком таком изменении «человеческого (или социального) субстрата» целью сопутствующего (данной социально-экономической перегруппировке) языкового развития является создание единообразного языка для его нового «социального субстрата», т. е. для нового объема коллектива. Изменение «социального субстрата» изменяет вместе с тем и конкретные отправные пункты языковой эволюции: например, при расширении коллектива эволюция будет отправляться не от состава одного только данного диалекта (где, допустим, в ряде слов имелся звук *x*), но от совокупности нескольких разнородных диалектов (из которых один будет иметь в данном ряде слов звук *x*, другой — звук *y*, третий — звук *z* и т. д.); ясно, что здесь уже не приходится говорить о той эволюции звуков, которую мы имели бы в случае изолированного развития одного из этих диалектов. Этого мало: от социально-экономических особенностей может в данном случае зависеть и то, какая из данных объединяемых групп будет «играть первую скрипку» в эволюции, направленной к установлению единообразной (для всех данных групп) системы речи.

Можно было бы сказать еще очень и очень многое о том воздействии на языковое развитие, которое могут иметь и имеют социально-экономические факторы «социального субстрата» данного языка (что вовсе не будет, однако, означать отрицания естественноисторических теорий языковой эволюции, рассматривающих механизм единичных эволюционных процессов). Но нам необходимо вернуться к конкретному заданию настоящей статьи — русскому языку современности, и прежде всего — к стандартному (или «литературному», или «общерусскому») его диалекту.

Для стандартного (или «общерусского») ¹² языка дореволюционной (и довоенной) эпохи весьма не трудно дать социальную характеристику: это — внетерриториальный ¹³ язык русской интеллигенции, что в одинаковой мере справедливо и для XIX и для начала XX в. (но не для более ранней эпохи — XVIII в.).

Преимущественно к этому языку дореволюционной интеллигенции восходит и стандартный (или «общерусский» — опять-таки с оговорками) язык современности, обнаруживающий, однако, ряд отличий (как крупных, так и мелких) от этого своего исторического предшественника. Причина различий, конечно, не в той нормального типа эволюции, которая общеобязательна для всякой эпохи всякого языка, а именно в изменении самого «человеческого субстрата» рассматриваемых стандартов. И не надо думать, что в данном (датируемом революцией) сдвиге мы имеем только расширение «субстрата»: есть и его ограничение — отход от контингента носителей «языка русской интеллигенции» тех именно элементов последней, которые сугубо обуславливали кастовый характер прежнего стандарта (благодаря чему владение «интеллигентской речью» вместе с такими ее фонетическими признаками, как умение произносить гласные и согласные иностранных слов, служило внешним признаком интеллигента наравне с костюмом и знанием правил старой орфографии). Я имею в виду «заграничную», ныне эмигрантствующую «интеллигенцию». Зато гораздо более характерна перемена в сторону расширения. На пути к будущему признаку бесклассовости современный стандарт («общерусский язык революционной эпохи») характеризуется — в социальном отношении — следующим «субстратом»: революционный актив (в том числе эмиграция предшествующего периода, вернувшаяся после революции), культурные верхи рабочего класса (как и выделенная им часть революционного актива) и прочие элементы, входящие в понятие «красной интеллигенции», в том числе и значительные слои прежней интеллигенции, осуществляющие, следовательно, реальную связь со стандартом предшествующей эпохи.

Это расширение по линии социальной. Но, кроме того, нужно указать еще на расширение функций (а следовательно, и

¹² Как мы сейчас увидим, термин «общерусский» мог быть приложен к этому социально-групповому диалекту только условно.

¹³ Поскольку речь не идет о его подговорах, т. е. мелких произносительных и т. п. различиях в говорах интеллигенции различных городов (Петербурга, Москвы и т. д.), например, в характере согласного *щ* (у ленинградцев это, собственно говоря, не особый согласный звук, а просто сумма двух последовательных звуков: *ш + ч*, тогда как у москвичей это, действительно, особый согласный звук типа «мягкого *ш*», притом долгий, т. е. двойной по количеству) и т. п.

социального субстрата) общерусского языка по линии национальной: перестав быть «языком русской государственности», общерусский стандарт стал языком советской культуры, и от этого не могли не измениться как субъективное отношение к нему, так и объективно констатируемая значимость его на территориях нацменьшинств Союза. Особенно для последних лет (начиная приблизительно с 1922 г.), когда уже пережит (или, как принято говорить, «изжит») период «индивидуально-национальных» вкусов в области языковой и графической культуры, характерным стало для республик СССР ясное понимание значения русского (и именно стандартного русского) языка как языка общесоюзного, как языка, на котором написаны сочинения Ленина. А с этим неизбежно связывается и фактическое расширение «социального субстрата» этого стандарта за счет прежних «инородцев». А из наличия указанного двоякого расширения субстрата лингвист имеет право априорно утверждать, что темп развития языковых новшеств данного стандарта должен чрезвычайно усилиться, и, конечно, это относится буквально ко всем элементам языка (а не только к лексике с фразеологией). Благодаря вхождению — в качестве отправных пунктов эволюционных процессов — ряда диалектических¹⁴ и (в особенности) двуязычных мышлений, для русского языка моментом революции открывается эра громадных изменений и необычно ускоренного темпа эволюции¹⁵.

Разумеется, для того чтобы этот процесс реализовался в виде существенно новой системы (фонетической, морфологической), нужна по крайней мере смена двух или трех поколений. Тем не менее я позволю себе утверждать, что (не говоря уже о лексике — о ней уже шла речь выше) известные черты в области фонетических, например, новшеств можно приписать современному стандарту (в отличие от стандарта или «языка интеллигенции» прежнего поколения) даже в настоящий момент. Мне возразят, может быть, указанием на то, что громадное число участников оказывается для обоих стандартов общим, и что лицо, родившееся в 1891 г., вовсе не изменило в 1917 г. своей фонетики (о словаре опять-таки нужно говорить особо и на особых основаниях). Я согласен: лично я сам произношу, например, сочетания «твердый парный согласный» + э (e), среднее l в названии ноты la (и в ряде других иностранных слов), звук ö (типа немецкого ö, француз-

¹⁴ Здесь позволительно иметь в виду и социально-групповые и территориальные диалекты русского языка.

¹⁵ Причем, грубо говоря, можно определить общее направление этого развития как нивелировку специфических трудностей русского стандартного языка, которые окажутся фактически неувоенными большинством из заново входящих в «субстрат» элементов.

ского *eu* в *peur*) в слове *блэф* и т. д. так же, как я произносил их в 1913 г. И тем не менее именно эти (как и некоторые другие) черты я отношу к фонетическим особенностям общерусского языка довоенной интеллигенции в отличие от фонетической характеристики стандартного языка современности. Дело в том, что с точки зрения коллективной оценки все эти черты потеряли уже свое значение критерия, по которому интеллигент (т. е. представитель стандартного языка) признавал в говорящем «своего поля ягоду»: теперь можно говорить правильно (т. е. стандартно) и без соблюдения этих социально-групповых диалектизмов.

Ввиду того что изменилась (именно в отношении данных признаков) фонетическая характеристика речи большинства (представителей стандарта), изменилось и отношение большинства (т. е. коллективного языкового мышления, характеризующего стандарт современности) к данным фонетическим фактам: пускай они продолжают индивидуальное существование (в моем и тому подобных произношениях), — они утратили социальную значимость, т. е. общезначимость (для стандартного языка).

Известный ряд фонетических явлений в стандартном языке дореволюционной интеллигенции (и в фонетических подвидах или подговорах этого языка: в частности, например, в языке московской интеллигенции, языке петербургских интеллигентов и языке гвардейско-придворного «высшего общества» Петербурга) мы можем относить за счет иноязычного и главным образом французского влияния. А если мы позволим себе отвлечься на время от фактов русского языка как такового и будем исходить от всей совокупности конкретных коллективно-психологических фактов, характерных для языкового мышления рассматриваемых социальных групп, мы можем установить совершенно определенную языковую характеристику некоторых из этих групп, своего рода «языковой паспорт», свидетельствующий о принадлежности к данной группе.

Здесь мы имеем в виду прежде всего, конечно, знание французского языка, точнее, тот типичный уровень владения французской речью, который считался обязательным и необходимым критерием принадлежности к определенным общественным группам. Критерий этот имеет свою вековую традицию и во времена наших дедов и прадедов соответствовал вполне точно определенному сословному делению; французский язык был принадлежностью высшего и среднего (по имущественному цензу) дворянства. К началу XX в. обязательное владение французским языком стало характерным и для других общественных слоев — в связи с изменением состава «господствующей верхушки»: убеждение в том, что де-

тей необходимо учить французскому языку, стало не только принадлежностью дворянства, но и крупной торговой и финансовой буржуазии¹⁶, а с другой стороны, и известных слоев столичной и провинциальной интеллигенции (последняя к этому времени успела вполне заметно уже отмежеваться от поместного дворянства).

Пускай уровень этого обязательного знания французского языка сильно упал к первым десятилетиям XX в. по сравнению с французской речью эпохи «Войны и мира» (а падение это несомненно — именно для эпигонов дворянской эпохи, для петербургского «высшего общества» 900-х и 10-х годов: если бы вместо Германии гвардия Николая II должна была воевать с Францией, то в ней не нашлось бы уже Фигнеров или — по Толстому — Долоховых, которые могли бы выдавать себя во время рекогносцировки за французов). Важна не степень усвоения французского языка, а то социальное значение, которое этому французскому языку в «высшем обществе» приписывалось. А с точки зрения индивидуальной психологии это значение могло быть особенно велико для того, кто особенно плохо владел французским языком.

Я помню, как несколько лет тому назад мне с одним приезжим французом пришлось посетить одно печальное место, к которому вполне подходит понятие «юдоль горькая», уже потому, что обитатели этой «юдоли» попадают в нее против своего желания и не могут выйти из нее по своей воле. Так как мой спутник почти не знал русского языка, мы говорили по-французски. Услышав французскую речь, к нам вдруг обращается жалкая, крайне потрепанная фигура — как я узнал впоследствии — бывший полковник: «Бу парле франсэ? Муа же оси парль» (вместо *Moi, je parle aussi*). Французский язык, хотя и хромавший по всем пунктам, был для него единственным, уцелевшим от прошлого, признаком былой привилегированности. В качестве такового признака кастовой принадлежности он, в сущности, и рассматривался этой гвардейско-дворянской средой, которая считала необходимым обучить по-французски своих детей. Это и было главным мотивом для этого обучения, ибо большой практической потребности в знании этого языка не существовало. Я знал много

¹⁶ И тут мы можем констатировать типичнейший для истории языковых культур случай, когда новый класс, приходящий к политическому господству на место другого, ранее господствовавшего, или занимающий командную позицию рядом с последним, механически перенимает у последнего и внешние признаки его привилегированности (в том числе и языковую традицию), несмотря на всю внутреннюю разницу в экономической базе, а следовательно, и в политической и во всякой другой идеологии обоих классов, поскольку эти внешние признаки, к которым относится в данном случае языковая традиция, не имеют органической связи с сущностью классовой психологии.

семей, в которых никогда ничего не читали по-французски (а женщины вообще ничего не читали — даже по-русски) и где французский язык употреблялся исключительно для того, чтобы в присутствии прислуги говорить о том, что от нее желательно скрыть (главным образом — о прислуге же). Казалось бы, ради этого — криптолалического — употребления не стоило тратить труд на обучение языку. Между тем первой заботой в воспитании детей эти семьи считали именно наем гувернантки-француженки (хотя бы и приходящей).

Итак, если ставить вопрос о наличии кастовых признаков в языковом мышлении привилегированных каст дореволюционного общества, то, строго говоря, нужно будет указать именно на двуязычный характер этого коллективного мышления, т. е. на знание французской речи (в тех или других пределах). А такой, например, признак, как обусловленное этим распространением французского языка г р а с с и р о в а н и е (т. е. произношение увулярного недрожащего *p*) или просто к а р т а в л е н ь е (т. е. увулярное дрожащее *p*) в русской речи, — это будет уже только маленькая деталь одного из естественных (хотя и необщеобязательных) последствий вышеуказанного признака — относительной двуязычности.

Желательно было бы изучить и другие фонетические черты, сходные по статистике распространения с г р а с с и р о в а н и е м, которые также могли бы считаться чертами «кастовой фонетики» (при этом не важно, что они будут распространены у представителей данной социальной группы не на 100%, а пускай даже хоть на 15%). К таким чертам можно, по видимому, причислить встречающуюся мне иногда замену типично русских ненапряженных гласных напряженными¹⁷.

Но для этого нужно, конечно, собрать материал, т. е. произвести специальные наблюдения над специально подобранными индивидуумами.

¹⁷ Замечу, кстати, что скрупулезный анализ качества гласных звуков позволил бы вскрыть не только идущие из французского языка особенности гвардейско-дворянского и тому подобные произношения, но и черты, свойственные другим социальным группам (и притом не покрываемые территориально-диалектическими различиями). Я помню, например, как в 1913 г. в фонетическом семинаре проф. Л. В. Щербы в Петербургском университете установлен был специфический оттенок гласного *a*, присущий духовенству и лицам духовного происхождения. Это, конечно, только крупинка из социально-диалектологической фонетики русского языка. Такой фонетики не существует, ибо никто никогда не собирал и не изучал фонетические факты именно с этой точки зрения. Но она вполне возможна, и, говоря о задачах и методах социальной диалектологии, необходимо обратить на нее внимание как на дисциплину, к которой приложимы все известные нам приемы фонетического исследования, в том числе и пути инструментального и психофонетического эксперимента.

Однако далеко не все, а только кое-что из фонетики до-революционного стандартного языка удастся объяснить влиянием иноязычной фонетики на язык привилегированных или культурно господствовавших групп. Укажем здесь на другой источник (опять-таки не исчерпывающего значения) — на влияние орфографии, которым допустимо объяснить известные черты интеллигентского (или, как иногда говорят, просто «книжного») произношения, отсутствующие в прочих социально-групповых диалектах.

Здесь уместно, однако, общелингвистическое (=или методологическое) замечание: фактор орфографического влияния на фонетику и морфологию устной речи — это фактор исключительный, нуждающийся в особой культурной ситуации (высоком уровне грамотности, постоянном соприкосновении с книгой у данной группы и т. д.); и напрасно ему приписывали широкую роль, привлекая орфографию как источник ряда крупных языковых явлений. У одного очень известного (в 900-х и 10-х годах) русского филолога можно, например, найти следующее утверждение: французы потому, дескать, делают *liaison*, что знают и помнят «немые согласные буквы» на конце слов: т. е. произносится *vous êtes* как «ву-зет» вместо «вуэт» потому, что *vous* пишется с конечным *s*. Поэтому, дескать, когда встречается «неблагозвучное сочетание» (зияние), говорящие избавляются от него посредством вставки согласного, и вспоминают по этому поводу орфографию *vous*, узнавая из нее, какой именно согласный надо в данном случае вставить.

Это, конечно, вздор. Французы современного нам поколения делают *liaison* просто потому, что их отцы (т. е. предшествующее поколение) делали *liaison* в тех же самых случаях¹⁸, и они точно так же продолжали бы делать *liaison*, если бы были поголовно неграмотными. А то поколение, которое впервые перестало произносить конечные согласные (не перед гласными следующего слова, а например, на конце фразы: *levez-vous* и т. п.), никогда не производило этой утраты в позиции перед словом, начинающимся с гласного (т. е. в *vous êtes* и т. п.). Иначе говоря, традиция произношения конечного *s* (благодаря озвончению превращающегося уже в *з*) в таких случаях, как *vous êtes*, идет непрерывно в глубь истории французского языка вплоть до латинского *vos estis*.

В виде общего правила письмо (т. е. орфография) оказывается более консервативным, чем произношение (это мы ви-

¹⁸ С ничтожными, может быть, отступлениями (которые мы вправе игнорировать).

дим и во французском сохранении букв конечных согласных, тогда как соответствующие звуки в большинстве случаев уже перестали произноситься); и более прогрессивная область явлений — устная речь обычно влияет на более консервативную, т. е. на орфографию, в результате чего орфография изменяется вслед за соответствующими изменениями произношения, хотя иногда и опаздывает при этом на полтысячи и более лет (в качестве примера укажу на выпадение *ѣ* в русском языке: на конце слов звук *ѣ* исчезает уже с XIII столетия, а из письма *ѣ* на конце слов выбрасывается только в 1917 г.). Это — нормальный порядок явлений, обратное же — это исключение из нормы, т. е. случаи спорадического характера, которых в истории языка — раз-два и обчелся.

Тем не менее кое-что, относящееся сюда, все-таки назвать можно, и это кое-что, естественно, падает на социально-групповой диалект культурной верхушки национального коллектива.

Сюда войдет, вероятно, такое фонетическое явление, как произношение *что* вместо *што*, и такой морфологический факт, как произношение *ея* (*jeja*) в родительном падеже в противоположность форме *ее* (*jejo*) в винительном. Оба эти явления принято было называть «петербургскими», хотя это требует еще проверки, т. е. надо выяснить, одной ли только петербургской интеллигенции эти явления свойственны, и насколько они встречаются в Ленинграде у неинтеллигенции. Во всяком случае, в моем собственном индивидуальном говоре (а я вправе считать себя петербуржцем по языку) обе эти черты налицо¹⁹.

Совершенно иной характер — характер фактативного допустимых речевых фактов — носили в моем языковом мышлении две другие черты: употребление форм именительного-винительного падежей множественного числа адъективного склонения *на-ья* (или *-ия*) и форме *оне* (*онъ*) вместо *они* — в тех случаях, когда внимание останавливалось на признаке женского рода. Именно, бывали случаи, когда при произнесении фразы я сознательно старался «говорить правильно», т. е. следуя графическому различию *-ья* от *-ье* (геср. *-ія* от *-іе*) и искусственно прояснял конечный звук *а* (*я*) в таких, например, фразах: *Книги у него очень старья*. Равным образом иногда сознательно я говорил и *оне* (*онъ*). Правда, все это было редко, но все же имело место, и я от-

¹⁹ Так что с точки зрения лично моего языка правило «новой орфографии 1917 г.», отменившее форму *ея*, было настоящим *pensens'om*. Я вполне естественно и притом исключительно говорил *ея*, в *ея дом* и т. п., и только за последние годы сознательно стал по временам заменять это *ея* через *ее*.

мечаю этого рода факты затем, чтобы дать пример особенного вида орфографического воздействия на язык, проводя принципиальную границу между данными фактами и такими случаями, как *что* (вместо *што*) и *ея* (вместо *ее*). Там (в случаях *что* и *ея*) никакого воздействия орфографии на язык через посредство моей воли не совершалось, ибо в этом не было и надобности: моему мышлению уже была присуща форма *что* с *ч* вместо *ш*, как и различие родительного *ея* от винительного *ее* — на правах вполне нормальных (повторяю: с моей точки зрения) явлений устной речи. Факт влияния письма на язык имел, значит, место уже в прошлом. И наоборот, в попытках искусственного различения (*книги*) *старья* от (*карандаши*) *старые* мое мышление играло активную роль — роль проводника еще не осуществившегося влияния письма на язык. Добавлю, кстати, что к того же характера процессам, как и попытки произнести *ья* и *оне* (*онь*), можно причислять и то явление, которое в моей языковой практике имело место уже после 1917 г. и сводится к факультативному и сознательно допустимому влиянию новой русской орфографии: я имею в виду сознательную замену *ея* через *её* (в функции родительного падежа: *её дом* и т. д.; см. выше).

Добавлю еще один случай из данных самонаблюдения над моим языковым мышлением. Форма винительного падежа женского рода единственного числа *самое* была мне вовсе не известна до тех пор, пока я не наткнулся на нее в учебнике русской грамматики Кирпичникова и Гилярова (приблизительно в 1899 г.), причем сначала она вызвала у меня полное недоумение: я стал думать даже, что это, может быть, опечатка. Между тем с 1910 приблизительно года я уже употребляю эту форму в устной речи, хотя, впрочем, и весьма редко; все же она оказалась мною усвоенной, и усвоенной при этом именно из письменности.

В задачу настоящей статьи не может входить полный перечень явлений, характерных для того или другого социально-группового диалекта: я имею в виду лишь классификационную схему с перечислением проблем, по которым стоило бы собирать и изучать фактический материал (а отчасти и методы этого изучения). Мы назвали выше два источника черт, характерных для языка дореволюционной интеллигенции (причем каждый из них мог бы стать предметом специального обследования), и идем дальше к вопросу: каков генетический характер прочих «отличительных черт» стандартного языка?

Естественнее всего искать причины специфических черт каждого данного социально-группового диалекта (в частности, например, литературного языка дореволюционной интеллигенции) в географической ситуации этого диалекта, именно, например, в географическом положении и экономических связях того культурного центра, который стал метрополией данной социальной группы; это дает нам, следовательно, ключ к территориально-диалектическим моментам в характеристике данного социального диалекта, т. е. этим путем мы можем установить те его черты, которые принадлежали первично определенным территориальным говорам и потом лишь получили роль социально-диалектических признаков. Сюда относится, например, все то, что позволяет нам русский литературный язык называть московским говором великорусского языка (или наречия).

С другой стороны, вполне естественно искать в составе данного социального диалекта тех признаков, которые можно было бы связать конкретной цепью причинных связей с культурно-бытовыми особенностями данной именно группы. В непосредственной зависимости словарного и фразеологического материала от содержания культуры данного коллектива (и точнее: от числа и состава фигурирующих в данном коллективном мышлении понятий) вряд ли имеет смысл сомневаться. Здесь имеет место сравнительно простое соотношение между мышлением (коллективным) и языком: если количество понятий лексического характера, присущих данному коллективу и фигурирующих в его мышлении достаточно часто, определяется числом X , то это число X будет показательно и для количественного состава словаря, т. е. для численности отдельных слов, присущих языку данного коллектива: дело в том, что принцип языковой экономии (принцип, наличный во всяком языке, но не во всех языках одинаково ярко выраженный) препятствует тому, чтобы на единое и самоцельное понятие, которому приходится часто фигурировать в коллективном мышлении, тратилось бы более чем одно единое слово (т. е. чтобы для обозначения этого понятия употреблялся комплекс из нескольких слов, или словосочетание). Вот почему, когда в русское коллективное мышление революция внесла большое количество новых²⁰ понятий, этим был дан массовый социальный заказ на творчество новых слов, а ввиду этой массовости заказа для его выполнения были канонизованы и новые общие приемы словотворчества (аббревиатурные рецепты).

²⁰ Новых по крайней мере для коллективного мышления.

Зато иначе обстоит дело с фактами фонетики и морфологии. Тут мы сталкиваемся с совершенно еще неразрешенной лингвистической проблемой, вернее — с рядом проблем, ибо единственное, что можно сказать определенно, — это то, что внеязыковой (экономический, культурный и материальный) быт влияет на язык не одним каким-нибудь единичным своим фактором, а целым комплексом различных факторов, в том числе и факторами сравнительно мелкого, на первый взгляд, порядка. Я уверен, что, когда мы будем обладать полным списком факторов внеязыкового быта, способных проецироваться на языковом развитии, мы будем удивлены его размерами. Но учет этот — дело будущего, проблема, для которой еще надо собрать массу материала. Я ограничусь здесь тем, что укажу, например, на устанавливаемое проф. Н. М. Каринским бесспорное влияние различных форм крепостного права (крупного и мелкого землевладения) на эволюцию крестьянских говоров, на кой-какой материал по зависимости языковой эволюции от коллективного или, наоборот, изолированного (внутри семьи) воспитания детей, на значение кочевого быта в отличие от оседлого²¹; но не буду останавливаться на тех влияниях, о которых пока приходится лишь догадываться как о вещах возможных, но не доказанных.

Возвращаясь к характеристике языка дореволюционной интеллигенции, к числу факторов только что указанного порядка надо отнести, по моему мнению, наличие той своеобразной «орфоэпической культуры», которая имела место в детском воспитании именно в дворянских семьях, где наряду с необходимостью *soigner les dents* учитывалась также и надобность *soigner le langage des enfants*. Нас будет интересовать эта «орфоэпическая культура» главным образом в том отношении, что она охватывала не только словарь и фразеологию, но и морфологию и фонетику. И действительно, нас учили не только тому, что не нужно говорить *A?* вместо вопроса (как равным образом нельзя по-французски спрашивать *Quoi?*, а нужно говорить *Plait-il?*), что надо говорить *нравится*, а не *ндравится*, что про себя нельзя сказать *кушаю* и т. д., но также и тому, что не надо говорить в нос, не надо говорить слишком громко, т. е. громче того, чем надо для того, чтобы быть услышанным и понятым, и разным тому подобным деталям. Сюда же относится и исправление ударений, признававшихся вульгарными: я отлично знал,

²¹ Все эти случаи можно рассматривать, однако, как частные виды «особенностей эволюционно-языковых процессов, обусловленных изменением субстрата данного языка», т. е. подвести под мою формулу: «экономический быт влияет на субстрат языка, а изменения субстрата отражаются на эволюции языка».

например, что слово *множественное* (в грамматическом термине «множественное число») с ударением на втором слоге говорят семинаристы, а юноша хорошего общества должен говорить *множественное*. Было бы интересно дать конкретную сводку этих орфоэпических традиций.

И можно думать, что типично барский или дворянский тонус речи с его нивелировкой фразовой мелодии голосового тона (сильные скачки которой характерны, наоборот, для многих простонародных говоров) и рядом других особенностей²² именно и представляет собою результат орфоэпической культуры в семьях определенного общественного круга.

Мне, может быть, скажут, что этого рода особенности следует иметь в виду только тогда, когда интересуешься характеристикой дореволюционного стандарта, а при изучении языка революционной эпохи о них незачем и вспоминать. Но для выяснения данного этапа эволюции (от дореволюционного языка интеллигенции до современного стандарта) именно и необходимо сличить произносительные особенности обоих стандартов. А затем, здесь нужно кроме того сослаться еще на следующее общего характера положение: ни один язык господствующего в данный момент класса (или его культурной верхушки) не является целиком объяснимым как продукт данного именно класса и даже не имеет ничего общего с минувшей историей данного класса до прихода его к политическому господству. Наоборот, во всей истории литературных (или стандартных) языков мы видим примеры того, как класс, переживший эпоху своего господства, уступая свою руководящую позицию новому, идущему ему на смену классу, передает последнему, наравне с прочими внешними формами культуры, и языковую традицию. Стандартный язык, таким образом, как эстафета, переходит из рук в руки от одной господствующей группы к другой, наследуя от каждой из них ряд специфических черт; но и каждая из этих сменяющих друг друга групп наследует в перенимаемом стандартном языке отложения сошедших уже с исторической арены носителей стандарта.

Таковы те *prolegomena*, на основе которых следовало бы, по моему мнению, изложить конкретную характеристику со-

²² Например, в смысле выбора регистра (т. е. определенных норм высоты) голоса — для определенных, конечно, диапазонов, а также нормировки силы выдыха (и голосового тона), работы небной занавески и т. д. Все эти черты нуждаются, конечно, в специальном описании, но они именно и составляют (вместе с некоторыми, может быть, особенностями тембра гласных, а в отдельных случаях и согласных) то самое, что мы оцениваем как «барский голос» или же (в вариации) как «интеллигентный голос» (который мы даже по телефону умеем отличить от типично простонародной фонации).

временного стандартного языка, вслед за чем на очередь стала бы задача соответствующего описания социально-групповых диалектов нашей эпохи. Но для осуществления этого плана понадобится, конечно, особая научная работа, к которой настоящая статья находится именно лишь на положении «методологического введения».

ФОНЕТИКА ИНТЕЛЛИГЕНТСКОГО ЯЗЫКА

Социологические темы в лингвистике были настолько мало привычны (по крайней мере в недавнем еще прошлом), что трудно говорить о социологической диалектологии отдельного языка, не остановившись предварительно на общих вопросах — о соотношении между обществом и языком и о самом понятии социально-группового диалекта.

Прежде всего, я убеждаюсь в том, что основной вопрос о влиянии социологических (экономических и политических) факторов на эволюцию языка далеко не выяснен даже теми, кто совершенно беспепелляционно настаивает на социальном объяснении всякого языкового развития. Для тех же, кто начитан в лингвистической литературе (относящейся, разумеется, почти сплошь к естественноисторическому направлению, ибо оно-то и господствовало в нашей науке под именем «неограмматической школы»), вполне естественно было бы начать с указания не на ясность, а на полную неясность, полное недоумение и противоречие при попытках синтезировать социологическую и естественноисторическую мотивировку языковых явлений. Причем тут социальные факторы, раз существуют теория фонетической эволюции, теория морфологической эволюции и т. д., применимые к любому языку (значит, при любых экономическо-политических условиях)? Кажалось бы, что, кроме области словаря, в языке нечего искать отражения социальных факторов, раз все удовлетворительно объясняется «теориями эволюции».

К тому же надо ведь прибавить указание на чрезвычайную консервативность языковых явлений — по сравнению с явлениями, например, материальной или духовной культуры: в языке мы более всего зависим от наших отдаленнейших предков, употребляя если не полную копию их морфологической и фонетической системы, то систему, которая целиком выводится (с помощью теории эволюции) из их языкового состояния. И это вполне верно: мы обязаны произносить звук *к* в слове *к о п о т ь* потому, что и наши предки (по линии языкового преемства) еще 4000 лет назад произнесли *к* в начале соответствующего слова (ср. греч. *καπύς*). При-

чем тут, следовательно, экономика и политика современности, да и всего последнего тысячелетия?

На чьей же стороне правда — в полном праве спросить читатель, — на стороне ли тех, кто предлагает естественно-исторические «теории эволюции» языка, или тех, кто указывает на связь жизни языка с жизнью общества и отражение последней в языке?

В действительности признание зависимости языка от жизни и эволюции общества (и, значит, от экономического развития прежде всего) вовсе не отменяет и не отрицает значения естественноисторических «теорий эволюции» языка. Возьмем для примера одно из положений теории фонетической эволюции языка, констатирующее (а затем и мотивирующее определенными физиологическими и акустико-психологическими данными) обычный в истории различных языков факт переходного смягчения заднеязычных согласных *к, г*, т. е. *кь, гь*, в переднеязычные шипящего и свистящего типа: *ч, дж* или *ц, дз*. Требовать, чтобы какой-либо фактор экономического или политического порядка изменил направление этого изменения, чтобы, например, вместо *ц* или *ч* (из *к* смягченного) получился какой-нибудь другой звук — *ф, х, з*, или т. п., ведь это равносильно было бы допущению, что от известного общественного сдвига (допустим, от такого крупнейшего факта, как революция) могло бы измениться направление в движении поршней паровоза, чтобы они задвигались не параллельно, а перпендикулярно направлению рельсов. Параллель в данном случае полная, ибо между революцией и наличием того или другого звука в том или другом ряде слов нет никакой связи (ведь никакой внутренней зависимости нет и между качественно-звуковым составом слова-символа и выражаемым им значением). Но это вовсе не значит, что революция (или другой экономико-политический сдвиг) вообще не отражается на состоянии транспорта. Наоборот, очень и очень отражается, только не в изменении работы поршней, а в более важных вещах: факт революции — через ряд последовательных звеньев — может оказаться причиной полной остановки транспорта и может, наоборот, как мы воочию убедились, снова восстановить и форсировать далее эту работу.

То же и с языком. Общественный сдвиг не изменяет направления (т. е. конечного результата) какого-нибудь отдельного историко-фонетического процесса, но это вовсе и не нужно для того, чтобы этот общественный сдвиг имел возможность отразиться на языке. Для факторов общественного (экономико-политического) характера есть гораздо более широкая арена действий: от них может зависеть коренной вопрос: быть или не быть данной эволюции в языке данного коллектива, и может зависеть установка совершенно дру-

гой эволюции этого языка — с другими отправными пунктами, а потому и с совершенно иным направлением и характером процесса.

Возьмем в качестве примера процесс, имеющий место в языках всех народов при переходе от натурального хозяйства к товарному.

Так как субстрат (т. е. контингент носителей) всякого данного языка или диалекта, составляющего целостную и единую в лингвистическом отношении величину, определяется составом коллектива, связанного перекрестными и специфическими кооперативными¹ потребностями (и неспособного обслуживаться каким-либо языком или диалектом кроме данного), то при вступлении данной общины в кооперативно-языковые связи более широкого масштаба естественно изменяется и субстрат данного языка: целью языковой эволюции становится создание единообразного языка не для одной только данной общины, но и для всего района, в товарном хозяйстве которого она начинает в данный момент принимать участие. И если во все предшествующие эпохи, характеризовавшиеся натуральным хозяйством, эволюция данного языка (или диалекта) отправлялась исключительно от языка членов одной данной общины, то в новом направлении, по которому должна будет отныне идти эволюция, примут участие (в качестве отправных пунктов) языки (или диалекты) всех объединяемых новым кооперативным строем общин.

Старый ход эволюции мог привести к тому, что диалект принимал характер языка, ибо специфические его черты, отличавшие его от языка соседей, могли беспрепятственно накапливаться, увеличиваться и увеличиваться. Эта была, следовательно, эволюция типа «диалектологического дробления», ведущая к увеличению числа языков.

При новом экономическом порядке эволюция направлена прежде всего именно к уничтожению языковых различий, к диалектической «нивелировке», в конечном счете — к уменьшению числа языков.

Каждое правило из теории «фонетической эволюции», например вышеуказанная схема аффрикатизации смягченных заднеязычных (типа *кь*, *гь*), отнюдь не отменяется новым порядком вещей, но для приложения этого правила может во все не оказаться случая, хотя бы в данном диалекте рассмотренной нами общины и было смягченное *к* (*кь*): если во всех других общинах, которые втягиваются в субстрат будущего объединенного языка всего района, вместо смягченного *к* (*кь*) было, допустим, простое (твердое) *к*, то — при наличии, конечно, особых причин для перевеса на стороне этих об-

¹ Производственными, прежде всего.

щин — в будущей эволюции языка к смягченное (*кь*) вовсе не будет фигурировать в качестве отправного пункта, ибо таковым будет служить представленное большинством объединяемых общин *к* твердое, а для него теория фонетической эволюции имеет, разумеется, свои законы, свой накопленный в аналогиях из истории различных языков опыт.

Из этого (может быть, слишком элементарного и схематического) примера достаточно выясняется вместе с тем посредственный (а не прямой, не непосредственный) характер основной формы зависимости языковых явлений от экономических факторов. Последние прежде всего видоизменяют и определяют социальный субстрат (т. е. контингент носителей) языка; но это-то в конечном счете и оказывается первостепенно важным, неизмеримо более важным, чем детали каких-нибудь отдельных историко-фонетических процессов: ведь изменение субстрата данного языка означает не только включение новых факторов или причин, т. е. новых отправных пунктов языковой эволюции: этим предопределением субстрата (в территориальном и социальном отношении) предопределяется уже — в основных по крайней мере контурах — и цель, т. е. результат предстоящей эволюции, ибо таковым результатом должно быть установление единого нивелированного языка для всех объединяемых в новом субстрате общин; он явится и целью эволюции диалекта каждой из этих общин, если мы будем рассматривать весь процесс с точки зрения данного именно диалекта как отправного пункта.

Как мы видим, арена для действия социальных и именно экономических (определяющих состав коллектива, фактически нуждающегося в единообразном языке, как в средстве перекрестного общения) факторов — достаточно широкая. Но мы еще не говорим о сфере непосредственного воздействия социального быта (в широком смысле слова) на некоторые стороны языковой деятельности. Правда, не все относящиеся сюда факты достаточно изучены. Зато не представляет сомнений прямая зависимость между содержанием духовной и материальной культуры коллектива и словарем языка. Экономико-политический сдвиг вносит в коллективное сознание ряд новых (по крайней мере именно для коллективного мышления новых) понятий, а закон речевой экономии (т. е. экономии произносительной и психической работы в процессе коммуникации) требует, чтобы часто фигурирующее в содержании речи понятие выражалось одним словом, а не словосочетанием. Отсюда императивное требование творчества новых слов, которое может, разумеется, удовлетворяться различными путями (изменением значения старых слов; заимствованием из иностранного словаря, преимущественно и

естественно из того языка, к которому восходит само данное понятие, образованием сложных слов и т. д.). Из данных русского языка революционной эпохи мы убеждаемся, кроме того, что при массовом (т. е. оптовом) социальном заказе на новое словопроизводство создаются не только отдельные новые слова, но и новый специфический прием (или приемы) словообразования²: это рецепты так называемого аббревиатурного словообразования (по типам: *Совнарком, РСФСР, нэл* и их разновидностям), каковое и вошло, следовательно, в качестве черты революционной эпохи в систему русской морфологии (и словообразования в частности). Вполне естественно поэтому, что в области словаря (и фразеологии, т. е. теснейшим образом примыкающей к словарю области языковых фактов³), прежде всего и сознательнее всего, сказалось влияние революции на русский, как и на прочие языки СССР. Достаточно перелистать книгу Селищева «Язык революционной эпохи», чтобы убедиться, что 99% собранных автором фактов относятся именно на долю словаря.

Не что иное, как именно словарь делает язык нынешнего молодого (комсомольского) поколения языком непонятным для обывателя с языковым мышлением 1913 года (без всякого сомнения, это можно утверждать, например, для того отрывка, который в качестве образца комсомольского диалога привел Селищев из «Комсомольских рассказов» М. Колосова на 207—209-й страницах своей книги), и если мы вспомним, что в разграничении понятий языка и диалекта лингвистика пользуется именно критерием взаимной понимаемости или непонимаемости, то мы будем в праве противопоставлять язык 1913 года и современную комсомольскую речь друг другу уже не как два диалекта одного и того же языка, а как разные языки.

Этим будет мотивироваться и то преимущественное значение, которое будет придаваться ниже словарю (т. е. различиям словарного порядка) в дифференциации и характеристике социально-групповых диалектов русского языка нашей эпохи.

Само собой разумеется, что это не есть всегда обязательный принцип в подходе к социально-групповым диалектам.

² Как всегда, прием этот не создается из ничего, без источника и шаблона в фактах предшествовавшего периода. Таким шаблоном для аббревиатур революционной эпохи явились телеграфные сокращения военного времени и телеграфный код.

³ Отличающейся от словаря (согласно моему пониманию термина «фразеология») лишь количественно и стоящей к нему в том же соотношении, в каком синтаксис стоит к морфологии; под фразеологией я понимаю область лексических значений словосочетаний, под словарем — сферу лексических значений слов, под синтаксисом — совокупность формальных значений словосочетаний и под морфологией — формальных значений слов.

В пьесе Б. Шоу «Пигмалион», построенной на том, что представительница низших общественных слоев, систематически подделав свое произношение, успешно выдает себя за герцогиню, в основу социально-диалектического расслоения ложится фонетика. И действительно, в социальной диалектологии английского языка, даже в пределах социально-групповых говоров одного только Лондона, можно построить дифференциацию только на фонетике. В кокнейском (вульгарном) диалекте Лондона произошел, например, уже свой специфический процесс (типа *Lautverschiebung*) в области вокализма: звук, промежуточный между *a* и *e* (например, *a* слова *man*), перешел в звук *e*, и, наоборот, звук, промежуточный между *a* и *o* (например, в слове *but*), продвинулся в сторону того звука, который мы видели в слове *man* (в нормальном его произношении); аналогичные сдвиги постигли и качество других гласных; это значит, что данный социально-групповой диалект ушел уже на целый этап историко-фонетического развития вперед по сравнению со стандартным (или литературным) говором интеллигенции того же Лондона.

Равным образом, в эстонском языке разница между фонетической системой интеллигенции и фонетическими системами простонародья (независимо от территориально-диалектических различий) выражается, между прочим, в совершенно особом характере различения категорий согласных по гортанной работе (например, «полузвонкие», характерные для языка простонародья, у интеллигенции того же района заменены «звонкими», приближающимися во всяком случае к русским *б, д, г*, и т. д.), не говоря уже о консерватизме общей фонетической характеристики слова у простонародья, обнаруживающейся в подстановке глухих вместо звонких в начале слов и начального (вместо неначального) ударения в заимствованных словах (последние две черты, в общем, могут быть сравнимы с русской простонародной заменой *нэ* через *не, дэ* через *де, тэ* через *те* и т. д. в таких словах⁴, как *демон, тема* и др.).

Далеко не то у нас, где фонетические отличия гораздо больше относятся к характеристике территориальных, а не социально-групповых диалектов. Фонетических различий между социально-групповыми говорами у нас значительно меньше, чем в английском (и даже, вероятно, чем в эстонском). Может быть, это объясняется относительно недавним возникновением тех социальных групп, которые существовали к концу петербургского периода истории: во всяком случае если мы сравним в этом отношении Россию с Англией, то увидим, что языковая дифференциация по социальному призна-

⁴ Иностранного происхождения.

ку началась у нас значительно позже. В XVIII в. дворяне, в доминирующем большинстве случаев, сидели у себя в деревне и говорили на местных диалектах; источник общерусского языка в XVIII в. был лишь столичным языком, языком канцелярии по преимуществу. Значит, весь процесс образования общерусского языка интеллигенции ложится лишь на XIX век. И значительно позже — уже на пороге нынешнего века, вероятно, — открывается возможность говорить об общерусском языке простонародья как о социально-групповом диалекте, отличном от языка интеллигенции, да даже и в настоящее время мне приходится доказывать существование этого языка (общерусского языка простонародья, в частности городского пролетариата). В Англии, конечно, была совершенно другая историческая ситуация — с относительно весьма древней формацией классовых диалектов.

Мне могут возразить, правда, указанием на мое же сравнение с Эстонией: эстонская интеллигенция ведь тоже совсем молодое явление, конечно, более молодое, чем русская интеллигенция (хотя сравнение общекультурного уровня массы будет, конечно, в пользу Эстонии, а не в пользу царской России). Но тут играли роль вполне специфические условия: обязательная двуязычность (сначала, а в эпоху «обрусения» — трехязычность) эстонской интеллигенции ставила ее в совершенно специфические в языковом отношении условия, и та роль, которую в Эстонии сыграл в данном отношении немецкий (главным образом) язык, никак не может идти в сравнение с влиянием французского на язык русской интеллигенции (хотя можно проследить, как мы ниже увидим, и влияние французского в русской интеллигентской фонетике, только факты этого влияния гораздо менее значительны, чем факты иноязычного влияния в фонетическом строе эстонского интеллигента).

И вот, исходя именно из относительно небольшой роли фонетики в языковой дифференциации русского общества, я откажусь от мысли строить классификацию социально-групповых диалектов на фонетических признаках и взамен этого просто отмечу те фонетического порядка признаки, которые в этой дифференциации все-таки имеют место.

«Кто говорил по телефону?» — «Не знаю, но интеллигентный голос»... Каковы же отличительные признаки этого интеллигентного голоса? Оказывается, это вопрос вовсе не легкий, и ответ на него должен получиться сложный. Легче всего констатируются, разумеется, те признаки говора неинтеллигенции, которые обнаруживаются в произношении определенных отдельных слов и находят объяснение в специфическом составе системы звукопредставлений. Сюда можно причислить следующие различия между фоне-

тической системой, типичной для интеллигента, и дефективной по отношению к ней фонетической системой простонародья.

Отсутствие третьего *л*. В описании русского консонатизма обыкновенно называют два звука (или два звукопредставления) типа *л*: 1) *л* — твердое (совершенно неправильно называемое иногда велярным: можно или нет вообще произносить «велярное», образованное латеральной заднеязычной смычкой *л*, — это вопрос другой и для меня неясный, но во всяком случае ни один из представителей общерусского языка заднеязычной велярной смычки при артикуляции твердого *л* не проделывает), т. е. латеральный переднеязычный (обычно унилатеральный и, по-видимому, в большинстве случаев с проходом вправо от языка) согласный звук, специфической чертой которого служит сильное опущение средней части языка, т. е. той именно передней зоны (спинки языка), которая, наоборот, приподнимается к нёбу при звуках *и* (*i*), *й* (*j*) и всех «мягких», т. е. палатализованных согласных; и 2) *ль* — мягкое, т. е. аналогичный по основной артикуляции первому звуку латеральный переднеязычный согласный звук, отличающийся от него тем, что средняя часть языка (т. е. та передняя часть *dorsal*, которая была при твердом *л* опущена) здесь сильно приподнимается к противоположащей ей зоне твердого нёба. Оба эти звукопредставления вполне несвойственны главным западноевропейским системам: немецкой, французской, английской да и вообще вряд ли где, кроме славянских и именно польского⁵ и восточнофинских языков⁶, повторяются в подобном соотношении.

Но в интеллигентской звуковой системе русского языка имеется еще третья фонема: *л* «среднее», или *л* западноевропейского типа — вроде французского *l* в *la lune*, немецкого *l* в *Land* и английского *l* перед гласным, например в *law*, *love* и т. д. В русском интеллигентском словаре этот звук встречается прежде всего в названии музыкальной ноты *la* (не *ля*, и не *ла*, но именно *la*), а также в ряде «иностранных» слов, вроде *локомобиль* (далеко не у всех, однако, со средним *л*), *локатив* (грамматический термин; в моем, например, произношении здесь всегда среднее *л*). Довольно распространено было в кругах деятелей освободительного дви-

⁵ Хотя, строго говоря, польское твердое *л* нельзя в физиологическом отношении полностью отождествлять с русским *л*.

⁶ *Л* твердое, правда, встречается в большинстве турецких языков, но зато соответствующий ему «мягкий» сингармонистический вариант существенно отличен от *ль*; в символах МФА типично турецкие варианты выразятся как *l'* и *l*, а русские фонемы — как *л* и *л'*. Английское *л* твердое на конце слога — не фонема, а комбинаторный вариант фонемы *л*.

жения произношение *социал-демократ* именно со средним *l* (что и соответствует немецкой форме слова: *Sozial-demokrat*), хотя рядом с этим произносилось и *ль* «мягкое» (*l'*), и при том как тот, так и другой фонетический дублет графического *социаль-демократ* относятся здесь уже далеко не к современной эпохе, а, вероятно, к первому десятилетию нашего века, главным образом. Позднее завоевывает право гражданства уже форма с «твердым» *л*: *социал-демократ* (форма, являющаяся, следовательно, уже не устным, как *социаль-демократ*, а письменным заимствованием из немецкого: *Sozial-demokrat*).

Как видно из этих четырех словарных примеров, сфера распространения *l* «среднего» далеко не постоянна и сильно колеблется в зависимости от профессиональных и индивидуальных особенностей данного индивидуального говора русского интеллигента: если мы исключим название ноты *la*, где произношение со средним *l* является обязательным именно для всего данного социально-группового диалекта (языка интеллигенции дореволюционной⁷), то набор остальных примеров (слов со средним *l*) будет варьироваться в зависимости от профессиональных черт в словаре данного индивидуума: например, у меня в числе примеров на среднее *l* фигурирует слово *локатив* (*lokat'if*), но у представителей других специальностей или само слово *локатив* будет отсутствовать, или они будут читать и произносить его с «твердым» *л*. Но для нас в данном случае интересен не перечень слов, произносимых (всеми или не всеми интеллигентами) со средним *l*, а само наличие этой фонемы (звукотребования), как один из фонетических признаков данного социально-группового диалекта. Важно отметить, что в первом из приведенных мною примеров в произношении ноты *la*, наличие или отсутствие среднего *l* именно и служило критерием «интеллигентского выговора»: певицу, которая произносила вместо *la* или *ла*, или *ля*, сразу определяли как «не нашего поля ягоду».

Происхождение этой (как и других ниже указываемых) черты интеллигентской фонетики объясняется, понятно, влиянием иностранных (западноевропейских) языков, знакомство с которыми (как и употребление большинства по крайней мере «иностранных» слов) было специфической привилегией интеллигенции. Усвоенное на правах иностранного звука *l* «среднее» и могло, таким образом, сделаться отличительным

⁷ Ср. ниже о невозможности отождествить понятие «языка интеллигенции» как стандартного языка дореволюционной эпохи со стандартным языком современности, несмотря на то что мы к нему прилагаем наименование «языка красной интеллигенции».

фонетическим признаком интеллигенции — при отсутствии среднего *l* в массовом русском произношении, разумеется⁸.

К таким же «иностранным» (и, по всей вероятности, именно французским — с точки зрения происхождения) чертам русской интеллигентской фонетики принадлежали и два лишних гласных звукопредставления:

1) *о*, т. е. звук французского *oeuf*, *coeur* и т. д.; в современном языке эта фонема употребляется, например, в слове *блёф* (где имеется в свою очередь и «среднее» *l*, о котором мы только что говорили выше). Социальную значимость этого фонетического признака мы легко можем проверить на той оценке, которую мы невольно даем отличному от стандартного произношения данного слова произношению «блеф» в виде *bl'of* или *bl'ef* и т. д.

Блёф, конечно, уже нормальное русское слово с точки зрения его современного употребления в русской речи. Но фонеме *о* интеллигенту надо было иметь на запас прежде всего для «потенциально-русских» слов, т. е. таких французских и немецких слов, которые легко и часто употребляемы были им в составе русских фраз.

2) *у*, т. е. звук типа французского *u* (например, в слове *lune*), немецкого *ü* (*Tür*). Звукопредставление это опять-таки ассигновано было для французских (а отчасти, пожалуй, и немецких) слов в русской речи⁹, а с другой стороны, и для произношения греческих слов, поскольку греческие (как и латинские) термины в своей стандартно-классической форме¹⁰ опять-таки могли фигурировать в интеллигентской речи, по крайней мере в речи на сугубо научные темы. И тот, кто не мог правильно (уже с русской интеллигентской точки зрения), а не с точки зрения иностранной фонетики произнести французское или греческое слово, кто вместо французского *tu* (*ty* в фонетической транскрипции) произносил *тю* (*t'u*), не достоин был называться интеллигентом по своим языковым признакам.

Этими тремя фонемами (в качестве дополнительных к массовой русской системе и характерных для интеллигент-

⁸ Отмечу, кстати, что в тех случаях, когда хорошее знание русского языка было связываемо с представлением образованности (или интеллигентности), как это имело место в бывшем Прибалтийском крае, критерием этой образованности или обрусения — для латыша, например, — служило не наличие *l*, а, наоборот, *л* твердого, как специфического русского звука (умением произносить твердое *л* обладали в массе только те латыши — из Витебской, например, губернии, — которые находились в состоянии двуязычия, владея до выучки русскому языку и латышским и польским).

⁹ Ясно, что сама потребность в этих словах для русской речи была уже признаком «интеллигентности».

¹⁰ Т. е. в том виде, как они заучивались в бывшей классической школе.

ской системы фонемы) мы, по моему мнению, в праве и ограничиться. Правда, конечно, отдельные из представителей русской интеллигенции или «высшего общества» (которому — в начале XX в. — мы имели основание, строго говоря, отказать в признаке интеллигентности), употребляя французские или английские слова, употребляли в них прочие специфические звуки, отсутствовавшие в русском произношении, например английские звуки *th*, правильное произношение которых было, однако, редкостью для упомянутых русских групп, так что для среднего интеллигента они уже не были характерны. Исключение представляет собой лишь общее представление категории носовых гласных, т. е. умение произносить «русский *n* как *n* французский». Но тут нужны оговорки: во-первых, о точном перенятии (опять-таки имею в виду среднего интеллигента) французской серии четырех носовых гласных (*in, on, an, un*) не может быть речи, — весьма часто четвертый из них (франц. *un*) вовсе не умели произносить; во-вторых, весьма нередко произносили (как немцы произносят во французских словах) не носовой гласный как таковой, а сочетание «гласный+заднеязычный носовой согласный».

Будем мы или нет подыскивать еще подобные иностранные признаки интеллигентской фонетики, мы уже можем сделать вывод о том, что наиболее резкие, т. е. состоящие в увеличении числа звукопредставлений, признаки интеллигентского языка происходят именно из иностранных языков. Заманчиво было бы искать объяснения и некоторых других, более мелких черт фонетики данного социально-группового диалекта из того же (именно иностранно-языкового) источника.

СУБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ВОСПРИЯТИЙ ЗВУКОВ ЯЗЫКА

§ 1

Фонемы и тому подобные элементарные фонологические представления (например, акцентуационные представления¹, поскольку они в данном языке так же способны дифференцировать слова, как представления гласных и согласных²), настолько тесно ассоциируются у представителя каждого данного языка с его апперцепционной деятельностью (т. е. с актами восприятия слышимой речи), что он склонен бывает производить привычный для него анализ на свои элементарные фонологические представления (фонемы и т. п.) — даже в отношении слышимых им слов (или фраз) чужого языка, т. е. языка с иной системой элементарных фонологических представлений; иначе говоря, слыша чужое незнакомое слово (или вообще отрезок чужой речи, по своему объему способный быть схваченным слуховым вниманием), слушающий пытается найти в нем комплекс (т. е. последовательный ряд) своих фонологических представлений, т. е. разложить на свои фонемы, и даже сообразно своим (т. е. присущим родному языку слушающего) законам сочетаний фонем. Расхождения между восприятием и фонологическим представлением данного слова в языке говорящего могут распространиться при этом не только на качественную характеристику отдельных фонетических представлений (фонем и т. п.), но даже и на число фонем, находимых в данном комплексе (слове). Приведем примеры:

1. Первый пример: слыша русское произнесение слова *так* (*tak*), японец воспринимает этот комплекс как сумму не трех (как в русском языковом мышлении), а четырех звуков: он воспримет это русское *так* (*tak*) как двусложный комплекс *taku*, и если мы попросим его повторить за нами это слово, он произнесет: *!taku* или *!takɨ*.

¹ Как экспираторно-акцентуационные (например, в русском), так и музыкально-акцентуационные (например, в японском).

² Ср., например, дифференциацию таких русских слов, как *замо́к* и *замо́к*, *стра́ны* (им. пад. мн. ч.) и *стра́ны* (род. пад. ед. ч.) или аналогичную же, но на моменте музыкальной акцентуации основанную дифференциацию следующих западнояпонских слов: *'hana* 'цветок'; *'hana* 'нос'; *ka'sa* 'колпак', *'kaca* 'сифилис', *'keisa* 'объем'; *a'sa* 'конопля', *asa* 'утро' и т. п.

Такая же судьба должна будет постигнуть каждый почти русский согласный³ на конце слога (или вообще в положении не перед гласным): японское восприятие подставит вместо данного согласного целый слог — из согласного и гласного (причем гласным будет *u* или *i* или же — реже, и при особых на то условиях — *o*). Таким образом, русск. *там* (*tam*) будет воспринято и повторено японцем как *!tamu*, русск. *путь* (*put'*) как *puçi* (*!puçi* или *!puçi*), русск. *дар* (*dar*) как *!daru*, русск. *корь* (*kor'*) как *!kor'i*, etc.

Позволив себе остановиться на одном из относящихся сюда случаев: европейское слово *drama* ('драма') воспринято было и отразилось в японском словаре в двух формах (вариантах): 1) *dorama*, 2) *zurama* (*ʒ-dz*). В обоих вариантах мы констатируем на один звук (на одно элементарное фонологическое представление) больше, чем в европейском прототипе этого слова (*drama*): вместо пяти звуков в японских формах — шесть звуков (фонем), добавленным оказывается гласный *o* или *u*. Объясняется это, конечно, как и все вышеприведенные примеры, присущим японскому языковому мышлению «законом открытых слогов», согласно которому согласный звук мыслится произносимым (и возможным) только в положении перед гласным. Поэтому и согласные чужого языка, находящиеся в положении на конце слога или в начале слога, но перед другим согласным, воспринимаются японцами как отдельные слоги — из данного согласного и гласного, причем на место нуля гласного японское языковое мышление подставляет здесь обычно свои наиболее краткие гласные фонемы — узкие гласные *u* и *i*: гласный *u* — после «твердого» (не палатализованного), а гласный *i* после «мягкого» (палатализованного) согласного. Исходя из этого, мы ожидаем, что слово *драма* (*drama*) должно было быть воспринято японцем как *durama*! Так бы оно и было, если бы мы имели дело с представителями тосаского японского диалекта (или подобного ему в данном отношении), где благодаря относительной консервативности этого диалекта по сравнению с токиоским (стандартным) и другими японскими диалектами сохранилось еще древнеяпонское слоговое сочетание *du* (как и слог с соответствующим глухим согласным — *tu*).

Но в большинстве японских говоров, в том числе и в стандартном японском языке, согласный *d* (как и *t*) стал не-

³ За исключением лишь *й(j)* и *н(n)*, которые в таких, например, комплексах, как *дай* (*daj*), *лента* (*l'enta*) и т. п., могут найти себе соответствие в японских представлениях: 1) неслогового *i*, 2) носового в качестве конечного элемента дифтонга, а также и некоторых других согласных, но в совершенно специальных (и редких) позиционных условиях; останавливаться на подобных вполне исключительных случаях нам нет надобности.

возможен в положении перед *u* — благодаря историко-фонетическому переходу древнего слога **du* в *zu* (точнее *zu/zu*). Следовательно, при заслушании слова *драма* (*drama*) японец уже не может подставить вместо начального *d* слог *du* (ибо в его собственном языке представление этого слога уже отсутствует), и ему остается выбирать поэтому между двумя ближайшими (к комплексу *du*) слоговыми комплексами: 1) *zu* — слог, являющийся историческим заместителем слога **du* в японских словах, или 2) *do* — слог, содержащий тот же согласный (*d*), что и в воспринимаемом чужом слове (*drama*), но зато обладающий уже не гласным *u*, который обычно подставляется вместо нуля гласного в чужих словах (после «твердого» согласного), а более длительным (отнюдь не стремящимся к нулю) гласным *o*, который, следовательно, менее удобен для данной цели (для подстановки на место нуля гласного).

Отсюда понятно существование двух дублетов: *zurama* (= *dzurama*) и *dorama*; причем каждый из этих дублетов имеет и свое преимущество перед другим достоинство и, наоборот, свой недостаток: в *zurama* согласный не равен европейскому *d* (но зато вместо нуля гласного взят кратчайший из японских гласных), в *dorama* с согласным дело обстоит благополучно, зато слишком велико различие между гласным *o* (одним из наиболее устойчивых и отнюдь не редуцирующих японских гласных) и нулем гласного в европейском прототипе слова (*drama*). Я помню, как в 1916 г. один японец спрашивал меня и моего ученика Ореста Плетнера: «Как правильнее произносить (т. е. что ближе к европейскому слову): *zurama* или *dorama*?» — «Ни *zurama*, ни *dorama*, а *drama* (драма)», — отвечает Плетнер. «Ага, значит, *dorama*», — решил японец и успокоился (т. е. в произношении *drama* он все-таки услышал один из своих дублетов — именно *dorama*, ибо никак не мог услышать того, что чуждо его языковым навыкам: сочетание двух согласных *dr* без гласного между ними).

2. Второй пример: кореец, слыша русские слова с начальным *s* (*s*) перед другим согласным, например слова *старик* (*starik*), *сказал* (*skazal*), повторяет их без этого начального *s* (*tarik*, *kazal*), т. е. воспринимает данные слова, как состоящие не из шести (как в русском языковом мышлении), а из пяти звуков (фонем). Объясняется это, конечно, тем, что комплекс «*s*+согласный» (*st*, *sk* и т. п.) вообще отсутствует в современном корейском языке — притом не только в начале слова (как и в финском, эстонском: напомним по этому поводу фонетический анекдот «Кому репки, тому репки. Кому лаби, тому лаби»). Но в какой бы то ни было позиции древнекорейские сочетания **st*, **sk* и т. п.

дали в современном корейском языке долгий согласный: *t*;, *k*: (*tt*, *kk*) и т. п. Не имея привычки слышать *s* перед согласным, кореец поэтому просто ничего не слышит перед звуками *t*, *k* в *старик*, *сказал* и т. п.

3. Третий пример. Узбек⁴, слыша русские слова, начинающиеся с двух согласных, в частности, например, слова, первый согласный которых смычный⁵, например *гром* (*grɔm*), *плеть* (*pl'et'*), *пшено* (*pʂenɔ*) и т. п., воспринимает вместо этих двух согласных комплексы из трех своих узбекских фонем: согласный + узкий гласный типа *i* (*i* в ташкентском, *i* в самаркандском узбекском) + второй согласный, т. е. слышит в данных словах на одну фонему больше, чем их мыслит себе русский в составе каждого данного слова: в слове *гром*, воспринимаемом как *girɔm* (или *girɔm*), пять фонем вместо русских четырех; в *плеть*, воспринимаемом как *pilet* (resp. *pilet*), тоже пять вместо русских четырех и т. д. Правда, если мы попросим узбека повторно произнести вышеуказанные слова, мы в его беглом (обычного темпа) произношении уловим лишь относительно незначительную разницу от нашего (русского) произношения: воспринятое им *girɔm* (в ташкентском) или *girɔm* (в самаркандском) будет произнесено как *g'irɔm* (resp. *g'irɔm*); воспринятое им *pilet* или *pilet* будет звучать как *p'ilet* (*p'ilet*), т. е. с весьма редуцированным и кратким гласным элементом между первым и вторым согласным: а в шестифонемном *piʂinɔ* или *piʂinɔ* мы можем даже вовсе не уловить — в беглом произношении узбека — гласного элемента (*i*, resp. *i*) между *p* и *ʂ*, так как слово это будет повторено в виде *p[ɪ]ʂinɔ* (resp. *p[ɪ]ʂinɔ*), т. е. не только с максимальной количественной редукцией, но и с оглушением гласного первого слога.

Тем не менее в сознании узбека данный гласный (*i*, *i*), а следовательно, и обусловленный им слог будет налицо: слова *гром* (*g'irɔm*, *g'irɔm*) и *плеть* (*p'ilet*, *p'ilet*) будут созnavаться как двусложные, а слово *пшено* будет созnavаться как трехсложное; в этом нетрудно убедиться на основании того факта, что при медленном произношении ясно могут быть выделены отдельные слоги: *gi+rɔm* (resp. *gi+rɔm*), *pi+let* (resp. *pi+let*), *pi+ʂi+nɔ* (resp. *pi+ʂi+nɔ*). Если мы

⁴ Допустим, что узбек этот является представителем ташкентского или самаркандского говора (с этим допущением мы можем быть более или менее точными в транскрипции воспринимаемых данным узбекским языковым мышлением русских комплексов).

⁵ Несколько отличной может быть (и обычно бывает) судьба русско-го анлаутного комплекса «спирант + смычный» (например, *Сталин* = *istælin*, *istælin*). Но по существу здесь опять-таки налицо вставка гласного звуко-представления (*i*, resp. *i*).

сопоставим апперцепцию последнего из этих слов с узбекским словом *piširmoq* (resp. *piširmoq*) 'варит', мы не найдем никакой разницы ни в осуществлении (фонации), ни в фонетическом представлении первых слогов этих слов: *piširmoq* (resp. *piširmoq*) точно так же произносится — при обычном темпе — в виде *p[i]širmoq* (*p[i]širmoq*) с почти неуловимым глухим гласным (*i*, resp. *i*) в первом слоге, а при медленном, раздельном произношении (например, когда узбекский учитель диктует это слово ученикам) может быть явно разложено на три слога *pi+šir+moq* (resp. *pi+šir+moq*).

Объясняется это явление общеизвестным законом турецкого (в частности узбекского) языкового мышления о невозможности двух согласных в анлауте (в начале слова), т. е. отсутствием общего фонетического представления слова с двумя начальными согласными. Этот же закон, с другой стороны, благоприятствует и редукции гласного *i*, resp. *i*, в первом открытом слоге (напомним, что гласный *i*, resp. *i*, является наиболее кратким гласным узбекского вокализма): ввиду принципиального отсутствия комплексов *gr*, *pl*, *pš* и т. п. в начале слова нет никакой опасности для смешения анлаутных *g'r*, *p'l*, *p'š* (*g'r*, *p'l*, *p'š*) и т. п. с *gr*, *pl*, *pš* и т. д. (ибо последние, как только что было сказано, в языке вовсе отсутствуют и невозможны для узбекского представления анлаута).

Чтобы не разнообразить до чрезвычайности транскрипцию в передаче турецких звуков, соответствующих узбекскому ташкентскому *i*, самаркандскому *i*, мы ограничились здесь рассмотрением лишь узбекской апперцепции русских слов с двумя согласными в анлауте, но то же самое явление (вставку гласного звукопредставления между обоими согласными) мы могли бы наблюдать и почти у всех турок (казаков, киргизов, азербайджанцев и т. д.), а с другой стороны, и у таджиков, у которых общие нормы представления анлаута совпадают в данном отношении с узбекскими, т. е. точно так же не допускают двух согласных в анлауте.

Позволим себе иллюстрировать только что описанное явление узбекской апперцепции двух начальных согласных одной ссылкой документального характера — именно цитатой из стенной таблицы, поясняющей звуковые значения букв узбекской латиницы и составленной, вне всякого сомнения, узбеком. Чтобы объяснить звуковое значение букв *i* и *ь*, таблица говорит следующее: «*i* произносится как тот звук, который произносится, но не пишется между *к* и *л* в слове *ключ*, *ь* произносится как тот звук, который слышится, но не пишется в слове *много* между *м* и *н* (Примечания 4 и 11

к «*duwal əlifbesi*», өзпәғр, Самарканд [год не указан, вероятно—1928 г.]⁶.

На этом мы и закончим примеры количественных расхождений (т. е. расхождений по числу фонем) между осознаниями одного и того же звукокомплекса (слова) в двух разных языковых мышлениях, хотя не так трудно было бы привести еще несколько десятков подобных примеров. Перейдем к еще более часто наблюдаемым — качественным расхождениям в фонологической оценке одного и того же звукокомплекса (в двух разных языковых мышлениях).

§ 2

1. Первый пример: в составе японской фонологической системы (во всех японских говорах) на месте двух различных согласных в фонемах европейских языков *l* и *r* имеется только одна фонема, в подавляющем большинстве случаев осуществляющаяся в виде *r* переднеязычного, но не дрожащего и мгновенного (т. е. одноударного): лишь весьма редко, в некоторых вполне исключительных случаях произнесения слов, где данная японская фонема *r* оказывается в соседстве с губным гласным (*u* или *o*), удается услышать ее осуществление в виде *l*: мне лично пришлось услышать это в следующих словах в токиоском говоре⁷: 1) *hakularkai* (вместо *hakurarkai* 'выставка' — произношение ребенка; 2) *lo:le:* (вместо *ro:re*) — эпитет морской воды — в произношении токиосца г. Одзаки (причем слово это повторялось несколько раз при чтении одной «танка», и почти каждое из его повторений я воспринимал именно так: *lo:le:*, а не *ro:re*); и наконец 3) третий случай — но уже не в произношении токиосца, а у нагасака по происхождению (из деревни Мие) г. Токунага: *ko:lu* вместо *ko:ru* (имя героя китайской истории); здесь *l* вместо *r* воспринималось мною по крайней мере три раза (т. е. при трехкратном по крайней мере повторении этого слова).

Как видно из перечня встретившихся мне случаев восприятия *l* вместо японского *r*, они настолько редки, что их (если не иметь в виду произношения, свойственного северо-восточным говорам — см. примечание 1) можно просто игнорировать в качественной характеристике данной японской фонемы (*r*).

⁶ В неиризованных говорах узбекского языка букве *i* соответствует гласный типа *i* (*u*), а букве *ь* — гласный типа *и* (*vi*). В иризованных же говорах обем буквам соответствует одна фонема: *i* (точнее — *i mutabile* в ташкентском, *i* в самаркандском).

⁷ Сделаю оговорку, что не буду иметь здесь в виду явлений, свойственных северо-восточным говорам, в частности Аомори, где, по-видимому, случаи восприятия в виде *l* будут значительно более часты, чем в «нормальных японских» говорах.

Иначе говоря, можно утверждать, что вместо европейско-го различия двух фонем *l* и *r* японская языковая система имеет только одну фонему, и именно звукопредставление типа *r*⁸.

В связи с наличием этой единой фонемы *r* (и отсутствием, следовательно, различия между *l* и *r*) японец в виде общего правила воспринимает каждое *l* в произносимом европейцем европейском слове как свое *r*⁹, например: *raïon* вместо английского *lion* (*laiən*), *pas^urac'i* вместо русского *послать* и т. п. Соответственно этому, разумеется, и русское *ль* (*l'*) воспринимается как японское *r'*.

Однако при некоторых особых исключительных условиях можно наблюдать и иное восприятие, т. е. подстановку других звуков вместо русских *r*, *r'*. Приведу один случай. В Цуруге одна японка спросила меня, как называется пароход, на котором я должен был выехать во Владивосток. «Симферополь», — отвечал я, произнося это слово — как это обычно для беглого темпа речи — с пропуском последнего гласного (*o*) и с оглушением конечного *l'*, т. е. в виде *s'imf'eropl'*. Моя собеседница тотчас повторила это название в виде *s'imperopi*, и сколько раз мы (я и мой спутник, тоже русский) ни повторяли слово *Симферополь*, она предлагала нам на выбор только два своих дублетных восприятия этого слова: или *s'imperopi*, или *s'imperopuri* (этот последний дублет соответствовал, конечно, тому ее восприятию, где она уже узнавала в нашем *l'* (или точнее *l'*¹⁰) свое *ri-r'i* (а не приравнивала его к своему гласному *i*); вставка *u* между *p* и *r'*, как и вставка *i* после *r'*, естественно, вытекала, разумеется, из того «закона открытых слогов», о котором мы уже упоминали выше¹¹.

2. Второй пример: в соответствии двум из гласных фонем французской звуковой системы — *e* (например, в *lait*, *dais*, *j'aurais*) и *e* (в *lé*, *dé*, *j'aurai*), русская система звукообраз-

⁸ Правда, кроме «твердого» *r* в японском (по крайней мере в стандартном языке и в большинстве японских говоров) имеется еще соответствующая (парная) «мягкая» фонема — *r* палатализованное. Но это звукопредставление соответствует, в свою очередь, двум фонемам русского языка (который, так же как и японский, обладает парными категориями «твердых» и «мягких» согласных): *рв* и *ль* (т. е. *r'*, *l'*).

⁹ Поэтому для японца и составляет такое большое затруднение изучить распределение — если не звуков, то по крайней мере букв *r* и *l* в европейских словах (при изучении европейского языка, например, немецкого или русского). Это обстоятельство влечет за собой даже издание таких, например, пособий, как «Учебник немецкого языка с добавлением специальных упражнений на различение *r* и *l*».

¹⁰ Так как я, насколько я помню, сознательно произносил все время *l* оглушенное (а не звонкое, как было бы при намеренно отчетливой фонации).

¹¹ См. § 1, пример 1 (на стр. 237).

личений 'знает только одну фонему — именно *e* (несмотря на то что в зависимости от комбинаторных условий, в частности от соседства с «мягкими» или, наоборот, с «твердыми» согласными, эта русская фонема может иметь несколько комбинаторных вариантов, например в *плеть, цепь, цен*).

Благодаря этому большинство — из числа поверхностно знакомых с французским языком — русских в своем произношении французских слов не различают французских *е* и *e*, подставляя вместо того и другого гласного свою единую русскую фонему *e*, т. е. произнося *dais* [dɛ] и *dé* [de] одинаково — в виде *de*, произнося *lait* [lɛ] ('молоко') в виде *le* и т. д.

Примечание. У тех же, кого у нас принято считать «плохо произносящими» по-французски, к этому присоединяются и еще более грубые дефекты: 1) произношение перед *e* (употребляемым и вместо французского *е*, и вместо французского *e*) «мягких», или палатализованных согласных; 2) подстановка русской фонемы *e* не только вместо французских *е*, *e*, но и вместо французских *ø*, *œ* (например, *pe* вместо *peu* [pø], *le* вместо *le* [lœ]) и пр.

3. Третий пример. Тагальцы (малайская народность на о-ве Лусоне), говорящие по-французски — в том числе и весьма бегло владеющие французским языком — подставляют свое звукопредставление *и* вместо четырех качественно различных французских фонем: *и* (в *loup, coup*), *у* (в *tu, lune*), *ø* (в *deux*), *œ* (*peur*). Та же самая замена (четырех вышеприведенных французских гласных гласным типа *и*) имеет место и в японском произношении (и усвоении) французских слов. Объясняется это (как для тагальского, так и для японского языка) примитивным составом данных вокализмов (тагальского и японского), различающих в качественном отношении только следующие пять гласных¹²: *a, i, u, e, o*.

4. Четвертый пример: представители языков, в которых отсутствует музыкальное ударение¹³, в том числе русские, совершенно не слышат ни китайского музыкального слогу-ударения (т. е. тонов), ни японского музыкального слогу-ударения.

Слова, произносимые в пекинском, например, говоре китайского языка под четырьмя разными тонами, будут казаться для русского слуха совершенно одинаковыми, если фонемный состав (из согласных и гласных звуков) этих слов будет

¹² Об особом характере японского звука *и* см. «Введение в языкознание для востоковедных вузов», т. 1, стр. 162.

¹³ Имеется в виду, конечно, музыкальное ударение, используемое в качестве признака словоразличения (а не интонация, служащая для синтаксических и эмфатических целей, например для выражения вопросительного значения фразы или сопровождающих данную фразу эмоций; подобная интонация, т. е., иначе говоря, подобная функция музыкальной акцентуации, имеет место, конечно, и в русском языке).

одинаков. Таким образом, русский на первых порах вовсе не слышит разницы между такими китайскими словами, как *та*¹ ('мать'), *та*² ('конопля'), *та*³ ('лошадь'), *та*⁴ ('ругаться'), и только после специальной, обычно довольно длительной, выучки может усвоить это различие; но и тогда это поможет ему узнавать тон (а следовательно, и значение данного слога) лишь в случаях изолированного или особо отчетливого и замедленного произношения данных слогов; в беглой же китайской речи он, за редкими, разумеется, исключениями, так никогда и не научается слышать тоны.

То же самое, и даже в большей степени, следует сказать относительно отсутствия у нас навыков к восприятию музыкального словоударения в японском языке. Такие словоразличия, которые для японского мышления оказываются столь же ясными и определенными, как, например, для нас наши различия слов *за́мок* — *замо́к* или *ста́раны* — *стра́ны*, проходили совершенно не замеченными для русского, а также и вообще для европейского (в частности, английского) восприятия; при этом невоспринятыми (а следовательно, и неизвестными для европейского японоведения) оставались не только такие — сугубо трудные — различия музыкально-акцентуационных типов слов, как существующие в западнояпонских говорах, например *a¹sa — asá*¹⁴ или *ʼa₁tui — ʼatu¹i*¹⁵, но и более или менее простое различие акцентуационных типов токиоского говора, где мы находим, в сущности, повторение тех же, в общем, музыкально-акцентуационных явлений, которые известны европейской науке из древнегреческого языка и именно аттического его говора¹⁶.

Достаточно указать, что надо было «сделать открытие» японской музыкальной акцентуации¹⁷, ибо до моих специальных исследований в этой области (и, в частности, до опубликования статьи «Музыкальное ударение в говоре г. Токио» и книжки «Психофонетические наблюдения над японскими диалектами») у русских японоведов господствовало убеждение, что в японском языке вообще нет ударения¹⁸. К этому

¹⁴ В говоре г. Киото или, например, в Хёго.

¹⁵ В говоре Тоса, но не в киотоском.

¹⁶ Именно главная общая черта, сближающая современную японскую токиоскую систему музыкального ударения с аттической древнегреческой (в отличие от значительно более сложных явлений в западнояпонских говорах), состоит в следующем: в слове ударенным (в музыкальном отношении) может быть только один краткий слог или одна мора (половина) долгого слога.

¹⁷ Точнее нескольких систем музыкальной акцентуации — в разных диалектах японского языка.

¹⁸ Автор единственной монографии по японской фонетике на европейском языке — Эдвардс (в своем «*Etude phonétique de la langue japonaise*», 1903) также проглядел существование системы музыкального сло-

присоединялось обычно следующее практическое указание: «Хотя в японском языке ударения вообще нет, но каждый долгий гласный надо произносить как ударенный».

Не трудно понять, откуда происходит это положение об ударенности каждого долгого гласного: дело в том, что в русском языке ударение (силовое, или экспираторное) неразрывно сопровождается удлинением ударенного гласного (в качестве вторичного признака его ударенности), т. е. каждый ударенный гласный оказывается более долгим, чем неударенный (приблизительно в $1\frac{1}{2}$ раза). А так как самостоятельного (не вторичного, а самодовлеющего) представления долгих и кратких гласных русский язык не имеет, то в восприятии японских долгих гласных количественный их момент (момент долготы) ассоциируется, в русском языковом мышлении, именно с представлением ударенности и, конечно, именно силовой ударенности¹⁹ данного гласного. Отсюда и получается, что русские, просто-напросто «пропуская мимо ушей» (т. е. вовсе не улавливая) музыкально-акцентуационную характеристику японского слова, склонны бывают определять японский долгий гласный как ударенный (экспираторно-ударенный) — на основании сходства этой японской долготы со вторичным признаком русского представления ударения. На практике мы, действительно, и наблюдаем, что, усваивая японские слова, содержащие в одном из слогов гласный, русские обыкновенно ставят свое силовое ударение именно на этом слоге, совершенно независимо от того, где в данном слове имелось (в японском языке) музыкальное ударение. (т. е. топовышение)²⁰.

Надо заметить, впрочем, что не для всех европейцев японская (а также и китайская) музыкальная акцентуация представляется столь чуждой и недоступной, как, например, для русских, англичан, французов, немцев. Для представителя латышского языка, фонологическая система которого также обладает музыкально-акцентуационными различиями²¹,

воударения в токиоском говоре (не говоря уже о системах других говоров) и ограничивается только приведением нескольких пар так называемых quasi-гомонимов (типа токиоск. *asa* — *a'sa* и т. п.).

¹⁹ Ибо только силовое (экспираторное) ударение и известно русскому языку.

²⁰ А оно может в японском языке быть как на кратком, так и на долгом слоге.

²¹ И именно музыкальным слогаударением, в частности — представлениями восходящей и нисходящей мелодии долгого слога; кроме того, в латышском языке есть еще один вид долгих слогов — с так называемым прерывистым ударением (см. «Введение», т. 1, стр. 119), для которого не найдется параллели в японской языковой системе).

усвоение японских акцентуационных типов слов представляет несравнимо меньше трудностей, чем, например, для русского.

С другой стороны, для японца восприятие и усвоение тагальских музыкально-акцентуационных типов (представляющих значительную аналогию японским) не составляло, как я имел случай наблюдать, никаких затруднений; но рядом с этим удивительным оказалось то, что данный японец никак не мог не только ни разу произнести, но даже и услышать тагальскую «гамзу» (*coop de glotte*, арабск. ^ء) на конце слов, т. е. тот из элементов тагальской фонетики, который для нашего, например, восприятия показался бы не в пример более явным, отчетливым и легким, чем вышеупомянутые мелодические (т. е. музыкально-акцентуационные) особенности данных слов, объясняется это опять-таки, конечно, тем, что «гамза» (*coop de glotte*) на конце слова, как и «гамза» вообще, совершенно отсутствует в системе звуковых средств японского языка, тогда как в тагальских мелодических характеристиках слов японец узнает нечто «свое родное», т. е. очень близкое к нормальным приемам словоразличения своего родного — японского языка.

§ 3

Ряд подобных вышеприведенным в § 2 примеров (на расхождения в качественной стороне звуковосприятий в двух разных языках) можно было бы продолжать почти до бесконечности (так как материалом для них может служить почти каждый конкретный случай столкновения двух разноязычных языковых мышлений); но и вышеприведенных примеров достаточно для подтверждения того положения, что звуковосприятие носит субъективный характер, бывая различным у представителей различных языков, причем эта субъективность и эти различия (в восприятии одного и того же звукокомплекса разноязыковыми мышлениями) зависит не от расовых особенностей, а от комплекса языковых навыков, приобретенных каждым данным индивидуумом в процессе усвоения его материнского (родного) языка²².

При этом расхождения между чужезычным восприятием звукового комплекса и его составом в мышлении говорящего (т. е. в том языке, к которому принадлежит данный звуковой комплекс — слово) объясняются не только отсутствием определенных фонетических единиц (в частности, фонем) в воспринимающем мышлении (как мы видели это на примере

²² И до некоторой степени и в изучении других (изучавшихся после материнского) языков, поскольку данный индивидуум оказывается, в той или иной мере, двуязычным (resp. трехязычным и т. д.).

японского восприятия европейских слов со звуком *l*: здесь в японской звуковой системе просто отсутствует одна из присущих европейским языкам фонологических единиц: двум европейским фонемам — *l* и *r* в японском соответствует только одна единица — фонема *r*): в ряде случаев бывает, наоборот, так, что число дифференцируемых фонетических единиц данного класса оказывается одинаковым и в языке воспринимающего и в языке говорящего индивидуума; и тем не менее восприятие данного звукового комплекса оказывается искаженным. Это может иметь место при несовпадении порогов различения данных фонологических единиц (несмотря на совпадение общего их числа) в обоих языках.

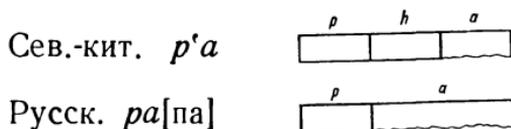
Приведем один из относящихся сюда примеров. В области различения смычных неносовых согласных по моменту гортанной работы севернокитайский язык имеет, так же как и русский (так же как и французский, английский, японский²³, узбекский и т. д.), две парных категории фонем; т. е. число дифференцируемых по гортанной работе фонем в каждом из (различаемых по месту образования) типов согласных будет одинаковым, как в севернокитайском, так и в русском, и во французском, английском и т. д. языках, например в ряду губных смычных неносовых в севернокитайском мы находим две фонемы (именно *p'*, *ᵑb*), и в русском этому опять-таки будут соответствовать две фонемы (именно *p*, *b*²⁴), точно так же, как и во французском, английском, японском и т. д. Но, несмотря на это совпадение общего числа участвующих в данной дифференциации²⁵ фонем, качественная характеристика и, в частности, пороги различения обеих севернокитайских фонем (*p'* — *ᵑb* или *t'* — *'d* и т. д.) будут совершенно не те, что в соответствующей паре русских фонем (именно *p* — *b* или *t* — *d* и т. д.). Именно севернокитайское *p'* (resp. *t'*, *k'* и т. д.) не только всегда бывает глухим, но и всегда сопровождается последующим за взрывом смычки глухим придыханием (*'*, т. е. *h*), т. е. между глухим губным *p* как таковым и гласным звуком того же слога (например, в слоге *p'a* и т. п.) здесь имеется еще известный период времени, занятый элементом *h*; и следовательно, опять-таки лишенный голосового тона; в результате в севернокитайском слоге с согласным *p'* (resp. *t'*, *k'* и т. д.) период отсутствия голосового тона оказывается значительно более длительным, чем

²³ Имеется в виду стандартный японский язык — токиоский и центральные японские говоры (но не северо-восточные).

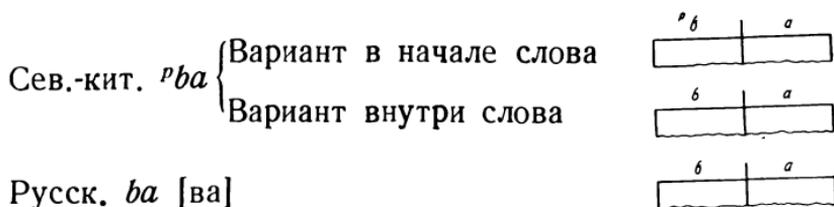
²⁴ О наличии палатализованных *p'* и *b'* в русском мы можем здесь не упоминать, так как их специфическим признаком служит уже не момент гортанной работы, а определенная ротовая (язычная) работа («среднеязычное сближение», т. е. поднятие к нёбу средней части языка).

²⁵ Т. е. в дифференциации по моменту гортанной работы.

в русском слоге *pa* (resp. *ta*, *ka*), что схематически можно выразить в виде следующего чертежа (где волнистая линия соответствует дрожанию голосовых связок, т. е. звонкому периоду, а прямая, наоборот, отсутствию голосового тона, т. е. глухому периоду).



Соотношение же между вторыми членами севернокитайской и русской пары фонем, т. е. между *pb* и *b* (resp. *'d* и *d* и т. д.) будет более сложным потому, что севернокитайская фонема (*pb*, resp. *'d* и т. д.) имеет два комбинаторных (или позиционных) варианта: 1) внутри слова, т. е. между двумя гласными, в особенности же после носового элемента дифтонга и перед гласным (например, *na-ba*, *k'an-ba*) китайская полувзвонкая непридыхательная фонема (*pb*) озвончается до полной звонкости (т. е. и в начальном своем периоде), превращаясь здесь, таким образом, в *b*; 2) в начале же слова, т. е. в независимой позиции, *pb* произносится как «полувзвонкий» (и конечно, не придыхательный), т. е. голосовой тон начинается не с самого начала согласного. Выразим соотношение этих двух, севернокитайской и русской, фонем опять-таки схематически:



Из сопоставления характеристик данных четырех фонем (сев.-кит. *p'* и русск. *p*, сев.-кит. *pb* и русск. *b*) нам не трудно представить себе, что одно и то же произнесение смычного согласного (в составе некоего звукокомплекса), в частности, например, звук *p* европейского (русского, английского или французского) типа, может быть воспринято китайцем как китайский полувзвонкий (*ph*), а русским как глухой согласный (*p*), т. е., иначе говоря, будет отнесено к разным членам данной пары фонем в каждом из данных двух языковых мышлений (китайском и русском). В действительности, мы и наблюдаем, что обычно, при восприятии русской, например, речи китаец (представитель севернокитайского диалекта) в громадном большинстве случаев вовсе не находит в ней звуков, которые подошли бы под его категорию «глу-

хих придыхательных» смычных (т. е. фонем типа p' , t' , k'): русские n , m , κ воспринимаются китайцем — и в начале и в середине слов — как свои (китайские) полувзвонкие непрдыхательные, т. е. приравниваются к фонемам $^p b$, $^t d$, $^k g$. Исключением могут быть лишь русские глухие на конце слов, где они, действительно, иногда способны бывают ассоциироваться в китайском мышлении с китайскими глухими придыхательными: примером может служить русское слово *Совет* ($sa-v'et$), воспринимавшееся северными китайцами как $sa-y\grave{a}-t'a (= sa-v\grave{a}-ta$ ²⁶).

Следовательно, русские слова *бал* и *пал* или *был* и *пыль* (а равным образом *луна* и *либо* и т. п.) будут казаться вполне одинаковыми для китайского восприятия, и поскольку китаец будет говорить по-русски, он будет вместо русских p и b (n и b) подставлять одну и ту же свою фонему — именно фонему $^p b$, причем в тех случаях, когда она будет оказываться в начальном положении, мы будем встречать в его произношении $^p b$ полувзвонкий, а внутри слов между гласными — уже озвонченный звук, качественно близкий или более или менее совпадающий с русским b (b) [то же самое мы сможем констатировать, разумеется, и для других пар русских смычных: t и d (m и d), k и g (κ и g): напомним, например, обычное у говорящих по-русски китайцев произношение слова *нету* в виде *неду* — с точки зрения китайской фонологии этот комплекс будет разлагаться на фонемы n , $i\grave{a}$, $^t d$, u , причем $^t d$, благодаря своему интервокальному положению будет осуществляться в виде d : $ni\grave{a}du$].

Как видно из этих фактов, в китайской фонологической системе звукоразличения типа « p' — $^p b$ », « t' — $^t d$ », « k' — $^k g$ » и т. д. занимают то же место, тот же сектор фонологической системы, что и различия « p — b », « t — d », « k — g » и т. д. — в русской системе, а следовательно, с этой точки зрения (т. е. с точки зрения адекватного положения в каждой из данных двух фонологических систем), севернокитайская фонема p' соответствует русской фонеме p и севернокитайская фонема $^p b$ — русской фонеме b ; севернокитайская фонема t' — русской фонеме t и т. д. Но качественная характеристика, а следовательно, и критерии (или пороги) различия обеих фонем в каждой данной паре (сев.-кит. « p' — $^p b$ », русск. « p — b ») не совпадают в севернокитайском и русском языках, и это

²⁶ Конечное a (в $sa-y\grave{a}-t'a$) объясняется, конечно, тем, что у китайца, как и у японца, отсутствует представление смычного согласного на конце слога (строго говоря, можно было бы сказать, «отсутствует вообще представление какого бы то ни было согласного на конце слога, после гласного», ибо n , ν , имеющиеся на конце китайских слогов типа $k'an$, $^k ga\grave{a}$ и т. п., являются с точки зрения китайской не согласными, а неслоговыми конечными элементами дифтонгов).

то обстоятельство и является причиной, что русская фонема — именно *p* — воспринимается обычно в севернокитайском языковом мышлении не как соответствующая ей (в вышеуказанном смысле) китайская фонема (*p'*), а как противоположный ей член китайской пары фонем (пары «*p'*—*p'b*») — именно как китайская фонема *p'b*.

Но вышеуказанным здесь можно не ограничиться: те же самые факты соприкосновения севернокитайских восприятий с русскими, английскими, французскими, японскими восприятиями фонем данного типа дают нам возможность установить еще гораздо более тонкое различие между «порогами различения» глухих и звонких смычных в разноязыковых мышлениях. Общеизвестно, что русские, слыша китайское (севернокитайское) произношение китайских слов, в виде общей нормы оценивают кит. *p'* как свое *p* (*n*), кит. *p'b* как свое *b* (*b*), на что указывает, между прочим, и традиционная (общепринятая у русских сиологов) русская транскрипция китайских слов, а с другой стороны, и случаи заимствований китайских слов массовым русским языковым мышлением (в частности хотя бы у русского населения в Маньчжурии или во Владивостоке²⁷). Англичане же, как и французы, воспринимают севернокитайское *p'b* (по крайней мере в начале слова) как глухой согласный, т. е. приравнивают его к своему (английскому, герм. французскому) *p*, что опять-таки находит себе подтверждение в английской и французской транскрипционных системах²⁸.

Одинаково с английскими и французскими воспринимают китайские *p'b*, *t'd*, *k'g* и т. д. (по крайней мере в начале слов) и японцы; между прочим, об этом свидетельствуют и японские заимствования из китайского языка, в частности заимствования той, хронологически позднейшей, категории, к которой принадлежат слова, известные одним только южно-японским говорам и взятые, без сомнения, из «мандаринского»

²⁷ Есть, правда, здесь и некоторые исключения, но все известные мне случаи их находят себе специфическую мотивировку. Так, например, сев.-кит. *tsou-ba* заимствуется русскими владивостокцами в виде *цуба* (но не *цзуба*); равным образом и кит. *t'zi-ba-ma* (неприличное слово) дает (в русской простонародной среде, находящейся в бытовых связях с китацами) *тибамо* (но не *цзибамо* или *дибамо!*). Но тут надо принять во внимание, что *tz* и *t'z* в севернокитайском — это аффрикаты, а представление звонких аффрикат (в частности $z=dz, z'=dz'$) в русском языке (по крайней мере в массовом русском языковом мышлении) вовсе отсутствует. Этим, очевидно, и объясняется, что здесь вместо китайских полувзвонких подставлены русские глухие согласные (*ц, ть, т. е. t'*).

²⁸ А для *p'* употребляется буква *p* в сочетании с апострофом. Аналогичным образом передаются, разумеется, и другие пары: кит. *t'd* (в английской и французской транскрипции *t'*, в русской *д*), но кит. *t'* (в английской и французской транскрипции *t'*, русск. *т*) и т. д.

наречия китайского языка²⁹; например, южнояпонское слово *p'a:rou*, *pe:rou*, или наконец *k^w:a:doŋ*, в разных говорах нагасакской префектуры, восходящее к китайскому мандаринскому *^pbai-luŋ* („Белый Дракон“); китайскому полувзвонкому (*^pb*) здесь соответствует японский глухой (*p*, *p'* или *k^w'=k^y*, развивающееся на данной японской диалектической почве из *p'*).

Итак, несмотря на то, что и в русском и, с другой стороны, в английском, французском и японском языках мы находим одинаковые на первый взгляд категории глухих и звонких (*p*, *t*, *k—b*, *d*, *g*), оказывается, что пороги различия этих категорий несколько отличны — в русском, с одной стороны, и в английском, французском, японском — с другой [хотя, само собою разумеется, здесь речь идет о неизмеримо меньшем различии, чем между порогами различия соответствующих категорий в китайском и в любом из выше-названных четырех языков (в русском, английском, французском, японском языках)].

Позволю себе добавить, что некоторые особенности русской (статической, а до некоторой степени исторической)³⁰ фонологии обещают дать и некоторое фактическое обоснование вышеуказанному отличию русских категорий глухих и звонких от тех же категорий английского, французского, японского языков³¹. Обратим внимание, что в русском парные звонкие фонемы на конце слова подлежат оглушению (т. е. переходу в соответствующие глухие: ср., например, *боб=бѡр*, *сад=sat* и т. д.), между тем как в английском

²⁹ Т. е. из того китайского диалекта (и на том этапе его исторического развития), когда уже существовала категория полувзвонких непридыхательных согласных (*^pb*, *^td*, *^kg* и т. д.), появившаяся в результате конвергенции древних двух категорий: звонких (**b*, **d*, **g*) и глухих непридыхательных (**p*, **t*, **k*). Две древнейшие же категории заимствований (как-то доисторические заимствования и Го-он) в данном отношении, разумеется, не могут быть показательными, ибо они относятся к тем эпохам и к тем диалектам китайского языка, где различались не две, а три категории смычных носовых: **p*, **b*, **p'*; **t*, **d*, **t'*; **k*, **g*, **k'* и т. д.

³⁰ Поскольку появление чередований звонких и глухих на конце слов (например, *b-/p*: *лба-лѡб* [loɹ]) соответствует определенному этапу в эволюции конечных слогов (когда вслед за эпохой падения конечных редуцированных гласных — в русском языке — наступает очередь для редукции предшествовавших им согласных: первый этап этой «редукции конечных согласных» и состоит в утрате звонкими согласными их звонкости). Ни французский, ни английский не дошли еще до этого этапа, но английский язык опередил здесь французский, ибо в последнем не закончен еще процесс отпадения конечного редуцированного гласного (так называемого *e muet*, т. е. факультативного *œ* в таких, например, словах, как *vive*, *vide*).

³¹ Т. е. отличием в порогах различия глухих и звонких, выразившемся, между прочим, в вышеприведенных фактах различного (у русских, с одной стороны, и у англичан, французов, японцев — с другой) восприятия севернокитайских «полувзвонких».

и французском этого оглушения конечных парных звонких не происходит [ср. англ. *-bijd*, франц. *vide=vid(æ)*].

Японский язык в данном отношении оказывается, конечно, в положении, сходном с английским и французским: оглушения конечных звонких согласных в нем быть не может, ибо представление согласного на конце слова вообще чуждо японской фонологии (а в этих случаях, где намечается — в той или другой степени — падение конечных *u*, *i*, предшествующие им звонкие согласные, например *ʒ*, еще совершенно далеки от совпадения с глухими).

Добавим сюда еще одну аналогию: турецкие языки, в частности юго-восточно-турецкие — узбекский и кашгарский оглушают конечные парные звонкие, как и русский язык. И в этих именно языках мы опять-таки, как и в русском (в отличие от английского и т. д.) встречаемся с восприятием севернокитайских полувзвонких именно в виде звонких (а не глухих); примером может служить слово, которое является распространенным именно в юго-восточной части турецкого языкового мира и которое по первому своему элементу является китайским заимствованием: совр. письм.-узб. *domulla*, в ташкентском говоре *dɔmlæ*, в самаркандском говоре *dɔmullɔ*, в казакском языке *damotda*, в кашгарском *damutta* 'учитель' [вторая часть слова арабского происхождения «мулла»; начальное же *da* (откуда в ташкентском и самаркандском — *dɔ*) — это кит. '*da* 'большой'; следовательно, буквально «большой мулла»].

§ 4

Приводить дальнейшие примеры несовпадения «порогов различения» (или критериев различения) здесь, по нашему мнению, излишне. Материал, сюда относящийся, может быть найден самим читателем, и из двойного рода источников: во-первых, из своих собственных наблюдений над всевозможными случаями столкновения двух разноязыковых мышлений (заучивание индивидуальным мышлением единичных слов чужого языка, или же обучение чужому языку без методического руководства в лице преподавателя или в виде учебника); анализ тех фактов языковой истории, которые являются результатом соприкосновения двух разных коллективно-языковых мышлений: сюда относятся, во-первых, случаи так называемых устных³² заимствований; а во-вторых, такие случаи

³² В отличие от «письменных» заимствований, где проводником слова в чужую речь служило не произношение, а письмо-книжное написание данного слова (на том языке, который был источником заимствования). Заметим, кстати, что такие японские заимствования из китайского языка, как, например, Кан-он, попадавшие в японский язык исключительно через

языковой истории, когда влияние одного языка на другой принимает подлинно массовый и систематический характер, причем достигается, следовательно, та или иная степень смешения языков (например, процесс иранизации так называемых иранизованных говоров узбекского языка) или столкновение арийского элемента, главным образом в виде санскрита, с дравидийским языковым миром в Индии (причем результатом этого столкновения является: 1) дравидизация индо-арийских языков, главным образом в области фонетики; 2) санскритизация дравидийских языков, главным образом в области словаря). Такими же примерами могут служить, разумеется, также: 1) арабское влияние на мусульманско-турецкие языки и на персидский язык, 2) китайское влияние на японский (или на корейский, или на аннамский язык).

Значимость различий в составе фонологических систем (а следовательно, и в «порогах различия» отдельных элементов этих систем) настолько велика для вышеназванных эпизодов языковой истории, что можно без преувеличения сказать: историческую фонологию праkritов (как историю арийских диалектов на дравидийской по своему этническому происхождению почве) или историческую фонологию иранизованных диалектов узбекского языка (как историю турецкой речи в устах иранского населения) можно изложить именно с вышеуказанной точки зрения, т. е. как совокупность результатов от столкновений двух принципиально различных фонологических систем, а значит, и разных критериев звуковосприятия.

Примечание. В качестве темы историко-фонологического исследования, особенно интересной по объему фонетических расхождений между скрещивающимися языковыми системами, можно смело назвать историю арийско-дравидийского взаимопроникновения языков, в частности историю санскритских заимствований в тамильском и др. дравидийских языках (или по крайней мере в одном тамильском³³). Другая тема, почти столь же богатая в вышеуказанном отношении (т. е. в смысле обилия фонетических расхождений между двумя языками), — история китайских заимствований в японском.

литературу, могут быть названы, тем не менее, не «письменными», а устными заимствованиями, ибо звуковая их сторона усваивалась не из написаний (последние носили идеографический характер, а следовательно почти вовсе не могли указывать японцу на звуковой состав выражавшихся ими китайских слов), а из их чтения вслух китайцами (или иногда — корейцами, поскольку корейцы участвовали в транспорте китайской книжной культуры в Японию.)

³³ Ибо здесь гораздо труднее ответить на вопрос: «В чем имеется сходство между тамильской и санскритской фонологическими системами», чем на противоположный вопрос: «В чем разница между ними?».

О ТРЕХ ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ ОРФОГРАФИИ

В «звуковом» (т. е. буквенном) письме обнаруживаются следующие три принципа организации словонаписаний, т. е. орфографии:

1. Принцип фонетический или, вернее, чисто фонетический, состоящий в том, что моделью словонаписаний служит лишь фонетический (звуковой) состав слов, без отклонения в сторону каких-либо других критериев.

Остальные два принципа должны пониматься не как коренная замена фонетического (звукового) критерия написаний, а лишь как допущение — в том или другом объеме — отступлений от него в сторону того или другого дополнительного критерия. Дело в том, что по самой сути буквенного, или звукового (в противоположность иероглифическому), письма подбор букв в словонаписании неизбежно будет связан, в той или другой мере, со звуковым составом слов и ни одна из письменностей данного (т. е. буквенного, или звукового) типа — даже такая письменность, как английская (максимально уклоняющаяся от чисто фонетического принципа — в сторону второго, т. е. историко-этимологического принципа), не является полностью независимой от звукового состава изображаемых в данных написаниях слов. Полной противоположностью фонетическому принципу словонаписаний является, конечно, принцип семантический, заведомо основывающийся не на звуковом составе, а на значении слова, но об этом принципе нам здесь не придется говорить, так как он ложится в основу письменностей не нашего (буквенного, или звукового), а идеографического или иероглифического типа¹.

¹ Правда, даже и в таких — заведомо идеографических, или иероглифических (т. е. базирующихся на семантическом принципе) — письменностях, как китайская, можно проследить и известные моменты фонетичности (в широком смысле, т. е. зависимости начертания от звукового состава слова); это, конечно, — общеизвестное для всех китаистов явление, и для пояснения его достаточно будет одного примера: китайская основа со значением «карп» произносится в виде *li*, т. е. сходство со словом *li* 'верста'; и вот поэтому иероглиф «карп» составляется из двух частей: 1) иероглифа «рыба» (представляющего собою эволюционировавший в течение ряда веков рисунок рыбы) и 2) иероглифа «верста». Но это лишь подтверждает

Следующий принцип, с которым нам приходится встречаться в конкретных письменностях нашего (т. е. буквенного, или звукового) типа — притом именно как с частным ограничением фонетичности письма, — это историко-этимологический принцип.

2. Историко-этимологический принцип, или так называемый принцип исторической орфографии.

В виде общей нормы письмо оказывается более консервативным, чем язык; и потому в процессах развития письмо сплошь и рядом «запаздывает», т. е. продолжает употреблять уже устаревшие, с точки зрения современной живой речи, написания. Пример: название месяца август во французском пишется, хотя и не в латинской форме *augustus*, но в той форме, которая соответствует старофранцузскому произношению [au:t]² именно в виде *août*; но современное французское произношение еще дальше сократило этот комплекс [au:t], превратив его в один звук [u]³; в результате одному (и притом краткому) гласному звуку [u], который по нормам французской графики следовало бы изобразить двумя буквами благодаря «запаздыванию» орфографии, соответствует традиционное написание *août* — из четырех букв.

Такие уклонения устаревших традиционных словонаписаний от современного произношения и являются обнаружениями историко-этимологического (или — можно просто сказать — исторического, или же исторически-традиционного) принципа орфографии.

Вполне естественно, что наиболее отклоняющимися от фонетического принципа в сторону историко-этимологического (исторического) принципа оказываются именно те из западноевропейских письменностей, за которыми числится длинный ряд веков существования: например, английская, французская⁴. Наоборот, в относительно молодых европейских пись-

ту, давно известную истину, что в реально существующих явлениях культуры, как и явлениях природы, сплошь и рядом совмещаются (и ведут взаимную борьбу) диаметрально противоположные начала. Можно, ведь, указать и на обратное совмещение: на то, что в наших письменностях — например русской и др. — имеются некоторые единичные идеограммы, или иероглифы: это, например, цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 или I, II, III, IV, V и т. д., или знаки §, № и т. п.

² В котором, следовательно, из восьми звуков латинского слова (*augustus* или в винительном *augustum*) уцелело лишь три: *augustum* > *agusto* > *aust* (ср. предшествующее нынешнему написание *aoust*) > *au:t* (ср. нынешнее написание *août*).

³ Звуки *a* и *t* перестали произноситься, а долгий гласный *u*: подвергся сокращению в *u*.

⁴ Одним хронологическим моментом, однако, причины накопления историко-этимологических черт в орфографии, понятно, не исчерпываются (в этом отношении интересно, например, проследить разницу между английской и французской орфографиями). Но останавливаться на относящихся сюда факторах в настоящей заметке у меня нет возможности.

менностях, примерами которых могут служить финская и эстонская, еще не успели образоваться более или менее значительные «отставания» письма от устной речи, т. е. признаки исторической (обнаруживающей в себе второй историко-этимологический принцип) орфографии.

Правда, мне могут сделать вполне резонное указание на то, что ведь возможно путем организованно проводимых реформ освободиться от «запаздываний» орфографии, приближая ее к состоянию современной живой речи, как это было сделано в 17-м году со старой русской орфографией. Но здесь надо поставить на вид два обстоятельства:

1) строго говоря, только в Советском Союзе — впервые в мире — систематически проводится в жизнь организованное управление национальными орфографиями. В Западной же Европе, а тем более в остальных частях света эволюция письма носила и продолжает носить стихийный характер; те отдельные случаи организованных реформ (вроде, например, столетие тому назад проведенной Вуком Караджичем реформы сербского письма), которые имели место в западноевропейской истории письма, являются лишь крупными, буквально тонущими в общем потоке неплановых и неорганизованных сдвигов;

2) проведение или непроведение орфографической реформы зависит прежде всего от интересов господствующих классов данного государственного и национального организма: если интересам пролетариата соответствует максимальная рационализация орфографии⁵, то интересам буржуазии и буржуазной интеллигенции отвечает, наоборот, сохранение обусловленных историко-этимологическим принципом трудностей орфографии. Это отлично подтверждается, между прочим, той полемикой, которая создалась в 1917 г. по поводу проекта новой русской орфографии. Кроме большевистской прессы, лишь одна газета — именно газета Максима Горького «Новая жизнь» — выступила в защиту реформы, т. е. упрощения орфографии (напечатав, в частности, мою статью на эту тему). Вся остальная — буржуазная — пресса 1917 года или с язвительной усмешкой или с пеной у рта встретила проект реформы; и этим выражена была, конечно, именно классовая точка зрения. Для буржуазии нужна именно не легкая, а трудная орфография — как препятствие на пути трудящихся классов к овладению книжной культурой, во-первых, и как лишний признак собственной привилегированности, во-вторых: знание правил о букве «ять» играло в этом отношении такую

⁵ Оговорюсь, что в настоящей заметке я позволю себе употреблять слово «орфография» в широком смысле, понимая под ней и графику (т. е. нормальные звукообозначительные функции букв), и орфографию в узком смысле (т. е. правила написаний отдельных слов или категорий слов).

же роль, как и крахмальный воротничок на шее буржуазного интеллигента, ибо для него ценен был всякий противопологающий его рабочему и крестьянину признак.

Таким образом, вопрос осуществления всякой направленной к упрощению письма реформы прежде всего зависит от того, какому классу принадлежит политическая власть и гегемония книжной культуры в данной стране. Именно этим, главным образом, обстоятельством и объясняется, между прочим, то, что и в Японии и в Китае до сих пор пишут труднейшим в мире иероглифическим письмом (требующим для усвоения во много раз больше школьного труда, чем даже труднейшая из буквенных — английская орфография): ведь проекты замены японской и китайской иероглифики уже разработаны, и, казалось бы, отчего не реализовать эти проекты в массовом общенациональном масштабе? Но это будет сделано лишь тогда, когда в Японии и в Китае будут свои Октябрьские революции.

3. Третий принцип организации орфографии — принцип, который проф. Л. В. Щерба называл (и не без оснований) этимологическим (не смешивать со вторым — историко-этимологическим, или историческим!) и который в настоящее время принято называть морфологическим. Состоит он в допущении известных отступлений от фонетического критерия словонаписаний в сторону требования, чтобы тождественные в морфологическом отношении элементы различных слов писались одинаково, несмотря на их фонетические чередования. Для пояснения приведем: 1) пример из современной русской орфографии (способной фигурировать в качестве образца применения данного — третьего, т. е. морфологического принципа) и 2) пример из киргизского языка — в виде основывающегося на данном третьем принципе проблематического варианта к существующей ныне и базирующейся, в общем, на первом — фонетическом — принципе киргизской орфографии.

1) Приставка *с-* допускает в русском языке следующие фонетические чередования: *с-*(*сравнить*), *з-*(*сгореть*), *ш-*(*сшить* — читать как [шшить]), *ж-*(*сжечь* — читать как [жжеч])⁶; однако, несмотря на эти различные произношения данной приставки, пишется она во всех случаях одинаково. Подобное же применение третьего принципа усматривается в русском письме и в области вокализма (т. е. в изображении гласных): например, гласные буквы *о* в суффиксе *-ого* (первая, а с другой стороны, также и вторая) пишутся не только в таких случаях, как *большого* или — с другой сто-

⁶ Не говорю уже о чередованиях в сторону «мягкости» (или «полумягкости»): например в *сделать* — читать как [зъделать] и т. п.

роны — *того*, но и в *доброго*, *первого*, *этого* и т. п., где благодаря отсутствию ударения на суффиксальных слогах гласные суффикса произносятся как *a*⁷. Иначе говоря, следуя фонетическому (первому) принципу⁸, следовало бы писать *добрава*, *первава*, *этава* и т. п.; русская же орфография, преследуя в данном случае единообразное написание морфологически-тождественной морфемы (суффикса) в разных словах (именно написание его) сохраняет буквы *о* и в неударенных слогах: *доброго*, *первого*, *этого* и т. д. Сравните то же явление в корневых морфемах, например в *вода* (вместо *вада*) сохраняется тот же вокализм (буква *о*) написания основы, что и в *воды*, *вод* (добавим, что в этом последнем примере — *вод* вместо *вот* — уцелевает буква *д* — все в силу той же тенденции к единообразному написанию морфологически-тождественной морфемы — в данном случае корневой морфемы *вод* — в разных словах). Добавлю, что, признавая «морфологический», или «этимологический» (т. е. соответствующий принципу третьему) характер русской орфографии, в нем можно отметить и частичные отступления в сторону первого (фонетического) принципа, например в написании приставок *из-//ис-*, *воз-//вос-*, *низ-//нис-*, *раз-//рас-*, *без-//бес-*; *ч(е)рез-//через-*; и моменты второго, т. е. историко-этимологического, или исторического, принципа, например в таком «церковнославянизме», как употребление буквы *з* в вышеупомянутом суффиксе *-ого*)⁹.

(2) Перейду к примеру киргизского языка. В нынешней киргизской орфографии (способной рассматриваться как образец применения первого, т. е. фонетического, принципа) суффикс прошедшего времени (*etishtin etken saqьpьп qozumcasь*) имеет следующие формы: *-dь//ть*, *-di//ти*, *-du//ту*, *-dy//ту*, например: *qaldь//ajtdь//keldi//icti//boldu//kordy* и т. д. Применяя же третий, т. е. морфологический, или этимологический, принцип, можно было бы сделать следующие упрощения, т. е. сокращения числа графических вариантов данного суффикса:

а) *-dь*, *-di*, *-du*, *-dy* (т. е. ликвидируя написания с *t*): *goldь*, *ajtdь*, *icdi* и т. д.;

⁷ Точнее — в виде субститутов фонемы *a*, соответствующих данному уровню неударенности.

⁸ Состоящему, конечно, не в том, чтобы обозначались все позиционные (resp. комбинаторные) варианты (субституты) фонемы, а лишь в том, чтобы правильно обозначались сами фонемы данного комплекса. (Эта оговорка естественно подразумевается, когда мы говорим о первом — фонетическом — принципе практического письма; в противном случае, т. е. если бы графика включала в себя и означение позиционных (resp. комбинаторных) вариантов фонем, она была бы уже не письмом, годным для практических целей, а научной фонетической транскрипцией).

⁹ Где *з* употребляется с древнейших этапов русской письменности, находившейся под сильнейшим церковнославянским влиянием.

б) иды дальше и ликвидируя (в письме лишь, конечно!) чередование губного сингармонизма, — *dy, di: qaldy, ajtdy, boldy, icdi, kōrdi* и т. д.;

в) и наконец, доходя до максимального упрощения — *di: qaldi, ajtdi, icdi, boldi, kōrdi, ajtadi* и т. д.

Примечание. Конечно, каждое из этих упрощений может быть рациональным только при соответствующих же изменениях в отношении орфографии других суффиксов (и спряжения, и склонения, и т. д.). Добавлю, что, приводя эти проблематические упрощения лишь в качестве примера возможного варианта киргизской орфографии, я вовсе не настаиваю на абсолютной необходимости реформы в данном направлении в настоящее время.

Какой же или какие же из этих принципов могут считаться приемлемыми для советского литературно-языкового строительства, которое стремится, конечно, к подлинной демократизации книжной культуры и, значит, заинтересовано в выработке наилегчайших орфографических систем, способных максимально облегчить дело ликбеза и школьную работу по изучению письма?

Ответ на это сводится к следующему: принцип второй — исторический, или историко-этимологический, как бесполезно затрудняющий процесс обучения чтению — письму, нужно считать неприемлемым. Орфографии советских народностей должны базироваться на всесторонне обдуманном комбинировании первого (фонетического) и третьего (морфологического, или по Л. В. Щербе — этимологического) принципа. В отношении каждого отдельного пункта следует взвешивать — какой из данных двух принципов оказывается более выгодным в педагогическом отношении.

Дело в том, что в ряде определенных случаев применение третьего морфологического, или, по Л. В. Щербе, этимологического, принципа дает упрощение (а значит, и облегчение) орфографии, тогда как в других, строго определенных случаях упрощение достигается, наоборот, соблюдением первого — фонетического — принципа.

Если, например, известное сокращение числа графических дублетов для фонетических¹⁰ альтераций (чередований) киргизских суффиксов (по принципу третьему) дает облегчение правил орфографии, то в области дунганского, например, языка можно указать на обратный случай — когда упрощение орфографии будет достигаться, наоборот, внесением фоне-

¹⁰ Не надо забывать, что речь здесь может идти лишь о фонетических альтерациях (зависящих от наличных в настоящее время законов данной фонологической системы; например, в роде таких альтераций, как *с-//ш/ж- в сломать, сшить, сжечь*), но не об исторических (сложившихся в условиях давно изжитой фонологической системы) альтерациях морфем (вроде *с-/со-* в *сломать, сотворить* и т. д.).

тической (основывающейся на первом принципе) поправки в написания, организовывавшиеся доньше по третьему, т. е. морфологическому, или этимологическому, методу: именно в написаниях слогов, заканчивающихся уменьшительным суффиксом *О*, сведение всех относящихся сюда слогонаписаний к относительно небольшому числу действительно произносимых слогов с конечным *О*, конечно, только облегчит процесс практического применения данных написаний пишущим на родном языке дунганином. И на весах методико-педагогической оценки выбор между принципами первым и третьим в каждом отдельном конкретном пункте вырабатываемой орфографической системы и составляет, собственно, основную типовую задачу каждого строительства орфографии в советских условиях.

Остается сказать несколько слов о терминах, т. е. названиях вышеупомянутых принципов первого, второго, третьего.

Если условное наименование первого принципа «фонетический» (вместо «чисто фонетический») не вызывает сомнений (поскольку подразумевается уже сделанная мною выше оговорка о том, что в известных пределах всякое буквенное письмо есть письмо фонетическое), как и наименования «историко-этимологический принцип (орфографии)», resp. «исторический принцип (орфографии)», то относительно наименований третьего принципа может создаться целая дискуссия. Так или иначе надо признать, что за ним (за принципом третьим) закрепляется термин «морфологический принцип»; и с этим вполне можно согласиться, хотя для полноты я позволю себе все-таки упомянуть о том упрощенчески неверном понимании, которое фактически возникло у некоторых товарищей именно в связи с данным названием: «морфологический принцип». Дело в том, что благодаря выстроившимся в ряде названий «фонетический» (1), «морфологический» (3), а также и «этимологический» — вместо «историко-этимологический» (2), — некоторым казалось, что данные принципы представляют собой нечто механически производное от трех разделов описания языка или «грамматики»: фонетики, морфологии и некой «этимологии»¹¹. И вот возникает естественная мысль: нельзя ли изобрести подобным же образом и другие еще принципы — от остальных названий разделов «грамматики» и лингвистических дисциплин; например: «синтаксический», «семантический» и т. д.?

Сказано — сделано! И вот принципы эти действительно «изобретаются». Но то, что под ними имеется в виду, это вовсе не особый принцип орфографии (который можно было

¹¹ Что понималось при этом под «этимологией» (этимология в старом школьном словоупотреблении или современном научном значении этого слова?), в данном случае нельзя установить.

бы противополжить принципам 1, 2, 3), это только попытка формулировать правило деления речи на письменные слова. Достаточно указать, что предложенный в качестве основы для дунганского письма «семантический принцип» не посягает, оказывается, ни на одну из букв в написаниях дунганских слов (т. е. никаких изменений букв ни в одном из слов не предполагает вносить), ограничиваясь лишь вопросами словораздела (например, вроде того, нужно ли писать *njanfʷ* или же *njanfʷ?* и т. п.); да и то, даже в этой узкой области, никаких более или менее крупных новшеств не вносит, а лишь хочет мотивировать (в формулировке правила) принятый в дунганском письме способ словораздела¹².

На самом деле существует и семантический (уже без кавычек), существует — если хотите — и синтаксический принцип письма, но они лежат уже за пределами буквенного (звукового) письма, т. е. на них основываются письменности, совершенно отличные от письменностей нашего типа; так на семантическом принципе основываются идеографические, т. е. иероглифические, письменности, например китайская, древнейшая египетская и т. д.; а понятие синтаксического принципа, при желании, можно, например, отнести к той архаической стадии китайской иероглифики, которая занимает промежуточное положение между пиктографией и нормальной иероглификой, — той стадии, на которой письменное (идеографическое) выражение получали не все, а лишь отборные (в зависимости от их синтаксической и логической функции) члены предложения (слова).

Таким образом, изобретательство оригинальных мнимых принципов, например «семантического» или «синтаксического» принципа буквенного письма, ничего, кроме путаницы, в теорию орфографического строительства не вносит. Что же касается правил словораздела, то, конечно, в их вариациях без особого труда могут быть усмотрены моменты как первого, так и второго и третьего принципов (ср., например, с одной стороны, чисто фонетические правила словораздела в классическом¹³ санскрите, традиционные исторические¹⁴ словоразделы современной французской орфографии, и с другой — словоразделы дунганской орфографии).

Итак, с вышеприведенной оговоркой можно условиться о применении следующих наименований для принципов организации орфографии в буквенных (звуковых) системах письма:

1) фонетический принцип;

¹² Мотивировка эта сводится, впрочем, лишь к такому общему и давным-давно известному предложению: комплекс, выражающий одно понятие, пишется слитно.

¹³ Да и ведаическом, конечно.

¹⁴ Т. е. идущие из латинского еще письма.

2) исторический, или историко-этимологический принцип;

3) морфологический принцип, причем, следовательно, простое выражение «этимологический» — во избежание недоразумений — устраняется вовсе.

Теперь в виде исторической справки я позволю себе сказать пару слов о том, на каких соображениях основывался проф. Л. В. Щерба, давая третьему (морфологическому) принципу имя «этимологический принцип». Конечно, здесь имелось в виду то, что единообразие написания морфемы (корневой или суффиксальной и т. д.) возвращает к этимологическому (генетическому) единству этой морфемы, ибо ясно, что чередующиеся варианты, например, *ь, и, у* у киргизского суффикса 3-го лица в *qьzь, голу, өзү* являются более поздними дериватами некогда единой в звуковом отношении морфемы (для данного суффикса 3-го лица *-i*, которое когда-то было самостоятельным словом: местоимением 3-го лица)¹⁵.

¹⁵ Об этом примере я упоминал в статье о принадлежности корейского языка к «алтайским» в «Известиях Академии наук». Об этом суффиксе писал и проф. Н. Н. Поппе.

О РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ ЯПОНСКИХ СЛОВ

Транскрипция звуков известного языка, поскольку она имеет в виду только точность и не останавливается ни перед типографскими затруднениями, ни перед созданием непривычных условных ассоциаций между буквами и звуками, составляет, в общем, довольно легкую задачу. Важно лишь полное знакомство со звуковым составом данного языка, а подбор знаков для передачи отдельных звуков — дело второстепенное. Можно себе представить даже такую транскрипцию, где отдельные звуки обозначались бы просто цифрами, и она при наличии фонетического описания вполне удовлетворила бы научным требованиям, если бы только был соблюден принцип, обязательный для фонетической транскрипции: всякая буква (в предположенном случае цифра) должна иметь только одно произношение (не так, например, как буква *e* в русском, читающаяся то [йе] в *ель*, то [йо] в *елка*). Дело в том, что всякая транскрипция будет зависеть от фонетического описания; вводить же фонетическое описание в транскрипцию (т. е. путем ряда надстрочных и других диакритических значков давать в ней детальную характеристику данного звука, отмечать его оттенки, зависящие, например, от соседних звуков в каждом данном слове) — задача непосильная, непрактичная с технической стороны, а главное ненужная. Описания звуков ведь все равно не избежать; и это в значительной мере применимо и к тем транскрипциям, которые являются лишь приложениями к данному языку широко распространенных фонетических алфавитов, какими, например, является русская лингвистическая азбука и международный фонетический алфавит. Дело в том, что такой алфавит указывает только типы звуков; о том же, какой вид типа представлен данным языком, надо узнавать из описания; например, знаком [w] в международном фонетическом алфавите передается, как яп. [w] в *wata*, так и англ. [w] в *water*, но между тем различие между обоими звуками настолько велико, что этого нельзя обойти в описании. Словом, поскольку транскрипция хочет быть точной в характеристике звуков и их оттенков, она обречена на условность, т. е.

всегда будет нуждаться в предварительном знании кое-чего о звуках данного языка.

Однако условность, принимаемая как принцип для научной транскрипции, представляет неудобство для транскрипции, претендующей на популярность. В ней дело обстоит иначе, так как для того, чтобы транскрипция могла широко быть используема в разнообразных изданиях, рассчитанных на любой круг читателей, она должна удовлетворять двум заданиям:

1) чтобы она была понятна без знания условностей, т. е. чтобы ее ассоциации между звуками и буквами были бы одинаковы с ассоциациями, существующими в известной читателю письменности¹ (в нашем случае — русской);

2) чтобы не было знаков, не употребляемых в данной (русской) письменности.

С другой стороны, задача всякой транскрипции — передать звуки чужого языка и все существующие в этом чужом языке различия звуков (например, японское различие долгих и кратких гласных, которое в русском не существует). Но а priori нельзя передать не имеющих в данном языке звуков (например, нельзя передать русскими буквами звуков, изображаемых англ. *th*) и не имеющих в нем различий, не обратившись к условности, т. е. не пойдя на компромисс с двумя заданиями популярной транскрипции. Итак, в основу ложится компромисс — и наша задача только в том, чтобы достигнуть *minimum*'а нарушения точности. Для этого надо: 1) подобрать для несуществующих звуков буквы, передающие в данной (русской) письменности звуки, наиболее близкие к ним акустически, 2) передачу несуществующих различий, для которых волей-неволей придется вводить новый символ, сделать факультативной: употреблять этот

¹ Так как ассоциации, существующие в данной письменности, могут оказаться в противоречии с принципом фонетической транскрипции: «всякая буква должна иметь только одно произношение» (например, буква *я* в начале слов, после гласных, после *ъ* и *ь* читается как [йа], а после согласных, качество которых определяется, между прочим, из употребления буквы *я* вместо *а*, — как [а]), то, допуская возможность определения фонетического значения буквы из совместного рассмотрения также соседних с нею букв (на чем основано, например, чтение написания *ая*, как [айа], а написания *мя*, как [м] мягкое + [а] без [й] в середине), можно принцип постоянства фонетического значения буквы в целях согласования с первым заданием популярной транскрипции заменить следующим требованием: «не должно быть знаков, которые в одной и той же позиции (т. е. в соседстве с одними и теми же буквами) могли бы иметь различное произношение» (таким знаком является, например, русское *е* в слове *мелкий*, эту букву ведь можно прочесть и как [о] с мягкостью предшествующего согласного, т. е. вместо *мелкий* — [мёлкий], и только знание русского слова заставляет нас не читать так; а для иностранцев совершенно непонятно, почему одна и та же буква *е* должна читаться одним способом в *мелкий*, и иным способом в *мел*).

символ в тех случаях, где имеются в виду читатели, знакомые с данной условностью, и опускать в прочих. При этом выгоднее употреблять в качестве такого факультативного символа средство, совершенно неизвестное в данной (русской) письменности, чем то, которому в этой письменности уже принадлежит иная функция; в последнем случае могли бы быть введены в заблуждение не знающие про эту условность читатели.

Переходя к вопросу о выработке популярной и основанной на ассоциациях русского алфавита транскрипции японских слов, мы прежде всего должны разграничить два вида такой транскрипции: I — передающий произношение, II — передающий японскую орфографию (может ведь встретиться надобность в том, чтобы указать, какими знаками каны японцы пишут данное слово). Наконец, отдельно следует рассматривать написания русских слов японского происхождения, для которых должны, особенно в популярных изданиях, прежде всего приниматься в расчет существующие уже в русском мышлении произносительные и орфографические привычки. Потому такие слова, как *Токио*, *Киото*, *гейша*, я не считаю нужным писать как-либо иначе, как и не считал бы нужным заменять, например, *Париж* через *Пари*. Сравни замечание Д. М. Позднеева («Токухон» ч. 1, стр. XIII): «Я позволил себе, однако, отступление от этого верного правила, сделав уступку по отношению к словам, которые стали уже общепринятыми в русской литературе, картографии и разговоре. Такие слова „Токио“, „Киото“ и др.».

Имея в виду транскрипцию фонетическую (не транскрипцию орфографии), я из целей чисто реальных и практических ограничусь только одним японским говором, именно господствующим и общепринятым как языковой стандарт токийским говором. И для того чтобы обосновать тот или другой выбор в нашей транскрипционной системе, я предпосылаю краткий фонетический очерк этого говора².

ОПИСАНИЕ ЗВУКОВОГО СОСТАВА ГОВОРА ТОКИО

§ 1. Согласный не может мыслиться произносимым без последующего гласного звука. Даже в тех случаях, когда следующий заданным согласным гласный [y] или [i] (см. § 4)

² Подробное описание см.: E. R. Edwards, *Étude phonétique de la langue japonaise*, Leipzig, 1903. См. также E. Meyer, *Der musikalische Wortakzent im Japanischen*, — «Le Monde Oriental», 1906; Е. Поливанов, *Музыкальное ударение в говоре Токио*, — «Известия Императорской Академии наук», 1915 г., № 15, стр. 1617. Пользуюсь случаем исправить прискорбный недосмотр в этой работе: на стр. 1631 в седьмом примере чит. *колос* вместо *зерно*; и опечатку на стр. 1630, 17 строка: чит. *Нонжо* без знака долготы над о.

не произносится, представление этого гласного все-таки имеется в мышлении говорящего и при произношении нараспев этот гласный становится слышным. Поэтому отсутствует представление закрытого (оканчивающегося на согласный) слога (некоторым ограничением является существование долгих согласных, см. § 7). Слог, оканчивающийся на носовой («ун» по японской терминологии), также не представляет закрытого (для японского языкового мышления) слога, так как этот носовой служит таким же вторым элементом дифтонга в [ан], [он], [ун], [эн], каким являются [и] в [ай], [ои] и [у] в [ау], [оу]. И дифтонги с носовым в качестве второго элемента подчиняются тем же законам акцентуации, что и [ай], [ау] и пр. (см. § 9).

§ 2. Из гласных звуков³ имеются [а], [и], [э], [о], в общем не имеющие резких отличий от соответствующих русских звуков, а также звук, которому в русском нет более или менее близкого соответствия, хотя он и воспринимается русским ухом, как [у]. Акустический результат для русского уха может быть определен как среднее между [у] и [ы] (его характерный тон гораздо выше, чем тон [у]). Образуется же этот звук при небольшом поднятии заднесредней части языка (меньшем, чем при русском [у]) и без губного округления и вытягивания губ вперед, хотя все же со слабой губной работой: по крайней мере нижняя губа, поднимаясь перед нижними зубами выше их края, служит одной из стенок ротового резонатора. Эта губная работа, конечно, исчезает по мере перехода к исчезновению этого гласного (см. § 4).

§ 3. Все перечисленные гласные могут быть и краткими, и долгими независимо от их ударенности. Различение кратких от долгих является крайне важным для японского языкового мышления.

-- В. Долгое [э] выражается чаще всего в японской орфографии и европейских транскрипциях как э + и. Например, в *Мэидзи*, *сэисэи*. И в произношении, действительно, можно встретить замену [э] долгого дифтонгом [эй], обусловленную тем, что различение [эй] и [э] долгого не способно связываться в токиоском со смысловыми различиями (как это имеет место в некоторых других говорах). [э] долгое слышится гораздо чаще, чем дифтонг [эй]. Последнему же благоприятствует (особенно в редких, ученых словах) влияние орфографии на произношение.

§ 4. Краткие [у] и [и] в неударенной позиции (и не в последнем слоге безударных слов — см. § 9) бывают факультативны, т. е. могут и не произноситься — в зависимости от

³ Я говорю только о фонемах, т. е. представлениях звуков, способных сочетаться со смысловыми различиями. О наиболее важных комбинаторных оттенках гласных см. § 4, 7.

старательности и темпа речи. Такой исчезаемости их способствует соседство с глухими согласными, а в особенности позиция после спиранта (т. е. в слогах [су], [фу], [си], [хи]) и аффрикаты (т. е. в [цу], [дзу], [ти], [дзи]).

§ 5. Кроме перечисленных в § 2 гласных слогообразующими могут быть:

1) Носовой, именно [м] (в других говорах и [н]); только в начале слов перед следующим [м]. Например, [мма] 'лошадь', [ммэ] 'слива', [ммаи] 'вкусный'. Этот носовой, образуя собой слог, может быть и музыкально-ударенным, например, в [ммаку] 'вкусно'.

NB. В орфографии этот звук обозначается как и у, что не соответствует произносительному различию, так как звук [у] может также встречаться перед [м], например в [уми] 'море'⁴ или в [уми] 'гной'⁵, — словах, которые в виде [мми] немыслимы.

2) Дифтонги ртовые (т. е. без носового элемента): [аи], [ау], [ои], [оу], [уй], ([эи]), [аэ], ([оэ]) и начальное [уэ].⁶

NB. [эи] смешивается с [э] долгим (см. § 3 NB); [аэ] с [аи] [оэ] с [ои].

3. Дифтонги со вторым носовым элементом («ун»'ом, см. § 1), состоящие из гласного ([а], [и], [у], [э], [о]) + носовой, качество которого зависит от последующего согласного, если таковой имеется. Перед смычными губными ([п], [б], [м] твердыми и мягкими) он звучит, как [м]; перед переднеязычными смычными ([т], [д], [н] и [н] мягким), аффрикатами (звуками, описанными в § 6δ, § 6ε, § 6ζ, и [ц]) и перед [р] (твердым и мягким) он звучит как [н] перед заднеязычными ([к] и носовым [г], о котором см. § 6z и § 6з), как заднеязычный носовой. В конце же слов (а также обычно перед спирантами [с], [й] и звуками, описанными в § 6γ, § 6η, § 6θ, § 6κ), это также носовой заднеязычный (но отнюдь не глубокозаднеязычный и с очень слабой смычкой).

§ 6. Согласные представлены в виде:

1) [к], [г], [с], [т], [ц], [д], [н], [п], [б], [м], [й] («йот», в русских я=[йа], ю=[йу], э=[йо]) и мягких: [к] (например, в *ки, кя, кю*), [г], [н], [п], [б], [м] — звуков, имеющих близкие соответствия в русском.

2) Рядя звуков, которым в русском нет соответствующих. Таковы:

а) заднеязычный носовой (так называемое носовое [г]=[^нг], отличающийся от второго элемента носовых дифтонгов («ун»а в конце слов), описанного в § 5,3, большей силой

⁴ Ударение на первом слоге.

⁵ Ударение на втором слоге.

смычки и взрыва. Он встречается только внутри слов, например [на^нгаи] 'длинный'.

В. В орфографии он изображается так же, как и встречающееся только в начале слов (кроме редупликационных слов в роде *гаягая, гудзугудзу*) простое (неносовое) [г], и в русских транскрипциях изображается г, в Ромадзи д. Ряд говоров имеет простое [г] как в начале, так и внутри слов.

б) Соответствующий мягкий. Тоже только внутри слов.

В. Ромадзи gu(a).

γ) Мягкое дорсальное (образованное не кончиком, а спинкой языка) [ш], которое, однако, существенно отлично от русского ш, приближаясь скорее к русскому мягкому с (слов *си, ся, сю, се, сё*) и еще более — к польскому ś.

В. В Ромадзи sh(i).

δ) Соответствующая мягкая дорсальная аффриката типа польского ś.

В. В Ромадзи ch(i).

ε) Соответствующая мягкая звонкая дорсальная аффриката, факультативно подменяемая звонким спирантом (т. е. теряющая смычку), чему особенно способствует позиция внутри слова между гласными (но не после носового).

В. В Ромадзи j(i).

ζ) Твердая звонкая переднеязычная аффриката (русс. дз), факультативно подменяемая спирантом (русс. з) в тех же условиях, как и предыдущий звук.

В. В Ромадзи z(u). Характерной чертой большинства японских говоров является отсутствие осознания различия между [дз] и [з] (как и соответствующими мягкими), которые употребляются promiscue. На этом основаны такие произношения японцами иностранных слов, как *дзубы* вместо *зубы*.

η) Глухой гортанный спирант (комбинаторно — между гласными — он может озвончаться) в роде англ. h. Он отличен от спиранта заднеязычного (русс. х).

В. В Ромадзи h(a).

θ) Глухой среднеязычный спирант, типа немецкого *ich-Laut*'a, но со слабым трением.

В. В Ромадзи h(i), hu(a). В Токио есть тенденция к его смешению со звуком — § 6γ.

ι) Глухой губной спирант, отличающийся от русского ф тем, что нижняя губа не прижимается к верхним зубам, а хотя и составляет преграду трения воздушной струи, но щель против нее слишком широка, чтобы это трение было сильным.

В. В Ромадзи f(u).

κ) Соответствующий звонкий спирант.

В. В Ромадзи w(a).

λ) Переднеязычное недрожащее [р], иногда воспринимаемое, как [л].

NB. В Ромадзи г(а).

μ) Соответствующее мягкое [p].

NB. В Ромадзи г(i), гу(а).

§ 7. Долгими (удвоенными) согласными могут быть только глухие [с], [т], [ц], [п], [к] и соответствующие мягкие (в том числе § 6γ и δ).

Отдельно от долгих согласных следует рассматривать соединение носового дифтонга (§ 5, 3) со следующим носовым (например, в [сонна]) или же те слова, которые начинаются со слогообразующего носового (§ 5, 1).

§ 8. Кроме перечисленных самостоятельных фонетических элементов наблюдаются еще элементы переходные (нем. Gleitlaute, англ. glides) между двумя данными звуками, которые неосознанно произносятся японцем, когда он соединяет два данных звука. Сюда относятся:

1) слабый губной (сходный со звуком, описанным в § 6х) спирант в позиции между каким-либо гласным и [о]. Например, [ка^oо] 'лицо', [ка^oо] вин. пад. от [ка] 'комар';

2) слабый [й] и [э]. Например, [и^йэ] 'дом';

3) переднеязычный переходный элемент между мягким согласным и гласными [а], [у], [о], более явственный при долготе гласного.

§ 9. Музыкальное ударение, состоящее в повышении голоса (обычно сопутствует и усилению) на одном из слогов слова, составляет широко используемое для смысловых различий фонетическое средство.

Например, слово [аса] 'утро' имеет ударение на первом слоге, а [аса] 'конопля' — на втором, именительный падеж (с суффиксом [ʰга]) от [аса] 'утро' — [асаʰга] имеет ударение на первом слоге, а именительный падеж от [аса] 'конопля' — [асаʰга] на втором слоге. Но на последнем слоге повышение факультативно, чем объясняется ровное безударное произношение значительного количества слов, например [ёкохама] 'Июкогама'. Среди слов, имеющих ударение на последнем слоге, есть имена (существительные, местоимения и т. д.), которые остаются безударными и в склонении (т. е. при соединении суффиксов), иначе говоря, они переносят в формах склонения факультативное повышение с конечного слога основы на конечный слог суффикса (таково, например, слово [хана] 'нос'): есть и такие, которые в склонении носят ударение (и уже не факультативное) на последнем слоге основы (таковы, например, [хана] 'цветок' и выше приведенное [аса] 'конопля'). Долгий гласный, или дифтонг, рассматривается как состоящий из двух частей, из которых, однако (в конечном слоге слова), только первая может иметь ударение; в последнем же слоге слова (как и в односложных из долгих слогов) на последней части слога может быть факультативное

тивное повышение. Благодаря этому различаются такие слова, как [хō] 'щека' и [хō] 'закон' (в слове «щека» ударение приходится на первую часть [ō], слово же «закон» может произноситься или ровно или с (небольшим) повышением к концу звука [ō]), такие слова, как [сай] 'жена' и [сай] 'закуска' (в слове «жена» ударение — на [са], в слове «закуска» — факультативное повышение на [й]), и такие слова, как [он] 'милость' и [он] 'звук' (в слове «милость» ударение на [о], в слове «звук» — факультативное повышение на [н]).

**О ВЫБОРЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ТРАНСКРИПЦИИ
ТОКИОСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ (НЕЯПОНСКОЙ ОРФОГРАФИИ),
ОСНОВАННОЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
АССОЦИАЦИЯХ**

Ниже я привожу (в порядке Годзйōн'а) весь имеющийся слоговой состав токийского говора, давая сначала транскрипцию слога в Ромадзи и иногда ссылку на вышеизложенное описание, затем в фигурных скобках ту транскрипцию, которая составляет применение международного фонетического алфавита к токийской звуковой системе⁶, затем — после вертикальной черты — все подлежащие сравнению русские начертания и, наконец, — опять после вертикальной черты — то начертание, на котором я останавливаюсь; факультативные допущения отмечены в круглых скобках. В случае очевидной бесспорности какого-либо соответствия (например, русск. [а] для японского слога [а]) и отсутствия прочих возможностей передачи данного слога после начертаний Ромадзи и алфавита международной фонетической ассоциации (в{ }) проведено две вертикальные черты и за ними — эквивалент русской транскрипции. В противном же случае выбор того или другого начертания комментируется.

	a	{a}		a
	ka	{ka}		ка
	sa	{sa}		са
	ta	{ta}		та
	na	{na}		на
ha	см. § 6γ	{ha}		ха
	ma	{ma}		ма
	ya	{ja}		йа, я я.

⁶ Этот способ транскрипции употреблен мною в «Музыкальном ударении в говоре Токио» в «Известиях Императорской Академии наук», 1915 (слова, транскрибированные этим способом, напечатаны курсивом, а транскрибированные Ромадзи, — не являющиеся предметом лингвистического рассмотрения, — обыкновенным шрифтом).

В случае выбора [йа] был бы соблюден принцип: на каждый звук (как согласный — «йот», так и гласный — [а]) — по отдельному знаку, тот принцип, который, конечно, не мог бы быть обойден в условной научной транскрипции. Но [йа] предоставило бы следующее неудобство: внутри слов, например в [такайама], это написание могло бы ввести русского в заблуждение, заставить провести неправильную границу между слогами; [й] был бы отнесен к слогу [кай], а следующий слог состоял бы только из [а] (ведь написание [кайа] дало бы повод думать, что здесь что-либо отличное от [кая]). Помимо этого за выбор [я] говорит то, что, во-первых, это написание более привычно, и, во-вторых, фонетическое [представление] этой буквы, соответствующее слогу: «йот» + [а], принадлежит ей как раз в тех же положениях (в начале слов и после гласного), в каких встречается и японский слог: «йот» + [а]. Исключением является лишь позиция японского слога [я] после носового дифтонга, например в [хонъяку].

Из этого следует, что мы при выборе [я] для этого слога уже предпрещаем вопрос о необходимости парализовать возможность такого чтения, как [хоняку] (например, введением [ъ], см. ниже). Другим обязательством, которое связано с этим выбором, является аналогичное выбору [я] проведение [ю], [ё] вместо [йу], [йо]. В противном случае могло бы казаться, что слоги [я] («йот» + [а]) и [ю] («йот» + [у]) имели бы различные согласные.

га см. § 6γ {га} || pa
 wa см. § 6x {wa} || va
 i {i} | и, i, й | и

Остановимся на выборе [и] для всех случаев японского слога (или второго элемента дифтонга); [i] слишком шло бы вразрез с русской привычкой к начертанию *и*. Потому мы останавливаемся на [и]. Желательно было бы проводить это написание и в случаях перед гласными, например в [ио] — название провинции, а также перед «гласными буквами» *я*, *ю*, *ё* (хотя следует за [и] не гласный, а согласный звук — «йот»), например в [ияна] 'противный'. Этим наносится ущерб русским графическим привычкам (хотя ведь существуют такие написания, как *Приамурье*), но зато: 1) сохраняется единство, соответствующее единому японскому представлению звука, 2) избегается возможность недоразумений, так как, например, *ио* легко могло быть прочтенным, как [ё] (как благодаря существованию дублетов в роде *Иона* = [иона] или [ёна], так и ввиду установившейся практики писать *Ио* для [й] + [о] в японских словах, например в *Иокосама*).

Сообразно этому предпрещается вопрос о желательности [и], но не [i] и в тех случаях, когда звук [и] следует после

согласного. Впрочем, нельзя не предвидеть того, что, поскольку транскрипция будет распространяться в широкой массе (например, поскольку японские имена будут фигурировать в повременной печати), русская графическая привычка писать *i* перед «гласными буквами» будет одерживать верх над теоретическим пожеланием.

Относительно употребления знака [й] для второго элемента дифтонгов [ай], [ои], [эи], [уй] нельзя сделать упрека, так как этим отмечается неслоговой характер этого второго элемента. Однако, как это ни странно, употребление простого [и] для таких случаев, т. е. заведомо ложная подстановка представления двусложности вместо единства дифтонгического слога, может ввиду особенностей японской психофонетики не только считаться допустимой, но и отстаиваться. Дело в том, что для русского то неслоговое [и], которое мы произносим на конце слова *чай*, *мой*, сознается как согласный, потому что фигурирует как согласный в морфологии (мы склоняем *край*, *края* [кра́йа], как *нос*, *носа* [но́са]), тогда как в японском конечное [и] неслоговое в слогах [ай], [ои], [уй] ничего общего с согласным не имеет (и не может иметь в силу закона о возможности только открытых слогов), и в морфологии играет ту же роль, как и [и] после согласного, например [каимасу] 'покупает' при [какимасу] 'пишет'; затем (и это самое главное) между двусложностью при зиянии в [ай], [ои], [уй] и односложностью в соответствующих дифтонгах [ай], [ой], [уй] для японца нет существенной разницы, благодаря чему им трудно усваиваются такие различия, как русск. *заика* при *зайка*. Приведу крайне ценное наблюдение Д. М. Позднеева: «При медленном произношении японец всегда в таких случаях⁷ говорит просто *и*» («Токухон», 1, стр. XIII).

Из сказанного вытекает, что выбор символа для неслогового [и] может колебаться между [и] и [й]. Я предпочитаю [и], отнюдь, впрочем, настаивая на этом, ввиду следующего соображения: в том случае, где за дифтонгом следует еще гласный, например в [баиу] 'дождливый период', от написания *байу* можно было бы ожидать опасности чтения этого слова в виде [баю], что было бы грубой ошибкой с японской точки зрения, тогда как чтение в три слога [ба] + [и] + [у] более бы удовлетворило японца.

ki {ki} • ||ки.

shi см. § 6 γ {ši} |си, ши, шьи| си

⁷ Речь идет именно о дифтонгах с [и] в качестве второго элемента.

⁸ [k] перед [i] палатализованное; однако ввиду того, что в японском (как и в русском) непалатализованного [k] перед [i] быть не может, значок палатализации может быть условно опущен, как и при других палатализованных согласных.

Из всех русских согласных звуков мягкое [с] (в слогах *си, ся, сю, сё, се*) наиболее близко к японскому звуку; что касается русского *ш*, то разница между ним и японским звуком громадная, как по положению языка (в русском работает кончик языка, загибающийся кверху; в японском — сужение образовано передней частью спинки языка), так и по акустическому результату. И в японском, и в русском существует противоположение мягких и твердых согласных, основанное на одинаковом акустическом моменте. Момент этот имеется как в русском мягком [с] в *ся, сю, си*, так и в рассматриваемом японском звуке; оба сознаются как осложнения именно наличием этого акустического момента⁹ соответствующего «твердого» звука ([с] в *со, са*). В русском же *ш* этот акустический момент (физиологически ему соответствует среднеязычное сближение) безусловно отсутствует. Наконец соединение русского *ш* с гласным *ы*, а не с *и* совершенно исключает возможность передачи японского слога через *ши*. Наличие же [shi] в Ромадзи может только побудить не перенимать слепо того, что годно для француза, немца и англичанина (у которых нет противоположения «мягких» согласных «твердым», у которых *s* перед *i* произносится без палатализации, т. е. твердо), но совершенно непригодно ни для русского, ни для поляка, в системах согласных которых есть то общее с японской системой, что у западноевропейца отсутствует. И появление *ши* в русской транскрипции японских слов я объясняю исключительно влиянием европейской транскрипции (*sh*), но не акустическим русским восприятием, так как с русскими попытками транскрибировать польское *ś* через *ш* мне не приходилось встречаться.

Написание [шьи] было бы дурным паллиативом, так как все-таки не внушило бы русскому человеку представление о «мягкости» [ш] и читалось бы как [шйи].

chi см. § 6 δ {čī} |ци, чи, ти, цьи, чьи, тси| ти.

Написания [чи] и [чьи] должны быть отклонены по соображениям, аналогичным с теми, по каким отклонены [ши] и [шьи] для предыдущего сочетания.

В сочетании [ци] подкупающим является то, что им дается указание на аффрикатный характер японского звука; но ввиду русской привычки произносить твердое [ц] (читая одинаково и написание *ци* и написание *цы*), я выбираю [ти], которое ввиду наличия характерного для «мягких» согласных акустического момента гораздо более удовлетворяет японца, чем [цы]. Конечно, невозможно было бы избрать для западноевро-

⁹ Он состоит в повышении характерного тона данного согласного.

пейской (английской, французской, немецкой) транскрипции данного японского слога сочетание *ti* (Син-рёмадзи же преследует цели не фонетические, а этимологические); но это вполне возможно для русского языка, в котором мягкое [т] (в *ти, тя*) крайне близко к японской и польской аффрикатам, (Ср. Л. В. Щерба, «Восточно-лужицкое наречие»: «Например, великорусские *t', d'* гораздо ближе к *ć, ź*, чем это принято думать», т. 1, стр. 191.) (под [ć] и [ź] здесь понимаются мягкие, палатализованные, аффрикаты [ц] и [дз]). Это наличие фрикативного элемента в русском мягком [т], с одной стороны, и, с другой стороны, первостепенно важная как для русского, так и для японского и для польского мышления мягкость, палатализованность, согласного, отсутствующая в [ци] (= [цы]), делает русское [ти] естественным заместителем японского *chi*, как и польского *ci* в *ciha*.

Можно было бы ожидать упрека за непараллелизм в передаче глухих и соответствующих звонких звуков: я предлагаю передавать глухую аффрикату через русский знак для смычного [т] (разумеется, при следующем [и]), а соответствующую звонкую (см. § 6э) через два знака, на этот раз отмечающие аффрикатный характер [дз] (разумеется при следующем [и]); но на деле этому непараллелизму транскрипции соответствует и физический непараллелизм — смычный элемент гораздо больше и важнее (он не способен исчезнуть) в глухой аффрикате, тогда как в звонкой он факультативен.

Написание [цы] также не обеспечило бы мягкости, а читалось бы, как [цйи]. Написание же [тси] опасно потому, что может читаться так, как в слове *Бетси*, т. е. [т] + [с].

ni {ni} || ни
 hi см. § 6д {çi} || хи
 mi {mi} || ми
 ri см. § 6з {ri} || ри
 u см. § 2 {u¹⁰, m} | у, ы, в, м, | у, м

В японском звуке, каков он в изоляции, т. е. произнесенный отдельно, больше общих моментов с русским [у], нежели с [ы]. Так, участие (хотя и слабое) губ (особенно нижней) составляет то, что у [ы] отсутствует. Потому для этого гласного звука, поскольку он самостоятельно — без согласных — образует слог, безусловно следует выбрать [у]; но, с другой стороны, является желательным употреблять единый знак для всех тех случаев, где японцем произносится звук, в представлении приравниваемый данному, хотя бы на деле он и

¹⁰ Разумеется, это чисто условное употребление, нарушающее обычные для международного алфавита ассоциации.

произносился бы иначе (не все бы работы осуществлялись) и даже исчезал бы из произношения. Отметка комбинаторных оттенков очень затруднила бы транскрипцию. Потому выбор [y] для слога [y] предрешает и написание слогов с предшествующим твердым согласным.

В дифтонге [уэ] (например, в [уэно] название места) также надлежит писать [y], не [в], так как звук этот чрезвычайно отличен от русского [в], а русское [вэ] может быть японцем воспринято как [бэ].

Написание [м] относится к изображению слогообразующего носового, например в [мма] (см. § 5, 1), который в японской орфографии передается одинаково с [y].

ku {ku} || ку
 su {su} | су, с, съ, с(y) | су, (с(y)), (с).

Вопрос о том, стоит ли отмечать те случаи, когда [y] исчезает из произношения (см. § 4), нужно оставить открытым. Тому, кому это понадобится (эта потребность может, например, возникнуть при вопросе об ударении в японском), можно рекомендовать ставить [y] в скобки или просто опускать. Но безусловно нельзя считать это необходимым, так как исчезновение [y] факультативно и провести точную границу между случаями его сохранения и случаями его исчезновения (хотя бы для определенного темпа речи, принятого как нормальный) — трудно.

tsu {cu} | цу, тсу, |(ц(y)), (ц)

Написание неудобно, так как может читаться не как аффриката, а отдельно. Относительно пропуска [y] можно сказать то же, что при предыдущем сочетании.

pu {pu} || ну
 fu см. § 6: {ɸu} || фу, (ф(y)), (ф)
 mu {mu} || му
 yu {ju} | йу, ю | ю.

О выборе [ю] см. выше о сочетании [ya | я].

ru {ru} || ру
 e {e} | э, е, йэ | э

Против написания [e] говорит прежде всего то, что это символ, испорченный сбивчивыми ассоциациями, которые с ним связываются в русском письме. Наконец, токийское начальное [э] (в противоположность нагасакскому) вовсе не имеет перед собой «йота» (русское же начальное e = [йэ]). Затем выбором [э] достигается единообразие с обозначением [э] после гласных

(в Токио звук [э] не соединяется с мягкими согласными). Остается вопрос о том, писать ли [йэ] (или, что все равно, [e]) в тех случаях, когда перед [э] имеется переходный переднеязычный элемент (см. § 8, 2), например в [и^йэ] 'дом', [сити^йэн] 'семь ен'. Я предпочитаю не обозначать его, а писать просто [иэ], потому что такие переходные, обуславливаемые наличием прочих звуков, элементы вообще не нуждаются в обозначении, особенно если они хотя приблизительно и хотя в малой степени существуют также и в русском произношении, что здесь имеет место. (Ср. Mr. Satow в Discussion после Chamberlain, Notes on the dialect spoken in Ahidzu, Transactions of the Asiatic Society of Japan, Vol. IX, part 1, p. 35: «It is also usually supposed that Kiôto people pronounce *y* instead of *e* when that syllable occurs at the beginning of a word, but though I have listened very carefully for this *y* I have never heard it except when pronounced rapidly after a word immediately preceding, when the passage from the final nasal *n* or a vowel naturally gives rise to the semivowel *y*, as is the case in the Yedo dialect also. It is the fact which has led foreigners to call the Japanese dollar *yen* instead of *en*, because they always hear it immediately after a numeral ending in a vowel. At the beginning of a sentence no *y* is heard after in the Kiôto or in the Jedo dialect».)

ke {ke} || кэ
 še {se} || сэ
 te {te} || тэ
 ne {ne} || нэ
 he {he} || хэ
 me {me} || мэ
 e, ye {e} || э, см. выше
 re {re} || рэ
 o {o} || о
 ko {ko} || ко
 so {so} || со
 to {to} || то
 no {no} || но
 ho {ho} || хо
 mo {mo} || мо
 yo {jo} | йо, io, ё | ё

Против [io] говорит возможность чтения как [ио]. Против [йо] те же доводы, что против [йа] для [я]. Против [ё] : 1) его неравноправность с прочими буквами азбуки, хотя ё именно очень полезное изобретение (ее употребление, например, очень облегчило бы иностранцам изучение русского языка), 2) неудобство соединения с надстрочным знаком долготы. Однако

выгоды от употребления этого знака настолько велики, что заставляют всячески желать преодоления технических затруднений. В случае невозможности этого можно было бы думать о замене [ё] для передачи японского [yo] в начале слов и после гласных (и дифтонгов) через [йо] (а вместо указываемого ниже [ё] после согласных букв — т. е. для передачи звука [o] после мягких согласных — можно было бы тогда употреблять [o] с предшествующим ь, т. е. писать [мьо], [тьо], [ньо], [сьо] и т. д.). Наконец, если бы техническое затруднение состояло только в употреблении прописного Ё (и при этом нежелательно было бы отказываться от прописной буквы для собственных имен и для начала фраз), то можно было бы употреблять для начала слов [й (Й)], а для передачи звука [o] после мягких согласных (следовательно, внутри слова) — ё. Если затруднение состоит в соединении буквы ё со знаком долготы, то вопрос: от чего отказаться — 1) от отметки долгот вообще, 2) от более или менее известного публике надстрочного знака — черточки, которую в таких случаях можно было бы заменять, например, двоеточием или точкой вверх строчки рядом с буквой, или 3) от буквы ё — следует решать в зависимости от того, на какой круг читателей рассчитывает данное издание; см. сказанное ниже о ценности отметки долгот гласных.

o, wo{ wo} |o, vo| o

Здесь разумеется звук [o] в позиции после другого гласного и имеющийся перед ним (см. § 8, 1) переходный элемент. Под влиянием японской орфографии возникает вопрос о передаче этого переходного элемента особенно для суффикса винительного падежа — [°o], хотя здесь нет никакого отличия от такого же переходного элемента между гласным и звуком [o] внутри слова (например, в [ка°o] 'лицо').

Лучше не обозначать этого переходного элемента, так как написание [vo] (например, *каво* вин. пад. от [ка] 'комар'; или *каво* 'лицо') заставило бы произносить сильное русское губно-зубное [в], на которое нет ничего похожего в токийском, и которое могло бы быть воспринято как [б].

ga {ga, va} |га, °га, нга | га (°га)

Сомнение может возникнуть только по поводу того, изображать ли встречающееся между гласными носовое [г] (см. § 6x) отлично от простого.

На это в русской письменности нет средств, так как написание *нг* совершенно неудовлетворительно. И можно только для тех случаев, когда понадобится указать на данную фоне-

тическую особенность, предложить в качестве перехода к условной транскрипции употреблять для носового [г] еще маленькое *н* перед ним вверху строки.

за см. § 6. {за} |дза, за, ца| дза

Ввиду того что [дз] преобладает над [з], как идеальное (осуществляющееся в изоляции слога) произношение звука, я предпочитаю всюду писать [дза] — как в начале, так и в середине слов; различие оттенков сильно обременило бы транскрипцию. Но выбор [з] вовсе не заслуживает упрека, ибо для японского мышления, не имеющего данного различия, удовлетворительно как [дз], так и [з]. Некоторым доводом в пользу [з] могло бы быть то, что [дз] имеет шансы быть прочтенным раздельно (а не как соответствующий звонкий звук для [ц]), но если уходить от этой опасности, то не обязательно к выбору [з]. Так, по моему наблюдению, у многих русских (образованных) есть представление звонкой переднеязычной аффрикаты, которое относится к представлению [ц], как [б] относится к [п], [д] к [т] и т. д.; эта фонема отличается от прочих фонем тем, что она в русских словах не употребляется; но она имеется, например у меня, и никогда не заменяется через сумму отдельных фонем [д] + [з], когда я произношу (и произношу по-русски, без всякой сознательной попытки подделываться под китайское произношение) китайские слова (например, *Мэн-цзы*, *Цзан*). И вот для звука, который будет соответствующим звонким для [ц], ввиду осознания его родства (одинаковости места и способа образования в полости рта) с [ц], возникла графика *цз*. У лиц, совершенно не знакомых теоретически с составом данного звука, существует, однако, определенное представление о том, что при написании *цз* раздельное произношение [д] + [з] невозможно (в этом и состоит связь с [ц]) и на этой почве возможно различие *ацза* и *адза* (т. е. совершенно неподготовленным русским человеком эти рядом поставленные написания могут быть прочтены с различием, и притом определенным¹¹). И в сущности мы не должны придумывать обозначения для звонкой переднеязычной аффрикаты (тесного соединения [д] + [з]), оно русской письменностью более или менее уже создано: в виде *цз*¹².

В этом отношении я не совсем согласен с протестом П. П. Шмидта («Опыт мандаринской грамматики», I, 30) про-

¹¹ Это не значит, однако, что они всегда будут читаемы различно. Аналогично этому могут, конечно, различаться также *ачжа* и *аджа*.

¹² Ибо тот, кто его придумал, представлял себе аффрикату; разумеется, аффриката передается и через *дз*, но там не подчеркивается, что это аффриката. Конечно, различие чтений *цз* и *дз* не имеет фактического значения, так как русский язык не представляет случаев для него.

тив употребления *цз* и *чж* в русской транскрипции китайских слов: «... Ввиду всего этого начертания *цз* и *чж* противоречат двум правилам фонетики: во-первых, глухие звуки (*ц* и *ч*) не сливаются с звонкими (*з* и *ж*); во-вторых, звуки *ц* и *ч* уже по себе являются аффрикатами (от *т + с* и *т + ш*) и не могут сливаться с другими фрикативными звуками». Пока мы считаемся с русскими письменно-фонетическими ассоциациями (а это условие популярной транскрипции), мы должны вполне определять все значения данной буквы. Ведь *ц* в сочетании *цз* вовсе не означает того звука, который имеется в сочетании *ца*, а означает только, что звук, передаваемый через *цз*, похож на [ц]. И это сходство с [ц] может быть нарушено при чтении написания *дз*. Я понимаю то желание внести здравые фонетические представления в транскрипцию, которое руководило П. П. Шмидтом, и, между прочим, частью из аналогичных же побуждений склоняюсь к выбору *дз* для японского звука, но это возможно только потому, что в данном случае осознание [цз] как отличного от [дз] имеет под собой не слишком устойчивую социально-фонетическую почву. Но отказаться, например, от передачи японского *ki* через русское *ки* потому, что с представлением изолированной буквы *к* у нас связано представление твердого согласного, а твердый согласный не соединяется (в русском) с гласным [и] (аналогично рассуждению П. П. Шмидта о *ц* и *цз*), разумеется, не требуется.

Таким образом, из трех возможных передач для японского звука каждая оказывается приемлемой, и здесь возможен выбор под влиянием, между прочим, и доводов «практического разума». Среди этих последних я имею в виду и солидарность с тем направлением, которое так или иначе хочет внести в русскую письменность и в русские транскрипции фонетический принцип. Впрочем, вопрос о передаче японского *za* должен быть решаем в связи с вопросом о *ji* (если, например, *за*, то и *зи*), а там условия выбора более сложные.

da	{da}		да
ba	{ba}		ба
pa	{pa}		па
gi	{gi, ʝi}		ги (ʝги)

ji см. § 6ε {ʝi} | ди, зи, дъзи, дзи, жи, джи, чжи, жьи, джьи, чжьи | дзи.

[жи], [джи] и [чжи] невозможны по причинам, отклонившим выбор [ши] для *shi*. [жьи], [джьи], [чжьи], [чжьи] — по причинам, отклонившим выбор [шьи]. В русском *ди* имеется прежде всего представление смычного звука, фрикативный же элемент, хотя и имеется, но он нечто вторичное, связанное с

мягкостью согласного. А между тем в японском¹³ согласный слога осуществляется или как «смычный + спирант» (т. е. в виде аффрикаты), или просто как спирант. Потому физическая сторона дела говорит или за передачу звука как аффрикаты (в [дзи], [дьзи], [цзи]), или как спиранта [зи]. Психические данные говорят за предпочтение [дзи] — таково старательное осуществление слога [ji]. Но каждое из сочетаний [дзи], [дьзи], [цзи] имеет некоторые (правда, очень небольшие) неудобства. Так [дзи] может быть читаемо как твердое [д] + [зи]; [дьзи] может подать повод к искусственному делению на слоги (и скорее всего в связи с догадкой о каком-то морфологическом делении комплекса, например: слово *niji*, транскрибированное через [нидьзи], может дать чтение [нидь] + перерыв голоса + [зи], а это будет японцем понято, как *nijiji*). От написания *ницзи* можно, может быть, ожидать чтение с твердым [ц] + неслитое с ним [зи], что для японца будет *nitsuji*. Я повторяю, что считаю все эти доводы очень слабыми; это и позволяет мне здесь выдвинуть некоторые субъективные мотивы выбора [дзи]: оно проще, чем [дьзи], которое к тому же никем не применялось к транскрипции японских слов, и «фонетичнее», чем [цзи].

bi {bi}		би
pi {pi}		пи
gu {gu, гу}		гу (гу).
zu см. § 6, {зу}		(см. выше о за) дзу
bu {bu}		бу
pu {pu}		пу
ge {ge, ге}		гэ (гуэ)
ze см. § 6, {зе}		дзэ
de {de}		дэ
be {be}		бэ
pe {pe}		пэ
go {go, го}		го (гуо)
zo см. § 6, {зо}		дзо
do {do}		до
bo {bo}		бо
po {po}		по
kyu {k'a}		кя, кья, кйа, кья кя.

Написание [кья] имело бы *raison d'être*, если бы мы боялись допустить букву я вообще в транскрипцию (ввиду сбивчивости ее значения: то «йот» + [а], то [а] + указание на мягкость предшествующего согласного). Но то, что выбор

¹³ Токийском; разумеется, если бы понадобилось передавать звуки говоров (например, провинции Тоса), различающих *chi-nigori* от *shi-nigori*, нужно было бы первое писать через *ди*, второе — через *зи*.

того или другого значения ее строго связан с положением после согласной или не после согласной буквы, и совпадение этих значений с требованиями японского материала (где также есть мягкие согласные) позволяет употреблять ее и во втором из указанных ее значений, подобно тому как я говорил о применении ее в первом значении (см. выше о слоге $ya=[\text{я}]$). [кйа] (буквальная передача написания ромадзи [куа]) невозможно, так как не передает главного — мягкости согласного ($k\dot{y}a = k\ddot{y}a = k\check{y}a$). [къя] передает эту мягкость и сверх того еще «йот» между [кь] и [а]. Но в японских *куа*, *руа* имеется лишь слабый¹⁴ переходный элемент (см. § 8,3), приблизительно такой же, как в русских слогах $кя=[к\check{ь}а]$, $пя=[п\check{ь}а]$ и совершенно отсутствует тот «йот», который имеется в русском слове $пьян=[п\check{ь}ан]$. Следовательно, писать [къя] не имеет смысла, и я склоняюсь к [кя], что делает обязательными аналогичные решения и для прочих сочетаний «мягких» согласных¹⁵.

$gya\{g'a, v'a\} \parallel$ гя (гя)
 sha см. § 6γ {śa} || ся
 ja см. § 6ε {śa} || дзя
 cha см. § 6δ {śa} || тя
 hya см. § 6θ {śa} || хя
 $mya\{m'a\} \parallel$ мя
 $gya\{r'a\} \parallel$ ря
 $bya\{b'a\} \parallel$ бя
 $pya\{p'a\} \parallel$ пя
 $kyu\{k'u\} \mid$ кю, кiu, кью | кю

Выбор [кю] аналогичен с выбором [кя] для куа.

$gyu\{g'u, v'u\} \parallel$ гю (гю).
 shu см. § 6γ {śu} || сю
 ju см. § 6ε {śu} || дзю
 chu см. § 6δ {śu} || тю
 hyu см. § 6θ {śu} || хю

¹⁴ И психически столь же малоценный, занимающий в сознании японца такое же ничтожное место, как и у русского в русских сочетаниях, — все, конечно, ввиду его зависимого положения. Ср. Л. В. Щерба, *Русские гласные в качественном и количественном отношении*, стр. 87.

¹⁵ Возможно, что после различных «мягких» согласных (например, *руа*, *гуа*, *ша*, *уа*) переходный элемент будет различен (ср. наблюдение над переходными элементами в одном из лужицких говоров: Л. В. Щерба, *Восточно-лужицкое наречие*, § 75: «После г', п', l гласные „а, э, о, u"... приобретают очень ясно выраженные высокие переходные звуки... После ś. ṥ, ś̈, j', эти переходные элементы не так обращают на себя внимание»). Но эти различия безусловно не должны быть принимаемы в расчет при транскрипции.

пуу {m'u} || мя
 руу {p'u} || пю
 куо {k'o} | кѣ, къо, кіо, кйо | ке.

Выбор кѣ аналогичен с выбором кя для куа. См. также о слоге уо=[ѣ].

гуо {g'o, v'o} || гѣ ("гѣ)
 sho см. § 6γ {šo} || сѣ
 jo см. § 6ε {žo} || дзѣ
 cho см. § 6δ {čo} || тѣ
 huо см. § 6ϑ {ço} || хѣ
 муо {m'o} || мѣ
 руо {r'o} || рѣ
 буо {b'o} || бѣ
 пуо {p'o} || пѣ

п см. § 5, 3 {v¹⁶, m¹⁷, p} | н, нъ, н-, нг, нгъ, м | н(нъ), нъ, м.

Для конца слова и для положения перед [к], [г] было бы желательно употребить какой-либо другой знак, нежели [н], но это невозможно, так как подходящей буквы нет, а сочетание *нг* создало бы совершенно неверное произношение. Поэтому я предлагаю писать всюду [н], кроме положения перед [м], [п], [б], где — [м], и положения перед «йотом» (например, в [манъёсю]) — см. сказанное выше о уа=[я]. Употребление черточки (*хон-яку ман-ёсю*) нежелательно, так как за этим знаком хотелось бы сохранить морфологическое значение. Вопрос об употреблении *ъ* после *н* на конце слов — в угоду русской графической привычке, — я считаю ненужным решать (этим я, конечно, не отрицаю необходимости единообразия

¹⁶ Возможный упрек в том, что я в фонетической (основанной на ассоциациях международного фонетического алфавита) транскрипции употребляю один и тот же знак *v* и для интервокального носового [v] (см. § 6z, например в [pa^vai] = [нагаи]) и для носового элемента дифтонгов («ун»а см. § 5, 3) перед заднеязычными [к], [г] (например, [ta^vka] = [танка]) и на конце слов (например, [ho^v] = [хон]), действительно имеет основания, но подобный же упрек приложим и к обычным (см. Edwards, *Étude phonétique de la langue japonaise* и в Romaji) употреблением одного и того же знака [п] и для вполне согласного звука в [a^пo] = [ано]) и для носового элемента дифтонга в [ka^пda] = [канда] и аналогично — к употреблением [m] для согласного в [a^мa] = [ама] и для носового элемента дифтонга в [a^мba^и] = [амбаи]. Следует придумать новые символы для носового элемента дифтонгов перед губными, переднеязычными, заднеязычными, отличные от [п], [п], [п], [v] или объединить все комбинаторные видоизменения этого элемента под одним символом (например [N]), который соответствовал бы японскому «ун»у. Разумеется, пока этого нет, нужно в тех случаях, когда носовой дифтонг имеется перед гласным, отмечать особым знаком границу слогов, иначе [v] будет понято как согласный, начинающий собою слог.

¹⁷ С ружком под буквой для выражения слогового характера звука.

внутри какого-либо издания): поскольку транскрипция преследует фонетические цели, твердый знак на конце слова в ней совершенно излишен; но, поскольку японские слова будут печататься в изданиях разнородных (журналах, газетах и т. д.), появление твердого знака — явление неизбежное.

kwa {k^wa} || ква
gwa {g^wa} || гва
kwo {g^wo} || кво
gwo {g^wo} || гво

Этих сочетаний нет в Токио, но на них легко натолкнуться при транскрипции орфографии, поддерживаемой рядом говоров, где они имеются, по крайней мере [kwa], [gwa]. Остановиться можно на [кв], [гв], хотя это далеко не точные передачи японских лабиализованных заднеязычных.

Долгота согласных отмечается обычно удвоением буквы, что и следует принять для [кк], [тт], [сс], [сс(и)], [пп], [тт(и)]. Но долгое [ц] лучше писать [тц] (этим отмечается увеличение продолжительности смычки, а не спирантного элемента, что и соответствует действительности).

Долгота гласных не может должным образом передаваться средствами русского письма, так как в русском языке нет представления долгих и кратких гласных. Поскольку приходится обращаться к условности, можно из всех возможных способов выделить черточку над буквой, как прием более или менее известный (благодаря классической школе) русской публике. Но могут встретиться типографские затруднения (особенно при ё). Другие способы, как-то: 1) двоеточие рядом с гласной буквой (надо только, чтобы оно не было отделено от буквы пробелом; иначе оно будет принимаемо за знак препинания), например [о:]; 2) двоеточие особой формы — с точками в виде маленьких треугольников [◡]; 3) точка рядом с буквой вверху строки [ȯ], [ē̇]; 4) употребление буквы другого (например, жирного) шрифта; и прочие подобные одинаково допустимы, представляя условности, хоть и непонятные для не знающего в чем дело, но и не наводящие его на ложное чтение.

Можно высказаться только против удвоения гласного символа, что может вызвать ложные чтения, особенно в таких случаях, как [ооока], [хoooo], [соооо]. Ссылка на то, что удвоение буквы для обозначения долготы гласного употребляется в некоторых письменностях (например, в немецкой, финской), а также в научных фонетических транскрипциях (у Свита), не дает повод заключать о его пригодности для русской транскрипции, так как и в немецком и в финском языках есть представление долгих гласных, отсутствующее в русском, а

научная фонетическая транскрипция, основанная на условности, также несоизмерима со средствами русской письменности. [Ср. Грот, «Русское правописание», 87 стр.: «Но протяжное *e*, означаемое в немецкой орфографии удвоением этой гласной, нет надобности удваивать и в русском письме. Название реки, на которой стоит Берлин, можно, например, писать просто *Шпре* (а не *Шпреэ*)»].

В изданиях, предназначенных для широкого круга публики, обозначение долготы лучше не проводить вовсе (ведь оно нужно только лицам, усвоившим представление о различии кратких и долгих гласных независимо от ударения, а не тем, которые из японского языка берут только несколько собственных имен в свой лексикон). Можно было бы говорить еще о том, чтобы отмечать долготу знаком ударяемости, с которой у нас, русских, постоянно связана долгота, но это значит дать намеренно ложное представление об одном из фонетических средств японского языка. Выход из этого положения так же невозможен, как нельзя обозначить [ʰг] обычными средствами русского письма, как совершенно нельзя передать ими, например, сложную систему корейских гласных или английские звуки (их два — глухой и звонкий), передаваемые через *th*. Остается прибегать к условности (если только возможно, путем черточки над буквой) там, т. е. в тех изданиях, где желательна точность, и отказываться от отметки долгих гласных там, где условность не может быть понята.

NB. Обозначения: *э* (со знаком долготы, если нет препятствий к его употреблению) и *эи* для [э̄], способного чередоваться с дифтонгом [эи], могут быть употребляемы с одинаковым правом, см. § 3NB.

Музыкальное ударение во всем объеме, разумеется, также принадлежит к таким различиям, которые отсутствуют в русском языке¹⁸, и по этой причине (да и по другим: к нему, например, японисты еще не привыкли) обозначение его надлежит сделать факультативным. Для тех случаев, когда обозначение музыкального ударения является желательным, возможен очень большой выбор обозначений, зависящий прежде всего от типографских условий. Я отнюдь не вижу особых достоинств за тем способом, которым я пользовался в «Музыкальном ударении в говоре Токио» (отчасти те же знаки употребляет и Эдвардс, § 159), и заменить его можно всяким. Можно, например, как делают японцы, в том числе Имамура в своей книжке «Тōкёбэн» («Токиоский говор»), отводить для

¹⁸ Я говорю «ударение во всем объеме» потому, что некоторые факты японского (токиоского) ударения находят себе параллели в русском; например, противоположение слова [аса] 'утро' слову [аса] 'конопля' (см. § 9) легко может быть воспринято русским. Но различие слов [он] 'милость' и [он] 'звук' (см. § 9) может быть усвоено значительно труднее.

обозначения ударения особую строку под транскрипцией звукового состава слов; при этом под слогом ударенным ставится знак акута ' , под слогом неударенным горизонтальная черточка —, на долгий слог приходится два знака; таким образом слова [аса] 'утро', [хō] 'щека' и [он] 'милость' снабжаются знаками ' , слова [аса] 'конопля' и [хана] 'цветок' — знаками —, слова [хана] 'нос', [хō] 'закон' и [он] 'звук' — знаками — —.

Этим можно считать законченным рассмотрение передачи звуковой стороны; остаются еще вопросы о тех привесках к русской графике, которые со звуковой стороной не связываются. Это: 1) употребление прописных букв для имен собственных и для начала фраз; поскольку транскрипция преследует только фонетические цели, больших букв нужно избегать (ср. Грот, «Русское правописание», стр. 80: «Большие буквы составляют, собственно говоря, роскошь письма»), но с ними непременно нужно считаться в популярной транскрипции; 2) употребление черточки (малого тире -) внутри слова. Это средство желательно было бы сохранить как символ морфологического деления (и, конечно, сделать его употребление факультативным, ибо деление на морфологические части бывает нужно только в специальных случаях), отделяя им, например, суффикс от основы: [хана-га] — им. пад. от [хана], [ари-масу] или одну часть сложного слова от другой, например [кобу-тори]. Вопросы о том, какие части слов считать за заслуживающие выделения через тире (ведь возможно и ар-и-мас-у) и где граница между частью слова и отдельным словом (например [хито-дэсу] или [хито дэсу], [бэнкё-суру] или [бэнкё суру]), я здесь не касаюсь.

Вторая возможная цель русской транскрипции — это передача японской орфографии. Главным требованием является, конечно, отделение этой транскрипции от первой, для чего рекомендуется указывать каждый раз, что приводимое написание есть копия с написания же, или заключать транскрибируемые таким способом слова в особые кавычки (что опять-таки надо оговаривать). Относительно выбора букв можно сказать:

1) что для тех знаков каны, которые связаны (в изоляции от прочих знаков) только с представлением звука или слога, как этот звук или слог произносится в настоящее время, — без всякого намека (почерпаемого, например, из таблицы Годзюн'а) на древнее значение, отличное от современного его значения, нужно употреблять тот комплекс русских букв, который передает данный звук или слог в современном японском произношении. Поэтому надо писать [ха], [фу] (хотя в древности эти слоги и звучали как [па], [пу], но это для японца неизвестно, и из непосредственного рассмотрения таблиц Годзюн'а не вытекает). Таким образом, орфография какого-

нибудь слога [сѣ] может быть передаваема, например, через [си я фу]. Для знаков, употребленных (с определенным фонетическим значением) в уменьшенном виде, возможно сохранение этого уменьшения, например орфографию слова [иппай] можно передать через [и^упа и], а орфографию какого-нибудь слога [кя] через [ки^я];

2) для тех знаков, с которыми соединяется определенный намек на отличное от современного древнее произношение (восстанавливаемое всяким грамотным японцем из таблиц Годзѣон'а) следует выбрать комплексы русских букв, соответствующие этому восстанавливаемому произношению. Это нужно: для знака, передающего [и] в столбце *ва*, — следует употреблять [ви]; для знака, передающего [э] в столбце *ва*, — следует употреблять [вэ]; для знака, передающего [о] в столбце *ва*, — следует употреблять [во]; для знака (очень редкого), передающего [э] в столбце *я*, — следует употреблять [йэ] (*e* могло бы пройти незамеченным). Согласно вышеизложенному, транскрипцию слогов [ква], [гва] следует передавать как [ку ва] или [ку^{ва}], [гу ва] или [гу^{ва}]. Но в массе случаев из тех, где понадобится различать [ква] от [ка], [гва] от [га], придется исходить не столько от орфографии, сколько от японского произношения, для передачи которого возможны только [ква] и [гва] (см. выше).

Из тех областей науки, с которыми мне когда-либо пришлось иметь дело¹, я никогда не причислял математику (за исключением лишь астрономии) к тем дисциплинам, которые возбуждали во мне интерес и любовь к ним. Наоборот, математику (опять-таки кроме астрономии) я априорно готов был бы считать неинтересной для меня наукой, и именно ввиду отсутствия в ней конкретных объектов исследования: задача о двух курьерах и вычисление объема усеченной пирамиды — это задачи, которыми, я охотно верю, можно заинтересоваться — точно так же, как и решением шахматных задач; но поскольку фактически существующих двух курьеров, которые ехали бы друг другу навстречу из A в B и из B в A , не существует и поскольку я не видел ту усеченную пирамиду, объем которой вычисляется, я ни за что не соглашусь сравнить эти задачи с теми задачами, которые приходится решать лингвисту или историку древнерусской литературы.

По этому поводу можно было бы даже сказать «хвалебное слово» лингвистике² вроде того, что сказал умудренный многолетним опытом Аристид Брэаль в той своей статье (в «MSL» под эпитафией «Il faut faire retraite»), где он, оглядываясь на пройденный свой жизненный путь, советует молодежи выбирать в качестве научной специальности именно свою «прекрасную науку» — лингвистику.

Но поскольку, все же, научные вкусы являются чисто субъективным делом, здесь можно будет просто сказать: я люблю лингвистику, а математику не люблю. Однако есть точки соприкосновения даже между математикой и лингвистикой. В моей практике пришлось встретиться с тремя случа-

¹ А в числе таковых, кроме лингвистики, я мог бы назвать историю древнерусской литературы и археологию, этнографию и социологию, некоторые отделы зоологии и ботаники.

² Даже преимущественно перед историей литературы: ведь история литературы (и прежде всего история новой литературы — по крайней мере в том виде, в каком она существует теперь) не есть точная наука (да и всегда ли то, что публикуется под флагом истории литературы, вообще будет наукой?), а лингвистика может претендовать на звание точной науки с не меньшим правом, чем любая из естественноисторических дисциплин (например, геология, минералогия, ботаника, зоология, антропология и т. д.).

ями этого рода, точнее с тремя совершенно различными способами использования математики для лингвистических исследований.

1. Использование математики (включая дифференциальное и интегральное исчисления) в анализе кимографических кривых (т. е. кривых, механически записанных на самодвижущемся цилиндре в лабораториях экспериментальной фонетики). Это — очень серьезная и вместе с тем очень трудная часть работы экспериментального фонетика, о которой могут дать хорошее представление работы известного французского фонетика Пуаро.

2. Математика на службе диалектологической статистики. Это дело совсем новое. Точнее, мне приходится здесь делать пробную работу — проработывать собранный материал, который — в форме готового уже исследования и выводов — сможет появиться в свет лишь несколько лет спустя. Значение же самого метода диалектологической статистики (т. е. статистических приемов диалектологического обследования) мне представляется важным, и, в частности, вот почему: в то время как «безъязычные языковеды» — Аптекари и т. п. — пытаются переправить языкознание на социологические рельсы тем, что четыре часа подряд спрягают существительное «класс» и прилагательное «социальный», я считаю нужным на деле (т. е. в конкретном диалектологическом исследовании) исходить из социологической точки зрения — и притом не только в историко-лингвистических построениях (делаемых на основании собираемых фактов), но и в самых методах описательной диалектологической работы (последнее-то для нас в данном случае и относится к делу). В частности, сюда относится прodelываемая мною попытка заменить величину «индивидуальный говор» (в роли опорной единицы диалектологического исследования) величиной «коллективный говор». Сделать это без перестройки приемов собирания нельзя — потому, что в реальности мы никогда коллективный говор³ не наблюдаем и не записываем. Но можно, с известной приближенной точностью, нарисовать искусственную (схематическую) картину «коллективного говора» из обследования значительного числа «индивидуальных говоров» (тех лиц, разумеется, которые оказываются представителями данного «коллективного говора»). При этом подлежат статистической регистрации как, с одной стороны, «коллективно-диалектические» черты, так и, с другой стороны, черты «индивидуальные» (т. е. свойственные некоторым лишь из представителей обследуемого говора) и процент распространения последних. Но тут ока-

³ Будь то территориально-диалектическая единица или социально-групповой диалект — все равно.

зывается, однако, что твердой принципиальной границы между чертами «коллективно-диалектическими» и «индивидуальными» часто не удается установить: все сводится, следовательно, к количественным (статистическим) различиям в отношении процента распространенности каждой из черт (причем фактически приходится иметь дело с очень большим разнообразием: от 1% до 99 и 100%⁴).

Вот вкратце то основное, что нужно сказать для определения диалектологической статистики. Кстати, добавлю, однако, и одно предостережение — против неограниченного доверия «методу процентов»: нельзя ограничиваться одной статистикой в характеристике носителей данной языковой черты (внутри «коллективного говора»). Иначе со статистической диалектологией произойдет то же, что было (и долго длилось даже) в антропологии, когда гонялись лишь за возможно большей цифрой измерений, не различая разных типов внутри данного числа измеряемых индивидуумов.

Приведу пример: в фонетическом обследовании самаркандцев обращает на себя внимание признак, который я называю «характером заднеязычного носового (согласного) *нг*». У одних (как из таджиков, так и из узбеков, причем и те и другие вполне двуязычны) это ординарное (несложное) «заднеязычное *н*», так же, как и у узбеков окрестных кишлаков (принадлежащих к неиранизованной «кыпчакской» группе узбекских говоров); у других же — и это будет большинство — это сложный звук с исходом в виде *г* (а иногда — это будет уже подтип — даже с исходом в виде *гк*, если только этот звук будет на конце слова). Есть априорные данные⁵, говорящие за то, что признак ординарного «заднеязычного *н*» унаследован (меньшинством самаркандцев) от чисто узбекских, а признак «сложного *нг* (и *нг^к*)» от таджикских предков современного (как выше уже сказано, вполне двуязычного) населения. И вот, если мы ограничимся голыми цифрами процентов — вроде того что тип ординарного звука представлен 7%, а тип *нг* (вместе с подтипом *нг^к*) 93%, то это даст нам гораздо менее (для конечного исторического вывода), чем те же цифры, но с указанием кто (и сколько) принадлежит по

⁴ Если брать значительно более чем по 100 представителей для каждого из намечающихся «коллективных говоров», то, очевидно, придется иметь дело и с такими цифрами, как 0,1%, 0,3%, 2,1% и т. д.

⁵ В данном случае априорными данными можно считать и сравнительно-грамматические указания. В настоящей статье я лишен возможности привести их. Замечу только, что самаркандские евреи (т. е. тот элемент самаркандского населения, в языковой формации которого участие чистых узбеков являлось минимальным) вместо данного звука осуществляют просто комбинацию двух фонем *n + g* или *n + k* (на конце слов, но опять-таки не у всех индивидуумов; приводить цифры я здесь считаю излишним).

своей языковой генеалогии к узбекской (т. е., в общем, к турецкой) и кто (и сколько) к неузбекской (т. е. к таджикской, в общем — иранской) среде.

Причисляя статистический метод диалектологического исследования к приемам математическим, т. е. видя здесь использование математики на пользу лингвистики, я должен сказать, однако, что применять здесь (мне, по крайней мере) приходится уж не бог знает какую математику (не дифференциалы и интегралы как в экспериментально-фонетических подсчетах Пуаро): дело ограничивается, в сущности, обычными для демографической статистики выкладками. Но ничто не препятствует тому, что в будущем, когда разрастется количественно материал обследований, кто-нибудь приложит сюда и теорию функций (в связи, например, с количественной характеристикой каждого из смешивающихся этнических элементов и количественными стандартами обследуемых в каждом диалекте индивидуумов).

3. Приложение теории вероятностей к определению относительной вероятности этимологий⁶ — как достоверных, так и гипотетических и, наконец, фантастических. Для пояснения сущности дела возьму элементарный пример.

Санскритскому *ṣatām* (произносится как *шатām*, но с мягким *ш*) соответствует латинское *centum* (произносилось во времена Цезаря и Цицерона как *кэнтум*); оба слова — числительные и означают 100. Требуется выяснить, насколько правдоподобно (т. е. какую имеет степень вероятности) то утверждение, что оба эти слова (скр. *ṣatām* и лат. *centum*) состоят в генетическом родстве, т. е. происходят из одного и того же источника. При этом принимается во внимание наличие следующих форм — тоже со значением 100 — в других родственных (индо-европейских) языках: греч. *hekatón* (причем *he* [первый элемент в составе *he-katón*] объясняется как остаток некогда самостоятельного слова «один»: следовательно, *he-katón* этимологизируется как «одна сотня»), лит. *šimtas* (читается *шимтас*), авест. (др.-вост.-ир.) *satəm* (читается *сатэм*), кимрск. и брет.⁷ *cant*, др.-верх.-нем. *hunt*, др.-церк.-слав. *СЪТО* (произносилось наподобие комплекса *субо*)⁸.

⁶ Слово «этимология» в научном языкознании означает «история слова» или «учение о происхождении слова» (но совершенно с другим значением употребляется этот термин в школьных грамматиках, где «этимология» означает то же, что «морфология»).

⁷ Это два кельтских языка.

⁸ Причем, однако, сходство между древнеславянским гласным звуком *Ъ* и нашим современным *у* лишь весьма приблизительно, так что передача (транскрипция) древнецерковнославянского *СЪТО* в виде *субо* является в известной мере условной.

Как мы замечаем из сопоставления всех вышеприведенных слов (со значением 100), в их звуковой структуре наблюдаются известные общие сходства: например, каждое из этих слов начинается с согласного (скр. $\zeta =$ мягкое ш , лат. $c = \kappa$, греч. $h = k$, лит. $\check{s} = \text{ш}$, s, c, h и т. д.), далее следует гласный + носовой (n или m) или же просто гласный (как в санскрите, греческом, авестийском, славянском), а затем — во всех вышеприведенных формах — звук t (m), после которого идет уже окончание ($um, am, on, as, \text{эм}, o$), которое в некоторых языках может быть и отсутствующим (в кельтских и в древневерхненемецком).

И тут позволительно допустить только две возможности: 1) или вышеуказанное общее сходство в звуковом составе всех данных слов оказывается просто случайностью, 2) или же оно объясняется тем, что эти слова (и в их числе скр. *çatām* и лат. *centum*) происходят из одного и того же источника — из одного и того же древнего слова («сто»).

Сколько же шансов дает теория вероятностей в пользу первой из этих возможностей и сколько в пользу второй?

Возьмем для сравнения пару слов со значением 100 в двух заведомо неродственных языках, например в славянском (*съто*), в древнетибетском (*brgya = бргъа*) или в японском, где слово «сто» звучит *хяку*⁹. Первый звук славянской формы — c (лат. s), первый звук древнетибетской — b (русская буква $б$) в сущности столь же мало или почти столь же мало напоминают друг друга, как и начальные звуки санскритской и латинской форм: $\zeta = \text{ш}$ мягкое и $c = \kappa$. Но мы увидим, что в пользу неслучайности последнего звукосоответствия ($\zeta = \text{ш}$ мягкое // $c = \kappa$) у нас найдется много шансов, а соответствие славянского s древнетибетскому b (или, точно так же, соответствие славянского c японскому $хь$), наоборот, окажется делом чистого случая. Именно: мы можем найти в данных двух языках — в санскритском и в латыни — значительный ряд других пар слов (обладающих в каждой паре одним и тем же или сходным значением), в которых будет повторяться вышеприведенное соответствие: скр. ζ (ш мягкое) — лат. c (κ). Например, слова со значением «собака»: скр. *çva* (читается как *шва*, но с мягким ш и долгим a) — лат. *canis* (читается как *канис*); начальные согласные здесь опять-таки ζ и c , т. е. те же самые, что и в *çatām* и *centum*.

Второй пример — слова со значением «скот»: скр. *paçi* (читается *пашу*, но с мягким ш) — лат. *pesci* (читается *пэку*);

⁹ Заимствовано, между прочим, из китайского и потому состоит в генетическом родстве с древнетибетским *brgya* (несмотря на все различие в звуковом составе обеих этих форм).

на третьем по порядку (или предпоследнем с конца) месте мы здесь опять-таки встречаем соответствие звуков *с* (*ш* мягкого) в санскритском и *с* (*к*) — в латинском.

Для краткости я не привожу здесь других подобных примеров (т. е. таких же пар слов, как *çva* — *canis*, *paçu* — *pes*, где всюду будет соответствие *ç* — *с*), но их можно найти¹⁰ великое множество. Условно допустим, однако, что таких примеров нашлось пятьдесят (на самом деле, повторяю, их можно найти гораздо больше). И вот теперь у нас будет уже другой разговор относительно случайности соответствия *ç* — *с* (*к*) в *çatām* и *centum*.

Допустим, что двое людей одновременно снимают по одной карте из находящихся у каждого из них колод. И в тот момент, как один из них снял даму, другой снимает двойку. Это, конечно, будет случайностью, какой было бы и санскритско-латинское соответствие *ç* — *с*, если бы оно встретилось нам только один раз. Но допустим, что два человека продолжают снимать карту за картой и тут пятьдесят раз подряд на даму из одной колоды будет приходиться двойка из другой колоды. Возможно ли допустить это как простую случайность, или тут будет замешан какой-либо фортель, какая-нибудь согласованность (т. е. такое обстоятельство, которому в языковой истории будет соответствовать родство данных двух языков и родство данных двух слов в этих языках)? Ясно, что гораздо больше будет шансов за то, что тут (в пятидесятикратном повторении соответствия «дама — двойка») кроется согласованность, а не простая случайность. Но маленький шанс вероятности того, что пятьдесят раз подряд случайно выйдут «дама — двойка», мы все-таки допускаем. Выразим этот шанс как $1/x$ и условно отождествим с ним ту небольшую вероятность, что *ç* (санскритское) и *с* (латинское) будут приходиться друг на друга в пятидесяти парах (однозначных) слов без генетической на то причины (т. е. не потому, что данные слова родственны, а просто в силу случайности)¹¹.

Но регулярные повторы одного и того же звукосоответствия мы обнаружим не только между санскритским и латинским, но и в соответствующих словах прочих родственных языков: в словах, означающих 100, мы видели, что санскритскому *ç* (*ш* мягкому) и латинскому *с* (*к*) соответствует звук *s* в авестийском, *k* — в греческом, *š* (*ш*) — в литовском, *с* (*к*) — в кельтских, *h* — в древневерхненемецком (и вообще в германских языках); и вот те же самые звуки будут повто-

¹⁰ Взяв в руки, например, этимологический словарь латинского языка Вальде (*Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*).

¹¹ Т. е. так же, как соответствуют звуки *с* и *б* в славянском *сѣто* и древнетибетском *brgya* (*бргя*).

рены и в словах со значением «собака»; ср. авест. *sra (сна)*, греч. *κυон* (др.-греч. чтение *куон* с долгим *о*), лит. *šiu* (читается как *шуо*), ирл.¹² *cu*, кимрск. и брет. *ci*, нем. *Hund*.

И если мы найдем в каждой из родственных языковых групп лишь по тридцати, допустим, примеров регулярного повторения одного и того же звука в соответствии санскритско-латинскому звукосоответствию «*ç — с*», то вероятность случайного характера всех этих регулярных повторов выразится уже не в виде $1/x$ (как мы условились ее обозначать при прежних данных), а в виде $\frac{1}{x \cdot y \cdot 30}$, где *y* будет числом отдельных языковых групп — таких, как, например, кельтские языки, германские языки и т. д. Беря здесь минимальное число (именно число таких языковых групп внутри индо-европейского семейства, которые постоянно фигурируют в этимологических словарях), мы считаем, что $y = 8$, и, следовательно, шансы в пользу случайного появления сходств между *çatām* и *centum* выражаются в виде $\frac{1}{240 x}$.

Но правильное звукосоответствие мы встречаем и для всех элементов сравниваемых нами слов: вслед за начальными согласными (*ç — с*) идет соответствие «санскритского *a* — латинскому *en*», которое мы опять-таки найдем в ряде других пар однозначных слов (из санскритского и латыни), например, скр. *matis* — лат. *mens*, род. пад. *mentis* (значения «мысль» — в санскритском, «ум» — в латинском). Допустим, что таких примеров нашлось всего двадцать, и так как для данного звукосоответствия (*a — en*) мы опять-таки найдем правильные (регулярно повторяющиеся в однозначных словах) параллели и в других семьях (например, в греческом мы будем в таких случаях тоже иметь *a*, как в санскрите), то нашу формулу мы уже имеем право превратить в $\frac{1}{240 x \cdot 8 \cdot 20}$, т. е. $= \frac{1}{38400 x}$.

Доходим до звука *t*, сохранившегося во всех из вышеприведенных слов (индо-европейских языков) со значением 100. То обстоятельство, что в данной позиции в восьми языковых семьях повторяется один и тот же звук, конечно, опять-таки не может быть случайностью, по крайней мере шансы на случайное происхождение сравниваемых слов уменьшаются, благодаря этому *t*, не менее чем в восемь раз: $\frac{1}{8 \cdot 38400 x} = \frac{1}{307200 x}$.

Здесь я позволю себе и остановиться, напомнив, что и само *x* есть уже чрезвычайно большое число (это ясно уже

¹² Ирландский, как и кимрский и бретонский, — кельтский язык.

из того, что выше говорилось при сравнении звукосоответствия $\zeta - c$ с пятидесятикратным одновременным выходом дамы и двойки); и оно, конечно, поддается исчислению.

Моей задачей было, однако, не сделать вычисление, а лишь показать наивозможно более элементарно характер делаемых при подобных выкладках рассуждений. Как ни применю я (сознательно) цифры, фигурировавшие в качестве данных, вывод несомненно сводится к тому, что родство слов *çatám* и *centum* можно считать доказанным (ибо вероятность обратного предположения, что все обнаруженные звуковые сходства и звукосоответствия носят случайный характер, близка к нулю).

Но, разумеется, есть и спорные этимологии, в которых учет соотношения шансов (в пользу данной этимологии и, наоборот, в пользу объяснения обнаруженных сходств простой случайностью) выразится уже в совершенно иного рода цифрах. При этом иногда придется математически учитывать не только фонетические, но и семантические данные.

Я пробовал применить приемы теории вероятности и к яфетидологическим объяснениям истории отдельных слов (например, к марровскому объяснению латинского *urbs*), причем начинал с допущения того, что четыре элемента (сал-бер-ён-рош) действительно существовали и участвовали в образовании слов. И даже при этом допущении получалось нечто совершенно обратное вышеприведенному примеру (*çatám//centum*), т. е. вполне достаточное доказательство того, что данная марровская этимология заведомо неверна: один шанс в пользу вероятности даваемого Марром объяснения противопоставляется астрономической (7—10-значной) цифре шансов в пользу того, что данный звуковой комплекс имеет некую иную историю (причем служившие для Марра отправным пунктом совпадения между данным звуковым комплексом и тем или другим из четырех элементов носят заведомо случайный характер)¹³.

¹³ Ср., например, сходство (по цвету) между белой церковной стеной и белым лепестком розы. Оно в равно мере оказывается недостаточным для установления генезиса церковной стены от лепестка розы, как и наличие *b* в *urbs* и в элементе *ber* оказывается недостаточным для признания марровского объяснения.

ПО ПОВОДУ «ЗВУКОВЫХ ЖЕСТОВ» ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Выражение «звуковой жест» требует пояснения. Под ним отнюдь не надо понимать жеста, сопровождаемого звуком, каким, например, является хлопанье дверью, топанье ногой об пол, скрежет зубами и пр. и пр. Слово «жест» употреблено в этом выражении условно — имеются в виду не жесты, а элементы устной речи (слова или части слов), роль которых в языке походит на роль жеста. Остановимся потому сначала на выяснении роли жеста и некоторых других аксессуаров речи.

В состав значения каждого слова (как и каждого предложения) входит нечто постоянное, определяемое без представления какого-нибудь единичного произношения данного слова (или данного предложения). Это и есть то значение, которое должно приводиться в толковых словарях и грамматиках, значение, связанное с составом слова из звуков (включая сюда и определенное место ударения). Это то значение, которое заставляет говорить о тождестве слов в разных предложениях (ему соответствует и тождество звукового состава); например, мы видим одно и то же слово *слуга* в таких выражениях, как *старый слуга* и *ваш покорный слуга*, видим одинаковую пару слов: *я+тебя* и тогда, когда на вопрос «кто кого обыграл?» отвечают *я тебя*, и тогда, когда кто-нибудь из взрослых, грозя ребенку пальцем (или только интонацией) произносит *я тебя!* Слово, определяемое с фонетической стороны сочетанием звуков $a+b+c$ (с определенным местом ударения), а со стороны значения понятием A , всюду равно самому себе (т. е. имеет и $a+b+c$, и A), но в одном случае значит $A+X$, в другом — $A+Y$.

В сочетании слов *испанцы ревнивы* еще нет мысли о том, что «испанцы — ревнивы», покуда эти слова не произнесены с соответствующей интонацией; а если произнести с интонацией другого сорта — получится вопрос «испанцы ревнивы?», в который можно еще вложить большее или меньшее сомнение.

Чем же прецизируются понятия, равные вышеуказанному значению слова, в каждом из отдельных случаев, когда употребляется данное слово? Что прибавляет к данному понятию

новые, только для данного случая нужные признаки? Многое, и, во-первых, контекст (понимая его в самом широком смысле). «Это поймет только тот, кто знает в чем дело», — говорит комический педант в одном старом водевиле, заканчивая длинную свою тираду; но в сущности все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем «в чем дело». Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось бы в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками; раз они вызывают в слушателе нужную нам мысль, цель достигается; и говорить иначе было бы безрассудной расточительностью.

Кроме того, значение слов дополняется разнообразными видоизменениями звуковой стороны, куда входит главным образом мелодия голосового тона (а кроме нее еще темп речи, различные степени силы звука, разные оттенки в звукопроизводных работах отдельных органов, например вялая или энергичная их деятельность и пр. и пр.), и, наконец, — жестами.

Не надо думать, что эти стороны речевого процесса есть нечто не подлежащее ведению лингвистики, т. е. науки о языке. Только, разумеется, рассмотрение этих фактов (мелодизации, жестов и прочих аксессуаров речи) составляет особый самостоятельный отдел лингвистики; между прочим, это тот отдел, которым лингвистика соприкасается с теорией драматического искусства.

При этом надо иметь в виду, что в разных языках имеется различное использование интонаций и жестов. Наиболее резким примером отличия от роли мелодизации в русской речи является так называемое музыкальное ударение, имеющееся, например, в китайском, японском, а также сербском, литовском, латышском, шведском, норвежском и других языках. Под этим термином понимается наличие в фонетическом составе слова определенной мелодии, связанной со значением слова так же, как и определенный порядок составляющих данное слово звуков. Например, в русском *стол* носителями значения являются звуки *с+т+о+л*, произносимые (или слышимые) в данном порядке, а в китайском *ма* 'лошадь' носителем значения является помимо звуков *м+а*, еще определенная мелодия голосового тона. Русское *стол* остается одним и тем же словом, с какой бы интонацией мы ни произнесли его (с повышением, или с падением тона внутри гласного, или последовательно и с тем и с другим), но если в китайском *ма* одну интонацию заменить другой, то получится уже не «лошадь», а «коноп-

ля»; если же употребить еще новые сорта интонации, получится «мать» или же «ругаться». Таким образом, мелодизация захватывает в китайском более обширную область, чем в русском, являясь не только привеском к постоянному фонетическому представлению слова, но и входя в состав последнего.

Да и помимо таких исключительных случаев есть масса фактов, говорящих о различной роли мелодизации в разных языках. Так, например, нас, русских, иностранцы часто узнают по привычным для нас интонациям фраз; при этом говорят, что русские «поют» в разговоре. Это значит, что повышения и падения высоты голосового тона у нас более значительны и более часты, чем, например, в такой сравнительно монотонной речи, как английская.

А в языке бутукутов, живущих в Южной Америке, своеобразная певучесть речи еще резче бросается в ухо. И притом, надо заметить, свойственная их фразе мелодия не обладает той обязательностью, как музыкальное ударение в китайском. Те из туземцев, кто привык говорить по-португальски, легко ее утрачивают¹. Подобные же факты часто наблюдаются и у нас: люди, говорящие на иностранном языке, при наличии, конечно, подражательных способностей (и обыкновенно еще музыкальные), усваивают не только звуки, словарь и грамматику чужого языка, но и присущую ему мелодизацию (некоторые делают это даже вполне сознательно). И это почти необходимое условие для того, чтобы иностранцы признали такого в совершенстве усвоившего их язык человека за своего. Да, наконец, и в передразниваниях иностранного или инородческого произношения не малую роль играет подражание чужим мелодизациям, — взять хотя бы рассказчиков еврейских анекдотов.

Точно так же роль жеста в различных языках колеблется между почти исключительно эмоциональной функцией жеста, с одной стороны, и знаменательной — с другой. Последняя — знаменательная функция жеста — имеется в изобилии у диких народов, выражающих жестом то, что мы выразили бы словом. Наоборот, у европейских народов преобладает эмоциональная роль жеста. И разумеется, как при той, так и при другой, у разных племен «словарь» жестов может быть различен. О том, что знаменательные жесты могут различаться, говорить излишне; достаточно указать, например, что в Японии, говоря о себе, указывают не на грудь, как у нас, а на нос. Различие же эмоциональной функции жестов явствует из того, что одни нации употреб-

¹ Основываюсь на сообщении исследователя языка и быта южноамериканских индейцев Г. Г. Манизера.

ляют жестов больше (итальянцы), другие меньше (англичане).

Как не различны, однако, функции мелодизации и жестов в различных языках, значительную часть этих функций можно противопоставлять функциям звукового состава слов. И критерием для этого противопоставления можно считать: с одной стороны, символичность данного способа выражения (т. е. его условность, без предварительного знания которой этот способ выражения не будет понят), и, с другой стороны, наличие естественной связи между данным способом выражения и его значением. Выражение понятия «стол» через комплекс звуков $c+t+o+l$ принадлежит к чисто символическим способам выражения, так как из представления стола никак нельзя сделать заключения о $c+t+o+l$. Точно так же китайское обозначение «лошади» через $m+a+$ определенная интонация — выражение чисто символическое. Символическими являются, конечно, жесты азбуки глухонемых, потайные жесты людей темных профессий и пр. и пр.

К способам выражения второго сорта принадлежат прежде всего те интонации и те жесты, которыми выражаются эмоции, например гнев, восторг и пр. Сюда могут быть также причислены жесты, копирующие предметы или действия. Они ведь тоже имеют претензию «быть естественно понятными». Только надо иметь в виду, что и в понимаемости этого сорта способов выражения может большую роль играть условность. Можно назвать их потому не просто естественными, а потенциально-естественными.

Ведь, если мы знаем, что данный внеязыковой факт выражается определенной интонацией или определенным жестом, то можно объяснить происхождение этого нашего знания просто из того, что мы всегда или часто наблюдали эту эмоцию в сопровождении данной речевой интонации или данного жеста. И мы заучили, следовательно, эту связь точно так же, как мы заучили связь между звуко сочетанием $c+t+o+l$ и представлением стола на основании того, что это звуко сочетание всегда употреблялось при наличии мысли о столе у говорящего. Кроме изучения языка происходило, значит, и изучение нравов, и оба они служат средствами догадываться о чужой психике. Орудием изучения языка является подражание, но ведь и в области эмоциональных жестов оно имеет место: ребенок, например, в выражении недовольства и гнева подражает тому, что при подобных эмоциях делают его родители.

И тем не менее у тех интонаций и жестов, которые я назвал потенциально-естественными, есть нечто отличное от чисто условных выражений; практика и привычка к ним уза-

коняют их, но они могут появиться у данного индивидуума и не как следствие подражания; пускай фактически это осуществляется только в редких случаях и даже только для некоторых, наименее зависящих от условности речевых интонаций и жестов. Однако и те, которые фактически восходят к подражанию, имеют с ними нечто общее: они усваиваются и более легко, чем чисто условные выражения². А это основывается, видимо, на существовании естественной связи между выражаемым и данным его выражением, той связи, которая, пожалуй, не будь фактора подражания, и сама бы создала у отдельных индивидуумов интонации и жесты, тождественные или сходные с общераспространенными.

Те психологические и физиологические процессы, которыми обуславливаются данные связи, видимо, в значительной степени одинаковы у всех людей; этим и объясняется сходство эмоциональных интонаций и жестов у разных народов, не имеющих ничего похожего в чисто условных способах выражения.

Как видно из сказанного, в большей части европейских языков, например, русском, немецком, французском и английском, в качестве условных способов выражения используются главным образом сочетания звуков; интонация же и жест несут потенциально-естественный характер³. Условимся считать (конечно, вполне субъективно) такое положение дела нормальным. В китайском с его ударением будет одно отклонение от этой нормы, в языке дикарей, изобилующем условными жестами, — другое.

Нас занимает вопрос, не существует ли уклонения от этой нормы в другую сторону. Нет ли звуко сочетаний (соединений определенных гласных и согласных в известном порядке), роль которых аналогична роли жестов потенциально-естественных, имеющих претензию на общепонимаемость (в том числе и жестов, копирующих факты внешнего мира). Если таковые звуко сочетания имеются, мы и назовем их ввиду этой аналогии «звуковыми жестами».

Пускай их аналогия с настоящими жестами будет неполной, пускай в них еще большая роль принадлежит услов-

² Эмоциональные интонации понимаются даже животными.

³ Функция потенциально-естественных интонаций не ограничивается выражением эмоций; они могут иметь также синтаксическое значение, например, при выражении вопроса. Иногда роль их вполне совпадает с ролью чисто условных способов выражения. Так, вопрос может выражаться в русском или частицей *ли*, или интонацией (есть, конечно, и другие способы: определенный порядок слов, специально вопросительные слова *когда, где, кто* и т. д.), например, *ты там был ли?* и *ты там был?* Ведь объективным признаком потенциально-естественных способов выражения приходится считать их приблизительную однородность в разных языках: вопросительная интонация улавливается иностранцем, частица же *ли* ничего не говорит ему.

ности, все-таки в известных звукосочетаниях (словах или частях слов) мы находим следующие признаки: возможность самостоятельного зарождения в душах отдельных индивидуумов тождественных или сходных комплексов с тождественными или сходными значениями, обусловленную этим легкость усвоения значений этих комплексов (по сравнению с усвоением чисто условных выражений) и, наконец, некоторое сходство между такими комплексами в разных языках.

Прежде всего нужно, конечно, упомянуть о звукоподражаниях, служащих в мире фонетическом аналогией для жестов, копирующих предметы и действия. К ним принадлежат, например, русские слова (или части слов в словах): *таратор-ить, чирик-ать, пилик-ать, чмок-ать, бум-бум* и т. д.

Но факты, наблюдаемые в отдельных языках, говорят, что и кроме звукоподражаний имеются комплексы, третируемые языковым мышлением одинаково со звукоподражательными (что явствует, между прочим, из одинаковой морфологической структуры и одинакового синтаксического употребления тех и других). Потому, следовательно, их и рассматривать надо вместе — независимо от того, что эти «другие» комплексы выражают уже не слуховые, а какие-либо иные впечатления.

Особенно многочисленны и особенно выпукло выделяются из прочих категорий слов такие (звукоподражательные и незвукоподражательные) комплексы в японском языке, рассмотрением фактов которого мы и ограничимся в настоящей заметке. Слова, относящиеся сюда, именуются обыкновенно ономатопоэтическими или ономатописными, а также описательными, подражательными, изобразительными. Формальная характеристика этого класса (состоящего из нескольких видов) не только отрицательная, т. е. не исчерпывается, например, отсутствием флексии, обычного склонения или спряжения. Наоборот, есть определенный рецепт производства осложненных форм от таких слов: суффикс *-то* служит для образования от них наречий, а различные формы глагола *суру* ('делать'), присоединяющиеся к ним также в качестве суффиксов, дают глаголы с полным спряжением (ср. *-ать, -аю* в наших *чирик-ать, пилик-ать* — *чирик-аю, пилик-аю*). Но в особый формальный класс «ономатопоэтики» выделяются не на основании этих суффиксаций (употребляемых и после других комплексов). Главной характерной чертой отдельных видов «ономатопоэтического» класса слов служит их фонетическая форма.

Наиболее многочисленный вид состоит обычно из удвоенного двусложного сочетания, в котором каждый слог состоит из согласного+гласного, с определенным местом музыкального ударения (оно различно в зависимости от говора.

в токийском это первый слог из четырех). Таковы, например, *горогоро* о грохоте, громе; *савасава* о свисте ветра; *гасагаса* о шорохе, например, бумагах; *пикапика* о сверкании, о молнии; *питипити* (читай с мягким *т*, как в русском перед *и*) о всплеске рыбы; *бурубуру* о дрожании; *дзарадзара* (или *дзаразара*) о жестоком, шершавом, *пирипири* о мелких уколах, о впечатлении, получаемом, когда кожу или рану щиплет едкий состав; *пэрапэра* о чем-нибудь быстром, беглом; *тэротэро* (читай *тё*, как по-русски, например в *тётя*) о течении ручья, о походке ребенка; *тёкотёко* о проворных шагах или частых перерывах чего-то во времени; *буцубуцу* о кипении, бурчании, ворчании; *гатагата* о стучащем или гремящем шуме; *хёрохёро* (читай *хё* по-русски); *ниiania* о гримасах, кривлянье; *барабара* о каплях дождя, *бэтабэта* о впечатлении клейкого. Иногда вместо двух слогов повторяется один долгий слог, т. е. слог с протяжной гласной или слог с дифтонгом (в том числе с соединением гласного с носовым согласным, что в японском языковом мышлении занимает такое же место, как дифтонги *ай*, *ау*). Таковы *пйпй* (черточка над буквой означает долготу звука) о звуке флейты; *гугу* или *гого* о храпении; *ваиваи* о шуме человеческих голосов; *пампан* о ярком сиянии солнца; *дондон* о звуке барабана; *гонгон* о звоне большого монастырского колокола; *дзандзан* о звоне пожарного колокола, тревоге; *дзундзун* о быстром исполнении чего-либо («раз-два и готово!»). Очень редко при удвоении двусложного комплекса второй его слог долог, таково *тирйнтирйн* о звоне маленького колокольчика.

Но, однако, и удвоение комплекса является не исключительной принадлежностью «ономатопэтик»; оно играет роль морфологического средства и при других классах слов, выражая обычно идею множественности или интенсивности (хотя функция такой редупликации не может быть приравнена к нашему образованию множественного числа: *нэннэн*, т. е. удвоенное *нэн* 'год' значит не «годы», а «каждый год», «год за годом»; и просто *нэн* может значит и «год» и «годы» — в зависимости от контекста). Но формальная сторона редупликации «ономатопэтик» представляет некоторые отличия от редупликации прочих слов. Помимо различий в ударении (для сравнения с четырехсложными «звуковыми жестами» нужно, конечно, брать удвоения двусложных слов, например, *тама-тама* 'редко', 'неожиданно' от *тама* 'драгоценность'), видимо, для «звуковых жестов» более чем для других ценен принцип фонетического тождества обеих половин слова.

Так при удвоении существительных и прочих слов очень часто наблюдается разница между начальными согласными обеих частей удвоения: в *токи-доки* 'по временам', которое

образовано через удвоение *токи* 'время', т чередуется с соответствующим звонким *д*; аналогично этому и другие начальные глухие согласные заменяются во второй части удвоения через соответствующие звонкие⁴, например, *ц* через *дз*.

При редупликации же в «ономатопозитических» словах такие чередования обычно не встречаются: например, *цуруцуру* (о скользком), а не *цурудзуру*.

Иногда согласные, с которых начинается каждая половина редуплицированного существительного (или наречия и пр.), отличаются и не только по звонкости: редупликацией для *хи* 'день' служит, например, *хиби* 'каждый день' (мы ожидали бы *хихи*), и это объясняется из истории языка следующим образом: древний звук *п* исчез в известную эпоху в японских словах (благодаря чему теперь *п* в японском языке чрезвычайно редко) и перед гласным *и* заменился через мягкое *х*; таким образом, древнее слово *пи* 'день' стало произноситься *хи*; но в древней форме редупликации этого слова, по общему рецепту чередования глухого согласного с звонким, имелось в первой части *п*, а во второй — *б*, сохранившееся и до настоящего времени, и, следовательно, древнее *пиби* превратилось в *хиби*. В «звуковых жестах» редупликационного типа мы не встречаем ничего подобного: *хёрохёро*, а не *хероберо*. И что еще характернее в «ономатопозитиках» очень часто встречается звук *п*, отсутствующий в обыкновенных словах современного японского языка (кроме заимствованных), например вышеназванные *питипити*, *пикапика*, *пипи* и многие другие.

Затем в токиоском говоре при редупликациях нормальных слов, начинающихся с *к* или с *г*, в начале второй половины встречается не обычное *г*, а звук несколько отличный, произносящийся в нос (как *ng* в немецком, например, в *singen*), — так называемое носовое *г*. Этот звук встречается только внутри слова, где зато не бывает простого, неносового *г*, позиция которого ограничивается началом слова. Единственным исключением являются «звуковые жесты» редупликационного типа, начинающиеся с *г*: *гасагаса*, *горогоро* и др. В них *г* второй половины такое же, как и в первой.

Второй формальный вид «ономатопозитик» характеризуется двусложной основой (состоящей из: согласный+гласный+согласный+гласный); второй из согласных, если он глухой, обычно бывает удвоенным, т. е. долгим) и суффиксом *-ри*. Таковы, например: *хирари* о блеске, сверкании; *киттири* о тесном, точном; *носсори* о движении улитки, о неуклюжем, о чванстве; *никкори* об улыбке, о светлом смехе; *паттири* о больших ясных глазах; *гарари* о шуме от стука;

⁴ Такие чередования имеются и в нередупликационных сложных словах, например, *такэ* 'бамбук', но *ао-дакэ* 'зеленый бамбук'.

хорори о каплях слез, бегущих одна за другой; *саппари* 'ясно', 'вполне', 'всцело'; *сиккари* 'крепко', 'верно'. Многие из основ могут фигурировать в образованиях обоих видов. При этом долгая согласная, имеющаяся при суффиксе *-ри*, в редупликационном типе заменяется краткой. Примеры таких дублетов: *гарари* и *гарагара*, *хорори* и *хорохоро*, *никкори* и *никонико*, *коссори* и *косокосо* 'воровски', 'втихомолку', 'исподтишка', *дарари* и *дарадара* 'медленно', 'потихоньку'.

Сравнительно редко встречаются удвоения комплексов второго типа (с суффиксом *-ри*): *никарипикари* рядом с *никарика*, *буцурибуцури* и рядом *буцубуцу*; в таком случае удвоенных согласных уже не бывает.

Из более коротких по составу возможны еще двусложные комплексы с удвоенным вторым согласным без всякого суффикса (таковы *сасса* 'поспешно', *сэссэ* 'энергично'), и, наконец, часто употребляемые односложные, тесно сросшиеся с суффиксом *-то* (который возможен и после всех видов «ономатопэтик», в том числе и после оканчивающихся на *-ри*). К ним принадлежат: *дон-то* о громком шуме; *дотто* — о внезапном взрыве смеха или аплодисментах; *хатто* — при удивлении, неожиданности; *сотто* 'мягко', 'нежно' и др.

Из рассмотрения формальной стороны таких выражений можно сделать прежде всего вывод о большей, чем в других словах, ценности определенного звукового состава. В обыкновенных словах по существу дела безразлично, каким комплексом звуков выражается определенное представление; потому так легко и происходят разрушения и полные превращения звукового состава обыкновенных слов от действия фонетических законов. Так, звук *n* исчез из обыкновенных слов японского языка и от этого не произошло никакого ущерба для их понимаемости; ассоциации, связывающиеся с ним в отдельных словах у старых поколений, были перенесены новыми на те звуки, которые его заменили. Но для «ономатопэтических» слов, очевидно, важны какие-то связи между выражаемым представлением и определенными звуками. Что это должно быть так в словах звукоподражательных, ясно само по себе. Потому в отличие от обыкновенных слов и появляется звук *n* в таких комплексах, как *покарипокари* (о выпускании табачного дыма изо рта), *пипи* (о звуке флейты, о чем-либо жалобном).

Но почему оказывается важной связь с определенными звуками у тех из рассмотренных японских выражений, которые передают впечатления не слуховые, а зрительные, осязательные, моторные и пр. Разумеется, надо считаться с тем, что одно и то же ономатопэтическое слово может передавать как слуховые, так и не слуховые впечатления, если только между ними существует какой-либо контакт в душе

говорящего; и мы имеем право предполагать происхождение этого совмещения в метафоре, благодаря которой комплекс, бывший первоначально только звукоподражательным, стал сопровождать, например, и зрительные впечатления. Но в действительности японские «звуковые жесты» довольно легко делятся на звукоподражательные⁵ и незвукоподражательные (чему, однако, не соответствует никакое различие в их фонетической и морфологической структуре; и те и другие бывают и редупликационными, и с суффиксом *-ри*, и с *-то*). И такие совмещения функций, как у *дзавадзава* (об ощущении холода и о шуме от проходящего народа) довольно редки. И вернее будет допустить непосредственную связь между представлениями фонетическими (акустическими представлениями звуков языка и моторными представлениями звукопроизводных работ) и внеязыковыми моторными, зрительными, осязательными и прочими представлениями. Эта связь вовсе не достаточна для того, чтобы ложиться в основу речевых ассоциаций. Комплекс *пикапика* ни в ком не вызовет представления о молнии, как и молния не вызовет представления о комплексе *пикапика*, если только предварительно не будет установлено условной ассоциации между тем и другим; так же или почти так обстоит дело с звукоподражательными японскими комплексами (хотя бы *вай-вай* — о шуме человеческих голосов). Да японские «ономатопэтики» и не претендуют на такие семасиологические функции, как у других слов. При переводе с японского на русский переводить большинство «ономатопэтиков» нельзя, но их отлично можно не переводить, просто опуская. Все нужное для смысла оказывается выраженным другими словами. Исключения составляют такие комплексы, которые только формально принадлежат к выше перечисленным типам образования, а значение которых уже настолько обточилось и сузилось, что не представляет отличий от значений обыкновенных слов. Это в большинстве случаев образования на *-ри*, не имеющие редупликационных дублетов, а также многие из односложных основ, сросшихся с *-то*; например, *суккари* 'совершенно', *доссари* 'обильно', 'вдоволь', *хаккири* 'отчетливо', *юккури* 'медленно', *биккури* 'испуганно', *китто* 'непрерывно', *тянто* 'точно', 'строго', 'правильно', *титто* 'немного', *тонто* 'совсем'.

Таким образом, поскольку значение «ономатопэтиков» не теряет типичных для этого класса черт, они не имеют целью вызывать в уме слушающего внеязыковые представления, а предназначаются лишь для оживления представлений, вызванных окружающими словами, путем привнесения в состав переживаний слушающего некоторых тонов, гармони-

⁵ Конечно, только с точки зрения современного состояния языка.

рующихся с наметившимся уже внеязыковым представлением. Разумеется, такие тоны могут оказаться присоединимыми к различным представлениям, откуда вытекает и широкая функция одного и того же «языкового жеста» (*текотеко* — о течении ручья и походке ребенка).

Творятся ли новые «звуковые жесты» или же только усваиваются старые, бывшие в употреблении у предшествующего поколения? Конечно, в громадном большинстве случаев играет роль только традиция.

Дело обстоит, видимо, аналогично с творчеством новых («своих», детских) слов детьми, начинающими говорить: оно возможно, но в нем нет надобности. Есть готовые, традиционные слова — слова взрослых, и чем скорее ребенок усвоит их, тем для него выгоднее. Пока же этого еще не произошло, ребенок творит слова, общим свойством которых служит элементарность фонетического состава (этим объясняется, например, распространение типа детских слов, состоящих из повторения одного простого слова: *тата, дада, нана* и пр. и пр.). И по многим причинам «ономатопоэтические» слова японского языка следует рассматривать в связи с фактами детского языка вообще и японского детского языка в частности. Взять хотя бы обилие звукоподражаний у детей, а также чрезвычайную расплывчатость значений отдельных слов⁶. Наконец, простейшие фонетические рецепты детских слов можно сравнить с формальной стороной хотя бы редупликационных японских «звуковых жестов».

Что касается языка японских детей, то в нем ономатопоэтические слова, не отличающиеся принципиально от выше-рассмотренных (отсутствуют только явления, служащие переходом к нормальной морфологии), играют колоссальную роль⁷. И на японские «звуковые жесты» вообще можно смотреть как на принцип специально детской морфологии, сохранившей право гражданства и в языке взрослых. С другой стороны, и большее количество «звуковых жестов» у японских детей, чем, например, у русских, нужно поставить в связь с тем, что эти явления не проводят грани между детским языком и языком взрослых; и встречают, следовательно, со стороны последних покровительственное отношение.

⁶ Для примера приведу рассказ В. П. Вахтерова: «Моя девочка очень часто по ассоциациям, не вполне уловимым, одним и тем же словом называла самые разнообразные предметы. Например, то же самое слово *кы* она применяла и к шкуре медведя, с которой очень любила играть; тем же словом она называла и меховую шапочку, и меховой воротник, шубу, меховые туфли. Но если нетрудно понять ассоциации, связывающие эти предметы друг с другом, то нелегко понять, почему тем же самым словом она называла и некоторые кушанья. Нелегко понять, почему она не связывала этого слова, например, с образом собаки-щенка, которого очень любила» («Основы новой педагогики», 1913).

⁷ Ср. Wundt, *Völkerpsychologie*, I, 311.

ФОРМАЛЬНЫЕ ТИПЫ ЯПОНСКИХ ЗАГАДОК

Я имею в виду существование рецептов, в которых является зафиксированной структура загадки. Располагая, главным образом, материалом из кюсюских говоров, я останавливаюсь на загадках, записанных мною от уроженца Кумамото. К сожалению, у меня почти нет данных, чтобы говорить о территории как отдельных загадок, так и их типов. Из двух имеющихся в Кумамото типов второй — *pazo* — распространен в Японии, видимо, более широко, чем первый. Из загадок же первого типа некоторые (например, № 2) ограничиваются небольшой территорией данной группы говоров, что обусловливается диалектической формой (*zu: geta* 'щека'), на которой основана игра слов.

Формальные типы загадок в Кумамото носят названия: 1) *kaŋgaemoŋo* (*kaŋgae* 'думать', *moŋo* 'предмет'), 2) *pazo* ('загадка'); различаются они — построению и техническим словам — следующим образом:

1. Тип *kaŋgaemoŋo*. Вопрос из двух предложений с непременной антитезой (почему первое предложение часто оканчивается на *-batten* 'хотя', 'но') и техническим словом *nani* 'что?' (эмфатически протягивается: *na::ni*) на конце второго предложения. Для ответа нет технического слова.

2. Тип *pazo*. Вопрос и ответ формально объединены в одно целое, куда входят три предложения:

1) вопрос: «С чем можно сравнить то-то?» Техническим окончанием фразы служит *-to*: *kakete nan-to toku*;

2) ответ: «сравнить можно с тем-то». Техническое окончание *-to toku*;

3) объяснение сравнения, начинающееся с *sono kokoro-wa* 'смысл этого в том, что...' (*sono* 'это' может быть опущено). Приведу примеры¹.

Тип *kaŋgaemoŋo*

№ 1. Вопрос: *kudo-wa kudo-batten, takan-kudo na::ni* 'Очаг есть очаг, а очаг, который не растапливается, это что такое?'

¹ Для транскрипции я пользуюсь алфавитом международной фонетической ассоциации. Место ударения в говоре Кумамото обозначать нет надобности, так как в этом говоре ударение носит постоянный характер.

Ответ: *bonokudo* 'затылок' (Игра слов *kudo* и *bonokudo*).
№ 2. Вопрос: *geta-wa geta-batten, hakan-geta na:ni*
'Гэта (род обуви) есть гэта, а гэта, которых не надевают, это что такое?'

Ответ: *zu:geta* 'щека' (Аналогичная предшествующей игра слов *geta* и *zu:geta*. Слово *zu:geta* непонятно даже для близких по говору нагасакцев: в нормальном японском имеются *ho:beta, hoppeta*; в нагасакском — *zu:tamura*.)

№ 3. Вопрос: *jama-kara oide oide, hata-kara ija ija na:ni* 'С гор — «приди, приди», с пашен — «не хочу, не хочу», что это такое?'

Ответ: *sasa-no-ha-ni imo-no-ha* 'Листья бамбука и листья картофеля' (Трепет листьев бамбука как бы манит: «Приди!» А покачивание листьев картофеля точно хочет сказать: «Не хочу»).

№ 4. Вопрос: *it-tok'a: iradena, irantok'a irumono na:ni*
'Когда входят, оно не нужно, а когда не входят, оно нужно; что это такое?'

Ответ: *urokenzuta* 'доска для прикрывания ванны' (Когда в ванну никто не входит, ее покрывают доской, чтобы вода не остыла; игра слов основана на двояком значении глагола *ittok'a*: «входить» и «быть нужным»; *ittok'a*: < *iru-toki-wa*; *urokenzuta* < *uro-oke-no-zuta*).

Тип пазо

№ 5: *K^wazoku-no re:šo-to kakete nan-to toku? caku'ensacu-to toku, (sono) kokoro-wa bimbo:nin-ni-wa ošinu* 'С чем можно сравнить невесту из аристократии? — С бумажкой в 100 ен. Это потому, что (ни то, ни другое) не достается бедняку'.

Загадка эта не содержит диалектизмов; *ošinu* — форма литературная.

№ 6: *jabure-šo:ši-to kakete nan-to toku? uguisu-to toku, (sono) kokoro-wa haru-wo macu* 'С чем можно сравнить порванные сёдзи (бумажные ставни)? — С соловьем². Это потому, что (соловей) ждет весны (*haru*)'.

Загадка основана на игре слов: *haru* значит и 'весна' и 'натягивать' (например, бумагу на переплет сёдзи). Сёдзи с порванной бумагой ждут, чтобы была наклеена новая бумага.

№ 7: *jo:no-nai čito-to kakete nan-to toku? čo:čín-to toku, (sono) kokoro-wa burabura* 'С чем можно сравнить бездельника? — С бумажным фонарем. Это потому, что оба без тол-

² Собственно японское *uguisi* означает совсем иную птицу, и традиционный перевод — 'соловей' допустим только условно.

ку болтаются' (*burabura* ономатопоэтическое слово: о висящих и болтающихся предметах; в переносном смысле о лентах)³.

№ 8: *oisi joši^{wo}-to kakete nan-to toku? košu:to toku, (sono) kokoro-wa ako: karo:* 'С чем можно сравнить Оиси (Кураносукэ — вождя знаменитых 47 ронинов)? — С перцем (*košu:* — диалектическая форма вместо *košo:*). Это потому, что (перец) красный и горький'.

Игра слов основана на том, что местность, откуда происходит Оиси, носит название *ako:karo:*; так же звучат и наречия «красно», «горько на вкус».

№ 9: *mekura-no šibai-mi-to kakete nan-to taku? kusunoki masašige-no mondokoro-to toku, (sono) kokoro-wa mizu-ni kiku* 'С чем можно сравнить слепого в театре? — С гербом Кусуноки Масасигэ. Это потому, что (слепой) слушает не видя'.

Игра слов основана на том, что *mizu-ni kiku* может значить и «не видя слушает», и «вода и хризантема». В гербе Масасигэ имеется вода и хризантема. Загадка эта очень известна в Японии. Привожу ее нагасакский вариант: *mekura-no šibaja-kembucu-to kakete nan-to toku? kusunoki űuši-no mondokoro-to toku, sono kokoro-wa mizu-ni (или miši) kiku*.

№ 10: *jogoda sugi-no-ki-to kakete nan-to toku? ju:bim-моѳи-to toku, (sono) kokoro-wa haširan'a: naraű* 'С чем можно сравнить кривую ель? — С почтальоном. Это потому, что [кривая ель] не годится для [выделки] столбов'.

Игра слов основана на том, что *haširan'a: naraű* значит 1) «не годится на столбы», 2) «нужно бегать».

В загадке есть диалектические формы. Ее нагасакский вариант: *magatta ki-to kakete nan-to toku? ju:biű-san-to to-ku, sono kokoro-wa haširan'a: naraű*.

Приведу еще несколько загадок второго типа, записанных в нагасакской деревне Мие:

№ 11: *mizu-guruma-to kakete nan-to toku? o-mawari-san-to toku, sono kokora: (или kokoro-wa) nurete mawaru* 'С чем можно сравнить водяное колесо (для орошения полей)? — С полицейским. Это потому, что (оба), мокрые, вертятся'.

Водяное колесо, таким образом, сравнивается с полицейским во время дождя. Вульгарное название *o-mawari-san* 'полицейский' происходит от глагола *mawaru* 'вертеться', 'вращаться'.

³ Грамматика разговорного японского языка (литогр.) Д. М. Позднеева, стр. 119.

№ 12: *nagasaki to:kaisen-to kakete nan-to toku? koromono temai-to toku, sono kokora: cuke:ba agai* 'С чем можно сравнить восточный рейс (на японской джонке) из Нагасаки? — С детским мячиком (*temai* вместо *temari*). Это потому, что как приедут, так подымаются (на гору)'.

Игра слов основана на том, что глагол *cuki* (от него диалектическая форма Conditionalis'a *cuke:ba*) значит и «приставать (к берегу)», и «ударять» (если ударить по мячику, он подпрыгнет).

Как видно из приведенных примеров, в типе *kaugaetopolo* искомым оказывается предмет, способный удовлетворить заданному признаку; ассоциационная нить заключена в задании. В типе *pazo* оба связываемых предмета уже даны (так как, несмотря на вопросную форму первого предложения, задание оканчивается вторым предложением), и искомым является сама ассоциационная связь — мотив сравнения. Поэтому тип *pazo* можно сопоставить с русскими загадками, начинающимися с «какое сходство между...» или «какая разница между...». Для того чтобы процесс обнаруживания ассоциационной нити мог стать задачей (т. е. для возведения его в принцип данного типа загадок), необходима, конечно, особая вычурность ассоциации. Пока этого нет, пока ассоциация по сходству оказывается легко обнаруживаемой, мы имеем дело еще не с загадками, а с простыми сравнениями. Поскольку, однако, ассоциационная связь оригинальна (хотя и очевидна), она годится быть мотивом отдельного произведения. Примером такого сравнения может служить следующая песенка из говора провинции Тоса⁴: *Itosa-no! Iko:t'i-no! Iharimaja-bal Iši-de bo!:saw! Ikanza! Išo!kau-ol Imiŋta. bo!:saw! Ikanza! Išo!kaišo! I:-no Iko!to-jo, me!ku!ra-ga Ime!gane-ol!kano! Imiŋta.* 'В Тоса, в городе Кōти, на мосту Харимая (где продаются женские украшения) (я) видел бонзу, покупавшего гребенку (которую женщины носят в волосах). Вот вещь, похожая на покупку гребенки бонзой: (я) видел слепого, покупавшего очки'. — Нелепость покупки гребенки бонзой состоит в том, что бонзы бреют голову.

⁴ В транскрипции я заключаю ряд слогов, произносимых на высокую ноту, между значками 'и', знак же ₁ обозначает, что следующие за ним слоги произносятся на низкую ноту.

О МЕТРИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ КИТАЙСКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ

Китайская поэзия, вызывающая вполне заслуженный интерес и на Западе и в настоящее время у нас, изучается, однако, не всесторонне. Такой крупный специалист, как В. М. Алексеев, в своей «Китайской поэме о поэте» вопросу о форме уделяет только одну страницу из фолианта, посвященного одному только, сравнительно небольшому произведению; и при этом В. М. Алексеев далек от исторической точки зрения в изучении стихотворной структуры. А между тем ясно, что описание формальных принципов китайского стихосложения только тогда будет соответствовать действительности, когда исходным пунктом изучения будет фонетическая система (элементы которой используются для поэтической установки), современная созданию поэтического канона, т. е., во всяком случае, фонетическое состояние китайского языка 1-го тысячелетия нашей эры (и даже более отдаленного времени). Только в расчете на восстанавливаемые (историко-фонетическим анализом) условно «общекитайские» праформы моносиллабов-морфем может быть написана китайская рифмология (тогда как существующая и поныне традиция рифмотворчества, канонизованная рифмическими словарями, является уже мертвой для живого китайского языка — благодаря фонетической эволюции последнего, как, например, и для китайского языка в Японии, где ведь до сих пор пишутся китайские «классические» стихи). Так же обстоит дело и с метрикой¹.

Источники, которыми должен пользоваться историк китайского языка — синолог-стиховед, таковы: 1) китайская лексикография (и, в частности, система «це-инь» и рифмические словари) вместе с произведенной уже, в известной мере, разработкой ее в работах Карлгрена и японских сиологов

¹ Т. е. здесь также надо исходить из восстанавливаемого (историко-фонетическими приемами) языкового состояния. Современная же нам рецитация может иметь лишь такое приблизительно значение, какое имеет современная японская музыкальная акцентуация при чтении классического текста (и при этом только представителями западнояпонских говоров) для восстановления музыкальной акцентуации в японском языке Хэнанской эпохи (на котором написан данный текст).

(например, Готō), 2) китайская диалектология, 3) «некитайские диалекты китайского языка» или трансформированные на иноязычной почве традиции чтения китайских идеограмм, именно аннамские, корейские и японские (в японском целых три японизованных китайских литературных диалекта, различных соответственно эпохе заимствования и его китайскому диалектическому источнику: Го-он, Кан-он, Тō-ин; в каждом наблюдаются вполне закономерные ряды звуковых соответствий к китайским праформам; кроме того, лингвистическим материалом служат еще устные заимствования двух различных порядков: доисторические, т. е. относящиеся ко времени долитературного влияния Китая, и новейшие, диалектические: из мандаринского языка в южнояпонские — кюсюские говоры).

В вопросе о метрике первостепенную важность имеют данные самой китайской диалектологии (тогда как для рифмологии одинаковую с ними, если не большую роль могут, оказывается, сыграть показания японской, корейской и аннамской традиции). И самый беглый обзор фонетических систем, в частности систем мелодической акцентуации (Sylbepakzent, или так называемые тоны), в десяти-двадцати пунктах китайской диалектической территории дает уже право на следующий вывод по поводу «чередования тонов», привычно считаемого за основной принцип китайской версификации.

Китайская система стихосложения, в период своего создания, была системой метрической, ибо по принципу чередовались в стихе не мелодии слогов, но категории или типы этих мелодий: так называемые «косые» (дзэй) по тону слоги с «прямыми» (пин). Категорий этих только две. В одну входят тоны 1-й и 3-й, в другую — 2-й и 4-й. Диалектологические же данные говорят за то, что 1-й и 3-й тоны соответствовали представлению долгого слога, а 2-й и 4-й — представлению краткого. Таким образом, «чередование тонов», на самом деле — «категорий тонов», есть просто чередование долгого и краткого слогов (и китайское стихосложение, таким образом, становится рядом с древнеиндийским, греческим, персидским)².

Из указаний же на то, что 1-й и 3-й тоны обуславливали долготу слога (в противоположность 2-му и 4-му), я упомяну только факты одного говора (отложив данные других, наблюденных мною говоров, которые могли бы быть привлечены для того же вывода, — до опубликования «Фонетических

² Но отнюдь не рядом с японским и рюкюским, образцами вполне чистых силлабических (не силлабо-тонических, как французское, и не тонико-силлабических, как русское) систем.

наблюдений над китайскими диалектами»), именно говора Цзинь-чжоу-фу пров. Фынтянь.

Существенное отличие музыкального *Sylbenakzent*'а этого говора от пекинского касается собственно одного только 1-го тона (например, в *t'a* 'он'), который в Цзинь-чжоу-фу характеризуется восходяще-нисходящей мелодией: \wedge (*t'a* \wedge). 1-й тон оказывается, таким образом, диаметральной противоположностью 3-му, — нисходяще-восходящему: \vee (например, в *ma* \vee 'лошадь'). И 1-й состоит, следовательно, из последовательности: «2-й + 4-й», а 3-й — из последовательности мелодий: «4-й + 2-й». Получается следующая схема различий:

Ординарные мелодии
(т. е. краткие слоги)

Двойные мелодии
(т. е. долгие слоги)

восходящая мелодия: 2-й тон/

восход.-нисход. мелодия 2-й +
4-й = 1-й тон \wedge

нисходящая мелодия: 4-й тон \vee

нисход.-восход. мелодия: 4-й +
2-й = 3-й тон \vee .

Благодаря выдержанной симметричности этой системы мелодических различий понятие долготы (и краткости, т. е. количества) слога вполне надежно нащупывается (психофонетическими приемами) в языковом мышлении данного говора, тогда как в пекинском, шаньдунских (Цзи-нан-фу, Лай-чжоу-фу) и других оно уже затемнено; момент ровного голосового тона, наличный в пекинской характеристике 1-го тона, уничтожает симметрическое противопоставление 1-го 3-му³. Как ни казалось бы естественным с общefonетической точки зрения видеть вторичность пекинского «ровного» 1-го тона по сравнению с Цзинь-чжоу-фу (на том основании, что неиспользованность ровной мелодии — такого простого по существу представления — в характеристике тонов может считаться фонетической аномалией, и потому замена «нисходяще-восходящей» мелодии «равной» мелодией кажется вполне естественной), на самом деле историко-фонетически дело обстоит сложнее. Объяснить, какой конвергенцией обусловлено это соответствие в характеристиках 1-го тона (Цзинь-чжоу-фу «восходяще-нисходящая»//пекин. «равная» мелодия), мне в пределах настоящей заметки невозможно. Но диалектические данные во всяком случае говорят за историческую показательность цзинь-чжоу-фуской симметричной системы, так что и в древнем языке, для эпохи стихотворного канона, мы вправе определить 1-й и 3-й тоны как долгие, 2-й и 4-й — как краткие слоги.

³ Хотя долгота 3-го тона может утверждаться и на основании пекинских фактов, до известной степени.

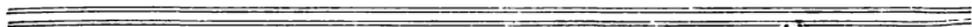
Вопрос о совершенно особом явлении, известном под именем 5-го тона (с конечным неносовым согласным в общекитайскую эпоху, откуда затем *соуп de glotte*, т. е. гамза, и наконец, совершенный нуль согласного — в пекинском), конечно, тоже важен для метрики, но требует вполне отдельного рассмотрения и внесет лишь дополнения, а не изменения в вышесказанное.

Исходя из вышесделанного предположения о метрическом характере китайского стиха, мы можем, например, типичные формы танских пятисложных четверостиший свести к следующим размерам:

для нечетных строк (1-й и 3-й): $\left(\begin{smallmatrix} \text{v} \\ \text{v} \end{smallmatrix}\right) \text{v} \text{v} \text{--} \text{--}$ или $\left(\begin{smallmatrix} \text{v} \\ \text{v} \end{smallmatrix}\right) \text{--} \text{v} \text{v} \text{--}$
 для четных строк (2-й и 4-й): $\left(\begin{smallmatrix} \text{v} \\ \text{v} \end{smallmatrix}\right) \text{--} \text{--} \text{v} \text{v}$ или $\left(\begin{smallmatrix} \text{v} \\ \text{v} \end{smallmatrix}\right) \text{v} \text{--} \text{--} \text{v}$

(В скобки заключен 1-й, безразличный по количеству слог).

ПРИЛОЖЕНИЕ



1. *Специфические особенности последнего десятилетия 1917—1927 в истории нашей лингвистической мысли (вместо предисловия)* (стр. 51—56). Печ. по изд. «Ученые записки Института языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук [РАНИОН]», т. 3, М., 1928, стр. 3—9.

Идеи, высказанные в этой статье, развивались Е. Д. Поливановым неоднократно, в частности в докладе «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория» (см. стр. 176—177 наст. изд.) и в книге «За марксистское языкознание» (М., 1931), в особенности в разделе «Вместо предисловия» (стр. 3—9). По-видимому, эта статья была написана Е. Д. Поливановым как доклад — в связи с его работой в качестве заведующего лингвистической секцией РАНИОНА.

Стр. 52. См. В. И. Ленин, *Задачи союзов молодежи*, — Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 304.

Стр. 52—53. Точные библиографические данные о трудах, упоминаемых здесь: Р. О. Шор, *Язык и общество*, М., 1926; М. Н. Петерсон, *Язык как социальное явление*, — «Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», т. 1, М., 1927; Н. М. Каринский, *Язык образованной части населения г. Вятки и народные говоры*, — там же, т. 3, М., 1928; Г. К. Данилов, *Язык общественного класса*, — там же, т. 3, М., 1928; А. М. Селищев, *Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926)*, М., 1928. Упоминаемые работы Поливанова — № 67 и 84 библиографического списка.

Стр. 55. Упоминаются работы: Л. В. Щерба, *Восточно-лужицкое наречие*, Т. 1, Пг., 1915; А. А. Шахматов, *Синтаксис русского языка*, вып. 1—2, Л., 1925—1927; 2-е изд., Л., 1941; А. М. Пешковский, *Русский синтаксис в научном освещении*, изд. 1-е, М., 1914; изд. 7-е, М., 1957; М. Н. Петерсон, *Очерк синтаксиса русского языка*, М.-Пг., 1923; М. В. Сергиевский, *Из области языка русских цыган*, — «Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», т. 3, М., 1928.

2. *Факторы фонетической эволюции языка, как трудового процесса. Обзор процессов, характерных для языкового развития в эпохи натурального хозяйства* (стр. 57—74). Печ. по изд. «Ученые записки Института языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук [РАНИОН]», т. 3, М., 1928, стр. 20—42.

Проблемы теории эволюции языка занимали Е. Д. Поливанова уже с начала 20-х годов. В 1923 г. в Ташкенте на узбекском языке была опубликована его книга «Понятие эволюции в языке», в качестве приложения к которой на русском языке вышла брошюра «Фонетические конвер-

* Составлен А. А. Леонтьевым.

генции» (перепечатана в ВЯ, 1957, № 3, стр. 77—83). Отдельные работы по частным проблемам теории эволюции публиковались и позже. Кроме перепечатанной в наст. изд. (стр. 75—89) главы из книги «За марксистское языкознание», рецензии на книгу Р. Якобсона (наст. изд., стр. 135—142) и настоящей статьи при жизни Е. Д. Поливанова его обобщающие работы по этой тематике не появлялись, хотя он неоднократно говорил о существовании рукописи под названием «Теория эволюции языка». Вероятно, эта рукопись была в числе материалов, утерянных после трагической гибели Е. Д. Поливанова.

Идея о влиянии детской речи на эволюцию языка усвоена Е. Д. Поливановым от его учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ (хотя встречается — в несколько иной форме — и у многих неограмматиков). Бодуэн указывал в частности, что ребенок при усвоении языка «захватывает в будущее, предсказывая особенностями своей речи будущее состояние племенного языка, и только впоследствии пятится, так сказать, назад, все более приравниваясь к нормальному языку окружающих». Под влиянием семьи, школы и языкового общения дети, правда, выучиваются говорить «правильно», но такие «толчки» не проходят даром: «накопление (кумуляция) следов от подобного рода толчков в целом ряде поколений ведет к действительным, окончательным изменениям во всем исторически сложившемся языке» (см. «Некоторые из общих положений...» в изд.: И. А. Бодуэн де Куртенэ, *Избранные труды по общему языкознанию*, т. 1, М., 1963, стр. 349—350. Ср. там же: *О смешанном характере всех языков*, стр. 364 и др.; *Опыт теории фонетических альтернатив*, стр. 335 и др.

Теория «экономии произносительной энергии» и интерпретация процесса усвоения языка как эквивалента речевой деятельности соответствуют современным представлениям о речевой деятельности. См. об этом: А. А. Леонтьев, *Экономия произносительных усилий — фикция или действительность?* — «Материалы конференции „Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова“», т. 1, Самарканд, 1964.

О взглядах Е. Д. Поливанова на проблемы эволюции языка и исторической фонетики см.: Вяч. Вс. Иванов, *Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*, — ВЯ, 1957, № 3, стр. 59—60, 71—72; А. А. Леонтьев, *И. А. Бодуэн де Куртенэ и петербургская школа русской лингвистики*, — ВЯ, 1961, № 4, стр. 116—124; И. В. Альтман, С. С. Белокрицкая, В. В. Шеворошкин, *О разработке некоторых вопросов фонетики и фонологии в трудах Е. Д. Поливанова*, — «Материалы конференции...», стр. 9—13; В. А. Виноградов, *Теория фонетических конвергенций Е. Д. Поливанова и принцип системности в фонологии*, — там же, стр. 13—18; И. Г. Добродомов, *Принципы изучения звуковых изменений в трудах Е. Д. Поливанова*, — там же, стр. 18—20; Л. А. Андреева, С. Ф. Занько, *Взгляды Е. Д. Поливанова на эволюцию языка и современные представления о языковом развитии*, — там же, стр. 21—22; Л. П. Крысин, *Вопросы языковой эволюции в трудах Е. Д. Поливанова*, — там же, стр. 22—27.

Стр. 61. См. № 72 библиографического списка.

Стр. 67. См. № 32 библиографического списка.

3. *Где лежат причины языковой эволюции?* (стр. 75—89). Печ. по изд.: «За марксистское языкознание. Сборник популярных лингвистических статей», М. 1931, стр. 36—53.

4. *Мутационные изменения в звуковой истории языка* (стр. 90—113). Печатается по машинописному экземпляру с исправлениями и вставками рукой Е. Д. Поливанова, хранящемуся в фонде Л. В. Щербы Архива Академии наук СССР (Ленинград), ф. 770, оп. 3, № 25. Написана в начале 30-х годов.

Стр. 91. См. W. Radloff, *Phonetik der nördlichen Türkssprachen*, Leipzig, 1882.

Стр. 98. См. стр. 57—74 наст. изд.

Стр. 99. Видимо, имеется в виду доклад, прочитанный Е. Д. Поливановым в Московском лингвистическом кружке (см. ВЯ, 1957, № 3, стр. 73)

Стр. 102. См. стр. 236—253 наст. изд.

Стр. 102. См. № 112 библиографического списка.

Стр. 106. См. № 1 библиографического списка.

Стр. 106. Эта работа не сохранилась. †

Стр. 113. См. № 31, 32 и 75 библиографического списка (последнюю работу см. наст. изд., стр. 57—74).

Стр. 113. Эти работы Пражским лингвистическим кружком опубликованы не были. Рукопись работы по японской фонологии была послана Р. Якобсону и частично сохранилась.

5. *Закон перехода количества в качество в процессах историко-фонетической эволюции* (стр. 114—134). Печатается по машинописному экземпляру с исправлениями и вставками рукой Е. Д. Поливанова, хранящемуся в Архиве АН Киргизской ССР (Фрунзе).

Стр. 114. См. комментарий к статье 2.

Стр. 115. См. наст. изд., стр. 57—74.

Стр. 115. См. № 112 библиографического списка.

Стр. 117. О выступлениях Е. Д. Поливанова с критикой «яфетической теории» Н. Я. Марра см. вводную статью.

Стр. 130. См. наст. изд., стр. 57—74.

Стр. 132. См. № 112 библиографического списка.

6. *Рецензия на книгу Р. Якобсона* (стр. 135—142). Печатается по тексту журнала «Slavia», ч. XI, 1, 1932, стр. 141—146. В журнальном тексте без названия.

Стр. 140. Такого места в изданных работах Е. Д. Поливанова найти не удалось, хотя сама идея излагается многократно.

Стр. 141. См. № 28, 31, 32, 75 библиографического списка.

7. *Одна из японо-малайских параллелей* (стр. 143—145). Печата-

ется по изд.: «Известия Российской Академии наук», серия VI, т. XII, № 18, 1918, стр. 2283—2284. Представлено акад. С. Ф. Ольденбургом в заседании Отделения исторических наук и филологии 29 (16) мая 1918 года.

Стр. 144. Н. W. Williams, *Grammatische Skizze der Ilocano-Sprache*, Munich, 1904.

Стр. 144. Н. С. von Gabelentz, *Die Melanesischen Sprachen*, 2-te Aufl., Leipzig, 1873.

Стр. 145. См. № 10 библиографического списка.

8. *К работе о музыкальной акцентуации в японском языке (в связи с малайским)* (стр. 146—155). Печ. по изд.: «Бюллетень 1-го Средне-Азиатского государственного университета», вып. 4, Ташкент, 1924, стр. 101—108 (приложение 1). То же во французском переводе см. в том же изд., вып. 8, Ташкент, 1926, стр. 119—125.

Гипотеза Е. Д. Поливанова о родстве японского языка с малайскими, обоснованная в этой и предыдущей работе, а также в кн.: О. В. Плетнер и Е. Д. Поливанов, *Грамматика японского разговорного языка*, М., 1930, не является общепринятой. Однако она также и не опровергнута. См. об этом: В. В. Иванов, *Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*, стр. 66.

Упомянутая Е. Д. Поливановым (см. стр. 146) работа «Акцентуационные системы японского языка» в печати не появлялась. Ср., однако, статью «Характеристика западнояпонской системы музыкальной акцентуации (Акцентуация в Киото и Тоса)» («Бюллетень 1-го Средне-Азиатского государственного университета», вып. 9, Ташкент, 1925, стр. 183—194), соответствующие разделы книг: «Введение в языковедение для востоковедных вузов» (Л., 1928, стр. 70—84, 120—140) и «Грамматика японского разговорного языка» (стр. 166—176), а также статью «Материалы по японской акцентологии. 1. Говор Тоса» («Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», т. III, М., 1928, стр. 133—149).

Стр. 146. См. № 3, 4, 10, 11, 19 библиографического списка. «Акцентуационные системы японского языка» не сохранились. «Фонетика японского языка» сохранилась лишь частично в рукописи.

Стр. 151. См. наст. изд., стр. 143—145.

Стр. 154. См. Д. Позднеев, *Токухон или книга для чтения и практических упражнений в японском языке*, ч. 1—2, Токио и Иокэхама, 1907—1908.

Стр. 154. См. № 3 библиографического списка.

9. *К вопросу о родственных отношениях корейского и алтайских языков* (стр. 156—164). Печ. по изд. «Известия АН СССР», серия VI т. XXI, № 15—17, Л., 1927, стр. 1195—1204.

О корейском языке и его отношении к «алтайской» языковой группе см. также статью Е. Д. Поливанова *Корейский язык* в «Литературной энциклопедии», т. 5, М., 1931, стр. 469—471. Аналогичная теория была выдвинута позже в работах Г. Рамстедта, в частности в его «Введении

в алтайское языкознание», М., 1957 (так же библиография более ранних работ); ср. об этом Вяч. В. Иванов, *Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*, стр. 66—67.

Стр. 158. См. наст. изд., стр. 143—145.

Стр. 159. См. N. Poppe, *Türkisch-tschuwassische vergleichende Studien*,—«Islamica», v. I, f. 4, Leipzig, 1925.

Стр. 163. П. П. Шмидт, *Опыт мандаринской грамматики с текстами для упражнений*, Владивосток, 1902.

Стр. 163. См. № 30 библиографического списка.

Стр. 164. См. A. Schiefner, *M. A. Castrens Versuch einer jenniset-ostjakischen und kottischen Sprachlehre*, St.-Petersburg, 1858.

10. Индо-европейское *medhu — общекуитайское *mit (стр. 165—166). Печ. по изд. «Записки Восточного Отдела Российского Археологического общества», т. XXIII (1915), Пр., 1916, стр. 263—264.

Стр. 165. См. B. Wikland, *Finnisch-ugrisch und indogermanisch*,—«Le monde oriental», VI, 1906; P. Gauthiot, *Des noms de l'abeille et de la ruche en indo-européen et en finno-ougrien*,—«Mémoires de la Société de Linguistique de Paris», t. XVI, 1910, № 4; H. A. Giles, *Chinese-English Dictionary*, 2nd ed., Shanghai, 1912.

Стр. 166. П. П. Шмидт, *Опыт мандаринской грамматики*, Владивосток, 1902.

Стр. 166. H. Moller, *Vergleichendes indogermanisch-semitisches Wörterbuch*, Göttingen, 1911; B. Karlgren, *Etudes sur la phonologie chinoise*. I. Uppsala, 1915; O. Schrader, *Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde*, 2-e Aufl., Bd I—II, Berlin und Leipzig, 1917—23, 1929.

11. Индо-европейское *sa[s]||древне-куитайское — *čü 'свинья' (стр. 167—171). Печ. по рукописи Е. Д. Поливанова, хранящейся в Архиве АН СССР (Ленинград) в фонде Л. В. Щербы (ф. 770, оп. 3, № 25). На первой странице рукописи надпись: «Для напечатания (хотя бы и в максимально сокращенном виде!). Доверяется автором проф-ру Л. В. Щербе и проф-ру А. Драгунову вносить все изменения, [нрзб] и сокращения, какие они сочтут нужным. Автор Е. Поливанов. P. S. Последует высылка еще многих работ. Е. П.». Рукопись аналогичного содержания, но меньшего объема была направлена Е. Д. Поливановым Р. О. Якобсону в Прагу (ныне хранится в Архиве Чешской Академии наук, Прага): с этого варианта был сделан перевод на французский язык, опубликованный под названием: *A propos d'un mot indo-européen de provenance chinoise* *(t)sū.s <ancien chinois *čü «cochon»,—«Archiv Orientalní», vol. IX, № 3, Praha, 1937, стр. 405—406.

Упомянутая в тексте статьи работа о японских названиях животных опубликована не была и не сохранилась в рукописи.

Проблемы взаимовлияния неродственных языков всегда интересовали Е. Д. Поливанова, как и других учеников И. А. Бодуэна де Куртенэ, например Л. В. Щербу. Вслед за Бодуэном Поливанов, в частности, выдвинул понятие «сравнительной грамматики неродственных языков» (см.:

И. А. Бэдуэн де Куртенэ, *О смешанном характере всех языков*,— «Избранные труды по общему языкознанию», т. 1, М., 1963; Е. Д. Поливанов, *Введение в языкознание для востоковедных вузов*, стр. 52). См. о взглядах Поливанова на эти проблемы в статье Вяч. В. Иванова, стр. 69—70. Уже после выхода в свет статьи Иванова были опубликованы отрывки из лингвистического словаря Е. Д. Поливанова, где много внимания уделяется этим же проблемам («Словарь лингвистических терминов» Е. Д. Поливанова, ВЯ, 1960, № 4, стр. 112—125).

Стр. 167. См. № 124 библиографического списка.

Стр. 168. См. № 30 библиографического списка.

12. *Дунганский суффикс множественного числа -mwɿ* (стр. 172—175). Печатается по машинописному экземпляру с правкой и вставками рукой Е. Д. Поливанова, хранящемуся в Архиве АН Киргизской ССР (Фрунзе).

Стр. 172. См. № 100 библиографического списка.

Стр. 174. R. Jakobson, *Rémarques sur l'évolution phonologique du russe...*, Prague, 1929 (-TCLP, 2)

Стр. 175. См. № 10, 124 библиографического списка.

13. *Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория* (стр. 176—177). Тезисы доклада, прочитанного 4 февраля 1929 г. в Подсекции материалистической лингвистики Комакадемии; печатается по ротаторному экземпляру. Стенограмма доклада находится в распоряжении редакции.

14. *Круг очередных проблем современной лингвистики* (стр. 178—186). Печатается по изд. «Русский язык в советской школе», 1929, № 1, стр. 57—62. В журнальном тексте статья ошибочно озаглавлена «Круг современных проблем...» (та же ошибка в библиографическом списке Вяч. В. Иванова): правильное заглавие восстанавливается согласно оглавлению и другим косвенным данным. К заглавию журналом было дано примечание: «Печатается в дискуссионном порядке».

Эта статья Е. Д. Поливанова и особенно содержащееся в ней утверждение о возможности системы коммуникации в «коллективе» «человек—собака» вызвали наибольшее число нападок в годы критики Поливанова марристами.

Стр. 180. «Производство обособленного одиночкия не общества...— такая же бессмыслица, как развитие языка без *совместно* живущих и разговаривающих между собой индивидуумов» (см. К. Маркс, *Введение (из экономических рукописей 1857—1858 годов)*,—К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 12, стр. 710).

Стр. 183. В. П. Вахтеров, *Предметный метод обучения*, М., 1907; 5-е изд., М., 1918.

Стр. 183—184. Речь идет о И. А. Бэдуэне де Куртенэ.

Стр. 184. А. А. Шахматов, *Мордовский этнографический сборник*, СПб., 1910.

Стр. 185. Ф. де Соссюр, *Курс общей лингвистики*, М., 1933.

Стр. 185. И. А. Бэдуэн де Куртенэ, *О смешанном характере всех языков*,—«Избранные труды по общему языкознанию», т. I, М., 1963.

Стр. 185. В. И. Ленин, *Успехи и трудности советской власти*,— Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 55.

Стр. 185. См. сноску к стр. 52.

15. *Революция и литературные языки Союза ССР* (стр. 187—205). Печатается по изд.: Е. Д. Поливанов, *За марксистское языкознание*, М., 1931, стр. 73—94.

Стр. 193. См. № 64 библиографического списка.

Стр. 199. Статья осталась ненапечатанной и утеряна.

16. *О фонетических признаках социально-групповых диалектов и в частности русского стандартного языка* (стр. 206—224). Печатается по изд.: Е. Д. Поливанов, *За марксистское языкознание*, М., 1931, стр. 117—138.

17. *Фонетика интеллигентского языка* (стр. 225—235). Печатается по изд.: Е. Д. Поливанов, *За марксистское языкознание*, М., 1931, стр. 139—151.

Эти работы Е. Д. Поливанова по вопросам отношений языка и общества, в частности по социальной диалектологии, связаны с его теорией эволюции. Сама тема была весьма популярной в советской лингвистике 20-х годов: назовем такие публикации этих лет, как: М. Я. Немировский, *Язык и культура*,—«Известия Горского педагогического института», т. 5, 1929, стр. 107—157; М. Н. Петерсон, *Язык как социальное явление*,—«Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», т. 1, 1927, стр. 5—21; Р. О. Шор, *Язык и общество*, М., 1926, и др. (См. также наст. изд., стр. 52—53).

Взгляды Е. Д. Поливанова на вопросы социальной лингвистики были полемически противопоставлены упрощенческой концепции представителей «нового учения о языке» и другим вульгарно-социологическим тенденциям в советской лингвистике. Отрицая попытки непосредственно связывать фонетические и грамматические явления с влиянием социально-экономических факторов, он одновременно подчеркивал значение этих факторов для направления и темпов эволюции языка. Наряду с этим Е. Д. Поливанов, как правильно отмечено в статье Вяч. В. Иванова (*Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*, стр. 58), во многом слишком схематично и прямолинейно интерпретировал связь процессов интеграции и дифференциации языков с социально-экономическими факторами, а также неверно понимал в некоторых работах стандартный язык (койнэ) и литературный язык как языки классовые. Впрочем, эта последняя точка зрения была весьма распространена в те годы.

Кроме публикуемых статей проблеме языка и общества Е. Д. Поливанов посвятил, в частности, следующие работы: *О литературном (стандартном) языке современности*,—«Родной язык в школе», кн. I, М., 1927, стр. 225—235; *Задачи социальной диалектологии русского языка*,—

«Родной язык и литература в трудовой школе», М., 1928, № 2, стр. 39—49, и № 4—5, стр. 68—76; *Русский язык сегодняшнего дня*—«Литература и марксизм», 1928, кн. 4, стр. 167—180. Последняя статья вызвала резкий полемический отклик в виде статьи Р. О. Шор (*Парадоксальная ортодоксальность*,—«Литература и марксизм», 1929, кн. 2, стр. 139—149), где утверждалось, что «социальная обусловленность системы языка как в статическом, так и в диахроническом аспектах не нуждается ни в каких ограничениях» (стр. 149), т. е. полностью отрицалась роль несоциальных (психических и физиологических) факторов в эволюции языка. Кроме того, несколько статей, здесь не перепечатанных, вошли в сб. «За марксистское языкознание».

18. *Субъективный характер восприятий звуков языка* (стр. 236—253). Печатается по машинописному экземпляру с правкой и вставками рукой Е. Д. Поливанова, хранящемуся в Архиве Чехословацкой Академии наук (Прага). Этот экземпляр, присланный Е. Д. Поливановым Р. О. Якобсону, является, очевидно, оригиналом французского перевода данной работы, опубликованного в «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», 4, Prague, 1931, стр. 79—96, под названием «La perception des sons d'une langue étrangère».

Французский вариант этой статьи получил широкую известность и часто цитируется в современной зарубежной литературе по общему и прикладному языкознанию. Идеи, которые развивает в ней Е. Д. Поливанов, отразились также и в других работах (см. наст. изд., стр. 121—122, 154 и др.). Из перепечатанных в настоящем издании работ Е. Д. Поливанова по данной и близкой тематике укажем на *Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам*, ч. I. Ташкент—Самарканд, 1935 (частично переиздан в 1961 г. в Ташкенте под названием *Опыт частной методики преподавания русского языка*) и *Русскую грамматику в сопоставлении с узбекским языком* (Ташкент, 1933), а также статью *Чтение и произношение на уроках русского языка в связи с навыками родного языка*,—«Вопросы преподавания русского языка в нац. школе взрослых», вып. 2, М., 1928, стр. 31—43. См. А. А. Леонтьев, *Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе*,—«Русский язык в национальной школе», 1966, № 2.

Стр. 243. См. № 72 библиографического списка.

Стр. 244. См. № 4, 10 библиографического списка.

Стр. 244. E. R. Edwards, *Etude phonétique de la langue japonaise* Leipzig, 1903.

19. *О трех принципах построения орфографии* (стр. 254—262). Печатается по изд. «Вопросы орфографии дунганского языка», Фрунзе, 1937, стр. 59—71 (издание крайне редкое).

Проблемам графики и орфографии Е. Д. Поливанов всегда уделял очень большое внимание. Его работы на эти темы делятся на две группы: а) работы по русской графике и орфографии и б) работы, так или иначе связанные с проблемами «языкового строительства» и прежде всего — с латинизацией. Упомянем здесь лишь наиболее значительные работы Поли-

ванова по вопросам графики и орфографии: *Проблема латинского шрифта в турецких письменностях*, М., 1923; *Проекты латинизации турецких письменностей СССР*, Ташкент, 1926; *Итоги унификационной работы*,—«Культура и письменность Востока», кн. 1, М., 1928, стр. 70—80; *Основные формы графической революции в турецких письменностях СССР*,—«Новый Восток», кн. 23—24, 1928, стр. 314—330. О работе Поливанова в ВЦК НТА см. вступительную статью, стр. 16—17.

Стр. 262. См. № 69 библиографического списка, а также наст. изд., стр. 156—164.

20. *О русской транскрипции японских слов* (стр. 263—286). Печатается по изд. «Труды Японского отдела Императорского Общества Востоковедения», вып. 1, Пг., 1917, стр. 15—36. В дальнейшем поливановская транскрипция стала общепринятой в советской японистике. У Е. Д. Поливанова были и другие работы по вопросам транскрипции, например *Пособие по китайской транскрипции*, М., 1928 (совм. с Н. Поповым-Татива).

Стр. 265. Д. Позднзев, *Токухон или книга для чтения и практических упражнений в японском языке*, ч. 1—2, Токио и Иокохама, 1907—1908.

Стр. 265. См. № 4 библиографического списка.

Стр. 274. Л. В. Щерба, *Восточно-лужицкое наречие*, т. 1, Пг., 1915.

Стр. 278. П. П. Шмидт, *Опыт мандаринской грамматики с текстами для упражнений*, Владивосток, 1902.

Стр. 281. Л. В. Щерба, *Русские гласные в качественном и количественном отношении*, СПб., 1912.

Стр. 284. E. R. Edwards, *Etude phonétique de la langue japonaise*, Leipzig, 1903.

Стр. 285. Я. К. Грот, *Русское правописание* (вышло 20 изданий).

21. *И математика может быть полезной...* (стр. 287—294). Печатается по изд. «За марксистское языкознание», М., 1931, стр. 173—181. По некоторым сведениям (сообщение М. С. Кардашева), данная статья была ранее опубликована в расширенном варианте. Однако эта публикация не найдена.

Стр. 287. Имеется в виду статья: A. Bréal, *Etymologies*,—«Mémoires de la Société de linguistique de Paris». t. 18, 1913, № 3. Точный текст эпиграфа: «Tircis il en est temps: il faut faire retraite» («Тирсис, уже время: пора уходить»).

Стр. 288. Вероятно, имеются в виду монографии: J. Polrot, *Phonetik*, Leipzig, 1911; *Recherches expérimentales sur le timbre des voyelles françaises*, Helsingfors, 1912.

Стр. 293. A. Walde, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 2-te Aufl. Heidelberg, 1910.

22. *По поводу «звуковых жестов» японского языка* (стр. 295—305). Печатается по изд. «Сборники по теории поэтического языка. 1», Пг.,

1916, стр. 31—41. То же в изд. «Поэтика. Сборники по теории поэтического языка», I—II, Пг., 1919, стр. 27—36.

Стр. 305. В. П. Вахтеров, *Основы новой педагогики*, М., 1913; 2-е изд., М., 1916; 5-е изд., 1918; W. Wundt, *Völkerpsychologie*, Bd I. *Die Sprache*, t. I—II, Leipzig, 1900 (Aufl. 4—1921—1922).

23. *Формальные типы японских загадок* (стр. 306—309). Печатается по изд. «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. V, вып. 1, Пг., 1918, стр. 371—374.

Стр. 308. Д. М. Позднеев, *Грамматика разговорного японского языка. Конспект лекций, читанных в Военной Академии РККА и в Институте Востоковедения в 1922/23 учебн. году*, Москва, 1923 (литогр.).

24. *О метрическом характере китайского стихосложения* (стр. 310—313). Печатается по изд. «Доклады АН СССР», Серия В, Л., 1924, октябрь—декабрь, стр. 156—158.

Работы Е. Д. Поливанова по поэтике довольно многочисленны. Кроме печатаемых здесь статей сюда относятся: *Аллитерация*, «Литературная энциклопедия», т. 1, М., 1930, стр. 85—88; *Общий фонетический принцип всякой поэтической техники*,—ВЯ, 1963, № 1, стр. 99—112; *О приеме аллитерации в киргизской поэзии в связи с поэтической техникой и языковыми фактами других «алтайских» народностей* (рукопись в Архиве АН Киргизской ССР). О взглядах его на вопросы поэтики см.: Вяч. В. Иванов, *Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*, стр. 64, 65; А. А. Леонтьев, *Вступительная статья и комментарии к работе «Общий фонетический принцип...»*; И. В. Альтман, *Стиховедческие взгляды Е. Д. Поливанова и некоторые особенности поэтики аруза*,—«Материалы конференции „Актуальные вопросы...“», стр. 162—164.

Стр. 310. См. В. М. Алексеев. *Китайская поэма о поэте. Стансы Сыхун Ту*, СПб., 1916.

Стр. 310. Вероятно, имеется в виду прежде всего: В. Karlgren, *Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese*, Paris, 1923, а также: *Etudes sur la phonologie chinoise Uppsala*, 1915—1924; *Problems of Archaic Chinese*,—JRAS, 1928, и др.

Стр. 55

Г. Рамстедта точнее следует назвать финским ученым.

Стр. 60

Идея экономии произносительных усилий, близкая к той, которая развивается Е. Д. Поливановым, позднее была положена в основу фонологической теории эволюции языка А. Мартине; см. А. Мартине, *Принцип экономии в фонетических изменениях*, М., 1960, стр. 64 и след., стр. 127—198 (см. там же разбор предшествующих работ в этой области, в частности, Ципфа).

Стр. 63

Различие между конвергенцией, чаще называемой в работах последнего времени фонологическим склеиванием или слиянием фонем (англ. merger), и дивергенцией, чаще называемой расщеплением фонем (англ. split), в настоящее время принято во всех работах по диахронической фонологии; см. J. W. Marchand, *Internal reconstruction of phonemic split*,—«Language vol. 32, N 2 (part 1), 1956 (см. ссылку на Поливанова там же, р. 24 п. 10), Н. М. Hoenigswald, *Language change and linguistic reconstruction*, Chicago, 1960; М. И. Стеблин-Каменский, *К теории звуковых изменений*,—в кн. М. И. Стеблин-Каменский, *Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков*, Л. 1966, стр. 16.

Стр. 64

Под «догреческим» $*k^w$ Поливанов имеет в виду индоевропейское $*k^w$ (лабиовелярное). Как установлено благодаря дешифровке крито-микенского линейного письма Б, где лабиовелярные передаются особыми знаками, индоевропейские лабиовелярные фонемы еще сохранялись в греческом языке середины 2-го тысячелетия до н. э.; см. M. Lejeune, *Mémoires de la philologie mycénienne*, première série, Paris, 1958, chapitre XIV. Sur les labiovélares, pp. 283—318. Аттич. τετρα- и другим приводимым Поливановым поздним греческим отражениям индоевропейского числительного «четыре» в греческом языке крито-микенских надписей соответствует *qetoro-* (в составе сложного слова), где *q* передает k^w .

Стр. 65

Развитие $*k^wi > t$ в греческом может быть объяснено фонологической «цепной реакцией»: после изменения $*t'i > t$ (связанного, в свою очередь, с развитием $*s > h$) в системе образовалась «пустая клетка» для $t'i$, которая и была заполнена посредством развития $*k^w' > t$; см. W. S. Allen, *Some problems of palatalization in Greek*,—«Lingua», vol. VII, 1958, № 2, pp. 122—123. В качестве типологической параллели можно указать

* Составлен Вяч. В. Ивановым.

на устранение лабиовелярных в языке тви, где перед гласными переднего ряда $k^{w'} > t^w$, $g^{w'} > d^w$ (тогда как $k^{wa} > kə$, $g^{wa} > gə$); см. D. Westermann, *Sprachbeziehungen und Sprachverwandtschaft in Afrika*, Berlin, 1949, SS. 11—12, 19, Anm. 24.

Стр. 65, примеч. 9

Относительно лабиализованных заднеязычных в нагасакских диалектах и в японской лексике из китайских корней ср. Н. А. Сыромятников, *Система фонем японского языка*,—«Ученые записки Института Востоковедения», т. IV, М., 1952, стр. 313—314 (со ссылкой на Поливанова).

Стр. 65

Поливанов предлагает этимологию латышск. \ddot{s} strēgele (вариант strēgele) 'Eiszapfen', 'сосулька (на крыше)', основанную на семантическом сходстве с латинск. *frigus* 'холод', 'стужа', греч. ψῖχος 'холод'. Обычно это латышское слово толкуют на основе сближения с литовск. *stregiù* 'erstarrte', 'коченею'; К. Mühlenbachs, *Lettisch-deutsches Wörterbuch*, III Band, Riga, 1927—1929, SS. 1085 и 1087.

Согласно Поливанову, латинск. *membrum* 'член' возводится к тому же индоевропейскому названию «мяса», что и готск. *mimz* (графическая передача готского *mims*).

Общепризнанная связь латинск. *consobrinus* 'двоюродный, троюродный брат', 'родственник' с названием для «сестры» может быть разъяснена ролью сестры мужчины в латинской системе родства, истолкованной как система типа омаха (F. G. Lounsbury, *The structure of the Latin kinship system and its relation to Roman Social organization*,—«Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. 4, М., 1937, стр. 264.

Латинск. *tenebrae* < **tembrae* < **temesra-* 'темнота' (ср. *temerē* 'впотьмах') обычно сравнивается (А. Thumb—R. Hauschild, *Handbuch des Sanskrit*, II Teil, Heidelberg, 1953, S. 230) с др.-инд. *tamirā-* с тем же значением, литовск. *timsras* 'чернорыжий с белой гривой' (о лошади) (о последней форме см. К. Vaga, *Rinktiniai raštai*, II tomas, Vilnius, 1959, стр. 629). См. о развитии *-sr- в латинском: И. М. Тронский, *Историческая грамматика латинского языка*, М., 1960, стр. 120—121, § 253.

Стр. 66

В современном индоевропейском сравнительно-историческом языкознании признается существование одного, а не двух типов аспирата. Поэтому фонологическая характеристика, данная Поливановым по отношению к итальянским рефлексам этих аспиратов, может быть верной и по отношению к общиндоевропейскому, где одни и те же аспираты могли быть представлены как звонкими вариантами (типа *dh*, ср. отражение их как звонких придыхательных в древнеиндийском и древнеармянском), так и глухими (типа *th*, ср. отражение их как глухих в греческом). Наряду с гипотезой, по которой озвончение в интервокальном положении в латинском и вене-

ском было позднейшим (см. E. P. Hamp, *The relationship of Venetic within Italic*,—«American Journal of Philology», vol. 75, 1954, № 2, pp. 183—186) высказывается предположение об общеталийском характере звонких (см. В. Порциг, *Членение индоевропейской языковой области*, М., 1964, стр. 109).

Стр. 70, примеч. 11

Мысль о значении «первофонема» типа *t, p, a, i* в языке ребенка и в эволюции языка была в дальнейшем развита в ряде работ Р. О. Якобсона (см. особенно R. Jakobson, *Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze*,—«Selected writings», vol. I, The Hague, 1962, pp. 356—393; R. Jakobson and M. Halle, *Phonology and phonetics*,—там же, pp. 492—493).

Стр. 71

Вывод о взаимообусловленности дивергенции (фонологического расщепления) конвергенцией (фонологическим слиянием) был обоснован в последующих исследованиях по диахронической фонологии (см. J. E. Marchand, *Internal reconstruction of phonemic split*; Н. М. Хоенигсвальд, *Language change and linguistic reconstruction*, pp. 91—95).

Стр. 72

Относительно дивергенции, изолированной от конвергенции (фонологическое «расщепление без слияния», «split without merger»), см. Н. М. Хоенигсвальд, *Language change and linguistic reconstruction*, p. 89.

Стр. 73, примеч. 16

Гипотеза Е. Д. Поливанова о происхождении славянск. **jd-* из индоевропейского 2-го л. ед. ч. повелительного наклонения **i-dhi* (см. Список работ Е. Д. Поливанова, № 35) до настоящего времени обсуждается славистами (см. В. М. Иллич-Свитыч, *Сравнительная грамматика славянских языков*,—в кн.: «Советское языкознание за 50 лет», М., 1967, стр. 81). Независимо от Поливанова отчасти сходное предположение высказал Коржинек (см. J. M. Korinek, *Presentni tvary kořene do- 'dávati' v jazycích slovanských a baltských*,—«Listy filologické», Ročník 65, sešit 6, Praha, 1938, стр. 452, примеч. 1).

Стр. 74

Относительно «первофонема» ср. выше, комментарий к стр. 70.

Стр. 78

Фрикативное (γ) в слове *господи* в речи многих носителей русского языка сохранено, но переосмыслено как особая звуковая примета аффективного слова, употребляющегося в междометной функции.

Стр. 80

Исследование изменений языка, «как бы преследовавших одну и ту же

затаенную цель», вкратце охарактеризованное в этой статье Поливанова, составило одну из отличительных черт «телеологической» концепции фонологического развития у ученых Пражской школы (см. R. Jakobson, *Retro-spect*,—«Selected writings», vol. I, pp. 452 и 677; ср. Р. Якобсон, *Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами*,—«Новое в лингвистике», вып. IV, М., 1965, где на стр. 373 речь идет и о Е. Д. Поливанове в его отношении к Пражской школе).

Стр. 87

Относительно исследования «телеологического фактора языковых изменений» и «конечной цели процесса» см. выше, примеч. к стр. 80.

Против социологического разграничения двух основных случаев языкового развития, предполагаемого Поливановым в этой и предшествующей статьях, говорит то, что и в условиях экономически примитивной организации возможны интенсивные процессы интеграции языков, например в Австралии (ср. N. M. Holmer, *An attempt toward a comparative grammar of two Australian languages*, Canberra, 1966, pp. 2 и 9).

Стр. 95

Здесь Поливанов устанавливает связь между ограниченностью числа фонем и психологическими характеристиками человека, предвосхищая работы последнего времени, посвященные установлению связи между некоторыми свойствами языка и объемом «оперативной» памяти человека. Интерес представляет также сопоставление фонологической системы с музыкальной гаммой, повторявшееся позднее многими фонологами.

Стр. 97

Относительно греческого см. выше, стр. 64—65 и комментариев к ним. В кипро-аркадском и эолийском диалектах древнегреческого языка имеется значительное число слов типа гомеровского $\mu\acute{\iota}\sigma\upsilon\rho\epsilon\varsigma$ 'четыре' с начальным ρ - (π) перед гласным переднего ряда.

Стр. 113, примеч. 28

Относительно «первофонем» см. выше комментариев к стр. 70. Древнее индоевропейское * ρ в кельтском исчезло (стало нулем) в дописьменный период истории кельтских языков.

Стр. 114

Настоящая статья Е. Д. Поливанова развивает высказанную и в более ранних его работах по теории эволюции языка мысль о необходимости различения изменений, касающихся системы фонемы, и изменений, касающихся комбинаций фонем. В статье рассматриваются такие изменения комбинаций фонем (синтагматические в современных терминах), которые приводят к преобразованию системы (т. е. парадигматики). Терминология, которой пользовался Поливанов в этой статье, в некоторых случаях затрудняет понимание собственно фонологического аспекта процессов такого рода.

Стр. 116—117, примеч. 5.

Поливанов возражал против связывания чисто лингвистических выводов о распространении корреляции по палатализованности-непалатализованности и исключительно монотонического ударения в языках Евразии с гипотезами об общности историко-культурного развития соответствующих народов. В частности, ему представлялось существенным наличие только первого (но не второго) признака евразийского языкового союза в дунганском. Собственно лингвистические замечания по поводу работы Р. О. Якобсона о евразийском языковом союзе (в которой никаких экстралингвистических выводов из существования этого союза не делается) содержатся в еще неопубликованной положительной рецензии Поливанова (см. список рукописей, хранящихся в архиве Чехословацкой Академии Наук). В своих собственных работах о самаркандском языковом союзе Поливанов утверждал, что языковые союзы образуются в силу исторически обусловленного контакта носителей соответствующих языков.

Стр. 122

Слова типа *lupus* 'волк', где индоевропейские лабиовелярные отражены не в качестве лабиовелярных (что соответствовало бы нормам латинской фонетики), а в качестве губных, считаются заимствованными из другого италийского языка (может быть, сабинского). В гомеровском *πίσυρες* 'четыре' возводится к редуцированному индоевропейскому гласному **o*, как и лат. *a* в *quattuor* 'четыре'.

Стр. 123

Группа **k^w* в греческом названии лошади из индоевропейского **ek^wos* > **ekwos* отражена так же, как лабиовелярный, но с геминацией (удвоением *τ*). Более древняя форма сохранена в микенском греческом *iqo* (где геминация на письме не отражалась).

Стр. 125

Абхазское *a-d^ok^oán* 'духан' (Б. Н. Джанашиа, *Абхазско-грузинский словарь*, Тбилиси, 1954, стр. 100), где *a-* — обязательный артиклеобразный префикс самостоятельной именной формы, восходит к тому же арабскому слову (*dukkan*), что и названия винного погребка во многих других языках Кавказа. Для доказательства гипотезы Поливанова о происхождении фонем /*d^o*/ (=β у Поливанова) /*t^o*/ (=ϕ у Поливанова), /*t^o'*/ в абхазском существенный интерес представляют морфонологические чередования лабиализованных типа /*t^o*/ в неконечной позиции и нелабиализованных типа /*t*/ в абсолютном исходе в разных алломорфах одной морфемы в убыхском языке, близко родственном абхазскому: Н. Vogt, *Dictionnaire de la langue oubykh*, Oslo, 1963, *Introduction phonologique*, p. 16 (где отмечено, что это явление может быть древним). Такое же историческое объяснение, как и для абхазских «губно-дорсальных», может быть предложено для кабардино-черкесского /*t^o'*/, выступающего в качестве особой фонемы в составе единичных производных от /*t*/ и/ 'два', когда за этой основой следует гласный *a*: *t^o'ále* 'вершковый' и т. п. (Н. Ф. Яковлев, *Грамма-*

тика литературного кабардино-черкесского языка, М.—Л., 1948, стр. 351). За пределами кавказских языков (где лабиализованные согласные этого типа встречаются еще в абазинских диалектах и в табасаранском) типологические (синхронические, но не диахронические) параллели представляют упомянутые выше палатально-лабиальные /tʰ/, /dʰ/ в африканском языке тви, развившиеся из лабиовелярных, см. комментарий к стр. 64—65. Относительно предлагаемого Поливановым сопоставления лабиализованных (бемольных) согласных в абхазском и дунганском ср. также Р. Якобсон, Г. М. Фаит и М. Халле, *Введение в анализ речи*,—«Новое в лингвистике», вып. II, М., 1962, стр. 201—202.

Стр. 125, примеч. 22

Разъясненная Поливановым асимметрия рефлекса *tj в спиранте и *dj в аффрикате позднее была подтверждена разысканиями как в области славянских языков, на которые ссылаются Поливанов, так и данными истории других языков (см. N. van Wijk, *Quelques remarques sur les mi-occlusives devenant fricatives*,—«Acta Linguistica», vol. II, fasc. 1, 1940—1941; J. Kuryłowicz, *Le hittite*,—«Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists», Oslo, 1958).

Стр. 126, примечание.

Особый (отличный от ě) характер фонемы (или группы фонем), развившейся из *tj, доказывается для раннего старославянского несовпадением рефлексов этого сочетания в разных изводах старославянского и некоторыми другими данными (см. Н. Н. Дурново, *Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов*,—«Byzantino—slavica», t. 1, 1929, N 1; N. S. Trubetzkoy, *Die altkirchenslawische Vertretung der urslav. *tj, *dj*,—«Zeitschrift für slawische Philologie», Bd. XIII, 1936, SS. 88—97). Совпадение (хронологически разновременных) *ě (из палатализованного *kj) и *tj осуществлялось в дальнейшей истории отдельных славянских диалектов.

Стр. 128

В санскрите (древнеиндийском языке) подверглись монофтонгизации дифтонги, еще сохранившиеся в древнеиранском: др.-инд. *sōma*- 'сома', 'сок', 'священный напиток': авест. *haoma*; др.-инд. *dēva*- 'бог'; др.-перс. *daiva*. Франц. *fait*- 'сделан' восходит к лат. *fact(um)* (читалось [fakt-] с акцессивным сочетанием согласных *kt*).

Стр. 135

Поливанов последовательно сохранял термин «фонетический» в значении «фонологический», так как идеи «психофонетики», изучавшей психологический аспект фонологических явлений, ему представлялись более адекватными, чем строго фонологический подход, ср. ниже, стр. 185, прим. 10 и комментарий.

Стр. 139

Пересмотр историко-фонетической концепции Шахматова был отправным

пунктом исследований по диахронической фонологии как для Р. О. Якобсона и Н. С. Трубецкого (см. письмо Н. С. Трубецкого, приведенное в кн. N. S. Trubetzkoy, *Principes de phonologie*, Paris, 1949), так и для Е. Д. Поливанова (см. работу № 33 по Списку работ, стр. 120). Поливанов критически высказывается здесь о теории Н. С. Трубецкого, по которой общеславянское $\delta > \bar{\delta}$ тогда же, когда $\bar{u} > \bar{u}$, $\bar{\varphi} > \bar{\delta}$ (см. критику этой теории и в рецензируемой Поливановым книге R. Jakobson, *Remarques sur l'évolution phonologique de russe*,—«Selected writings», vol. I, pp. 25, ср. p. 35 относительно предполагаемого Трубецким развития дифтонгов на носовой).

Стр. 140

Установленную Е. Д. Поливановым поправку к типологическому выводу о соотношении «корреляции между двумя структурными типами слоговой интонации» (франц. la corrélation «l'une~l'autre structures de l'intonation syllabique») и корреляции «интенсивное ударение~безударность» (франц. «accent d'intensité~atonie») можно подтвердить данными других языков. В латышском языке первая корреляция характеризует политоническое слогуударение, а вторая (хотя и в ограниченном числе примеров) выявляется в слогуударении (см. В. В. Иванов, *О прерывистой интонации в латышском языке*,—«Сборник статей, посвященный Я. Эндзелину», Рига, 1959, стр. 141—142; см. там же о работах Поливанова). Необходимо внести поправку Поливанова в типологическую универсалию, вслед за Якобсоном повторенную Трубецким и принятую в последней сводке языковых универсалий: Б. А. Успенский, *Структурная типология языков*, М., 1965, стр. 197 (формула 2-я сверху, читающаяся: «в любом языке если есть свободное ударение, то нет смыслоразличительного движения тона в пределах одной меры»).

Стр. 141, примеч. 2

Согласно новейшим описаниям фонологической системы эстонского языка, в нем имеется количественное противопоставление гласных и монотоническое слогуударение (см. P. Ariste, *Foneetilisi probleemeeesti keele alalt*,—«Acta et commentationes Universitatis Tartuenssis», 3, 6, Tartu, 1947, стр. 9—11). Эти данные эстонского (и сходные данные латышского языка) были учтены при переформулировке того обобщения Р. О. Якобсона, о котором говорит Поливанов (см. Б. А. Успенский, *Структурная типология*, стр. 194, последняя формула снизу).

Мысль Поливанова от «относительных обобщениях» нашла развитие в современном учении о статистических (неполных) универсалиях (ср. сб. «Universals of language», ed. by J. H. Greenberg, Cambridge, Mass. 1963; Б. А. Успенский, *Структурная типология*, стр. 179).]

Стр. 141—142

Внимание к акустической стороне языковых явлений, преобладавшее в лингвистике в последние 20 лет, в последнее время дополняется новыми интенсивными исследованиями, показывающими важность физиологического

аспекта не только для процесса произнесения звуков, но и для их восприятия (см. Л. А. Чистович, *Текущее распознавание речи человеком*, — «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 1961, № 6; 1962, № 7).

Стр. 144, примеч. 3

Удвоение графемы для выражения множественности можно считать одним из проявлений общей закономерности, по которой «означаемое в формах множественного числа стремится отразить значение численного приращения посредством увеличивающейся длины самих форм», (см. R. Jakobson, *Quest for the essence of language*, — «Diogenes», 1955, N 51, p. 30). Особенно отчетливо это обнаруживается в древнеегипетской иероглифике, где противопоставлены знаки для двойственного числа — две черточки, заменившие двухкратное повторение всего иероглифа в древнейших текстах, и знаки для множественного числа — три черточки, заменившие трехкратное написание иероглифа. Весь круг явлений, привлеченных Поливановым при изучении выражения интенсивности-итеративности посредством редупликации (параллели чему можно привести из эве, монгольских и других языков), связан с проблемой «иконического» изображения грамматических значений посредством самих грамматических средств. Правильность вовлечения латинского перфекта в этот круг сопоставлений у Е. Д. Поливанова становится очевидной после установления интенсивно-итеративного значения у древнейших анатолийских редулицированных глагольных форм, отражающих более архаичные индоевропейские, из которых развился перфект (см. N. van Brock, *Les thèmes verbaux à redoublement du hittite et le verbe indo-européen*, — «Revue hittite et asianique», t. XXII, f. 75, 1964).

Стр. 147

Метод сравнения quasi-омонимов, разработанный в ранних работах Поливанова, превосходил те способы установления фигур плана выражения, которые позднее выработал европейский структурализм (в частности, метод коммутации в глоссематике, создатель которой Ельмслев был знаком с некоторыми из трудов Поливанова).

Стр. 150

Относительно соотношения «экспираторного» (монотонического) слоудоударения и музыкального (политонического) слоугоударения в китайском и латышском см. стр. 140 и комментариев к ней.

Стр. 151, примеч. 5

Гипотеза Е. Д. Поливанова о наличии в тагальском языке политонического (музыкального) ударения остается до сих пор непроверенной, так как специальных работ в этой области не производилось. Согласно тагальской грамматической традиции (см. «Balarila ng wikang pambansa», 4 ed., Manila, 1950; R. Alejandro, *A handbook of Tagalog grammar*, Manila, 1963; P. Aspillera, *Basic Tagalog*, 3 ed., Manila, 1959) различаются четыре вида основного ударения (в отличие от пятого — *marin*, характери-

зующегося наличием побочного ударения), различающиеся местом ударения и наличием гортанной смычки:

Место ударения	На предпоследнем слоге	На последнем слоге
	Гортанная смычка	
Отсутствие	<i>malumay</i>	<i>mabilts</i>
Наличие	<i>malumi</i>	<i>maragsà</i>

Поскольку определение места ударения целесообразно отделить от собственно фонологической его характеристики, эту последнюю в тагальском приходится признать зависящей от наличия или отсутствия гортанного взрыва. Такую мысль в 1937 г. высказал Е. Д. Поливанов, писавший: «Прерывистая корреляция... в некоторых (политонических) языках, гесп. диалектах (в том числе, например, и в некоторых китайских диалектах) сосуществует рядом с политонией и даже втягивается в систему политонических различий на правах некоего специфического элемента (ср. «жу-шэн», т. е. 5 тон в южиомандаринском и других, обладающих этим «5 тоном» кит[айских] наречиях; а с другой стороны,—например, конечное *coar de glotte* в определенном типе слов тагальского языка и, наконец, т[ак] н[азываемую] прерывистую долготу в ряде латышских диалектов)» (см. Е. Д. Поливанов, *Главнейшие особенности дунганского языка*,—Архив АН Киргизской ССР, стр. 221 машинписного экземпляра). Но в цитированном утверждении Поливанова остается не до конца обоснованным, во-первых, наличие в тагальском политонических различий, во-вторых, невозможность истолкования конечной гортанной смычки как аллофона особой фонемы (ср. противопоставления типа *bata* [bataʔ] 'ребенок': *batak* 'растягивание'). Против последней интерпретации говорит традиционное осознание таких слов как особого акцентуационного типа, а также то, что во всех остальных позициях гортанная смычка встречается преимущественно как пограничный сигнал (начала слова или морфемы, первая фонема которой—гласная) или же для устранения зияния в середине слова.

Стр. 151

В пользу гипотезы Поливанова о генетической связи между японским и малайско-полинезийскими языками могут быть приведены как лексические сопоставления, открытые самим Поливановым и его продолжателями (Nobuhiro Matsumoto, *Le japonais et les langues austroasiatiques Étude de vocabulaire comparée*,—«Austro-asiatica», t. I, Paris, 1928, ср. о работах Поливанова там же, р. 25), так и некоторые грамматические сходства. Особенно существенным представляется возможное отождествление японского аффикса родительного падежа *но* (*на*) и функционально равнозначной служебной морфемы в малайско-полинезийском (тагальское *na*, *nang*, фиджи *ni* и т. п.). Часть лексического материала оказывается общей у

японского и аустро-азиатских языков (в свою очередь связываемых с малайско-полинезийскими): яп. *ко* 'ребенок': вьетн. *сол* 'ребенок', мон *кoп*, кхм. *ko:n*, курку *khun*, шикобарск. *koān* (в японском можно предположить *ко* < **koN*, ср. аустро-азиатские соответствия японскому *abu* < **amruN* 'овод': Поливанов, работа № 141 по списку работ). Представляется возможным, что употребление в японском некоторых слов, общих с малайско-полинезийскими и аустро-азиатскими языками, могло видоизмениться под влиянием айнского языка (хотя в некоторых случаях, наоборот, японский мог повлиять на айнский), ср. точное соответствие японского соотношения *ко*- и *о*:- как уменьшительного и древнего увеличительного префиксов (из сочетаний с самостоятельными морфемами: «ребенок» и «большой») с аналогичными соотношениями *пон*- 'маленький', 'небольшой': *поро*- 'большой' в айнском (яп. *ко-юби* 'мизинец', айнск. *порд-аскибиц* 'большой палец' и т. п.).

Стр. 152, примеч. 7

Гипотеза Марра о родстве грузинского языка с семитскими, принимавшаяся Поливановым, в настоящее время может считаться чисто декларативным, не обоснованным самим Марром, предвосхищением намеченного в работах В. М. Иллич-Свитыча отнесения картвельских и семито-хамитских языков к ностратической семье, включавшей также индоевропейские, алтайские, уральские и дравидские языки. Но, как показано в исследовании Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, *Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры* (Тбилиси, 1965), структура корня в пракартвельском более всего сходна не с семито-хамитской, а с общиндоевропейской (в той ее форме, которая открыта в труде Э. Бенвениста, *Индоевропейское именование словообразование*, М., 1955). Что же касается указанных Поливановым общих типологических черт тибето-китайских языков, то они, по-видимому, должны считаться результатами развития в сходном направлении, так как тоновые различия возникают на протяжении истории этих языков (во многих случаях при утрате известных фонем, косвенно отражающихся в некоторых тоновых различиях). Из указанных Поливановым 9 типологических сходств японского с малайско-полинезийским сомнительно 4-е, так как для древнеяпонского восстанавливаются пережитки сингармонизма (в словах типа *ма-на-ко* 'зрачок' < 'ребенок глаза', ср. *мэ* 'глаз': сингармоническое чередование **e/a*), см. Н. Izui, *Vocalic system and semantic functions of vocalic alternations in ancient Japanese*, — *Studia phonologica*, I, Kyoto, 1961, pp. 1—28. К перечисленным 9 сходным чертам можно прибавить сходство специфических древнеяпонских залоговых конструкций (см. Е. М. Колпакчи, *Очерки по истории японского языка*, т. I. *Морфология глагола*, М., 1956, стр. 39—84) с аналогичными конструкциями в малайско-полинезийских языках (тагальский локальный пассив).

Стр. 156

О современном состоянии алтайского языкознания ср. Г. Рамстедт, *Введение в алтайское языкознание*, М., 1957, и В. М. Иллич-Свитыч, *Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь*, М., 1968.

Стр. 156, примеч. 2

О гипотезе относительно родства грузинского с семитскими языками см. выше, комментарий к стр. 152. Мысль о значении типологических сопоставлений для сравнительно-исторического языкознания развивается во многих новейших трудах, в частности, по ностратическому языкознанию.

Стр. 159, примеч. 6.

В классической латыни в слове, содержащем более двух слогов, ударение падает на предпоследний слог, если он долгий, и на третий от конца, если предпоследний слог краткий. Предположение о том, что в более древнюю эпоху в латинском имело место начальное ударение, не пользуется всеобщим признанием, хотя в его пользу говорит преобразование редуцированных гласных в неначальных слогах.

Стр. 159

Эта алтайская этимология кор. *l* 'этот' принималась и позднее сторонниками алтайского характера корейского языка (ср. G. J. Ramstedt, *Studies in Korean etymology*, Helsinki, 1949, pp. 66—67).

Стр. 162

Об этой алтайской этимологии кор. *tol* 'камень' см. G. J. Ramstedt, *Studies in Korean etymology*, p. 272.

Согласно ностратическим исследованиям В. М. Илич-Свитыча тюркское **ja:z* и родственные названия весны в алтайских языках родственны: рус. *ярь*, *яровой* (сохраняющим, как и другие славянские слова этого корня, архаичную связь с названием весны, утраченную в других родственных индоевропейских формах).

Стр. 163

Эта же этимология корейского *kjeil* 'зима' (транскрипция Г. Рамстедта) принимается в книге: G. J. Ramstedt, *Studies in Korean etymology*, p. 103. О кор. *kol* 'долина' см. там же, p. 121. Иное объяснение тюркск. *-lar*/монг. *nar* см. Г. Рамстедт, *Введение в алтайское языкознание*, стр. 59—60. Об алтайской этимологии кор. *nal-* 'день' см. J. Ramstedt, *Studies in Korean etymology*, p. 159, о *mul* 'вода' там же, p. 154.

Стр. 163, примеч. 16

Древний термин, обозначающий лошадь, встречается как в указанных Поливановым алтайских языках (откуда он, вероятно, был заимствован в тибето-китайские), так и в дравидийском: тамил. *mā* (связь с алтайским отмечена в работе K. Bouda, *Dravidisch und Uralaltaisch*,—«Lingua», vol. V, 1936, № 2, S. 131) и в двух западноевропейских («древнеевропейских») языковых группах: германской (др.-исл. *merr*, англ. *mare*) и кельтской (*márhan* в глоссах и т. п.), см. о связи алтайских слов (в том числе и кор. и тунгус. *murin*) с германскими (впервые замеченной еще Лейбницем) G. J. Ramstedt, *The relation of the Altaic languages to other language groups*,—«Journal de la Société finno-ougrienne», v. LVI, 1947,

№ 1, р. 25. Это соответствие, если оно не объясняется древним заимствованием, могло бы представить интерес и для ностратического языкознания.

Стр. 163

Относительно этой алтайской этимологии кор. *karak* 'палец' см. G. J. Ramstedt, *Studies in Korean etymology*, р. 96.

Стр. 164

Относительно тюркско-енисейского контакта ср. G. J. Ramstedt, *Einführung in die altaische Sprachwissenschaft*, I, Lautlehre, Helsinki, 1957, стр. 18; K. Bouda, *Die Sprache der Jenissejer*,—«Anthropos», vol. 52, 1957, № 1—2. Ср., в частности, тюркск. **ta:š* 'камень' и кетское («енисейско-остяцкое») *twʔš* 'камень' (с гортанной смычкой, которой соответствует сжатогортанный тон в югском или сымском кетском *čʔyhs* 'камень', ср. графическую передачу посредством *z* в *чыгс* в записях XVIII в. и дифтонгизацию в *'мыс*, *туус* в тех же записях: А. П. Дульзон, *Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям*,—«Ученые записки Томского Государственного Педагогического Института», т. XIX, вып. 2, Томск, 1961, стр. 168—169). Установленное впервые Поливановым разительное сходство с баскским является одним из замечательных предвосхищений позднейших лингвистических открытий, так как енисейско-баскские сходства позднее детально изучались в работах ряда ученых, в частности, Бюда (см. K. Bouda, *Die Sprache der Jenissejer*), Тайера (O. G. Taillieur, *Un îlot basco-caucasien en Sibérie, Les Langues iénisséiennes*,—«Orbis», t. VII, N 1958, N 2, pp. 415—427), см. также В. Н. Топоров, *О некоторых кетско-селькупских типологических параллелях*,—«Вопросы структуры языка», М., 1964, стр. 118 и примеч. 4 (с дальнейшей библиографией). Но наиболее доказательные генетические сопоставления енисейских слов связывают их не с баскским (и бурушаски, т. е. неностратическими языками Западной и Центральной Евразии), а с тибето-китайскими языками, ср. кетск. *təʔ* 'соль', югск. (сымско-кетск.) *čʔəʔ* 'соль' (*чыг*, *туй*, *то* в записях XVIII в.), др.-бирм. *chāh* 'соль' (где *h*—графическое обозначение «тяжелого» тона) с соответствиями в других языках лоло-бирманской группы; др.-тиб. *tshwa*, *tsha*, *tsho* 'соль', танг. (по Невскому) **tsʔi*; кетск. *ʔi n* 'иголка', югск. *ihn*, бирм. *aʔ* 'игла' и т. п. (в обоих последних примерах устанавливаются и акцентуационные соответствия между енисейским и тибето-бирманским). Помимо указанных Поливановым поздних алтайских заимствований в енисейском, возможно, были и более древние ностратические: кетск. *duʔ*, югск. *duh* 'дым', ср. и.е. **dhuH-* 'дым' (др.-инд. *dhū-ma*, хеттск. *tuḫḫima*, рус. *дым*).

Стр. 165

Финно-угорский термин в настоящее время обычно рассматривается как одно из многочисленных доисторических заимствований из индоевропейского. Гипотеза Поливанова об индоевропейском происхождении китайского **mit* является общепризнанной; в качестве источника обычно предполагается «тохарское В» (кучанское) *mit* < **mīdt*, совпадающее с праформой,

реконструируемой для китайского *mit < *myit [см. E. G. Pulleyblank, *Chinese and Indo-European*, — «Journal of the Royal Asiatic Society», 1966, April (имеется отдельное издание: The University of British Columbia, Department of Asian studies, reprint series), p. 10, n. 1 (со ссылкой на Поливанова); из более ранней литературы о гипотезе Поливанова см. A. Conrady, *Alte westöstliche Kulturwörter*, — «Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften», Philol.—hist. Kl. Bd. 77, Heft 33, Leipzig, 1925, S. 7; H. Jensen, *Indo-germanisch und Chinesisch*, — «Germanen und Indogermanen. Hirt-Festschrift», Bd II, Heidelberg, 1936, S. 141; O. Maenchen-Helfen, *Are Chinese hsi-p'i and kuo-lo IE loan words*, — «Language», vol. 21, 1945, № 4, p. 256; «Тохарские языки», М., 1959, стр. 10 и 157]. С данным заимствованием, говорящим о культурном значении «тохаров» как пчеловодов, следует сопоставить то, что «тохарское» название пчелы *kroñse* тождественно названию шершня в нескольких «западноиндоевропейских» языках, носители которого издавна занимались бортничеством. Это можно объяснить табу, характерным для пчеловодов; см. Э. Бенвенист, *Тохарский и индоевропейский*, — «Тохарские языки», стр. 106; ср., видимо, аналогичное семантическое развитие кит. *фын* 'пчела', 'оса', др.-тиб. *sbran-ma* 'пчела', *ša-sbran* 'слепень', 'овод' < 'мясная оса', танг. *b'u (по Н. А. Невскому, *Тангутская филология*, кн. 2, М., 1960, стр. 313), ср. тан *p'ün*, и соответствия в других языках Юго-Восточной Азии (*bung* 'жук', 'пчела', с которым Поливанов сравнивал японское диалектное *abu* < **ampuN*, см. выше), ср. такое же семантическое развитие в осетинском *ævz-/æfs-*, встречающееся в ряде пчеловодческих терминов, из более древнего названия осы; см. В. И. Абаев, *Осетинский язык и фольклор*, М.—Л., 1949, стр. 61 (упоминаемое Поливановым чеченское название меда может быть осетинским заимствованием). Древнейшая китайская форма названия меда восстанавливается как **mjēt* (В. Karlgren, *Grammata serica*, Stockholm, 1940, p. 228, № 405 г), откуда выводятся позднейшие китайские формы (общекит. *mit* > диал.-кит. *mi*? с 5-м тоном при 1-м тоне в пекинском *mi*), и цитированные Поливановым заимствования, в том числе вьет. *mât* [*mət*] 'мед', где 6-й вьетнамский сжатогортанный тон (*nặng* во вьетнамской лингвистической терминологии) может быть отражением китайского 5-го сжатогортанного тона.

Стр. 167, примеч. 1

О названии пчелы в тибето-китайских языках см. выше, комментарий к стр. 165.

Стр. 168

О названии лошади см. выше, комментарий к стр. 163.

Стр. 169

Предлагаемая Поливановым этимология латышск. *sāka* 'свинья' частично переключается с высказывавшимися ранее предположениями, связывавшими это слово с греч. σῶς (см. К. Mülenbachs, *Lettisch-deutsches Wörterbuch*,

I Band, Rigā, 1923—1925, S. 398). Греч. $\alpha\upsilon\varsigma$ в настоящее время большинством ученых рассматривается как древнее заимствование из догреческого («пеласгского») индоевропейского языка, в котором индоевропейское *s- в начале слова отражается как s (а не как [h])=^с, что закономерно в греческом): W. Merlingen, *Zum Vorgriechischen*,—«Linguistique balkanique», IV, София, 1962, pp. 28 и 42; V, 2, София, 1962, p. 35. Гипотеза Поливанова о разъяснении индоевропейских названий свиньи из китайского не встретила сочувствия, см. возражения: R. A. D. Forrest, *The Chinese language*, London, 1948, p. 123; E. Benveniste, *Noms d'animaux en indo-européen*,—«Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. XLV, fasc. 1, 1949, pp. 90—91 (где уточнено и значение индоевропейского *seu- 'свинья'). Бенвенист, однако, признает, что гипотеза Поливанова хорошо обоснована с культурно-исторической точки зрения (см. p. 90). Ср. о гипотезе Поливанова также: В. Н. Топоров [Рец. на кн.] *K. Moszyński, Pi-erwotny zasięg języka prastowiańskiego*,—«Вопросы языкознания», 1958, № 4.

Стр. 170, примеч. 6

Связь рус. *чушка* с алт. *чочко*, каз., ног. *шошка*, башк. *суска*, тат. *чучка*, азерб. *чочга* 'свинья', 'свиноматка' признается достоверным доказательством тюркского происхождения русского слова: Н. К. Дмитриев, *О тюркских элементах русского словаря*,—«Строй тюркских языков», М., 1962, стр. 551.

Стр. 171

В настоящее время предложено новое объяснение некоторых из таких случаев сохранения начального s- (подвергавшегося лениции *s->h- в предложении в ирландском и регулярно дававшего h в бриттской группе кельтских языков), как приведенное Поливановым валлийское («ново-кимрск.») *sugno* 'сосание', 'сок' (отглагольное существительное), др.-валл. («др.-кимрск.») *dissuncnetic*, в глоссах 'exapclata' 'выпитые', 'пролитые'; ср. брет. *sunaff*, ново-брет. *suna*, брет. *sun* 'сок' при латинск. *sūcus* 'сок', *sūgō* 'сосу', др.-англ. *sūcan* 'сосать' (родственное ирл. *súg* 'сок', *súgid* 'он сосет', возможно, является заимствованием: R. Thurneysen, *A grammar of Old Irish*, Dublin, 1947, p. 574, § 924, но ср. также Г. Льюис и Х. Педерсен, *Краткая сравнительная грамматика кельтских языков*, М., 1954, стр. 43, § 24, 2 и стр. 72, § 53). Согласно В. М. Иллич-Свитычу, кельтское бриттское s- (не изменяющееся в h-) восходит к индоевропейскому *st- из ностратического *č: брет. *serch*, ирл. *serc* 'любовь', греч. $\sigma\tau\epsilon\rho\upsilon\omega$ 'я люблю', русск. *стеречь*, картв. *čir 'горе', 'беда' (см. Г. А. Климов, *Этимологический словарь картвельских языков*, М., 1964, стр. 255) и другие слова со значением 'охранять', 'заботиться', 'горе', 'беда', восходящие к ностратическому *čir-; см. В. М. Иллич-Свитыч, *Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский)*. I. Введение, *сравнительный словарь*, М., 1968.

Упомянутые Поливановым греческие слова с начальным s- (за исклю-

чением *σῶς* обычно не причисляются в настоящее время к догреческим индоевропейским («пеласгским»). На основании языковых и культурно-исторических соображений следует принять мотивированность гипотезы о заимствованном характере греч. *σῶριξ* 'тростник', 'камыш', 'трубка', 'полое внутри тело', 'свирель бога Пана', ср. предполагаемый «догреческий» индоевропейский характер греческих слов с заднеязычным суффиксом типа *φύλαξ* 'сторож' (A. J. Van Windekens, *Considérations sur quelques mots grecs d'origine pélasgique*,—«Orbis», t. XIII, N 1, 1964, pp. 236—239) и предположение о догреческом характере слова *σῶριχος* 'корзина' (см. W. Menggen!—«Linguistique balkanique», V, 2, p. 35). С семантической стороны связь *σῶριξ* и *σῶριχος* не может вызвать сомнений.

Стр. 174

Предложенное Поливановым объяснение суффикса множественного числа 門 *мынь* из именной морфемы 門 *мынь* 'ворота', 'двор'→'дом' или 'домочадцы' принято крупнейшим польским синологом проф. Я. Хмелевским: «морфема 門 с правдоподобием выводится из моносиллабического выражения 門 *mên* 'двустворчатые ворота дома'→'домашние, родственники'» (см. J. Chmielewski, *Zagadnienie tzw. części mowy w języku chińskim*,—«Rozprawy Komisji Językowej», t. 1, Łódź, 1954, стр. 141, примеч. 4). О связи концепции Я. Хмелевского с идеями Поливанова см. его высказывание в позднейшей работе: «То, что я делаю, было просто развитием идей некоторых ученых, придерживавшихся сходной точки зрения, и я полагаю, что мой долг этим ученым—прежде всего Е. Д. Поливанову—был ясно выражен в моих предшествующих статьях» (J. Chmielewski, *Syntax and word-formation in Chinese*,—«Rocznik orientalistyczny», t. XXVIII, z. 1, 1964, стр. 107—подчеркнуто Я. Хмелевским).

Стр. 175

Из индоевропейских слов, родственных русск. *дверь* и *двор* (см. М. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, т. 1, М., 1934, стр. 487 и 489) для сопоставления с китайским иероглифом 門, некогда обозначавшим двустворчатые двери (как отмечал в ряде своих работ Е. Д. Поливанов, ср. приведенную выше цитату из Я. Хмелевского), особый интерес представляет латинск. *forēs* 'двустворчатые двери' при *fōris* 'дверь', 'ворота'.

Что касается (северо-) западнокавказских фактов, упоминаемых в данной связи в работах Поливанова неоднократно, но всегда в общем виде, то здесь скорее всего можно предположить, что ему представлялось вероятным историческое родство абхазско-адыгского названия двери (абаз. *шв(ы)*, абх. *a-f°*) и омонимичной ему в некоторых диалектах морфемы притяжательного местоимения 2-го лица множественного числа, генетически тождественной глагольному форманту 2-го лица множественного числа (литерат. абх. *f°ara* 'вы', см. об абаз. *шв-ы*: Г. А. Генко, *Абазинский язык*, М., 1955, стр. 72). Значение множественности для последней морфемы отчетливо устанавливается на основании таких соотношений, как адыг. *о (уэ)* 'ты': *шв-о (шв-уэ)* 'вы' (при *пчъ-э* 'дверь'). Н. Ф. Яковлев,

принимавший согласующуюся с гипотезой Поливанова концепцию происхождения всех западнокавказских грамматических аффиксов из полнозначных слов, считал различие единственного и множественного числа в местоимениях вторичным (см. Н. Ф. Яковлев, Д. Ашхамаф, *Грамматика адыгейского литературного языка*, М.—Л., 1941, стр. 289). Для обоснования гипотезы о развитии приметы множественного числа местоимений из слова «дверь» может представить интерес и предположение Яковлева о развитии значения личного местоимения 1-го лица типа адыгейского *сэ* (с «центростремительной» огласовкой *e*) из *«достигший», «дошедший», ср. *п-сэ* 'одушевленность', 'жизнь, обладающая произвольным движением' (см. Н. Ф. Яковлев, Д. Ашхамаф, стр. 261, 265, 289; гипотеза о центростремительном характере огласовки *e* подкрепляется рядом типологических параллелей: А. Н. Kuipers, *Phoneme and morpheme in Kabardian*, 'S-Gravenhage, 1960; E. G. Pulleyblank, *Close/open ablaut in Sino-Tibetan*,—«Lingua», vol. 14, 1965, pp. 239—240; E. G. Pulleyblank, *The Indo-European vowel system and the qualitative ablaut*,—«Word», vol. 21, 1965, № 1, pp. 86—101). Предположение о связи именной морфемы *ʃ°* 'дверь' с местоименным и глагольным аффиксом *ʃ°* может быть подкреплено многочисленными примерами, где в западнокавказских языках именная «экзогенная» инкорпорация (типа абаз. *ɔɣlaxl = nanlɔ = ɟlaɟwaɟ* 'он попал в наши руки', ср. кабард.-черк. *ulɛ* 'имей': *lɛ* 'кисть руки', по Яковлеву и т. п.) формально неотличима от «эндогенного» комплекса с местоименными аффиксами (см. W. S. Allen, *Structure and system in the Abaza verbal complex*,—«Transactions of the Philological Society», London, 1956, pp. 134—135), ср. также многочисленные общелингвистические и культурно-антропологические (А. М. Носарт, *Kings and councillors*, Cairo, 1936, p. 151) параллели процессу грамматикализации, при котором знаменательное слово становится служебной морфемой. Однако трудности при исследовании истории абх. *ʃ°* возникают потому, что в абазинских и абхазских (например, бзыбском) говорах, где сохраняется различие двух типов лабиализованных альвеолярных спирантов (*шв* и *шв'* по Г. А. Генко, *Абазинский язык*, стр. 39), морфема 2-го лица мн. ч. *ʃ°*- и название двери *ʃ°* фонологически различаются (см. Н. Я. Марр, *Абхазско-русский словарь*, Л., 1926, стр. 101 и 102). Вероятно, эту трудность и имел в виду Поливанов, когда говорил о сложности транскрипции соответствующих (северо-) западнокавказских фонем.

Стр. 179, примеч. 3.

Согласно данным зоосемиотики, при функционировании системы того типа, которая рассматривается Поливановым, основная трудность заключается в весьма ограниченном числе «словесных» сигналов, которому может быть обучена собака (или любое другое животное, за вероятным исключением дельфинов, сложность организации мозга которых обеспечивает, очевидно, больший объем памяти; устройство аппарата сигнализации дельфинов позволяет им имитировать звуки речи человека). У всех детально изученных видов животных число используемых сигналов не превышает нескольких десятков (ср. среднее число фонем в человеческом языке, где — в отли-

чие от языка животных, не знающего различения нескольких уровней,—из фонем строятся морфемы и слова; см. сб. «Acoustic Behaviour of animals», Jony-et-Josas, 1964; Th. Sebeok, *Coding in the evolution of signalling behaviour*,—«Behavioral Sciences», 7, 1962, № 4 с подробной библиографией). Поставленная Поливановым проблема при кажущейся парадоксальности представляет интерес не только для современной зоосемиотики, исследующей проблемы связи «человек — животное» (в частности, на примере дельфинов), но и для кибернетической проблематики общения между элементами системы «человек — машина» (где в настоящее время число распознаваемых устных словесных сигналов мало отличается от числа сигналов в первой системе) и для постановки вопроса об общении в космосе.

Стр. 180—181

См. выше в комментарии о телеологическом понимании эволюции языка и целевой модели в лингвистике.

Стр. 182—183

Усиленный интерес к проблемам психолингвистики характерен для мировой науки двух последних десятилетий, см. в частности, экспериментальные работы, посвященные в большой мере проблеме «психофонетики» (т. е. психологическому истолкованию фонологии): «Речь. Артикуляция и восприятие», сб. под общей редакцией В. А. Кожевникова и Л. А. Чистович, М.—Л., 1965. Общий обзор психолингвистических работ дан в сб. «Psycholinguistics», ed. by Th. A. Sebeok, Bloomington and London, 1965 (2 printing).

Стр. 184.

Наиболее значительным исследованием в области социологической лингвистики за последние годы является работа, в значительной степени соответствующая намеченной Поливановым программе точного количественного анализа социального языкового расслоения на определенной территории: W. Labov, *The social stratification of English in New York city*, Washington, 1966 (с библиографией). Примером сочетания социолингвистического исследования с этнографическим может служить работа М. К. Мейерс, *The Pocomchi. A sociolinguistic study*, Chicago, 1960 (с применением вычислительной машины для классификации данных).

Стр. 185

О взаимоотношении идей Бодуэна де Куртенэ и школы Соссюра см. также R. Jakobson, *Kazańska szkoła polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii*,—«Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego», Z. 29, Wrocław-Kraków, 1960; В. Н. Топоров, *И. А. Бодуэн де Куртенэ и развитие фонологии*,—сб. «И. А. Бодуэн де Куртенэ», М., 1960.

Стр. 185, примеч. 9.

Поливанов считал «психофонетику» отличной от теории фонем или «фонологии» (которая, по его мнению, не ставила существенных для психолингви

стики проблем), поэтому и в рецензии на книгу Р. Якобсона фонологическую школу он называет «фонетической», см. стр. 135, комментарий к ней.

Стр. 185

Теория эволюционных типов грамматического строя (отчасти сходная с более поздней концепцией Ван Гиннекена: J. van Ginneken, *La reconstruction typologique des langues archaïques de l'humanité*, Amsterdam, 1940; *Ein neuer Versuch zur Typologie der älteren Sprachstrukturen*,—«Travaux du Cercle linguistique de Prague», vol. 8, Prague, 1939) разрабатывалась Н. Ф. Яковлевым на протяжении многих лет. В неполном виде она была опубликована Н. Ф. Яковлевым значительно позднее (см. Н. Ф. Яковлев, Д. Ашхамаф, *Грамматика адыгейского литературного языка*, М.—Л., 1941, стр. 8 и след.; Н. Ф. Яковлев, *Изучение яфетических языков Северного Кавказа за советский период*,—сб. «Языки Северного Кавказа и Дагестана», 2, М.—Л., 1949, стр. 314; см. библиографию работ Н. Ф. Яковлева: Л. Р. Концевич, *Н. Ф. Яковлев*,—«Известия Отделения литературы и языка АН СССР», 1967, № 6). Ср. также выше, комментарий к стр. 175, о сходстве исторических объяснений фактов морфологии западнокавказских языков у Яковлева и Поливанова.

Стр. 186

Идея «оценочного анализа» языка отчасти была конкретизована в тех работах Поливанова, где рассматриваются морфологические типы языков с точки зрения их утилитарной значимости, причем изменение морфологического типа языка связывается с эволюцией языка как способа коммуникации (см. Е. Д. Поливанов, *Узбекская диалектология и узбекский литературный язык*, Ташкент, 1933). Этот подход может представить интерес и для современного анализа языка как кода (с точки зрения эффективности или выгоды кодирования).

Стр. 191, примеч. 3.

Проблема «контроля правильного языка» тесно переплетается с проблематикой культуры речи, ср. Г. О. Винокур, *Из бесед о культуре речи*,—«Русская речь», 1967, № 3, стр. 14 (где приводятся некоторые примеры, аналогичные тем, которые разбирает Поливанов).

Стр. 192!

Результаты структурного анализа сложносокращенных слов русского языка, данного в работах Поливанова, были использованы в позднейших работах на эту тему: А. Ваеклунд, *Die unverbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache*, Inaug.—diss., Uppsala, 1940 (см. о Поливанове на стр. 23—24); Л. А. Шеляховская, *О частотности аббревиатур в языке газет*,—«Материалы конференции „Актуальные вопросы общего языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова“», т. I, Самарканд, 1964, стр. 39; Р. И. Могилевский, *Аббревиация как лингвистическое явление*, автореферат канд. дисс., Тбилиси, 1966, стр. 3—4; В. В. Иванов, *О функциях сложносокращенных слов*,—«Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов», М., 1962, стр. 32.

Согласно выводам наиболее полного исторического исследования сложносокращенных слов в европейских языках (см. P. Zumthor, *Abréviations «composés»*, Amsterdam, 1951, pp. 21—23) применению приемов телеграфного кода в эпоху первой мировой войны предшествовал первый период распространения этих слов (1880—1900 гг.). В восточно-европейских языках (польском и русском) в этот период сокращения возникают в языке революционеров, где они могли иметь конспиративную функцию (польск. *kon* 'конспирация', русск. *эс-эр* и т. п.). В англо-американской торговой и промышленной терминологии в это же время осуществляется первый этап распространения сложносокращенных обозначений (см. P. Zumthor, там же).

Стр. 193

В английском языке буквенные сокращения типа MP засвидетельствованы уже в поэзии в начале XIX века; ср. у Байрона:

«Fool'd, pillaged, dunned, he wastes his term away,
And unexpell'd, perhaps, retires M. A.;
Master of Arts! as „hells“ and „clubs“ proclaim
Where scarce a blackleg bears a brighter name».

(Byron «Hints from Horace», строки 240—243).

«Обманутый, разоренный, осаждаемый кредиторами, он шалопайничает в течение всего семестра, и, если его не исключают (из университета) возвращается в Лондон со званием „магистра искусств“ (M. A.); „Магистр искусств!“ восклицают торжественно, говоря о нем, завсегдаги игорных домов, для которых такой блестящий титул в диковинку: ведь его нет почти ни у одного шулера» (во втором случае торжественная полная форма титула «Master of Arts» противопоставляется первому сокращенному [em'eɪ], произношение которого удостоверяется рифмой). «Сюэвая абсорбция» в современном английском (типа *vamp* 'авантюристка' ← *vampire*) рассмотрена в работе М. М. Сегаль, *Аббревиатуры в современном английском языке*, — «Вопросы английской филологии», Л., 1962.

Стр. 196, примеч. 7

Алфавиту «чжуньцзыму» Поливанов посвятил специальную заметку (см. Е. Д. Поливанов, *О новом китайском алфавите «Чжу-инь-цзы-му»*, — «Революционный Восток», 1927, № 2, стр. 90—93). Сопоставление этого алфавита с последующими проектами см. в статье С. Е. Яхонтова, *Проект китайского алфавита*, — «Вопросы языкознания», 1957, № 3, стр. 94—101.

Стр. 198

Термин «казак» вскоре был заменен термином «казах».

Стр. 201

О сложносокращенных словах в грузинском ср. Г. И. Цибахашвили, *К вопросу о природе аббревиатур*, — «VII научная сессия», Тбилиси, 1953, стр. 33—34.

Мысль об особом положении фразеологии, относящейся к лексике так же, как синтаксис к морфологии, соответствует четырехчленному делению абстрактных правил языка у Трубецкого (см. Н. С. Трубецкой, *Основы фонологии*, М., 1960, стр. 1960, стр. 8). Новый подход был предложен в связи с противопоставлением свободного сочетания элементов и несвободного (фразеологического) как в морфологии, так и в синтаксисе (см. И. А. Мельчук, *Обобщение понятия фразеологизма (морфологические «фразеологизмы»)*, — «Материалы конференции „Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова“», т. I, стр. 89—90; см. там же и другие работы о месте фразеологии в свете работ Поливанова).

Этимология, предлагаемая здесь Поливановым для первой части латинск. *ponti-fex* 'жрец' неверна; латинск. *ponti* здесь соответствует не русск. *свят-*, а русск. *путь*, восходящему к индоевропейскому названию дороги (в латинском языке переосмысленному как *pons* 'мост' благодаря появлению нового названия дороги *iter*, общего у латинского с тохарским и хеттским, где *i-tar* от *(e)i- 'идти' еще означает 'хождение'). Название жреца, образованное от названия дороги, встречается и в др.-инд. *adharyū-* 'жрец' (: *ādhan* 'дорога'), ср. ведийский эпитет богов *pathi-kṛt* 'делатель пути' (где первая часть родственна русск. *путь*, латинск. *pons*); см. G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*, Paris, 1966, pp. 553—554 и 557. Обозначение ритуала как пути или дороги разъясняется благодаря тому пониманию ритуальной дороги, которое известно у многих тунгусо-маньчжурских народов, называющих шаманское мировое дерево дорогой, «желая выразить этим, что это — дорога, по которой шаман или его молитва восходит к небу» (см. Л. Я. Штернберг, *Культ орла у сибирских народов*, — «Первобытная религия в свете этнографии», Л., 1936, стр. 123—124, см. там же о древнеиндийских параллелях; В. В. Иванов и В. Н. Топоров, *Славянские языковые моделирующие семиотические системы*, М., 1955, стр. 167, см. там же о сходстве роли моста, шаманской дороги и мирового дерева). Поливанов ошибочно думал, что *p* в латинск. *ponti-* восходит к **kw-*, как в некоторых словах, заимствованных из другого италийского языка, см. выше, 'комментарий к стр. 122. Напротив, удачей Поливанова является обнаружение сходства сакральной функции второй части латинского слова *ponti-fex* с такой же функцией родственной славянской основы в словах типа русск. *чаро-дей*, см. о славяно-балто-иранских сложных словах этого типа В. В. Иванов и В. Н. Топоров, *К реконструкции праславянского текста*, — «Славянское языкознание. Доклады советской делегации на V Международном съезде славистов», М., 1963, стр. 141.

Изменение палатального **k'>s* в слове, явившемся источником для русск. *свят*ой, является развитием, общим для славянских языков и иранских

(авест. *spānta-*, обозначающее сверхъестественную силу), ср. также латышск. *svinēt* 'праздновать', прусск. *swint-* при литовск. *švent-*.

Стр. 212

См. выше комментарий к стр. 87, относительно развития языков Австралии.

Стр. 217, примеч. 17

Ср. также замечания по «социально-диалектологической фонетике русского языка»: Н. С. Трубецкой, *Основы фонологии*, М., 1960, стр. 27—30.

Стр. 225

Русск. *копоть* родственно литовск. *kvāpas* 'дуновение', 'дыхание', 'запах', греч. *καπνός*, ср. микенск. греч. *kapinija* (*καπιγια*), свидетельствующее о древности утраты *-w- после *k*.

Стр. 229, примеч. 3

См. комментарий к стр. 207, примеч. 3.

Стр. 235

В современных фонологических терминах явления, описанные Поливановым, могут быть охарактеризованы как «сосуществующие фонологические системы»: одна — стандартная, вторая — специфическая для заимствованных слов. См. последовательное применение этой точки зрения к современному русскому языку в работе: Н. Kučera, *Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages*,—«American contributions to the Fourth International Congress of slavists», 'S-Gravenhage, 1958, p. 175 и след. К методологии такого описания см. С. С. Fries and K. L. Pike, *Coexistent phonemic systems*,—«Language», vol. XXV, 1949, N° 1; E. J. A. Henderson, *The phonology of loanwords in some South-East Asian languages*,—«Transactions of the Philological Society», Oxford, 1951, pp. 131—158.

Стр. 245, примеч. 21

В латышском языке различается «длительная» или плавная интонация (латышск. *stieptā intonācija*) и недлительная (*nestieptā*), которая реализуется либо как прерывистая (*lauztā*), либо как нисходящая (*kritošā*); см. М. Rudzīte, *Latviešu dialektologija*, Rīgā, 1964, стр. 50, 67 (сходная формулировка из лекций В. Руте—Дравиня по латышской фонологии приводится в статье Fanny de Sivers, *Le coup de glotte en letton et en live*,—«Ķēli. Rakstu krajums», XII, Lundā, 1965, p. 52). Все три интонации (длительная, прерывистая и нисходящая) различаются только в архаичных говорах, отражающих пралатышское состояние.

Стр. 246

Относительно функции «гамзы» (гортанной смычки) в тагальском, выступающей в качестве аналога латышской прерывистой интонации, см. выше, комментарий к стр. 151.

Помимо дравидских языков праkritы (среднеиндийские языки) могли испытать фонетическое воздействие других неиндо-арийских языков Индии, в частности мунда.

Все известные «морфемно-слоговые» иероглифические (не пиктографические) письменности содержат некоторое количество фонетических знаков (ср. Ю. В. Кнорозов, *Древняя письменность Центральной Америки*, — «Советская этнография», 1952, № 3, стр. 108—110; Ю. В. Кнорозов, *Письменность майя*, М., 1963; И. К. Федорова, *К вопросу о характере языка текстов острова Пасхи*, — «Советская этнография», 1963, № 2; I. J. Gelb, *A Study of writing*, 2 ed., Chicago, 1953, pp. 54, 66 и след.'

Ср. о проектах китайского алфавита выше, комментарий к стр. 196, примеч. 7.

Морфологический принцип в современных терминах можно называть «морфофонетическим».

«Веды» и другие древнеиндийские (в том числе классические санскритские) тексты были записаны спустя много веков после их создания. В индийских системах письма словоразделы не обозначаются, но могут быть обнаружены не только по смыслу, но и с помощью особых фонетических правил «внешнего сандхи» (т. е. перекодирования цепочек фонем на границах между словами).

См. выше, стр. 159 и комментарий.

«Транскрипция» посредством цифр, каждая из которых обозначает особую фонему, необходима для ввода устного текста в цифровую вычислительную машину.

На современном уровне точности требования, предъявляемые к транскрипции и транслитерации, математически строго обсуждаются в работе В. А. Успенского, *К проблеме транслитерации русских текстов латинскими буквами*, — «Научно-техническая информация», серия 2, 1967, № 7, стр. 12—19 (там же литература).

Первому изданию статьи Поливанова было предпослано предисловие Л. В. Щербы, формулировавшего задачу транскрипции следующим образом: «Основной задачей при этом является, очевидно, не насиловать языка заимствующего, приблизиться по возможности к языку оригинала. Задача эта

оказывается на практике весьма трудною... Человек, который бы попытался заняться этой подчас почти неразрешимой задачей, должен поэтому, с одной стороны, отлично знать язык, из которого заимствуется, умея, так сказать, правильно его слышать (далеко не всё то, что поражает наше ухо на чужом языке, является безусловно важным в этом последнем), и, с другой стороны,—тонко понимать графические ассоциации языка заимствующего, учитывая все его графические возможности. Автор предлагаемой здесь вниманию специалистов по Дальнему Востоку статьи обладает полнотой знания и понимания в обоих направлениях, а поэтому, как мне кажется, с полным успехом разрешил поставленную им себе задачу — составить правила письменного усвоения японских слов русским языком» (см. Л. В. Щерба, *Предисловие [к статье] Е. Д. Поливанов[а] «О русской транскрипции японских слов»*,—«Императорское Общество Востоковедения», Труды Японского отдела, вып. 1, 1917, стр. 14.

Стр. 279

Употребление термина «фонема» по отношению к [dz]-цз в русском языке в данном случае отличается от общепринятого понимания этого термина, так как имеется в виду «потенциальная фонема», характерная лишь для сосуществующей фонологической системы, см. выше, комментарий к стр. 235.

Стр. 287

Современное понимание соотношения между лингвистикой и математикой в корне изменилось после возникновения и бурного развития математической теории грамматик, созданной Хомским, широкого применения вычислительных машин и кибернетических методов в лингвистике и успехов лингвистической статистики (так же использующей методы автоматического анализа языковых текстов).

Стр. 288

О применении количественных методов в социальной диалектологии см. W. Labov, *The social stratification of English in New York city*, Washington, 1966.

Стр. 293

Сходные рассуждения были использованы для доказательства надежности выводов сравнительно-исторического языкознания в работе Гринберга (см. J. H. Greenberg, *Essays in linguistics*, New York, 1957, p. 31). Гринберг приводит следующий пример: если в каждом из 5 сравниваемых языков обнаруживается 8% сходств, простирающихся одновременно и на звучание и на значение, то случайным образом можно ожидать лишь $(0.08)^4$ или 0.00004096 сходств во всех 5 языках, т. е. около 1/25.000. Следовательно, наличие большого числа сходств во всех 5 языках является несомненным доказательством исторической связи между ними. Другие вопросы строгого доказательства исторической связи между языками и техники проведения

соответствующих подсчетов (в частности, с помощью вычислительных машин) обсуждаются в статьях: Н. В. Gleason, *Counting and calculating for historical linguistics*,—«Anthropological linguistics, vol. 1, 1959, pp. 22—32; Н. В. Gleason, *Genetic relationship among languages*,—«Structure of language and its mathematical aspects», Proceedings of symposia in applied mathematics, vol. XII, American Mathematical Society, 1961.

Стр. 296

Исследование общения посредством жестов постепенно выделяется в особую область семиотики (науки о знаковых системах), иногда называемую «кинезикой» (см. R. L. Birdwhistell, *Introduction to kinesis; an annotation system for analysis of body motion and gesture*, Washington, 1952; З. М. Волоцкая, Т. М. Николаева, Д. М. Сегал, Т. В. Цивьян, *Жестовая коммуникация и её место среди других систем человеческого общения*,—«Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов», М., 1962, стр. 65—77; W. La Barre, *Paralinguistics, kinesics and social anthropology*,—«Approaches to semiotics», 'S-Gravenhage, 1964; M. Key, *Gestures and responses*,—«Studies in linguistics», vol. 16, 1962, № 3—4, pp. 92—99.

Стр. 297

В качестве наиболее распространенного в «примитивных» обществах случая употребления жестов в знаменательной функции можно указать на счет посредством жестов (при котором числительные первоначально являются обозначениями жестов или соответствующих частей тела, обычно руки и пальцев), см. K. and J. Franklin, *The Kewa counting system*,—«Journal of the Polynesian Society», vol. 71, 1962, № 2; А. Брайант, *Зулусский народ до прихода европейцев*, М., 1953, стр. 162—163; И. Л. Снегирев, *Числительные в языке зулу*—«Академия Наук СССР акад. Н. Я. Марру», М.—Л., 1935, стр. 342—343 и др.

Относительно различий в знаменательных жестах у разных народов см. анализ приводимого Р. О. Якобсоном примера различия между утвердительным и отрицательным жестами в русском и болгарском: Е. В. Падучева, *Международная конференция по семиотике в Польше*,—«Научно-техническая информация», серия 2, М., 1967, № 2, стр. 44.

Стр. 300

Русск. *тараторить* (как и родственный чешский глагол) не является по происхождению звукоподражательным словом, но могло быть переосмыслено как таковое после того, как распался класс интенсивных редуцированных глаголов, к которому это слово первоначально принадлежало, ср. родственные формы, недавно обнаруженные в анатолийском: хеттск. *tar-* 'говорить'; лувийск. *tatar-iḷa-* 'проклинать', лидийск. *tatro-* 'приказывать' (В. В. Шеворошкин, *Лидийский язык*, М., 1967, стр. 44 и 53).

Стр. 302

Другие японские «звуковые жесты», содержащие *n* (*нати-нати*, *пунпу*—

о звуках снаряда), приводятся в книге: А. А. Холодович, *Синтаксис японского военного языка*, М., 1937, стр. 106 (§ 104, там же, стр. 105—106, посвященный звуковым жестам, написан в соответствии с концепцией Е. Д. Поливанова).

Стр. 306

Статья Поливанова является первым опытом формального описания «структуры загадки», который на 20 лет опередил работы Тэйлора, поставившего задачу анализа форм загадки (см. А. Taylor, *Problems in the study of riddles*,—«Southern Folklore Quarterly», II, 1938, № 3; работа Поливанова Тэйлору и его последователям осталась неизвестной). Согласно Тэйлору и его продолжателям загадка описывается как сравнение (содержащее один или более описательный элемент), референт (денотат) которого должен быть угадан; различаются загадки с противопоставлением (антитеза в первом типе у Поливанова) и без противопоставления (см. А. Taylor, *The riddle*,—«California Folklore Quarterly», II, 1943, p. 129; R. A. Georges and A. Dundes, *Towards a structural definition of the riddle*,—«Journal of American Folklore», vol. 76, 1963, pp. 111—113, ср. опыты структурного описания: Maung Than Sein and A. Dundes, *Twenty-three riddles from Central Burma*,—«Journal of American Folklore», vol. 77, 1964, N 33, pp. 69—75; В. В. Иванов и В. Н. Топорев, *К описанию некоторых кетских семиотических систем. III. Структура кетских загадок*—«Ученые записки Тартуского Государственного Университета», вып. 181, «Труды по знаковым системам», II, Тарту, 1955, стр. 134—136.

Стр. 311

Относительно количественной характеристики китайских тонов ср. С. Ф. Нэскетт, *Peiping phonology*,—«Readings in linguistics», New York, 1958, p. 219; А. А. Драгунов, *Грамматическая система современного китайского разговорного языка*, Л., 1962, стр. 33.

Стр. 313

Детальный анализ симметрического чередования тонов в классической китайской поэзии дается Р. Якобсоном: R. Jakobson, *Hommage C. Lévi-Strauss*, Paris, 1968 (там же новая литература вопроса). Сходные структуры характерны для классической вьетнамской поэзии, где различаются ровные тоны (1-й и 2-й) и неровные (четыре остальных); см. Duong Quang Hàm, *Việt Nam Van Hoc Su Yeu*, Hanoi, 1948; E. Burton, *Communication in Vietnamese poetry*,—«Van-Hoa Hguyet-San», v. XIII, 1964, N 9, стр. 1270—1271; Trần Văn Khe, *La musique vietnamienne traditionnelle*, Paris, 1962, стр. 279 и след. Это различие во вьетнамской метрике совпадает с фонологическим делением тонов на немодулированные и модулированные (см. Нгуен Хай Зьонг, *Система тонов и спектры гласных вьетнамского языка*, автореферат канд. дисс., М. 1963, стр. 12, ср. там же на стр. 13 тонкое замечание, применимое и к китайским метрам: «бинарная оппозиция двух групп] тонов строится на базе фонетической симметрии в языке и закона параллелизма в поэзии»).

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аббревиатуры 192 — 193, 229

«Безысключительность» звуковых законов 169

Бессознательность новообразований в языке 76 — 77

«Блатная музыка» 206

Внутренняя речь 60

Внутрифрэнемные изменения 113

Восприятие иноязычных фрэнем 236 и сл.

Гибридизация 63, 185

Градуальные и мутационные изменения 90

Графическая революция 187, 195 и сл.

Двухполюсное ударение 158 — 159

«Детский язык» 83

Дивергенция 63, 71 и сл., 111 и сл.

Единицы-максимум и единицы-минимум 207

Жест, его функции 297 — 298

Заимствование 192, 201 и сл.

Заимствованные фонемы 232 и сл.

Закон преимущественной редуцируемости узких гласных 106 — 107

Звуковой жест 295

Звукоизменение 138 и сл.

Звукоподражание 299

Значение 295, изменение 3. 192

«Изнашивание» слов и звуков 72 и сл., 82 — 83

Индивидуальные новообразования в языке 58

Историко-морфологические изменения 114

Историко-фрэнетические изменения, их классификация 63, 98 и сл., 115 и сл.

Историко-фрэнетический процесс, его этапы 103 и сл.

Историческая неустойчивость звуков 66, 70

Историческая фрэнетика 135 и сл.

Коммуникация 57

Конвергенты 63

Конвергенция 63 и сл., 130 и сл., как мутационное изменение 99 и сл., теория К. 63 и сл.; типы К. 67 и сл.

Критерии фрэнетического различия 246 и сл.

Математика, ее использование в языкознании 288 и сл.

Миграционные термины 163, 105 и сл.

Моносиллабизм 140

Морфологизация звуков 139 и сл.

Морфологическая ассимиляция 90

Морфологическое новообразование 90 и сл.

Морфологическая эволюция 73

Мотивированность связи звучания и значения 209 — 210, 298

Музыкальная акцентуация 146 и сл., 243 и сл., 296 и сл.

Мягкостная корреляция 116 — 117

Новые понятия в языке, их обозначение 190 — 191

Обучение языку 58, 76; О. Я. как трудовая деятельность 70; материал О. Я. 61

Общерусский стандартный язык 212 и сл., 231 и сл.

Однообразное направление новообразований 79 — 80

Ономатопозитические слова 144, 300 и сл.

Орфография, влияние на фонетику 218 и сл.; принципы О. 254; историко-этимологический принцип О. 255 — 257; семантический принцип О. 261; синтаксический принцип О. 261; фонетический принцип О. 254; этимологический принцип О. 257; реформа О. 194 и сл.

Ослышка 64

Основной вариант фонемы 138

Первофонемы 70

Планирование речевого высказывания 60

Поколения, их влияние на язык 58 и сл., 77 — 78, 190, 214

Праязык 62

Принцип открытых слогов 157

Принцип равномерного распределения фонационной энергии 105

Психофонетика 183, 185

Расширение функций языка 213 — 214

Рефлекс конвергенции 63 — 64

Речевые шаблоны 59 — 60

Силовое ударение 139

Сингармонизм 160

Система фонетических представлений (фонем) 63 и сл.; эволюция ее 95, 136

Система языка, обусловленность ее социальными факторами 211

Словарь, изменение его под воздействием революции 188 и сл., 228 — 229

Словосочетание 207

Слоговая норма 120

Создание новых слов 192 — 193

Социальные диалекты 77 — 78, 177, 180, 186, 191, 194, 206, 207 и сл., 230 — 231

- Социальный субстрат языка 182, 228
 Социологическая лингвистика 183 и сл.
 Сравнительная грамматика 51, 151, 185
 Статистика в диалектологии 288 и сл.
 Субстрат (подпочва) в фонетике 68, 70
 Субъективный характер звуковосприятия 246
- Тенденция в языковых изменениях 80
 Теория вероятности в этимологии 291 и сл.
 Терминология 201 и сл.
 Типичные изменения 80
 Типологическая эволюция 78
 Типологическое сходство 152 — 153, 156
 Транскрипция; научная и практическая 263 и сл., фонетическая и Т. орфографии 265 и сл., 285 и сл.
- Факторы звукоизменений 169
 Факторы языковых изменений 75
 Факультативность речевых фактов 219
 Физиологический момент в фонетике 142
 Физиология и психология 84
 Фонация 60 и сл., материал ф. 61
 Фонема 236
 Фонетическая эволюция, ее механизм 62 и сл.
 Фонетические переходы 138
 Фразеология 207, 208
 Функциональная характеристика фонетических представлений 137
- Эволюция языка 52; виды Э. Я. 77; влияние на Э. Я. социального субстрата 182, 212 — 213; влияние социальных факторов 211 и сл.; 221 и сл.; влияние экономических причин 83; зависимость от социальной и культурно-исторической эволюции 77; Э. Я. и эволюция коллектива 177; механизм Э. Я. 78 и сл.; мутационный характер Э. Я. 79; телеологический характер Э. Я. 180; теория Э. Я. 84, 135; факторы Э. Я. 86 и сл.
 Экономия 60 и сл.; 191; э. в процессе обучения 70, 84; Э. в фонематической системе 137; Э. фонетической энергии 73, 81 — 84
 Эмфатическое ударение 158 — 159
- Язык 178; Я. и социальный быт 209 и сл.; Я. и языковой коллектив 179 и сл.; Я. как социальное явление 52 — 53, 180, 185; Я. как трудовая деятельность 57 и сл., 81, 105 и сл., 177
- Языки национальных меньшинств 54
 Языковое строительство 53
 Языковые союзы 117
 Языкознание: Я. и марксизм 51; 176 — 177; Я. как естественноисторическая наука 51, 182, 287; Я. как социологическая наука 51 — 52, 183 и сл.; Я. как точная наука 287; практическая польза языкознания 53
 Яфетическая теория 176 — 177

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Алексеев В. М. 310
Аптекарь В. Г. 288
Балли Ш. 184
Бодуэн де Куртенэ И. А. 54, 55,
183, 185
Браун Ф. А. 173
Бубрих Д. В. 55
Вандриес Ж. 184
Вахтеров В. П. 183, 305
Вильямс 144
Владимирцов Б. Я. 55, 156, 161
Вреде Г. 184
Гиляров 220
Горький М. 256
Гото 311
Грот Я. К. 284, 285
Данилов Г. К. 53
Есперсен О. 184
Жильерон Ж. 184
Иванов А. И. 172
Имамура 284
Иордан 184
Караджич В. 256
Каринский Н. М. 53, 222
Кирпичников 220
Колосов М. 206, 229
Конарад Н. И. 121
Куроно 154
Лафарг П. 177
Ленин В. И. 52, 177, 185, 192, 214
Лондон Дж. 179
Манизер Г. Г. 297
Маркс К. 180
Марр Н. Я. 55, 117, 123, 152, 156,
157, 176, 185, 294
Мейе А. 98, 184
Науман 184
Новгородов С. А. 195, 197, 198
Петерсон М. Н. 52, 55
Пешковский А. М. 55
Плетнер О. Д. 149, 238
Позднеев Д. М. 154, 265, 272, 308
Поппе Н. Н. 55, 156, 161, 262
Поспелов Г. 180
Радлов В. 91
Рамстедт Г. 55
Селищев А. М. 53, 206, 229
Сергиевский М. В. 55
Соссюр Ф. де 185
Трубецкой Н. С. 139
Ушаков Д. Н. 98
Фортуатов Ф. Ф. 54
Фосслер К. 184
Шахматов А. А. 55, 139, 184
Шифнер А. 164
Шмидт А. Э. 67, 68, 141, 163, 167
Шмидт П. П. 163, 166, 278, 279
Шор Р. О. 52
Шоу Б. 230
Щерба Л. В. 55, 217, 257, 259,
262, 274, 281
Энгельс Ф. 177
Яacobсон Р. 98, 135, 136, 138, 139,
140, 141, 174
Яковлев Н. Ф. 55, 124, 185
Boller 156

Bréal A. 287

Conrady 156

Curtius 169

Edwards E. R. 153, 244, 265, 284

Ferrand 151

Gabelentz H. 144

Gauthiot 165

Giles 165, 166

Grunzel 156

Hirt H. 169

Jakobson R. 135

Karlgren 166, 310

Meyer E. 153, 265

Möller H. 166

Parker 166

Passy P. 147, 159

Poirrot 288, 290

Ramstedt K. 156

Satow 276

Schiefner A. 164

Schmeil-O. 163

Schrader O. 166

Stael-Holstein A. von 165

Sweet H. 283

Vaniček 169

Walde A. 292

Wiklund 165

Williams H. W. 144

Winkler 156

Wundt W. 305

Индоевропейские языки 170, 182, 293

**esti* 73, 83

**kwentos* 209

**medhu* 165, 166, **med^hu* 167

**sās* 167, 168, 169, 170

Индоарийские языки 253

Санскрит 129, 253, 291, 292, 311

aviḥ 'овца' 170

catām '100' 290, 291, 293, 294

śva 'собака' 291, 292

dēvaḥ 'бог' 128

d^ha- 'устанавливать, создавать' 66

gāuḥ 'бык' 122

madhu 'мед' 167

mad^hya 'средний' 66

matis 'мысль' 293

paśu 'скот' 291, 292

sōma 'сома' 128

tamsraḥ 'мрачный' 65

Цыганский 55

Иранские языки 171, 199, 290

Древнеперсидский 157

ada (3-е л.) 'давал' 66

daiva 'злой дух' 128

kaufa 'гора' 128

Авестийский 291, 292

hū 'свинья' 170

satəm 'сто' 290

spa 'собака' 293

* В указателе учтены все упоминания языков, групп языков, письменностей и отдельных слов в тексте публикуемых работ, за исключением: а) языков или групп языков, рассмотрению которых специально посвящена данная работа (так, в тексте работы «К вопросу о родственных отношениях корейского и „алтайских“ языков» не учтены упоминания о корейском языке и алтайской группе); б) языков и слов, приводимых в контексте типа : «*ng*, как в немецком *singen*»; в) японских ономастопозитив в тексте статьи «По поводу „звуковых жестов“ японского языка». Языки (включая письменности) систематизированы согласно порядку, принятому в третьем издании книги А. А. Реформатского «Введение в языкознание» (М., 1960, стр. 333—352), с отдельными поправками и дополнениями.

Персидский 129, 157, 202, 203, 253, 311

dēv 'злой дух' 128

kā [*gas*] 'бумага' 168

kōh 'гора' 128

Таджикский 114, 199, 240, 290

kūh (диал.) 'гора' 128

Осетинский 199

Славянские языки 80, 81, 105, 106, 112, 135, 139, 140, 232

Русский 53, 59, 64, 65, 76, 77, 79, 81, 105, 112, 116, 120, 121,

122, 123, 139, 174, 181, 191, 192, 193, 198, 201, 203, 204, 206,

208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 229,

231, 234, 235, 237, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251,

252, 256, 297, 299

автомобиль 202

алимент 191

благо 78, 190

блеф 214, 234

бога (род. п.) 78, 190

бум-бум 300

ваше превосходительство 82

водка 59

говядина 122

господи 78

дверь 175

двор 175

день 96

ее, ея 219, 220

замок, замо́к 236, 244

здравствуйте 82

зекать 194

иду (1-е л.) 73

империалисты 201

капитализм 201

конь 97

копоть 225

который 64

кушать 222

ли 299

липа 194

лодка 59

локотив 232, 233

локомобиль 232

ля 232, 233

межа 125

мерин 168

меч 80

милитаризм 201
министр 73
множественное (число) 223
мясо 65
н(д)равится 222
нэл 191, 193, 201, 229
овца 80, 170
олень 139
он 97
они, оне 219
печешь (2 л.) 80
пиликать 300
правоучение 114, 192
раса 147
революция 201
роса 147
РСФСР 191, 229
самоѣ 220
свеча 125
свинья 168, 170
святой 209
сестра 65
Совдеп 191, 201, 202
Совет 191, 192, 202, 249
Совнарком 191, 192, 193, 201, 229
солнце 83
сон 96, 112
социал(ь)-демократ 233
страны, страны 236, 244
стол 296
тараторить 300
телефон 202
темный 65
хрять 194
четыре 64

чирикать 300
чмокать 300
что, што 219, 220
чушка 170
элемент 191

Старославянский 79, 209, 290, 291
дънь 96, 97
ндн 73
медь 167
овьца 170
евенть 209

сънь 96, 97, 112

СЪТО 290

съто 292

Сербский 97, 120, 150, 174, 256, 296

дан 'день' 96

дао 'дал' 97

сам 97

сан 'сон' 96

Чешский 174

Польский 116, 120, 232, 274

dzień 'день' 97

сен 'сон' 97

Серболужицкий 55

Балтийские языки 170

Литовский 150, 292, 296

avis 'овца' 170

šimatas '100', 290

šu 'собака' 293

timsras 'мрачный' 65

Латышский 150, 234, 245, 296

сика 'свинья' 169, 170

strēgele 65

Прусский

mensa 'мясо' 65

Германские языки 55, 106, 174, 292

Древнегерманский 174

Шведский 150, 296

Норвежский 296

Английский 157, 192, 196, 230, 232, 235, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 257, 274, 284, 297, 299

but 'но' 230

man 'человек' 230

Древневерхненемецкий 79, 292

hunt '100' 290

sū 'свинья' 170

swīn 'свинья' 170

Немецкий 53, 79, 174, 181, 182, 232, 274, 283, 299

heilig 'святой' 209

Hund 'собака' 293

lieben 'любить' 173]

Sau 'свиноматка' 168, 170

Schwein 'свинья' 168

Sozial-demokrat 'социал-демократ' 233

Готский

mekī 'меч' 80

mitz 'мясо' 65

swein 'свинья' 170

Оксский

media 'средние' 66

Латинский 62, 75, 78, 79, 159, 203, 209, 234, 261, 292

albus 'белый' 66*alt(e)ros* 'другой' 175*ambulare* 'рассказывать' 102*augustus* 'август' 83, 255*aurōra* 'утренняя заря' 66*barba* 'борода' 67*bōs* 'бык' 122, 123*botulus* 'кишка, колбаса' 122*canis* 'собака' 291, 292*centum* 'сто' 290, 291, 293, 294*cerebrum* 'мозг' 67*consobrinus* 'родственник' 65*dirruere* 'разрушать' 66*est* '(он) есть' 73, 83*estis* '(вы) суть' 218*fēcī* 'сделал' 66*frāter* 'брат' 66*frigus* 'холод' 65, 66*hortus* 'сад' 66*lupus* 'волк' 122, 123*medius* 'средний' 66*membrum* 'член' 65*mens* 'ум' 293*ninguit* 'идет снег' 66*nos* 'мы' 175*ovis* 'овца' 170*pecu* 'скот' 291, 292*pontifex* 'жрец' 209*quattuor* 'четыре' 64*quis* 'кто, который' 122*quo-* 'чтобы' 64*repperi, reperio* 'подходить' 144*reppuli, repello* 'отталкивать' 144*rettuli* 'возвращать' 144*soror* 'сестра' 65, 66*subo, subare* 'быть в возбуждении' 171*sūgo, sūgere* 'сосать' 171*sūs* 'свинья' 168, 170*tenebrae* 'тьма' 65*tetuli* 'принес' 144*urbs* 'город' 294*vos* 'вы' 175, 218*vos estis* 218

- Французский 75, 78, 79, 81, 84, 129, 215, 216, 217, 218, 219, 232, 235, 242, 243, 247, 250, 251, 252, 255, 261, 274, 299
aouît 'август' 83, 255
chauve 'лысый' 128
cochon 'свинья' 159
est '(он) есть' 73
fait 'факт' 128
il n'a pas 'у него нет' 83
levez-vous 'вставайте' 218
maitre 'хозяин' 128
nous autres 'мы' 175
quoi? 'что?' 222
plait-il? 'согласны?', 'не так ли?' 222
saint 'святой' 209
un sou, deux sous 'одно су, два су' 159
vivement 'глубоко, живо' 114
vous autres 'вы' 175
vous êtes 'вы суть' 218
- Итальянский 75, 78, 79, 80, 120
andare 'идти' 102
- Испанский
nosotros 'мы' 175
vosotros 'вы' 175
- Португальский 297

Кельтские языки 113, 123, 171, 292, 293

Древнеирландский
soec 'свинья' 170

Ирландский 116, 121, 293

cu 'собака' 293
suig 'свинья' 170

Древнекимрский

dis-suncnetic 'exanclata' 171

Кимрский 293

ci 'собака' 293
cant 'сто' 290
hwch 'свинья' 170
sugno 171

Корнский (корнуэльский)

hoch 'свинья' 170

Бретонский 293

cant 'сто' 290
ci 'собака' 293

Греческий язык 64, 65, 67, 71, 99, 112, 122, 169, 171, 203, 234, 244, 290, 311

βοτρός 'виноградная кисть' 168
βοῦς 'бык' 122
ἑκατόν 'сто' 290
ἵππος 'лошадь' 123
κάπνος 'дым' 225
κυῶν 'собака' 293
μέθυ 'мед' 167
ξυν- 'со-' 171
οἴς 'овца' 170
πῖς (дор.) 'кто, что' 122
πίσαρες (гомер.) 'четыре' 64, 97, 122
ποτερός 'который' 64
πῶς 'как' 122.
ῥίγος 'холод' 65, 66
σίβαξ 'brünstig' 171
συν- 'со-' 171
σῦριγξ 'сиринга, цевница' 171
σῦς 'свинья' 168, 169, 171
τέσσαρες (атт.) 'четыре' 64, 97, 122
τέτταρες (ион.) 'четыре' 122
τίς (ион.-атт.) 'кто, что' 122
τίθημι 'ставить, класть' 66
ῦς 'свинья' 168, 169, 170, 171

Албанский язык

πί 'мышь' 170
θί 'свинья' 170

Армянский язык 171, 199, 201

edí (1-е л. пр. вр.) 'поставил', 'сделал' 66.

Семито-хамитские языки 139, 152, 156, 157, 166

Арабский 152, 202, 203, 246, 252, 253

duka:n 'духан' 125

Древнеегипетский 261

Кавказские языки 195, 200

Западнокавказские языки 175

Абхазский 123, 124, 125, 187, 198

βka:n 'духан' 125

Кабардинский 187, 199

Черкесский 187, 199

Вейнахские языки

Чеченский 163, 187, 199

тио́з (моз)-'мед' 167

Ингушский 187, 199

Дагестанские языки

Лезгинский 199

Аварский 199

Картвельские языки

Грузинский 152, 156, 157

Мингрельский 199

Лазский (чанский) 199

Сванский 299

Баскский язык 55, 164

Финно-угорские (уральские) языки 156, 163

Прибалтийско-финские языки 55, 160, 204

Финский 169, 238, 256, 283

mesi 'мед' 165, 167

Лапландский (саами)

mietta 'мед' 165

Эстонский 116, 141, 160, 169, 230, 231, 238, 256,

mezi 'мед' 167

signa 'свинья' 170

Пермские (восточнофинские) языки 116, 200, 204, 232

Коми-зырянский 198

ma 'мед' 165

Коми-пермяцкий 198

Удмуртский (вотяцкий, вотский) 187, 198

mi 'мед' 165

Волжские языки

Мари (черемисский) 187, 198, 201, 204

mā 'мед' 165

Мордовские 53, 184, 187, 198, 201, 204

m'ed 'мед' 165

Угорские языки

Венгерский

méz 'мед' 165

Алтайские языки 55, 152, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 168, 262

**i* 'он' 159

Тюркские (турецкие) языки 53, 81, 106, 117, 120, 156, 158, 159, 161, 170, 192, 198, 199, 202, 204, 240, 253, 290

**i:š* 'дело' 162

**ja:z* 'лето' 162

**oǰ*, **uj* 'дом, юрта' 167

**kuz* 'осень' 162, 163

- **qus* 'зима' 162, 163
 **tala* 'степь' 163
 **ta:m* 'стена' 164
 **tap-* 'найти' 160
 **ta:š* 'камень' 159, 162
 **turna* 'журавль' 164
- Турецкий 152
 Азербайджанский 89, 187, 195, 240
 Туркменский 187, 197, 198, 202, 203
 даш (da:š) 'камень' 162
 иш (i:š) 'дело' 162
 яз (ja:ð) 'лето' 162
- Карачаевский 187
 ja:z 'лето, весна' 162
- Татарский 187, 198
 šušqa, šušqa 'свинья' 170
- Башкирский 81
- Якутский 187, 195, 197, 200
 сās (sa:s) 'весна' 162
 тас (ta:s) 'камень' 162
 туруја (turuja) 'журавль' 164
- Казахский (казахский) 112, 113, 187, 198, 202, 240
 damolda 'учитель' 252
 тас (tas) 'камень' 162
 жаз (žaz) 'лето' 162
- Киргизский 187, 202, 240, 257, 258, 259, 262
- Узбекский 89, 94, 114, 160, 187, 198, 202, 203, 204, 240, 252, 253, 290
 айт (ait-) 'говорить' 91
 ахмат (axmæt) 'Ахмед' 158, 159
 бер- (ber-) (самарк.) 'давать' 90, 91
 вахып 'вакуф' 204
 домулла 'учитель' 252
 де- (de-) (самарк.) 'сказать' 90, 91, 92, 93, 94
 ич (ic-) (самарк.) 'пить' 91
 иш (iš, i:š) 'дело' 162
 (ja:z) (сев.) *џз* 'лето' 162
 е- (je-) (самарк.) 'есть, кушать' 90, 91, 92, 93, 94
 џз (jɔz) (ташк.) 'лето' 162
 кевотман (kewɔtmæn) 'я иду (в данный момент)' 114
 кел- (kel-) (самарк.) 'приходить' 90, 91
 кел-иш (kel-iš) 'приход' 162
 кес- (kes-) (самарк.) 'резать' 91
 кет- (ket-) (самарк.) 'уходить' 91
 чўчка (soçqa) 'свинья' 170
 (согра) 'поросенок' (?) 170
 ўқи-(oқи-) (самарк.) 'читать' 91

ўқи-ш (*oқи-š, oқи-š*) 'учение' 162
пиширмоқ (*piširtmaq*) 'варить' 240
сана- (*səпə-*) (самарк.) 'считать' 91
шорэ 'совет' 202
тош (*ta:š*) (сев.) 'камень' 162
тош (*təš*) (ираниз.) 'камень' 162
тур- (*tur-*) (самарк.) 'стоять' 91
тут- (*tut-*) (самарк.) 'держатъ' 91
уч- (*uc-*) (самарк.) 'летать' 91
ур-уш, ур-иш (*ur-uš, ur-iš*) 'битва, война' 162

Джагатайский

Кашгарский 113, 252

damulla 'учитель' 252

Чувашский 159, 161, 187, 198, 201

ёç (*əç*) 'дело' 162

кёр (*kər*) 'осень' 163

хёл (*xəl*) 'зима' 163

чул (*çol, çul*) 'камень' 159, 162

çур (*çur*) 'весна' 162

Монгольские языки 156, 158, 159, 160, 163

Монгольский * 152, 161

хуруу(н) (*xurugun*) 'палец' 164

мод(он) (*modon, modŋ*) 'дерево' 160

морь (*mørin*) 'лошадь' 159, 163, 168

морен (*müren*) 'река' 159, 163

нар(н) (*narān*) 'день, солнце' 163

нэр (*nere*) 'нямя' 163

нүд(эн) (*nidun, nidŋ*) 'глаз' 159

нарай (*nirai*) 'новорожденный' 162

тал (*tala*) 'степь' 163

чулуу(н) (*çilāḡun*) 'камень' 159, 162

Бурятский 199

Калмыцкий 158, 199, 204

морьн (*mørŋ*) 'лошадь' 97, 159, 163

Тунгусо-маньчжурские языки 156, 159, 161, 163

Маньчжурский

мэрэ 'гречиха' 164

nijarxūn 'зеленый, свежий' 162

tala 'степь' 163

xolo 'долина' 163

Орочонский

ḡolo 'камень' 159, 162

* В этом разделе слова приводятся в их современном монгольском звучании (в действующей орфографии) и (в скобках) в форме классического монгольского языка.

Тибето-китайские языки** 152, 156, 167, 168

Древнекитайский 79, 99, 100, 168

Китайский 68, 70, 79, 80, 81, 99, 100, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 140, 141, 143, 150, 152, 157, 163, 167, 168, 172, 196, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 257, 261, 278, 279, 296, 297, 299

бай-лун (*Pbai-lun*) 'белый дракон' 65, 251

во-мынь 'мы' 175

да (*'да*) 'большой' 252

жэнь 'человек' 174

и (*i*) 'селение' 167

ли (*li*) 'камп, верста' 254

ма (*ma*) 'лошадь' 163, 168, 244, 296, 311

ма (*ma*) 'мать, конопля, ругаться' 244, 296, 297

мет, mit (диал.) 'мед' 165

ми (*mi*) 'мед' 165, 167

тик (диал.) 'мед' 166

мынь 'дверь, ворота' 174

пу²-тао² 168

ни-мынь 'вы' 175

са-юэ-та (*sa-yæ-t'a*) (сев.) 'Совет' 192, 249

сюэ-шэн-мынь 'студенты' 175

фау 'сторона' 174

та-мынь 'они' 173, 175

фын [*цзы*] (*fun-*) 'пчела, муха' 167

tzi-ba-tai (сев.) 'неприличное слово' 250

цзан-мынь 'мы с тобой' 175

цзы му 'мать букв. алфавит' 172

tsou-ba (сев.) 250

цянъ 'деньги' 168

Дунганский 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 172, 174, 259, 260, 261

ватw- 'мы' 172

du- 'яд' 123

nitw 'Вы' 172

tatw 'они' 172

tou 'голова'

tu 'земля' 123

jan 'деньги' 168

Вьетнамский (аннамский) 150, 152, 253

mét 'мед' 165

Древнетибетский

brgya 'сто' 291, 292

** В этом разделе слова приводятся, как правило, в двойной орфографии в общепринятой транскрипции на русской основе и — в случае необходимости — в графике и орфографии текста (в скобках).

Тибетский 150
sbrav-[bu] 'пчела, муха' 167
Бирманский
traav, trang 'лошадь' 163, 168
Гярунгский (гурунгский)
boroh 'лошадь' 163
Сокпасский (?)
mari 'лошадь' 163
Абормирийский (лоба, абор, мири)
huri 'лошадь' 163

Дравидские языки 253

Тамильский 253

Малайско-полинезийские языки 55, 143, 144, 146, 150, 151

Малайский 158

tusav 'заяц' 152

Тагальский 144, 146, 151, 243, 246

ka'ju 'дерево' 153

mabuting 'хороший' 144

Илоканский 144

masaksakit 144, 151

sakit 144, 151

Мальгашский 157

Полинезийские

ahi 'огонь' 153

Меланезийские 180

apu (afu) 'большой' 151

mapaepae 'мягкий, слабый, усталый' 144

mapikipiki 'мягкий' 144

Андаманский язык

maro 'мед' 167

Банту языки 150

Кетский (енисейско-остяцкий) язык 164

-dak 'как' 164

Японский язык 55, 64, 65, 69, 71, 73, 80, 81, 100, 102, 103, 104, 106,
107, 108, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 129, 132, 134, 143, 144,
146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 163, 175, 196,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 257, 296^{*}
300, 311

abari 'ткацкий челнок' 101, 109

abura 'масло' 102

aka 'красный' 143

'aki 'осень' 147

akindo 'купец' 101

ak'u:do, ak'u:ro 'купец' 101
ama 'небо' 282
ambai 'вкус, состояние' 282
ano 'тот' 282
ao-dakэ, aodake 'зеленый бамбук' 302
aru-mасу, arimasu 'es gibt' 'имеется' 285
asá (киотоск.) 'утро' 103, 133, 152, 164, 236, 244, 284, 285
!asa 'утро' 133, 147, 153, 245, 269
a!sa 'конопля' 147, 153, 236, 244, 245, 269, 284, 285
asa-gao 'вьюнок' 133
a!si 'нога' 147
as'!nku (тосаск.) 'мы' 175
!a!tui, !atu!i 244
a(w)o 'бледный' 143
ba!u, baiu 'дождливый период' 272
bicu 'мед' 165, 166
bиккyри, bikkuri 'испуганно' 304
bonokudo 'затылок' 307
siku 'приставать к берегу, ударять' 309
surú (киотоск.) 'журавль' 103, 152, 157, 164
хякy, çaku '100' 291
хянто, çanto 'точно'
çikari 'блеск' 144, 302
çikaru 'сверкать, блестеть' 144
çira 'плоский' 143
da!i!ta (тосаск.) 'вынул' 101, 109
das-u 'вынимать, выставлять' 101, 107, 108
!das(u) 'вынимает' 103
de 'быть' 158
de:ta (кюсюск.) 'выставил' 128
dossari 'обильно, вдоволь' 304
гаyгаy, gajagaja ономатоэстетическое слово 268
geta 'гета' (вид обуви) 307
гудзугудзу, guziguzи ономатоэстетическое слово 268
haci '8' 104
haci-micu 'пчелиный мед' 116
hadaka 'голый' 143
хаккyри, hakkiri 'отчетливо' 304
hakurawka!i 'выставка' 241
ha!na 'цветок' 285
!hana 'Хана' (имя соб.) 159
!ha!na 'цветок' 159, 236, 269
!hana! 'нос' 236, 269, 285
haru 'весна', 'натягивать' 307
hasseв '8 копеек' 143
!has (i) 'палочки для еды' 103, 107, 108
xu, hi 'день' 302

хиби, hibi 'каждый день' 302
хѵ, хо: 'сторона', 'щека', 'закон' 158, 174, 270, 285
хо:beta, hoppeta 'щека' 307
хон 'счетное слово' 282
хон-яку, honjaku 'перевод' 282
иѵ i 'один' 104
иде- (классич.) 'быть' 158
ияна, ijana 'противный' 271
иГе 'дом' 167, 276
иппай, ippai 'полный' 286
итток'а 'входить, быть нужным' 307
Гje (нагасак.) 'дом' 167, 175, 269
job-и 'звать' 101
jo:da (нагасак.) 'звал' 101
jokohata 'Иокогама' 154, 269, 271
jonda 'звал' 101
jo:ra (Мие) 'звал' 101
юккури, jukkuri 'медленно' 304
ка 'комар' 269
ка^во, ка^шо 'лицо', 'комара' (вин. пад.) 269, 277
каимасу, kaimasu 'покупает' 272
какимасу, kakimasu 'пишет' 272
kami 'бумага' 104, 168
kanda 'кусал' 282
кар'у:до (нагасак.) 'охотник' 101
кар'у:ро (мие) 'охотник' 101
Гка^лса 'объем' 236
Гкаса^л 'сифилис' 236
ка[са 'колпак' 236
Гка си^л | ja (тосаск.) 'кондитерская' 149
Гкаси^л ja^л (тосаск.) 'дом, отдающийся внаймы' 149
katta 'покупал' 101, 109, 143
kau 'покупать' 101
Гki 'дерево' 153, 158
ки^л: (киотоск.) 'дерево' 153, 158
kiru 'резать'
kitta 'резал' 143
китто, kitto 'непрерменно' 304
кобу-тори, koku-tori 285
ко:ру (Мие) 'Кору (имя соб.)' 241
кош: (кюсюск.) 'перец' 308
ко:та (кюсюск.) 'покупал' 101, 109, 128
koto 'дело' 143
к'о: 'вчера' 119
к^ва:дон (нагасакс.) 'белый дракон' 65, 251
ку (тосаск.) 'дом' 175
kudo 'очаг' 307

куро 'черный' 143, 144, 151
куру 'резать' 143
та 'лошадь' 163, 167, 168
такка 'совсем красный' 143
такото 'правда, истина' 143
таккуро 'черным-черно' 143, 144, 145, 151
таммару 'совсем круглый' 143
таннака 'самая середина' 143
манъёсю 282
таппадака 'совсем голый' 143
таппира 'совершенно плоский' 143
тага 'круглый' 143, 144
тарухадака 'совсем голый' 143
таса 'истинный' 143
масса(ω)о 'весь бледный' 143
тасси́ро 'совершенно белый' 143
тавару 'вертеться' 308
ми́ои ми́ору 114
миси, ми́и 'мед' 165, 166
ми́ори, ми́ору 114
ммэ, ꞥте 'слива' 267
ми́зу 'вода' 69
мира 'деревня' 102
мма, ꞥта 'лошадь' 163, 167, 267
ммаи, ꞥтаи 'вкусный' 267
ммаку, ꞥтаки 'вкусно' 267
пака 'середина' 143
на^нгаи, папай 'длинный' 268, 282
пен 'год' 301
пенпен 'каждый год' 301
ни́йи 'радуга' 280
Гнодо 'горло' 101, 109, 132, 133
потти 'пить' 101
понда 'пил' 101, 109
пи:да (нагасакс.) 'пил' 101
пи:ра (Мие) 'пил' 101
ор'а (нагасакс.) 'я' 119
Го́: 'большой' 151
оигайно́ко (Мие) 'наш ребенок' 175
он 'милость, звук' 270, 284, 285
осаги (нагасакс.) 'заяц' 152
**Грпал* 'нос' 157
р'а:ров, ре:ров (южн.) 'белый дракон' 251
пикарика ономатопоэтическое слово 144, 301
г^васи нагасакск. 64
р'а:та 'вынул' 101
року '6' 104

- ro:re*: эпитет морской воды 241
saburo 'Сабуро (имя соб.)' 102
sau, sai 'закуска', 'жена' 270
seŋ 'копейка'
sinuru, sinu 'умирать' 101
сонна, сонна 'так' 269
суккари, sukkari 'совершенный' 304
суру, suru 'делать' 300
śinda 'умирал' 101
śiro 'узною' 174
такэ, taĳe 'бамбук' 159
Itake 'Такэ (имя соб.)' 159
тама, tama 'драгоценность' 301
тама-тама, tamatama 'редко, неожиданно' 301
тапка 'танка' (вид стихотворения) 282
тутто, titto 'немного' 304
тоĳ (Мие) 'птица' 101, 102, 108, 109, 110
токи, toki 'время' 302
токи-доки, tokidoki 'по временам' 301
тонто, tonto 'совсем' 304
turū 'журавль' 103, 164
тянто 'точно, строго, правильно' 304
уциро 'дупло' 102
угуиси 'вид птицы' 307
ум'а (тасаск.) 'гной' 119
уми 'гной' 147, 267
Иуми 'море' 147, 267
уро (диал.) 'дупло'
усаѳи 'заяц' 152
ут'уро (тосаск.) 'дупло' 102
zeni 'деньги' 69, 168
śisseŋ '10 копеек' 143
śu: 'десять' 104
фиде 'кисть для письма' 168
фу:гета (кюсюск.) 'щека' 306, 307
фу:tampura (нагасакск.) 'щека' 307
- Древнеяпонский 150, 158
 Хюга 'Хюга' (имя соб.) 174
- Рюкюский 102, 103, 151
 анда 'масло' 102
 juda(ŋ) 'звал' 101
 kabi 'бумага' 168
 ki: 'дерево' 153
 -*nda* топонимический суффикс 102
 nuda-ŋ 'пил' 101, 109
 ни:ди 'горло' 132
 ŋsi 'быть' 158

sanda: 'Санда' (имя соб.) 102
ʒ'ira, sira 'узнаю' 174
tuʃ 'птица' 101
ufu 'большой' 151
ʃa: 'сторона' 174

Корейский язык 55, 68, 70, 152, 158, 159, 160, 161, 163, 238, 239, 253, 262, 284

ac'am, ačam 'утро' 103, 152, 164
čár- 'ловить' 160
i 'он, этот' 159
il 'дело, работа' 162
karak, kirak 'палец' 163
kawul 'осень' 162, 163
kol 'долина' 163
k'ulul 'зима' 162, 163
mal(mar) 'слово, речь' 161
mal (mar) 'лошадь' 159, 161, 162, 163, 168
mil 'мед' 165
mil 'пшеница' 164
to-mil 'гречиха' 164
mul (mur) 'вода' 159, 163
mlk- 'есть' 160
mod(n) 160
miraw 'мерин' 163
nal(nar) 'день' 163
niram 'имя' 163
nun 'глаз' 159
n'krat 'лето' 162
tam 'стена' 164
tol(tor-) 'камень' 159, 162
turum 'журавль' 103, 152, 164
tul 'поле' 163

Айнский язык 147, 151, 161

Ботокудский язык 297

Эсперанто 179

Идо 179

«Новая латынь» 179

ПЕРЕВОД ИНОЯЗЫЧНЫХ ЦИТАТ

Стр. 98: «Каждый лингвистический факт входит в состав целого, где все между собой связано. Нельзя сравнивать один частный факт с дру-

гим частным фактом, но только языковую систему с другой языковой системой».

«История языка... не должна замыкаться в изучении изолированных изменений, но следует стремиться их рассматривать как функцию системы, в которой они происходят» (франц.).

Стр. 139. «В славянских языках система значащих элементов, реализованных в слове, едина, она не делится на связанные между собой подсистемы, обладающие самостоятельными функциями» (франц.).

Стр. 140: «Когда есть корреляция (по) слоговой интонации, то корреляция по экспираторно-силовому ударению не имеет места» (франц.).

Стр. 140: «Однако в китайском языке имеется и корреляции по слоговой интонации (т. н. „тоны“...), и корреляции по экспираторно-силовому ударению»... (франц.).

Стр. 141: «Так как вопросы производства звуков заменяются вопросами, касающимися тенденций и целей фonoлогических явлений, то физиология звуков языка при интерпретации внешнего, материального аспекта этих явлений будет все более и более уступать место акустике, ибо горящим воспринимается не двигательный, а именно акустический образ, являющийся социальным фактом» (франц.).

Стр. 144: «В адъективных словах она (геминация) используется для очень энергичного подчеркивания качества, обозначенного корнем. Аналогичным образом в тагальском образуется превосходная степень: *mabuting-buting* 'очень хорошо' от *mabuting*». Стр. 49: «*ma* часто выступает в филиппинских языках в качестве префикса прилагательных, например в тагальском, пампанга, а также санги и формозском. Множественное число от образованных прилагательных образуется в илоканском при помощи редупликации корня» (нем.).

Стр. 144: «Особые признаки илоканского в сравнении с тагальским суть: ...более частое употребление редуцированного удвения...» (нем.).

Стр. 166: «...все конечные согласные переходят в *k*...» (англ.)

Стр. 166: «в Азии, напротив, родина медоносных пчел — лишь узкая зона, проходящая с запада на восток через Малую Азию, Сирию, Северную Аравию, Персию, Афганистан, Гималайские горы, Тибет и Китай» (нем.).

Стр. 276: «Также принято (обычно) считать, что жители Киото произносят *ue* вместо *e*, когда этот слог выступает в начале слова, но хотя я очень внимательно пытался уловить это *u*, я никогда его не слышал, за исключением тех случаев, когда оно немедленно следовало в быстром произношении за словом, где переход от конечного носового *n* или гласного естественно порождает полугласный *u*, что наблюдается и в диалекте Иедо. Именно этот факт побудил иностранцев называть японский доллар *uen* вместо *en*, так как они всегда слышат его непосредственно за числительным, оканчивающимся на [гласный]. *U* не слышно в начале предложения ни в диалекте Киото, ни в диалекте Иедо» (англ.).

Стр. 287: «Надо уходить» (франц.).

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
Жизнь и деятельность Е. Д. Поливанова	7
Список работ Е. Д. Поливанова	31
Посмертные издания	42
Важнейшие рукописи Е. Д. Поливанова	43
Основная литература о Е. Д. Поливанове	46

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

I

Специфические особенности последнего десятилетия 1917—1927 в истории нашей лингвистической мысли (Вместо предисловия)	51
---	----

II

Факторы фонетической эволюции языка как трудового процесса	57
Где лежат причины языковой эволюции?	75
Мутационные изменения в звуковой истории языка	90
Закон перехода количества в качество в процессах историко-фонетической эволюции	114
Рецензия на книгу Р. Якобсона	135

III

Одна из японо-малайских параллелей	143
К работе о музыкальной акцентуации в японском языке (в связи с малайскими)	146
К вопросу о родственных отношениях корейского и «алтайских» языков	156
Индоевропейское * <i>medhu</i> —общекитайское * <i>mit</i>	165
Индоевропейское * <i>sū</i> -[s]—древне-китайское * <i>ʃu</i> 'свинья'	167
Дунганский суффикс множественного числа <i>-mɔ</i>	172

IV

Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория (Тезисы доклада)	176
Круг очередных проблем современной лингвистики	178
Революция и литературные языки Союза ССР	187
О фонетических признаках социально-групповых диалектов и, в частности, русского стандартного языка	206
Фонетика интеллигентского языка	225

V

Субъективный характер восприятий звуков языка	236
О трех принципах построения орфографии	254
О русской транскрипции японских слов	263
И математика может быть полезной	287

VI

По поводу «звуковых жестов» японского языка	295
Формальные типы японских загадок	306
О метрическом характере китайского стихосложения	310

ПРИЛОЖЕНИЕ

Комментарии	
I	317
II	327
Предметный указатель	352
Именной указатель	355
Указатель слов по языкам	357
Перевод иноязычных цитат	373

Евгений Дмитриевич Поливанов

СТАТЬИ ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

*Утверждено к печати
Секцией восточной литературы РИСО
Академии наук СССР*

Редактор *Г. А. Давыдова*
Художник *А. Г. Кобрин*
Художественный редактор *И. Р. Бескин*
Технический редактор *Л. Т. Михлина*
Корректоры *Е. Г. Григорьева* и *Г. В. Стругова*

Сдано в набор 17/VI 1967 г. Подписано к печати 15/V 1968 г. А-01777. Формат 60×90
Бум. № 1. Печ. л 23,5+0,125 п. л. вкл. Уч.-изд. л. 23,07. Тираж 4100 экз. Изд. № 1895.
Зак. № 673. Цена 1 р. 58 к.

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2

3-я типография издательства «Наука»
Москва К-45. Б. Кисельный пер., 4